
С. Т. АКСАКОВ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
1


С. Т. АКСАКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

С. Т. АКСАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

С. Т. АКСАКОВ

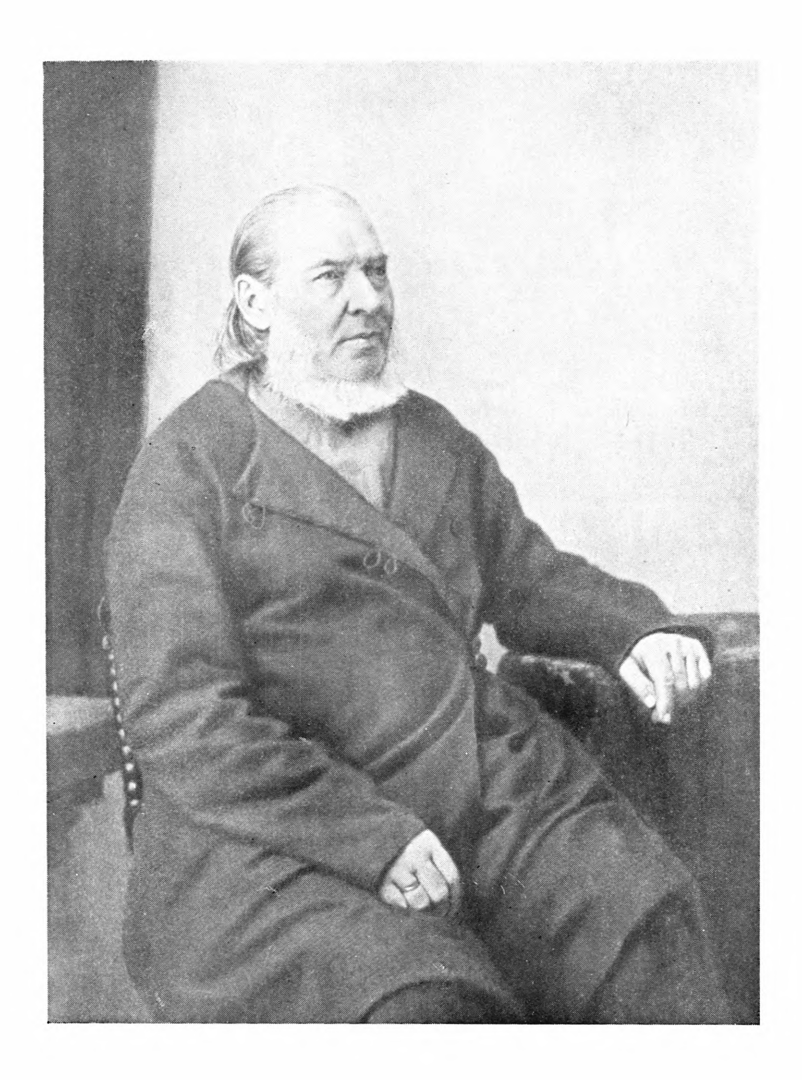
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
С. МАШИНСКОГО



СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

Прочитав однажды в журнале отрывок из «Семейной хроники», Чернышевский заметил, что достоинство рассказа С. Т. Аксакова состоит в том, что «в нем много правды», что «правда эта чувствуется на каждой странице»[1]. Можно было бы добавить — и на многих страницах других его произведений.

Убеждение в том, что основой искусства является правда, что оно обязано быть верным действительности — это убеждение, глубоко осознанное, лежало в основе эстетики Аксакова и воплощалось в его художественном творчестве.

В истории нашей отечественной литературы его имя занимает видное место. Выдающийся мастер реалистической прозы, писатель, в совершенстве владеющий тонким и сложным искусством изображения природы, изумительный знаток всех сокровенных богатств русского народного слова — таким знаем мы Аксакова. С ним повторилось то, что происходило со многими замечательными реалистами прошлого. Не обладая широтой мировоззрения, будучи консерватором по своим политическим убеждениям, он создал художественные произведения, многими своими элементами включавшиеся в то главное, прогрессивное русло, по которому шло развитие русской классической литературы.

Трудно найти другого крупного писателя XIX века, творчество которого было бы изучено так недостаточно. Его литературное наследство не собрано, многие произведения, затерянные в современных ему журналах и газетах, не выявлены; не учтены и те произведения,

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XVI, М. 1953, стр. 32.

которые не были опубликованы при жизни автора и до сих пор остаются достоянием архивов.

С. Т. Аксаков — трудный для осмысления писатель. К тому же отсутствуют традиции в его изучении. Его имя давно не привлекало к себе внимания исследователей. За советские годы о нем не вышло ни одной книги, даже брошюры. Не приходится удивляться устойчивости многих ошибочных представлений о его литературной деятельности, о направлении его эстетических взглядов. Совершенно не разработаны до сих пор некоторые вопросы, существенно важные для изучения творческого пути писателя Отсутствие серьезных умственных интересов, дружба с ничтожными театральными деятелями — сторонниками классицистической рутины, сочинение незначительных стихов и театральных рецензий — такой казалась биографам жизнь Аксакова в молодости, мелочная, тусклая жизнь, которая на склоне лет почему-то внезапно озарилась вспышкой большого таланта. Превращение «дилетанта» в классика русской литературы представлялось биографам Аксакова странным, неожиданным, почти необъяснимым чудом.

Творческий путь Аксакова — одно из самых сложных явлений в истории русской литературы. Нет другого примера, когда бы начало и завершение этого пути в писателе были столь различны. И, однакоже, нет большей ошибки, чем та, которую допускали исследователи в отношении Аксакова, безоговорочно противопоставлявшие позднего Аксакова — раннему, не желавшие видеть мучительно долгий, трудный, но неуклонно развивавшийся процесс вызревания реалистического таланта писателя.

Сколь бы существенно поздний Аксаков ни отличался от Аксакова 20-х — начала 30-х годов, когда преимущественным родом его литературных занятий была критика, все же есть несомненная внутренняя связь между этими двумя этапами литературной биографии писателя. Юность Аксакова протекала в первое десятилетие XIX века. Он восторгался Шишковым и вместе с тем, как это ни странно, сочинял стихи в духе сентиментальных идиллий Карамзина. Пока еще ничто не предсказывало будущего Аксакова, не предвещало в нем даже возможности крупного дарования. Но к 20-м годам в статьях Аксакова начинает пробиваться пытливая, острая мысль, которая, несомненно, знаменовала начало того пути, который много лет спустя привел писателя к вершинам реалистического искусства.

Имя Аксакова стало известно всей читающей России в конце 40-х годов — то есть тогда, когда жизнь писателя приближалась

к шестому десятку. Периодом расцвета его реалистического таланта стало последнее десятилетие жизни. В условиях глубокого кризиса, переживаемого в середине прошлого века феодально-крепостническим строем, художественные произведения Аксакова давали превосходный материал для обличения различных сторон помещичьего быта, крепостнической действительности в целом. Именно в этом направлении широко использовал аксаковские произведения Добролюбов.

Усвоив многое от реалистических традиций Пушкина и Гоголя, Аксаков обогатил эти традиции своим собственным художественным опытом и в немалой степени содействовал дальнейшему развитию русской классической литературы.

1

Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября (1 октября н. с.) 1791 года, в Уфе. Отец его — чиновник уфимского земского суда — принадлежал к небогатой, но старинной дворянской семье, мать — дочь товарища наместника Уфимского края. В «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» Аксаков подробно воссоздает сложную и не лишенную внутреннего драматизма историю отношений своего отца — влюбленного в природу, слабовольного, тихого, застенчивого, малообразованного человека — и матери — губернской красавицы, выросшей в чиновничье-аристократической среде, властной, умной, начитанной женщины. Этот внутрисемейный контраст немало отразился на условиях воспитания будущего писателя.

Детские годы Аксаков провел в Уфе и дедовском имении Ново-Аксакове, в широком раздолье степных просторов Заволжья Он унаследовал от отца живую, поэтическую страсть к природе. Лодка, удочка, а вскоре и ружье начинают заполнять почти всю жизнь Аксакова.

Девяти лет от роду Аксакова привозят в Казань и отдают в гимназию казеннокоштным пансионером. Оторванный от привычной обстановки родительского дома, от привольного деревенского житья, тяжело переживая разлуку с матерью, мальчик заболел острым нервным расстройством. Родные вынуждены были его забрать из гимназии, и лишь год спустя снова возникла мысль о ней. На этот раз Аксаков был зачислен уже в качестве вольноприходящего.

Казанская гимназия отличалась сравнительно неплохой постановкой обучения, хорошим, хотя и пестрым, составом преподавателей. Здесь царила атмосфера, в общем вполне благоприятствовавшая

развитию духовных интересов учащихся. Вспоминая свои гимназические годы, Аксаков тепло и благодарно отзывался о преподавателе русской словесности Н. М. Ибрагимове, отчасти — об И. И. Запольском, преподававшем физику, и особенно — о математике Г. И. Карташевском, своем непосредственном наставнике и воспитателе, впоследствии породнившемся с Аксаковыми.

Осенью 1804 года был окончательно решен вопрос об открытии в Казани университета и утвержден его устав. Четыре десятка гимназистов старшего отделения произвели в студенты, а несколько преподавателей — в профессоры. В студенты был произведен и Аксаков, которому шел четырнадцатый год.

Еще в гимназические годы Аксаков оказался в центре кружка молодых людей, проявлявших живой интерес к искусству — театру и литературе. Гордостью Казани в то время был публичный театр, на сцене которого временами гастролировали известные столичные актеры. В бытность Аксакова студентом здесь с огромным успехом выступал знаменитый Плавильщиков, открывший Аксакову, по его словам, «новый мир в театральном искусстве». В стенах университета была создана своя любительская труппа, успешно ставившая комедии Сумарокова, Коцебу, Веревкина, чтимого здесь не только как драматического писателя, но и как одного из основателей и «первого командира» казанской гимназии.

Неменьшим было увлечение гимназистов и студентов литературным творчеством. Оно проявлялось между прочим в том энтузиазме, с каким издавались здесь рукописные журналы. Один из таких журналов — «Аркадские пастушки» — выпускал близкий приятель Аксакова Александр Панаев. Несколько позднее пристрастился к сочинительству и Аксаков, совместно с Панаевым организовавший другой журнал, который получил наименование — «Журнал наших занятий».

В воспоминаниях о годах своей юности Аксаков настаивает на том, что издававшийся им «Журнал наших занятий» был предприятием «более серьезным», чем «Аркадские пастушки». Он рассказывает, с каким ожесточением стремился изгонять из журнала «идиллическое направление» своего друга Александра Панаева и «слепое подражание Карамзину». Это направление представлялось Аксакову слишком неестественным, слащаво приторным, а кроме того, и самое главное — противоречащим его «русскому направлению». Именно потому «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» Шишкова было воспринято Аксаковым как нечто гораздо более соответствующее его собственным настроениям, и он оказался

увлеченным в «противоположную крайность». По собственному признанию Аксакова, он уверовал в каждое слово книги Шишкова, «как в святыню». Борьба между «карамзинистами» и «шишковистами» своеобразно отразилась в стенах Казанского университета. Подавляющее большинство студентов стояло за Карамзина. Аксаков же, поддерживаемый, или, точнее, даже вдохновляемый профессором русской словесности литературным старовером Городчаниновым, держал сторону Шишкова. Между приверженцами того и другого направления происходили ожесточенные споры. Впрочем, впоследствии в своих воспоминаниях о Шишкове Аксаков признавал, что он, «браня прозу Карамзина, был в восторге от его плохих стихов» [1] и что вообще «понятия» его в те времена еще «путались». Знакомство с сохранившимися экземплярами «Журнала наших занятий» да и с собственными ранними сочинениями Аксакова подтверждает справедливость этого позднего самокритического признания.

Тем временем в жизни Аксакова произошли некоторые важные перемены. Его воспитатель и наставник Г. И. Карташевский, рассорившись с университетским начальством, оказался вынужденным покинуть Казань и уехал служить в Петербург. Он стал склонять и родных Аксакова к подобному же решению, убеждая их в том, что для его воспитанника более целесообразно сейчас избрать поприще государственной службы.

В начале 1807 года Аксаков уволился из университета и после короткого путешествия с родными в Оренбургскую губернию, полугодичного пребывания в Москве обосновался, наконец, в Петербурге. Здесь предполагалось поступить на службу и строить новую жизнь.

С помощью Г. И. Карташевского он был определен переводчиком в Комиссию по составлению законов. Так началась его «государственная служба», которой он посвятил с перерывами и на различных поприщах полтора десятка лет своей жизни.

Вскоре по приезде в Петербург Аксаков познакомился с А. С. Шишковым и получил постоянный доступ в его дом, где очень скоро снискал себе лавры в качестве декламатора и участника любительских спектаклей.

Почти одновременно состоялось другое знакомство Аксакова — с знаменитым трагиком Я. Е. Шушериным. Воспитанный в старой,

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. III, СПБ 1886, стр. 172—173. (Все последующие ссылки на произведения С. Т. Аксакова, кроме случаев, специально оговоренных, даются по этому изданию.)

классицистической школе, Шушерин на склоне лет своих не был чужд и некоторым новым веяниям, в то время робко пробивавшим себе дорогу в сценическом искусстве. Он скептически посмеивался над И. А. Дмитревским и П. А. Плавильщиковым — мастерами старой русской сцены, корил их за приверженность к внешним, ненатуральным приемам игры, неспособность раскрыть живое человеческое чувство. Впрочем, эти недостатки были в немалой степени свойственны и ему самому.

В своих воспоминаниях о Шушерине Аксаков рассказал историю своего знакомства и личного общения с этим выдающимся актером. Встреча с Шушериным явилась событием в жизни молодого Аксакова. Через него он получил возможность проникнуть в театральный мир Петербурга, завести здесь обширный круг знакомств.

В 1811 году Аксаков оставил службу в Петербурге и вскоре переехал в Москву. К этому времени здесь поселился и Шушерин, который познакомил его с московскими литераторами и театралами: Н. М. Шатровым, Н. П. Николевым, Н. И. Ильиным, Ф. Ф. Кокошкиным, С. Н. Глинкой. Несколько лет спустя кружок друзей пополнился новыми именами: А. А. Шаховским, М. Н. Загоскиным, а еще позднее — А. И. Писаревым. Многие годы своей жизни провел Аксаков в окружении этих людей. Они в то время составляли высший слой московской интеллигенции, но едва ли могли оказать благотворное воздействие на духовное развитие Аксакова.

Суровое время Отечественной войны 1812 года Аксаков прожил в деревенской тиши Оренбургского края. Здесь же преимущественно провел он и последующие полтора десятилетия, лишь ненадолго приезжая в Петербург и Москву, чтобы не дать угаснуть своим литературно-театральным связям. В один из своих приездов в Петербург — это было в конце 1815 года — Аксаков познакомился с Г. Р. Державиным. О своих встречах с прославленным поэтом он рассказал впоследствии в специальном мемуаре «Знакомство с Державиным».

2

Охота, рыбная ловля, театр — вот тот мир, в который был целиком погружен Аксаков. Отсюда биографы делали опрометчивый вывод, будто Аксаков был абсолютно чужд каким бы то ни было общественным интересам современности, будто политические события в России и на Западе совершенно не привлекали к себе его

внимания и даже грозный 1812 год якобы не оставил никакого следа в сознании охотника и записного театрала.

На первый взгляд подобное утверждение может показаться достоверным. В многочисленных воспоминаниях Аксакова, в которых зафиксированы все мельчайшие подробности его жизни, мы не находим ни одного рассказа о событиях Отечественной войны или о 14 декабря 1825 года. И однакоже утверждение это совершенно несостоятельно.

Что касается воспоминаний, то в них Аксаков сознательно ограничивал себя. Написанные на склоне лет, они должны были, по мысли автора, явиться летописью его личной жизни и свидетельствовать лишь о том, что имело самое непосредственное отношение к биографии автора. Такой угол зрения, по убеждению Аксакова, позволял ему не повествовать о событиях, имевших общий интерес, — событиях, в которых сам он не принимал участия. В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксакова есть специальная глава, названная «1812-й год». Но, кроме глухого упоминания о «московских событиях» этого года, здесь нет ни слова о великой национальной эпопее, потрясшей весь мир. В одной из последних глав Аксаков обронил еще несколько замечаний о возрождающейся из пепла Москве и об историческом значении памятных событий. Но тут же он снова переключается на сюжеты театрально-литературные — то есть те события, с которыми была тесно связана его жизнь.

Установка писателя совершенно очевидна. Он не разрешал себе говорить ни о чем, что выходило за пределы его личного опыта. Подобное самоограничение, конечно, свидетельствовало о тесноте горизонта писателя, об узости его духовного мира, ограниченности его мировоззрения. А это в свою очередь накладывало печать и на многие аксаковские мемуары, придав им в известной мере односторонний камерный, «субъективный», по выражению Добролюбова, характер.

Но было бы ошибкой утверждать, как это делали иные биографы, что большие исторические события, современником которых явился Аксаков, не оставили никакого следа в его сердце.

Еще в 1878 году было напечатано в «Русском архиве» и затем многократно воспроизводилось в собраниях сочинений писателя его стихотворное послание к А. И. Казначееву, датированное сентябрем 1814 года. Стихотворение написано в манере, близкой к традициям витийственной оды XVIII века. Оно все дышит неостывшими воспоминаниями об «ужасной године» 1812 года, проникнуто скорбными думами о «разорении, пожарах и грабеже», которые чинил

враг на русской земле, о «поруганье дев» и «развалинах градов», о «зареве пылающей столицы», осветившем, наконец, «злодеев мрачны лицы». Аксаков хорошо передает настроения московского общества после победы над Наполеоном. Все стихотворение одушевлено сильным патриотическим чувством, оно пропитано сарказмом и гневом в адрес аристократической знати, не избавившейся от постыдной французомании. Можно было ожидать, говорит автор, что война

Не только будет зла, но и добра причина,
. . . .
Что подражания слепого устыдимся,
К обычьям, к языку родному обратимся.

Увы!

Рукою победя, мы рабствуем умами.

Аксаков, впрочем, не делает из этих обвинений никаких далеко идущих выводов. Политически это стихотворение довольно бескрыло и аморфно. Характерны последние строки:

Мой друг, терпение!.. Вот наш с тобой удел.
Знать, время язве сей положит лишь предел.
А мы свою печаль сожмем в сердцах унылых,
Доколь сносить, молчать еще мы будем в силах...

Философия этих простодушно-наивных строк достаточно характерна для Аксакова, но вместе с тем стихотворение в целом отражает тот несомненный факт, что великие испытания, пережитые Россией, хотя и не вовлекли Аксакова в свой водоворот, но во всяком случае не оставили его равнодушным, вынудили посмотреть на окружающую его жизнь с более высокой позиции.

В «достопамятном 1812 году», на самом кануне грозных событий, Аксаков впервые выступил в печати. В пятой книжке «Русского вестника» появилось без подписи его четверостишие, приветствовавшее крупный сценический успех Шушерина в комедии Коцебу «Попугай». Интересно объяснение причин этого успеха, которое позднее давал Аксаков. «...Играя дикого негра,— писал он,— Шушерин позволил себе сбросить все условные, сценические кандалы и заговорить просто, по-человечески». Подобная игра воспринималась как неслыханная новость, ибо «по тогдашним понятиям надобно было быть диким, чтоб походить на сцене на человека» [1]. Объяснение это очень характерно для последующего развития эстетических взглядов Аксакова, который, как увидим, самым важным

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. III, стр. 118.

условием сценического искусства стал выдвигать умение актера вести себя на сцене «просто, по-человечески».

К тому же 1812 году относится еще один литературный опыт Аксакова. По просьбе Шушерина он перевел для его бенефиса трагедию Софокла «Филоктет» с французского перевода Лагарпа. Но бенефис не состоялся. Вторжение Наполеона и последовавшая вскоре после того смерть артиста (1813) заставили Аксакова отложить обнародование своего перевода. Лишь в 1816 году он вышел отдельным изданием со стихотворным посвящением Шушерину. Почти одновременно с «Филоктетом» Аксаков перевел комедию Мольера «Школа мужей», впервые поставленную на петербургской сцене весной 1819 года. А еще два года спустя в Москве вышел из печати его вольный перевод «Десятой сатиры» Буало. Эти литературные опыты принесли Аксакову некоторую известность в театральных и писательских кругах Москвы и Петербурга.

В начале 20-х годов Аксаков сближается с редакцией «Вестника Европы», на страницах которого изредка появляются его стихи. Из них отметим «Элегию в новом вкусе», о которой автор впоследствии вспоминал, что она написана была как «протест против туманно-мечтательных стихотворений, порожденных подражанием Жуковскому», и «истинное происшествие» «Уральский казак», которое Аксаков называл «слабым и бледным подражанием» «Черной шали» Пушкина[1].

Общее направление журнала Каченовского было весьма «благонамеренным». Защищая устои крепостничества, «Вестник Европы» выступал поборником рутины и в области литературы и языка, активно преследуя сторонников новых веяний в искусстве.

В очень бурно протекавшей полемике между «романтиками» и «классиками» «Вестник Европы» стал решительно на сторону последних, неограниченно предоставив свои страницы для нападок на «новое направление». Главными бойцами «классиков» были А. И. Писарев и М. А. Дмитриев — или «Лжедмитрий», как противники называли его, племянника «настоящего» И. И. Дмитриева. К этому лагерю примыкали Шаховской, Кокошкин, Загоскин, также и Аксаков. Противоположный лагерь возглавлял П. А. Вяземский.

Эстетические позиции обеих группировок были зыбкими и не всегда достаточно определенными. Что касается романтиков, то они выражали в общем прогрессивные тенденции развития литературы. Они отстаивали мысль об общественной роли искусства, о праве поэта на критическое отношение к действительности. Эти идеи

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 47.

прогрессивных романтиков представлялись «классикам» посягательством на «устои» и чуть ли не «якобинством».

Сам Аксаков причислял себя к «партии умеренных» и не принимал активного участия в полемике романтиков и классиков. Лишь один раз он ринулся в бой с поднятым забралом.

Это произошло в 1821 году. Вяземский напечатал в «Сыне отечества» нашумевшее впоследствии пародийное «Послание к М. Т. Каченовскому», в котором была дана резкая отповедь «пугливым невеждам», препятствовавшим проявлению «на светлом поприще гражданского ума». Редактор «Вестника Европы» демонстративно перепечатал «Послание», сопроводив его ироническими примечаниями. Вскоре в том же «Вестнике Европы» был опубликован критический разбор стихотворения Вяземского, а затем и стихотворный ответ Вяземскому, озаглавленный «Послание к Птелинскому-Ульминскому». Это ответное «Послание» сочинил Аксаков. Оно было написано в духе, очень близком к многочисленным пародийно-эпиграмматическим выступлениям М. А. Дмитриева и А. И. Писарева против романтиков.

В своих «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксаков дал следующее объяснение своему стихотворению: «Я вовсе не был пристрастен к скептическому Каченовскому, но мне жаль стало старика, имевшего некоторые почтенные качества, и я написал начало послания, чтоб показать, как можно отразить тем же оружием кн. Вяземского; но Загоскин, особенно Писарев, а всех более Мих. Ал. Дмитриев, упросили меня дописать послание и даже напечатать. Они сами отвезли стихи Каченовскому, который чрезвычайно был ими доволен и с радостью их напечатал» [1]. Объяснение Аксакова очень показательно; оно характеризует его, во-первых, как человека, лишенного пока еще ясных и твердых эстетических принципов, и, во-вторых, как литератора, для которого программа Каченовского и «классиков» была все-таки чем-то посторонним.

3

В эти годы еще окончательно не определилось главное направление художественных интересов Аксакова. Он продолжает увлекаться театром, декламацией. Но влечение к собственному литературному творчеству становится все более сильным. Он печатает

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 47.

стихи, переводы драматических произведений. Он ищет себя в самых различных жанрах.

В середине 20-х годов Аксаков начинает успешно выступать в качестве театрального критика. Его статьи печатаются в «Вестнике Европы», несколько позднее — преимущественно в «Московском вестнике», а затем и в «Галатее».

Об Аксакове, театральном критике, чаще всего принято говорить с оттенком пренебрежительной иронии. Друг Писарева и Шаховского, поклонник Шишкова, Аксаков изображался в качестве мелкотравчатого приверженца рутины, этакого запоздалого эпигона классицизма. Подобные суждения приобрели характер весьма устойчивой традиции.

Между тем театральные статьи Аксакова представляют собой, несомненно, крупное и примечательное явление. В них впервые отчетливо раскрывается реалистическая направленность эстетической мысли молодого Аксакова.

Театральная эстетика Аксакова формировалась в знаменательную для русского сценического искусства эпоху. Старые формы классицистического театра давно уже пришли в противоречие с новыми запросами жизни. Мощный подъем национального самосознания, вызванный Отечественной войной 1812 года, бурное развитие общественной жизни, обострение интереса к народу — в свете всех этих событий становилось чрезвычайно наглядным, что те каноны, которые унаследовала русская сцена от XVIII века, обветшали. Холодная, напыщенная театральность, бутафорское великолепие — все это заглушало дыхание живой жизни на сцене и превращало спектакль в статично-декоративное зрелище.

«Дух века требует важных перемен и на сцене драматической», — писал в 1830 году Пушкин [1]. Необходимость этих важных перемен хорошо ощущал и Аксаков. В своих статьях и рецензиях он ведет борьбу против застоя и рутины в сценическом искусстве. Он требует от актеров «простоты», «натуральности», правды, умения воплощать живой характер людей, раскрывать внутреннее чувство, всю многогранность и глубину человеческих переживаний.

К этому времени на русской драматической сцене стали пробивать себе дорогу новые, реалистические веяния. Вслед за Щепкиным и Мочаловым на московской сцене появляется целая плеяда ярких актерских дарований — Потанчиков, Степанов, Рязанцев,

---

[1] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в одном томе, М. 1949, стр. 1321.

В. Живокини и др., которые в своем творчестве утверждали новые принципы театрального искусства. Это был сложный процесс, развивавшийся в острой борьбе.

Замечательно, что Аксаков с самого начала своей критической деятельности выступает сторонником нового, реалистического искусства. Эта тенденция пронизывает почти каждое его выступление в печати.

Статьи Аксакова отличались прежде всего тем, что в них содержался анализ спектакля. Тонкое и всестороннее знание законов сцены, острая наблюдательность, способность глубоко разобрать игру отдельного актера и спектакля в целом под углом зрения определенной идеи — вот те достоинства, которые поднимали суждения Аксакова над обычным уровнем тогдашней театральной критики. Недаром с таким крайним раздражением отмечал один из недоброхотов Аксакова широту его интересов: «Ни авторы, ни переводчики, ни артисты, ни даже декорации не избегают его неумышленного суда»[1].

Театр для Аксакова — важное средство воздействия на общество. Театр — не безделица, не место для пустого развлечения, но великая сила, могущая оказать доброе влияние на людей; «семена, западающие в сердца невинные, неприметным образом для них самих пускают рост и дают благое направление их нравственности, предохраняя ее от будущих уклонений»[2]. Аксаков пишет о «волшебном могуществе» драматического театра. Из такого понимания театра вытекала необходимость новых критериев в оценке искусства актера.

Не «изящество» и «благородство» движений, не внешняя манера держать себя на сцене, а умение раскрыть характер человека, по мнению Аксакова, — самое важное в театральном представлении. Все сценические возможности актера должны быть подчинены этой задаче — «искусству выражать характеры», наиболее трудному и благодарному искусству. В одной из самых ранних своих статей «Мысли и замечания о театре и театральном искусстве», опубликованной в 1825 году в «Вестнике Европы», Аксаков писал: «Того актера можно назвать *совершенным*, которого поймет и незнающий языка (представляемой пьесы) по выразительности голоса, лица, телодвижений; даже глухой — по двум последним; даже слепой — по одному первому»[3].

---

[1] «Московский телеграф», 1829, № 1, стр. 141.
[2] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 148.
[3] Там же, стр. 382.

Аксаков выступал против холодной и напыщенной декламации, бессильной увлечь зрителя и убедить его в достоверности того, что происходит на сцене, ибо «где потеряна вероятность, там и очарованию нет места». Он пишет о «весьма дурной привычке» иных актеров и актрис, которые «на сцене голос свой стараются делать ненатуральным и в самых жарких местах своей роли смотрят в глаза зрителей» [1]. Аксаков выдвигает замечательный и новаторский для того времени принцип, согласно которому язык персонажа должен соответствовать его характеру. Человек со сцены обязан говорить так же просто и естественно, как в жизни. «Чтение на театре,— замечает критик, — нестерпимо, а надобно говорить, рассказывать...» [2] Правда, вначале он допускал известное исключение для трагедии. Стихи в трагедии могут произноситься с напевом, впрочем — «умеренно и не везде». Здесь Аксаков делает уступку, как он выражается, «условной натуральности», естественной в «изящных искусствах». Произносить в трагедии стихи с напевом ненатурально, конечно, но это такого же рода допустимая условность, как и та, когда человек на сцене говорит стихами, да еще с рифмами.

Эстетическая позиция Аксакова в это время еще не лишена очевидных противоречий. Верные взгляды соседствуют с ошибочными. Осуждая классицистическую рутину, Аксаков пока еще сам не вполне свободен от ее власти. С простодушной откровенностью рассказывал он, например, три десятилетия спустя, как в те годы своей литературной молодости он считал, что «пошлая» и «низкая» повседневность не может стать предметом изображения на театре, как он, бывало, внушал Шаховскому, что считает оскорблением искусства представлять на сцене, как мошенники вытаскивают деньги из карманов добрых людей и плутуют в карты. «Я был не совсем прав и не предчувствовал гоголевских «Игроков», — добавляет Аксаков. И далее пишет он, что тогда неясно и нетвердо понимал, что высокое художество может воспроизводить и пошлое и низкое в жизни, нисколько «не оскорбляя изящного в душе человеческой» [3].

Но, отдавая известную дань традиции, Аксаков, однако, в главном шел наперекор ей. В эстетике молодого Аксакова, несмотря на явно ощущаемую связь с эстетикой предшествующей эпохи, совершенно отчетливо пробиваются новаторские идеи. В своих рассуждениях

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 383.
[2] Там же, стр. 387.
[3] Там же, стр 102.

он порой прямо перекликается с Пушкиным. Но ему свойственна непоследовательность, а порой и неумение применить верные в своей основе принципы к конкретным явлениям искусства. Здесь — объяснение некоторых удивительных по своей наивности оценок Аксакова. С одной стороны, драматический писатель, в его представлении, — «наставник» публики, способный «двигать вперед образование словесности», а с другой — он видит, например, в Загоскине образцового народного писателя, в Шаховском — «нашего первого драматического писателя», в Писареве — чуть ли не гениального комедиографа, от которого можно было ожидать «комедий аристофановских...» Перед нами — не просто пример снисходительно «пристрастного слова дружбы». Нет, вопрос гораздо сложнее. Аксаков был, несомненно, искренне убежден в истинности своих приговоров. Они — отражение незрелости и противоречивости его общеэстетической позиции.

Эстетике Аксакова в эту пору не чужды еще и некоторые сословно-дворянские предрассудки. Аксаков борется за национально-самобытное искусство, которое было бы проникнуто «неподдельным чувством горячей любви ко всему отечественному». Но вместе с тем он не видит еще истинных путей решения этой задачи. Касаясь, например, оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский», он защищает композитора от справедливых упреков тех критиков, которые считали необходимым ввести в оперу «мотивы народные». «Опера, составленная из напевов народных, — пишет Аксаков, — всегда имеет более вид водевиля, нежели творения чисто художественного, самобытного» [1].

Взгляды Аксакова на сценическое искусство претерпели в 20-е годы определенную эволюцию. С каждым годом в них все более явственно начинает кристаллизоваться реалистическая тенденция.

Главное достоинство поведения актера на сцене — в естественности и простоте. Его игра должна быть воодушевлена живым чувством, стремлением «изучать искусство, представлять на театре людей не на ходулях, а в настоящем их виде» [2]. В этом состоит «единый способ» возвысить сценическое искусство. Аксаков все более решительно осуждает «мертвую холодность», «напыщенное методическое чтение» и все элементы той «несчастной методы», на которой воспитывались актеры старой школы.

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 395.
[2] Там же, стр. 403.

К концу 20-х годов на московской сцене уже гремели имена двух гениальных актеров — Мочалова и Щепкина, творчество которых открывало собой совершенно новую эпоху в истории русского театра. Это были актеры-новаторы, ломавшие омертвелые каноны классицистического искусства. На протяжении многих лет вокруг деятельности каждого из них кипела ожесточенная борьба, в ходе которой решались судьбы русского театра. Отношение к Мочалову и Щепкину являлось как бы своеобразной лакмусовой бумажкой, определявшей истинный характер общественной и эстетической позиции того или иного критика.

Щепкин и Мочалов помогли молодому Аксакову понять ограниченность старой театральной школы, наглядно убеждали его в преимуществе новых, реалистических принципов, которые они утверждали своим творчеством, открывавшим совершенно новые горизонты перед русским театром.

Еще в конце 20-х годов Аксаков увидел в игре Щепкина нечто принципиально важное для последующих судеб русского сценического искусства. Давая резкую отповедь реакционному булгаринскому листку, выступившему с очередным пасквилем на Щепкина, Аксаков затронул на этом конкретном случае вопрос исключительной важности — о глубокой враждебности так называемого «лучшего круга публики» к судьбам отечественного театра. Именно здесь Аксаков видит причину того печального факта, что искусство и талант Щепкина до сих пор по достоинству не оценены. Аксаков смело противопоставляет игру Щепкина тем «высоким» театральным канонам, которые превозносят «Северная пчела» и «лучший круг публики». «Приезжай бульварный фарсёр из Парижа, — с горечью восклицает он, — прощай Щепкин, бон-тон наш на него и не взглянет» [1]. Демократическое в своей основе искусство Щепкина враждебно «бон-тону», способному еще разве восхищаться «смешными местами и сильным огнем». Для Аксакова главное достоинство игры Щепкина — в верности натуре и в умении создавать характеры. Аксаков называет его «творцом характеров», «цельность» которых актер предпочитает «пустому блеску».

Аксаков первым в русской критике оценил то новое искусство, которое несли с собой Щепкин и Мочалов. Мало того. Он смело встал на защиту их творчества от покушений на него со стороны реакции.

Из номера в номер печатал Аксаков на страницах «Московского вестника», а затем — «Драматических прибавлений» к этому

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 389.

журналу свои короткие рецензии, в которых, невзирая на улюлюканье реакционной критики, неутомимо разъяснял новаторский смысл творчества любимых актеров, горячо пропагандировал их реалистическое искусство. В одной из рецензий Аксаков писал о Щепкине: «Искренно признаемся, что он приводит нас в затруднение! Беспрестанно хвалить — того и гляди, что прослывем пристрастными его почитателями, не говоря уже о том, что нажужжит «Северная пчела»; да и словарь похвальных выражений скоро истощится; порицать же его не за что» [1].

Особенно большое значение имела поддержка Аксакова для Мочалова.

Можно сказать, что вся деятельность Мочалова, от робких, ученических дебютов и до самого конца его жизни, прошла на глазах Аксакова. Еще задолго до того, как Мочалов стал общепризнанным кумиром русской сцены, когда ему с невероятными усилиями приходилось отстаивать право на свой стиль игры, на свое понимание задач сценического искусства, — в это время первым критиком, кто отнесся к молодому актеру с величайшим вниманием, кто поддержал его творческие поиски, помогал ему советом или дружеской критикой, был не кто иной, как Аксаков.

Герцен однажды сказал о Мочалове, что в нем выражен намек на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой веру в будущность России. Творчество Мочалова с его страстным, мятежным пафосом было одухотворено ненавистью к господствующему строю жизни и отражало героическую мечту о свободе человеческой личности. По своей идейной направленности оно было сродни творчеству Грибоедова и Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Мочалов разрушал оковы «старой методической игры» и закладывал вместе со Щепкиным основы реалистического театра. Конечно, бунтарское, плебейское по своей социальной основе искусство Мочалова не во всем могло быть одинаково доступно пониманию Аксакова — человека дворянского мировоззрения. Гениальным истолкователем этого артиста явился позднее Белинский. Но заслуга Аксакова состояла в том, что он «открыл» Мочалова и немало содействовал развитию его реалистического творчества.

---

[1] Цит. по кн. Е. Боброва «Литература и просвещение в России XIX в.», т. III, Казань, 1902, стр. 15. Эта статья Аксакова не входила до сих пор ни в одно из собраний его сочинений.

Полемика, начатая вокруг Мочалова в конце 20-х годов, была еще более ожесточенной, чем та, которую возбудил своим творчеством Щепкин. И понятно почему. Именно в сценическом исполнении трагедий оказался наиболее живучим эстетический кодекс XVIII века. Не удивительно, что новаторство Мочалова вызывало у староверов особенно яростное противодействие.

С поразительным единодушием реакция воевала с Мочаловым, укоряя его в недостаточной «светскости», в «излишней простоте», в отсутствии благородных манер и т. п. Ее кумиром был В. А. Каратыгин — этот, по выражению Белинского, «актер-аристократ», любимец Николая I, по острому слову Герцена, «лейбгвардейский трагик», в котором петербургская знать видела некий идеальный эталон трагического актера.

Знаменитый аноним П. Щ. — участник нашумевшей полемики о Мочалове и Каратыгине, развернувшейся в первой половине 30-х годов на страницах «Молвы», дал очень точную характеристику тех социальных сил, которые поддерживали эти два направления в сценическом искусстве: «Высшая часть, впрочем, ко всему довольно равнодушная, была за г. Каратыгина, средняя — наполовину, низшая — за г. Мочалова» [1].

Для Аксакова игра Мочалова явилась откровением. Именно она прежде всего убедила его в несостоятельности «старой методической игры», наиболее ярким воплощением которой был Каратыгин.

И вот что замечательно. За семь лет до выступления Белинского, за пять лет до начала упомянутой дискуссии о Мочалове и Каратыгине на страницах «Молвы» Аксаков напечатал в «Московском вестнике» «Письмо из Петербурга», в котором, впервые в русской критике, поставил вопрос о творчестве этих двух актеров. Мочалов и Каратыгин в представлении Аксакова — это не только два стиля игры, это две эпохи в истории русского театра.

Противопоставление Мочалова Каратыгину имело у Аксакова вполне определенный эстетический смысл. Но вместе с тем он не понимал, что принципиальные различия в игре этих актеров имели идейную подоснову, что они были людьми совершенно разных мировоззрений. Несколько позднее это глубоко почувствовал и блестяще показал Белинский.

Каратыгин, по мнению Аксакова, опытнее Мочалова. он

---

[1] «Молва», 1835, № 19, стр. 319.

превосходит его с точки зрения профессиональной актерской выучки. Но Мочалов в свою очередь превосходит Каратыгина талантом, умением проникать в самые сокровенные тайны человеческого характера.

И еще одна существенная особенность Мочалова. Путь, по которому он шел, никем не был ему указан; он сам «избрал его по внутреннему убеждению». Более того, ему приходилось преодолевать огромные «трудности, неприятности, препятствия» на этом пути[1]. Аксаков неоднократно возвращается к данному вопросу. В его статьях содержится скрытая полемика с теми «бонтонными» судьями, которые не принимали Мочалова, третировали его с позиций «светской эстетики», игру его называли чрезмерно «натуральною», впадающей в «излишнюю простоту», даже тривиальность.

Кто же эти судьи? Надо сказать, что некоторые из них находились в самых близких отношениях с Аксаковым. Это прежде всего Шаховской и Кокошкин. Проявляя на словах дружбу и расположение к Мочалову, они в действительности относились к нему крайне пренебрежительно, высокомерно, презирали его за плебейские манеры и вместе с тем, чувствуя громадную одаренность этого человека, пытались подчинить его могучий талант своим старозаветным представлениям о том, каким должно быть сценическое искусство. Ведая театральным делом в Москве, оба они пытались тянуть зависимого от них Мочалова к напыщенной театральности Каратыгина. В качестве режиссера и преподавателя Шаховской своими уроками терроризировал Мочалова, требуя от него механического повторения заданных поз, интонаций, жестов. Мочалову постоянно внушали мысль, что он должен ориентироваться на отдельных «ценителей изящного», а не на непросвещенного зрителя.

Театрально-критическая деятельность Аксакова свидетельствовала о том, что его эстетическая мысль развивалась в направлении, которое духовно все более должно было его отдалять от интересов группы Шаховского, Кокошкина, Загоскина. Продолжая и дальше сохранять с ними дружеские отношения, Аксаков все глубже осознавал великую правду того реалистического искусства, которую утверждали на сцене Мочалов и Щепкин. Это было характерное для него противоречие.

Аксаков радовался тем новым и свежим началам, которые утверждали в театре Щепкин и Мочалов. Но с горечью сознавал

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 442.

он, что и театральная дирекция и прочие власть имущие остаются глухи к художественному опыту великих новаторов русской сцены. И многое продолжало оставаться по-старому. Репертуар театра был жалок. Замечательные актеры обречены были играть в бездарных водевилях и мелодрамах, которые Гоголь остроумно называл «заезжими гостями» из французского театра. К концу 20-х годов Аксаков все более ясно начинал ощущать, сколь узки рамки, в которых вынужден развиваться современный театр. Он мечтает о создании нового, «народного» театра, к которому потянулось бы «низшее сословие». В этом отношении очень интересно его письмо к Шевыреву, датированное 12 мая 1830 года: «Не могу утерпеть и сообщу вам одну мою мысль. Театр русский оставлен публикою совершенно; никто не ездит, никакие пьесы, никакая игра и никакие приманки не действуют. Между тем много есть доказательств, что не недостаток денег тому причиной. Что же? *По-моему, надобно создать новый театр, народный!* (выделено мною.— *С. М.*). Все рамки и условия к черту! Начать с низшего сословия (ибо нет еще актеров для хорошего тона), наш репертуар — лоскутный ряд; свое тоже выкроено по чужой мерке; разных опытов (кроме народного) было много, большая часть неудачных... Теперь надобно явиться русскому Шекспиру, путь готов, указан неудачами других, он сделает чудо...» [1].

И содержанием и тоном это письмо свидетельствует о том, что оно было результатом серьезных размышлений Аксакова. Правда, он готов «назначить» в Шекспиры... Шевырева, как некогда он прочил в Аристофаны А. И. Писарева. Но это лишь снова говорит не только о безграничной снисходительности Аксакова к своим друзьям, но и об отсутствии у него, как это нередко проявлялось и в других случаях, достаточной принципиальности и стойкости в теоретических воззрениях.

Борьба молодого Аксакова за реалистическое искусство не ограничивалась сферой театра. Любопытен в этом отношении один эпизод в биографии критика, связанный с его выступлением в защиту Пушкина.

---

[1] ГПБ (список условных обозначений архивных источников см. на стр. 607—608). Архив С. П. Шевырева. Письма С. Т. Аксакова к Шевыреву (ср. «Русский архив», 1878, кн. II, стр, 52—53 и С. Т. Аксаков. Полн. собр. соч., т. III, стр. 437. Цитированное письмо воспроизведено в обоих печатных источниках с существенными сокращениями).

Имя Пушкина Аксаков впервые услышал в конце 1815 года из уст престарелого Держа́вина, сказавшего ему в день их знакомства: «Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей». Эти слова глубоко запали в душу Аксакова. Он внимательно следил за творчеством молодого поэта и был одним из ревностных его почитателей. Следы этого почитания ощущаются в упоминавшемся стихотворении Аксакова «Уральский казак». Имя Пушкина нередко встречается в аксаковских письмах.

Во второй половине 20-х и начале 30-х годов отношение подавляющей части русской критики к творчеству Пушкина стало, как известно, резко отрицательным. Гениальные произведения поэта, знаменовавшие собой истинное торжество реализма в искусстве, были объявлены «падением великого таланта». Подобная точка зрения отстаивалась не только реакционной журналистикой, всегда отрицавшей какое бы то ни было значение творчества Пушкина, но и некоторыми критиками, занимавшими во многих отношениях прогрессивные позиции — например, Н. Полевым, Надеждиным. Реалистические произведения Пушкина настолько опережали развитие современной ему русской литературы, что казались этим критикам чем-то странным, не соответствующим их представлениям об искусстве.

Подобные настроения были решительно чужды Аксакову, хотя в отдельных его суждениях порой и проскальзывала неодобрительная оценка отдельных сторон тех или иных произведений Пушкина.

Но когда к хору голосов, предававших анафеме Пушкина, присоединились «Московский телеграф», «Сын отечества» и другие журналы, вчера еще расточавшие ему «безусловные похвалы», Аксаков решил публично выступить. «При нынешнем, странном и запутанном, положении литературных мнений не должно молчать», — заявил он.

Весной 1830 года Аксаков напечатал открытое «Письмо к издателю «Московского вестника» о значении поэзии Пушкина. Отмежевываясь от тех журналов, которые вчера еще «пресмыкались во прахе» перед Пушкиным, а сегодня пытаются его «оскорбить» и «унизить», Аксаков характеризует Пушкина как великого художника, имеющего «такого рода достоинство, какого не имел еще ни один русский поэт-стихотворец». Критик отмечает свойственную Пушкину огромную изобразительную силу и вместе с тем умение глубоко проникать в тайники человеческой психологии, или, как пишет Аксаков, «силу и способность в изображениях не только

видимых предметов, но и мгновенных движений души человеческой». Вот почему многие стихи Пушкина, «огненными чертами врезанные в душу читателей, сделались народным достоянием» [1].

Нужно было обладать большим эстетическим чутьем, истинным пониманием искусства, чтобы наперекор почти всей критике писать в 30-м году подобные строки о Пушкине. Они — едва ли не лучшее из того, что сказано о Пушкине до Гоголя и Белинского.

Выступление молодого критика не прошло незамеченным для самого Пушкина. В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксаков свидетельствует: «Пушкин был им (письмом Аксакова. — *С. М.*) очень доволен. Не зная лично меня и не зная, кто написал эту статейку, он сказал один раз в моем присутствии: «Никто еще никогда не говаривал обо мне, то есть о моем даровании, так верно, как говорит, в последнем № «Московского вестника», какой-то неизвестный барин» [2].

Последнее слово тоже не лишено было оснований. Воздавая должное Пушкину, Аксаков вместе с тем всячески пытается показать «независимость» своих суждений от крайностей противоположных оценок творчества поэта, подчеркнуть свою позицию — «человека, не принадлежащего ни к одной из партий, разделяющих на разные приходы нашу отечественную словесность». В этом стремлении сгладить острые углы и всячески оттенить преимущество «умеренной середины» в решении вопросов, которые требуют прямых и резких приговоров, Пушкину не без оснований могло показаться нечто «барское».

Но общее направление эстетических воззрений молодого Аксакова соответствовало наиболее здоровым и передовым стремлениям его времени. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в оценке и Щепкина, и Мочалова, и Пушкина Аксаков шел против течения, хотя в политическом отношении он был человеком вполне благонамеренным и всегда чуждым сомнений в святости и неприкосновенности «устоев». Следует иметь в виду, что обе эти тенденции существовали в Аксакове не изолированно одна от другой. Политический консерватизм его мировоззрения, конечно, не мог не отразиться и в его взглядах на искусство. Отсюда характерные для Аксакова-критика противоречия и неспособность к широким выводам в области эстетики, хотя правильные наблюдения нередко, казалось, открывали ему возможность самых глубоких и плодотворных

---

[1] С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 156—157.
[2] Там же, стр. 123—124.

теоретических обобщений. Во всяком случае некоторые исследователи на протяжении многих лет считали именно Аксакова автором блистательных статей в «Молве», подписанных таинственными инициалами П. Щ., — статей, столь высоко оцененных Белинским. Это предположение нуждается в серьезной проверке[1]. Но сама по себе *возможность* подобной гипотезы — факт весьма красноречивый.

В истории русской театральной критики не может быть забыто имя Аксакова. Его деятельность в этой области имела немаловажное значение и для последующего развития Аксакова, подготовив его как художника к восприятию принципов реалистического искусства.

4

Получив еще в 1822 году часть отцовского имения, Аксаков отныне считался самостоятельным помещиком, душевладельцем. В течение нескольких лет он пытался энергично заниматься хозяйственной деятельностью. Но, убедившись в своей «неспособности», он в 1826 году покидает оренбургское поместье и со всем своим к этому времени уже довольно разросшимся семейством обосновывается в Москве.

Вскоре, однако, обнаружилась недостаточность средств для широкого столичного образа жизни, который вели Аксаковы. Литературные занятия не были регулярными и денег не приносили. Снова возникла мысль о службе.

Через посредство Шишкова, занимавшего с 1824 года пост министра просвещения, Аксаков был определен в середине 1827 года цензором Московского цензурного комитета, а вскоре стал «исправлять должность» председателя этого комитета.

Цензорская деятельность Аксакова продолжалась в общей сложности немногим более трех лет (исключая перерыв с января 1829 по май 1830 года, когда он был причислен к департаменту ми-

---

[1] Вопрос об авторстве статей П. Щ. нельзя пока признать окончательно решенным. См. ст. С. Осовцова «Разгадка П. Щ.» («Театр», 1953, № 9), в которой утверждается, что автором статей за подписью П. Щ. был Н. И. Надеждин. В. Нечаева, напротив, категорически поддерживает мысль об авторстве С. Т. Аксакова (В. С. Нечаева, В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве» 1829—1836, АН СССР, 1954, стр. 200 и 448).

нистерства народного просвещения «для особых поручений» и цензорских обязанностей не исполнял). То было трудное время в общественном развитии России. После разгрома декабризма правительство Николая I взяло курс на беспощадное искоренение свободомыслия. Особое внимание было обращено на усиление цензуры. Летом 1827 года министр просвещения Шишков представил на «высочайшее» утверждение проект нового цензурного устава, на котором незамедлительно появилась резолюция Николая I: «Быть по сему». Дух этого пресловутого, так называемого «чугунного», цензурного устава, который был два года спустя заменен новым, несколько более мягким, в течение многих лет продолжал еще оказывать влияние на деятельность цензоров.

В таких условиях мало могла проявиться самостоятельность Аксакова-цензора. Положительное решение вопроса о выпуске в свет любой книги могло оказаться роковым. Аксаков счел за благо соблюдать крайнюю осторожность. Санкционировав, например, в 1830 году издание «Марфы Посадницы» Погодина, он в самый последний момент приостановил выпуск этой драмы ввиду сложных политических обстоятельств, вызванных июльскими событиями во Франции и восстанием в Польше. Аксаков запросил на сей счет специальных указаний у самого начальника III Отделения. Вполне разделяя сомнения цензора, Бенкендорф «посоветовал» пока воздержаться «в предупреждение какой-нибудь неприятности» от обнародования пьесы Погодина «до перемены нынешних смутных обстоятельств» [1]. На цензорской совести Аксакова есть и один тяжкий грех, связанный с именем А. И. Полежаева. В 1832 году, разрешив к печати «Стихотворения» А. И. Полежаева, Аксаков произвел в этой книге многочисленные купюры, которые серьезно исказили полежаевские стихи.

И все-таки практическая деятельность Аксакова нередко вступала в противоречие с параграфами цензурного устава. «Осмотрительный» и «осторожный» Аксаков вместе с тем отличался и известной широтой взгляда на условия, необходимые для нормального развития литературы. Греч недаром жаловался на Аксакова, что он как цензор пропускает в «Телескопе» «самые гнусные и непозволительные ругательства» на его друга Ф. Булгарина [2]. Аксаков не терпел формализма и волокиты, воздерживался от мелочной

---

[1] Н. М. Павлов, С. Т. Аксаков как цензор, «Русский архив», 1898, № 5, стр. 86.

[2] «Русская старина», 1903, № 2, стр. 322.

опеки над изданиями и поэтому порой вызывал прямые нарекания со стороны цензурного начальства. Характерен рассказ автора «Литературных и театральных воспоминаний» о стычках с председателем Московского цензурного комитета князем Мещерским, «инквизиторские понятия о цензуре» которого приводили его «в ужас и негодование». По свидетельству Аксакова, Мещерский предрекал ему, что он со своими взглядами не продержится цензором и трех месяцев.

Хотя этот прогноз и оказался неточным, но Аксакову пришлось в конце концов прервать свою цензорскую деятельность не по своей воле.

Служба в цензурном ведомстве не помешала собственно литературным занятиям Аксакова. Он сотрудничал в «Московском вестнике» Погодина, в «Галатее» Раича. Постепенно начинает расширяться круг его интересов. Помимо театральных рецензий, он пишет заметки на литературные и исторические темы. В начале 1830 года Аксаков анонимно напечатал в «Московском вестнике» фельетон под названием «Рекомендация министра», проникнутый ранее не свойственной писателю общественно-сатирической тенденцией. Впрочем, незадолго перед тем — в 1828 и 1829 гг. — он опубликовал отрывки вольного перевода из 8-й сатиры Буало «На человека», содержавшие довольно колкие намеки на некоторые явления современной ему действительности: на взяточничество и плутни власть имущих, неправосудие, чинопочитание и проч. Перед нами в сущности даже не перевод сатиры Буало, а обычная для тех времен переделка «на русские нравы». Объектом сатиры Аксакова оказываются «грабежи и частных и квартальных; денной разбой в судах, в палатах у приказных» и т. д. Любопытно, что эти отрывки датированы 1823 годом. Аксаков, очевидно, долго не решался их печатать. Сатирическое жало фельетона «Рекомендация министра» (никогда до сих пор не входившего в собрание сочинений писателя) гораздо острее, и он недаром вызвал шумную реакцию не только в Москве, но и Петербурге. Здесь рассказано о том, как некий министр принимает совершенно неизвестного ему посетителя, явившегося с письмом от влиятельной особы. Оно было от человека, «которому нельзя было отказать». Магическое письмо оказывает влияние на «моральные принципы» министра, и он после минутного колебания говорит посетителю: «Ну хорошо, хоть я тебя не знаю и ты просишь важного места, на которое много искателей, но так и быть: *для его сиятельства* я напишу к NN, а он *для меня* даст тебе место». И министр подписывает рекомендацию неизвестному как «способному и знающему человеку».

Смысл фельетона не вызывал ни малейших сомнений: выгодное место честным путем, без протекции, никому не получить — таков неписаный закон, на котором основывается государственная система снизу доверху, — закон, нерушимость которого освящает своим поведением сам министр [1].

Фельетон Аксакова тотчас же обратил на себя внимание Николая I и привел его в ярость. Бенкендорф сообщил генерал-губернатору Москвы Голицыну, что его величество «с неудовольствием изволил заметить» статью в «Московском вестнике», которая «...кроме явного неприличия, писана слогом площадным, позорящим отечественную словесность» [2]. Было предписано посадить цензора, пропустившего эту статью, на две недели на гауптвахту за «неосмотрительность», а кроме того, выяснить личность сочинителя.

Московский губернатор произвел специальное расследование. Погодину, издателю «Московского вестника», предложили назвать автора злополучной статьи. Погодин отпирался, заявив, что статья получена от неизвестного. Лишь после ареста цензора и когда опасность стала угрожать самому Погодину, Аксаков явился в полицию и сообщил все обстоятельства, связанные с этим инцидентом.

Аксаков был немало обеспокоен возможным исходом этой истории. Над ним нависла угроза быть высланным из Москвы. Сообщая Шевыреву, что злосчастная статья в «Московском вестнике» «не понравилась правительству», он высказывает опасение, как бы она не повредила его службе, и замечает далее, с какой радостью, «если бы не дети», он «убежал бы на Урал» [3].

В III Отделении от Аксакова потребовали объяснений. На него было заведено «дело». В этом «деле» имеется два письма Аксакова — на имя Голицына и Бенкендорфа. В первом из них, датированном 10 февраля 1830 года, Аксаков писал, что «Рекомендация министра» представляет собой не что иное, как «анекдот смешной,

---

[1] О том, в какой мере «анекдот», рассказанный Аксаковым, был типичен для тогдашних нравов, свидетельствует любопытное письмо, полученное Погодиным от одного своего петербургского корреспондента. Сообщая о переполохе, вызванном «Рекомендацией министра», он добавляет, будто бы в столице убеждены, что «это здесь случилось в самом деле с Лобановым» и что «Лобанов жаловался на вас». Речь идет о министре юстиции Д. И. Лобанове-Ростовском (см. Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. III, СПБ. 1890, стр. 84).

[2] ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., оп. 5, д. № 446, ч. II, 1830, л. 4.

[3] «Русский архив», 1878, кн. II, стр. 52.

часто в обществе повторяемый» и что напрасно правительство «приняло его с дурной стороны». Аксаков хотя и называл свой поступок «неосторожным», но заверял генерал-губернатора «честью русского дворянина», что в его статье «не было никакого злого намерения» и что он лишь имел в виду «поставить веселую статью в журнал» [1]. Тем же числом помечено и другое письмо, адресованное Бенкендорфу. Аксаков писал в нем: «Я слыхал этот анекдот, рассказываемый в обществе, и, по несчастию, пришла мне мысль доставить удовольствие посмеяться и читателям журнала, а для того я с точностью передал все слышанные мною грубые выражения: вот вся моя вина». На этом письме была наложена резолюция Бенкендорфа: «Отвечать ему, что заглавие было неприлично... <нрзб>. Дело кончено» [2].

Еще бо́льшие неприятности пришлось вскоре пережить Аксакову в качестве цензора.

Под новый, 1832 год вышла первая книжка нового журнала «Европеец», издателем которого был И. В. Киреевский, а цензором — Аксаков. Журнал открывался статьей издателя «Девятнадцатый век». В ней упоминались некоторые революционные события конца XVIII — начала XIX века, отмечался притягательный, «электрический» характер слов «свобода, разум, человечество», подчеркивалась мысль о том, что XIX век должен быть ознаменован важными переменами в жизни общества и литературы. Эта умеренно-либеральная по своему содержанию статья вызвала целую бурю при дворе, в Петербурге, и была признана абсолютно неблагонамеренной. Киреевского официально объявили человеком «неблагомыслящим и неблагонадежным»; было предписано издание «Европейца» немедленно прекратить, а цензору Аксакову, «пропустившему первый нумер оного, сделать строгое замечание».

Едва успел Аксаков пережить одну беду, как грянула другая. В январе того же 1832 года в Москве вышла цензурованная им

---

[1] ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., оп. 5, д. № 446, ч. II, л. 7—7 об.

[2] Там же, л. 9.

Благополучному исходу этого инцидента содействовало, повидимому, еще одно обстоятельство. За Аксакова заступился кн. А. А. Шаховской. Он написал специальное письмо Бенкендорфу, своему бывшему сослуживцу, и заверил его, что Аксаков — человек «благонамеренный, друг спокойствия и порядка», написавший злополучную статью («которую бы, конечно, не должен был писать») отнюдь «не от вольнодумства» («Русский архив», 1904, № 3, стр. 515—516).

небольшая книжечка «Двенадцать спящих будочников», подписанная Елистратом Фитюлькиным. Этот псевдоним, как выяснилось, принадлежал молодому поляку, выученику Московского университета, литератору Ивану Васильевичу Проташинскому. Написанная в форме пародии на «Двенадцать спящих дев» Жуковского, «поучительная баллада» Фитюлькина представляла собой не лишенную остроумия сатиру на нравы полицейских властей, страдающих чрезмерной склонностью к «развеселительным напиткам».

Эта книжка подняла на ноги полицейские власти обеих столиц.

Первым откликнулся на книжку Проташинского московский обер-полицмейстер. Он усмотрел в ней оскорбительное изображение действий московской полиции, и в рапорте на имя генерал-губернатора Москвы Голицына от 6 февраля 1832 года писал, что, по его мнению, «цель как сочинителя, так и г. цензора очернить полицию в глазах непонимающей черни и поселить, может быть, чувство пренебрежения, а потом неповиновения, вредное во всяком случае». В заключение обер-полицмейстер испрашивал указаний относительно того, как поступить с сочинителем, а кроме того, просил «не оставить без строгого взыскания цензора Аксакова», который «решился пропустить книгу с пасквилью на службу полицейскую — государственную»[1].

Голицын направил все дело Бенкендорфу, через которого оно стало известно Николаю I. Решение последовало тотчас же. 16 февраля 1832 года Бенкендорф писал министру просвещения Ливену: «Государь император, прочитав оную книжку, изволил найти, что она заключает в себе описание действий московской полиции в самых дерзких и неприличных выражениях; что, будучи написана самым простонародным площадным языком, она приноровлена к грубым понятиям низшего класса людей, из чего видимо обнаруживается цель распространить чтение ее в простом народе и внушить оному неуважение к полиции». Главным виновником издания упомянутой книжки был признан Аксаков, в отношении которого, как писал Бенкендорф, его величество заключил, что он «вовсе не имеет нужных для звания его способностей и потому высочайше повелевает его от должности сей уволить»[2]. Генерал-губернатору было

---

[1] ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., оп. 5, д. № 446, ч. II, л. 13.
Девятью днями позже выступила со своеобразной «рецензией» на эту книжку «Северная пчела». В газете было выписано полное название баллады и сказано всего два слова: «Ни слова!» Так выглядела эта единственная в своем роде «рецензия»-донос («Северная пчела», 1832, № 37, от 15 февраля). Но на сей раз Булгарин с Гречем опоздали. Их опередил сам московский обер-полицмейстер.

[2] «Русская старина», 1903, № 2, стр. 315.

приказано книжку из обращения изъять, а сочинителя «удалить из Москвы»[1].

Так завершилась цензорская служба Аксакова. Сам он воспринимал расправу над собой как акт грубой несправедливости и произвола. Под влиянием подобных настроений он написал в 1832 году резкое стихотворение «Стансы», направленное его другу А. А. Кавелину, служившему при дворе в качестве воспитателя наследника, в ответ на соболезнование по случаю увольнения со службы и его замечание, что «как ни верти, а такая отставка пятно»[2]. С чувством собственного достоинства, с необычной для него резкостью и гневом он пишет о своей решимости «перенести царя неправость»[3].

Оставшись без службы, Аксаков вынужден был более интенсивно взяться за перо. Интересным представляется необследованный до сих пор факт биографии писателя, касающийся его сотрудничества в «Молве» в 1832 году.

Когда в 1857 году в Москве началось издание еженедельной газеты «Молва», во главе которой фактически стоял Константин Аксаков, в ней время от времени стали появляться статьи, подписанные таинственным псевдонимом: «Сотрудник «Молвы» 1832 года». Еще в начале нынешнего века Д. Языков высказал догадку о принадлежности этого псевдонима С. Т. Аксакову[4]. В музее «Абрамцево» хранится письмо писателя к А. И. Панаеву от 15 мая 1857 года, в котором он прямо сообщает: «Письма Сотрудника «Молвы» 1832 года» — пишу я, а также многие полемические заметки»[5].

Участие Аксакова в надеждинской «Молве», очевидно, не было секретом для его друзей и в 30-е годы. Узнав, что Аксаков уволен

---

[1] ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., оп. 5, д. № 446, ч. II, л. 19.

[2] ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 2, д. № 3, лл. 9—9 об.

[3] Вспоминая полтора десятилетия спустя этот эпизод, Аксаков занес в «Семейный альбом» интересную запись: «Эта отставка была моим торжеством, и общественное мнение щедро меня за нее наградило». Аксаков рассказывает далее, с каким наслаждением он, взбешенный посланием Кавелина, написал свои «Стансы» и, подписав их своим именем, направил по почте в Зимний дворец. «Письмо было распечатано где следует, — замечает он, — стихи списаны и доставлены куда следует... Поступок неразумный; но в то время было для меня очень приятно сконфузить лица, получившие эти стихи. Последствий никаких не оказалось» (Абрамцево, рук. I, л. 7; см. также кн.: Н. П. Пахомов, Абрамцево, М. 1953, стр. 32—33).

[4] «Исторический вестник», 1908, № 3, стр. 1034.

[5] Абрамцево, рук. 69.

из цензуры, влиятельные братья Княжевичи предложили ему содействие в устройстве на службу по департаменту финансов. При этом один из братьев предупреждал Аксакова, что работа в департаменте «так много потребует времени», что едва ли у него «будут оставаться свободные минуты для «Молвы» [1].

Перелистывая «Молву» за 1832 год, мы обнаружили в ней по крайней мере 11 заметок и рецензий, в отношении которых авторство Аксакова можно считать бесспорным. Это по преимуществу театральные обозрения, подписанные инициалами С. А., а в одном случае С. А-в [2].

Аксаков внимательно следил за театральной жизнью Москвы. Наряду с подробным разбором игры актеров в его заметках ставились и общие вопросы сценического искусства. Основная мысль, которая пронизывает рассуждения Аксакова, состоит в том, что искусство должно быть многообразно связано с жизнью. С этой точки зрения он подвергает резкой критике ничтожные развлекательные водевили, постановку которых всячески поощряла театральная дирекция. Касаясь одного из таких водевилей, Аксаков замечает: «Прошла пора, когда за переводы таких пустяков *ставили* в первые драматические писатели, прошла пора смотреть эти пустяки» [3]. На страницах «Молвы» Аксаков продолжает борьбу за Мочалова, за реалистические принципы его искусства.

5

Увольнение из цензурного комитета было чревато для Аксакова серьезными последствиями. Дело обернулось таким образом, что формулировка увольнения от должности «по неспособности к оной», подлежавшая внесению в служебный формуляр, преграждала ему дорогу к службе. Аксаков оказался вынужденным лично обращаться к Бенкендорфу. Только после длительной переписки были сняты препятствия к дальнейшей служебной деятельности Аксакова.

Летом 1832 года В. Панаев сообщил Аксакову об открывающейся в Петербурге вакансии управляющего конторой театров и

---

[1] ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, д. № 34, л. 1 об.

[2] Есть основания предполагать, что участие Аксакова в «Молве» отнюдь не ограничивалось 1832 годом. Ряд театральных статей и заметок, опубликованных в последующие годы на страницах этой газеты, хотя и без подписи или под псевдонимами, содержат немало доказательств их принадлежности Аксакову.

[3] «Молва», 1832, № 31, стр. 122.

предложил свою помощь в хлопотах перед министром, с которым уже имел предварительный разговор[1]. Но предложение В. Панаева было отклонено. Аксаков отказался уехать из Москвы и «стать под команду» директора императорских театров князя Гагарина. Наконец, в октябре 1833 года он получил назначение — в Константиновское землемерное училище, в качестве инспектора. Полтора года спустя училище было преобразовано в межевой институт. Аксаков стал его первым директором.

На этом новом поприще, на котором Аксаков пробыл до конца 1838 года, он развил необычайную энергию. В короткий срок межевой институт был превращен в образцовое учебное заведение. В архивных делах института хранится официальное письмо на имя Аксакова, подписанное главным директором межевого корпуса, в котором содержится высокая оценка деятельности института и его директора[2].

Служба в цензуре, сотрудничество в «Молве» расширили круг литературных знакомств Аксакова. Он близко сходится с Н. Ф. Павловым, Шевыревым, Языковым, Баратынским, Надеждиным. Летом 1834 года серьезно обсуждался вопрос об участии Аксакова в издании «Телескопа». Речь шла не об обычном литературном сотрудничестве. Как и несколько лет тому назад, Аксаков должен был официально разделить ответственность за издание журнала. Об этом прямо свидетельствует дошедшее до нас письмо М. М. Карниолина-Пинского от 16 мая 1834 года, в котором он всячески убеждает Аксакова в целесообразности стать соиздателем «Телескопа»[3]. Идея эта не осуществилась: в 1831 г. — потому что Аксаков не считал для себя возможным совмещать обязанности цензора и соиздателя, а в 1834 г. — повидимому, из-за того, что в журнале все более видную роль стал уже играть Белинский.

---

[1] ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, д. № 52, лл. 9—10.

Это письмо В. И. Панаева послужило поводом к недоразумению. В. Шенрок, датируя письмо 27 июля 1842 г., ссылается на него в качестве *доказательства* того, что С. Т. Аксаков еще в начале 40-х гг., после окончательного выхода в отставку, не оставил якобы мысли о службе («Журнал министерства народного просвещения», 1904, № 11, стр. 17). Датировка письма В. Шенроком и выводы, которые он из него делает, ошибочны. Во-первых, на автографе письма ясно обозначена дата — 27 июля *1832* г. Во-вторых, кн. С. С. Гагарин, о котором упоминает Панаев, был директором императорских театров до мая 1833 г.

[2] ЦГАДА, ф. Константиновского межевого института, оп. 1, д. № 1, лл. 11—11 об.

[3] ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, д. № 79, лл. 30—30 об.

С. Т. Аксаков познакомился с Белинским через своего сына Константина, участвовавшего вместе с Белинским в кружке Станкевича. Отношения С. Т. Аксакова и Белинского в 30-е годы были довольно дружественными. В доме Аксакова радушно принимали молодого критика. Здесь он, кстати, впервые встретился в 1835 году с Гоголем; Аксаковы выручали Белинского из денежных затруднений, которые тот часто испытывал после закрытия «Телескопа». В 1837 году Аксаков содействовал изданию «Оснований русской грамматики» Белинского. В следующем году Аксаков в качестве директора Константиновского межевого института предоставил Белинскому место преподавателя русского языка. Это было связано с серьезными хлопотами для Аксакова: Белинский не имел диплома об окончании университета, а стало быть, и формального права заниматься педагогической деятельностью. Аксаков настоятельно просил попечителя института содействовать утверждению Белинского, который, по его словам, «оказал отличные способности к преподаванию» и «известен сочиненной им грамматикой, принятой с большим одобрением» [1]. Это официальное представление вполне соответствовало внутреннему убеждению С. Т. Аксакова. 15 августа 1838 года он сообщал сыну Константину, путешествовавшему в то время за границей: «10-го числа я вступил в должность мою и уже сделал приемный экзамен, на котором подвизался со мною Виссарион. Я им очень остался доволен; он может быть весьма не рядовым преподавателем». И затем добавляет, имея в виду свою предстоящую отставку: «Теперь хорошо, а каково-то будет бедному Виссариону, когда я выду» [2]. Но Белинский, загруженный работой в «Московском наблюдателе», вскоре сам подал заявление об уходе из института.

Дружба Аксаковых и Белинского отнюдь не означала ни общности их идейных позиций, ни единства их взглядов на искусство. Белинский сохранял приятельские отношения с Константином Аксаковым и высоко ценил С. Т. Аксакова, искренне уважал его «за верное чувство поэзии», «за добрый и благородный характер», хотя их «понятия», как это хорошо сознавал Белинский, далеко не во всем совпадали [3]. Но немного времени спустя, когда в России накалилась общественная атмосфера, произошло резкое размежевание

---

[1] См. В. Якушкин, Новые материалы для биографии В. Г. Белинского, «Русская старина», 1900, № 5, стр. 418, 421.

[2] «Литературное наследство», 1950, т. 56, стр. 115—116.

[3] См. В. Г. Белинский, Письма, т. II, СПБ. 1914, стр. 25.

политических лагерей; Белинский с Аксаковыми оказались по разные стороны баррикад, стали идейными противниками.

К началу 30-х годов относится крупное событие в жизни С. Т. Аксакова. Весной 1832 года в Москве проездом остановился Гоголь. Две части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» сделали его имя широко известным в России. Через Погодина он был введен в дом Аксакова. Это знакомство переросло вскоре в дружбу, продолжавшуюся до самой смерти Гоголя, и сыграло исключительно важную роль в литературной судьбе Аксакова — в пробуждении его художественного таланта и создании его реалистических произведений.

Аксаков как-то сказал, что давно подозревал в себе художественный талант, но направление этого таланта было бесконечно чуждо той литературной среде, которая окружала его в 20-е годы, и она в немалой степени мешала раскрыться дарованию писателя. В следующем десятилетии старый круг аксаковских знакомых по существу распался. Писарев давно умер, Шаховской и Кокошкин окончательно устарели и потеряли свое влияние, а самое главное— духовное рзвитие Аксакова шло в направлении, которое все более отдаляло его от старых друзей. Творчество Пушкина и Гоголя, знаменовавшее собой переворот в русской литературе, явилось могучим толчком, пробудившим к жизни Аксакова-художника. Что касается Гоголя, то его роль была особенно велика и непосредственна. Ю. Самарин, близко наблюдавший обоих писателей, вспоминал, с каким увлечением, бывало, слушал Гоголь изустные рассказы Аксакова и как настойчиво призывал его взяться за перо. «Я помню, — рассказывает Самарин, — с каким напряженным вниманием, уставив в него глаза, Гоголь по целым вечерам вслушивался в рассказы Сергея Тимофеевича о заволжской природе и о тамошней жизни. Он упивался ими, и на лице его видно было такое глубокое наслаждение, которого он и сам не в состоянии был бы выразить словами. Гоголь пристал к Сергею Тимофеевичу и потребовал от него, чтобы он взялся за перо и записал свои воспоминания. Сначала Сергей Тимофеевич об этом и слышать не хотел, даже почти обижался; потом мало-помалу Гоголю удалось его раззадорить» [1]. О роли Гоголя в судьбе Аксакова-художника свидетельствует и другой хорошо осведомленный современник — И. Панаев. Произведения Гоголя, писал он, явились для Аксакова «новым словом» и «пробудили в нем новые, свежие силы для будущей дея-

---

[1] Ю. Ф. Самарин, Сочинения, т. I, М. 1877, стр. 263.

тельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал «Семейство Багровых» [1].

В 1834 году Аксаков опубликовал небольшой очерк «Буран». Это произведение, хотя в значительной степени и подготовленное всем предшествующим эстетическим развитием Аксакова, явилось началом его деятельности как крупного художника.

В «Буране» намечается уже центральное направление аксаковского творчества, проявляется главная черта его творческого метода. Глубокий интерес к живой действительности — вот что лежит в его основе. Еще прежде в качестве театрального критика Аксаков провозглашал «верность натуре», естественность, простоту самыми важными принципами искусства. Но в своем собственном творчестве 10—20-х годов он все-таки был еще далек от них. Теперь эти принципы начинали становиться достоянием Аксакова-художника.

Несколько страничек «Бурана» представляли собой первый творческий опыт художника-реалиста. Картина разбушевавшейся природы выписана в очерке с такой силой поэтической выразительности, с такой мужественной простотой и лаконичностью красок, как это умел делать до сих пор в русской прозе один Пушкин. Аксаковское описание бурана стало классическим образцом пейзажной живописи в нашей литературе.

Первым это описание оценил Пушкин. Свидетельство тому — знаменитое изображение снежной метели во второй главе «Капитанской дочки», несомненно вдохновленное Аксаковым. Достаточно лишь сопоставить соответствующие места обоих произведений, чтобы почувствовать, насколько Пушкин был близок — даже в текстуальном отношении — к автору «Бурана». Два десятилетия спустя многие пейзажные мотивы аксаковского очерка как бы отразились еще в одном гениальном произведении — «Метели» Толстого. И оно, кстати, не прошло мимо внимания Аксакова. В феврале 1856 года он писал Тургеневу: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что «Метель» — превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих...» [2]

Освободившись от должности директора Константиновского межевого института, Аксаков решил окончательно выйти в отставку и зажить «свободным человеком». После смерти отца (1837 г.)

---

[1] И. И. Панаев, Литературные воспоминания, М.—Л. 1950, стр. 171.

[2] «Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 583.

он унаследовал изрядное хозяйство, которое в общей сложности теперь составляло около 850 крепостных крестьян и несколько тысяч десятин земли. В большом барском доме Аксакова в Москве с его обширным двором, людскими, набитыми прислугой, садом и даже баней в саду царила атмосфера патриархальной, помещичьей жизни. В числе постоянных гостей здесь бывали Гоголь и Тургенев, когда они приезжали в Москву, Щепкин, Киреевские, Погодин, Шевырев.

С начала 40-х годов в сознании Аксакова происходят заметные перемены. Это время было ознаменовано серьезными сдвигами в общественной жизни России. Повсеместное обострение социальных противоречий, мощный подъем антикрепостнического, освободительного движения — все это чрезвычайно активизировало политическую обстановку в стране. Оживление общественной жизни в России возбуждает в Аксакове стремление глубоко осмыслить различные явления действительности. Постепенно и как бы незаметно для себя он все больше вовлекался в сферу политических интересов.

В общественном движении 40-х годов начинает происходить процесс политического размежевания. В одном лагере оказываются идеологи «официальной народности», славянофилы, либеральные западники, которых, несмотря на известные различия, сближала боязнь активной творческой силы народа, ненависть к революции; в другом—молодая революционная демократия, возглавляемая Белинским.

Наиболее видными деятелями славянофильства в 40-е годы были старший сын писателя — Константин Аксаков, Хомяков, Иван Киреевский, Самарин. Основой славянофильской доктрины являлось признание особых исторических путей развития России, «призванной спасти человечество» от политических катастроф и революционных потрясений, которыми угрожает миру Запад. Главная предпосылка успешного выполнения Россией этой миссии состояла, по мнению славянофилов, в незыблемости феодально-помещичьего строя, монархической власти и православной веры, которую они считали источником «духовной силы» народа. Славянофилы были, по верному определению Белинского, «витязями прошедшего и обожателями настоящего». Насквозь идеалистическая философия истории славянофилов была связана с их фальшивым народолюбием, с их реакционным представлением о русском народе, в котором они видели воплощение кротости и религиозного смирения. И хотя в речах и статьях славянофилов содержались порой элементы критики тех или иных сторон самодержавно-бюрократического строя, хотя некоторые из них даже подвергались преследованиям и репрес-

сиям со стороны царского правительства — все это не колеблет общего вывода о политическом характере этого течения. Вспоминая в эмиграции битвы против славянофилов, Герцен писал: «...мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви» [1].

Дом Аксакова превратился в центр славянофильства. Патриарх этого дома нередко бывал свидетелем, а порой и участником оживленных дискуссий, которые вели его сыновья. При всей своей близости к славянофилам Аксаков, однако, во многом не разделял их теоретических воззрений. Ему претили их догматизм и доктринерство. Он не разделял их увлечения немецкой идеалистической философией и посмеивался над философическими увлечениями своего любимого сына Константина, являвшегося сторонником наиболее крайних догм славянофильства. В одном из семейных альбомов Аксаковых помещено стихотворение С. Т., называющееся «Костенька». В нем вышучивается «юноша прекрасный», слывший неумеренным «почитателем немцев» [2]. Философские крайности своего сына, а также его склонность к доктринерству С. Т. Аксаков объяснял его недостаточным знанием жизни и оторванностью от действительности. Это, по мнению отца, является главной причиной того, что убеждения и истины, которые сам Константин почитал «непреложными» и «святыми», не прилагаемы «ни к какому обществу» [3].

С. Т. Аксаков называл себя человеком «совершенно чуждым всех исключительных направлений» и любящим «прекрасные качества в людях, не смущаясь их убеждениями, если только они честные люди». И он добавляет затем в том же письме к В. П. Безобразову, которое мы цитируем: «Может быть, это бесцветно, но я откровенно говорю это всем, и все так называемые славянофилы знают это очень хорошо» [4].

Хотя позиции С. Т. Аксакова и славянофилов не были тождественны, однако общее направление его политической мысли было таково, что в ожесточенной идейной борьбе, которая развернулась в 40-е годы, он оказался в одном лагере с ними. В этой связи становится понятным наступивший перелом в отношениях С. Т. Аксакова и Белинского. В этой же связи следует рассматривать и ту

---

1 А. И. Герцен, Былое и думы, Л. 1946, стр. 284.
2 ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, л. 3.
3 «И. С. Аксаков в его письмах», ч. I, т. II, М. 1888, стр. 303.
4 «Новое время», 1901, № 9003, 22 марта.

роль, какую играл Аксаков в борьбе между Белинским и славянофилами за Гоголя. Аксаков немало пытался использовать свою дружбу с Гоголем, чтобы парализовать влияние на него со стороны великого критика. Важнейшие события в истории своих отношений с Гоголем Аксаков впоследствии запечатлел в известных мемуарах «История моего знакомства с Гоголем».

6

В 1843 году Аксаков купил под Москвой имение Абрамцево. Расположенное в пятидесяти пяти верстах от города, на живописном берегу Вори, оно служило Аксакову местом отдыха и труда.

В это время Аксаков уже слыл известным литератором, давно обладал репутацией человека с тонким художественным вкусом. Знакомства с ним ищут видные писатели, актеры. Человек большой души, мягкий, добрый, отзывчивый, Аксаков привлекал к себе людей порой самых различных политических убеждений; в вопросах житейских, литературных он неизменно служил нравственным авторитетом.

Тихая, размеренная, безмятежная жизнь в Абрамцеве рождала в душе Аксакова воспоминания о днях далекого детства и юности, о радостях общения с богатой и щедрой природой Оренбургского края, о первых удачах рыболова и охотника. С давних времен он вел подробные охотничьи дневники, тщательно фиксируя в них победы, которые приносили ему удочка и ружье. В 1840 году он написал первый отрывок из своих воспоминаний, положивший начало его «Семейной хронике».

В середине 40-х годов начало ослабевать здоровье Аксакова. Заболел глаз, потом — другой. Все труднее становилось писать самому. Приходилось обращаться за помощью к домашним, писавшим под его диктовку. И чем сильнее давал о себе знать недуг, тем с большим самозабвением предавался работе Аксаков.

Он задумал книгу. «Записки об уженье» — так прозаически называлась она. Это была удивительная книга, которая, по словам рецензента журнала «Современник», дает «более, нежели обещает заглавие» [1]. Написанная, по свидетельству Аксакова, для «освежения» своих воспоминаний и «для собственного удовольствия», рассчитанная, казалось, на узкий круг читателей-рыболовов, она неожиданно для самого автора обрела очень широкую аудиторию и заставила Россию заговорить об Аксакове как о крупном худож-

---

[1] «Современник», 1847, № 6, стр. 114.

нике. Описание различных видов рыб сочетается здесь с глубоким проникновением в жизнь природы. Уже современный Аксакову читатель увидел в «Записках об уженье рыбы», как была названа книга во втором издании, не практическое руководство к рыбной ловле, но *произведение искусства*, таящее в себе радость поэтического открытия и познания действительности.

Это страстная и вдохновенная книга. Она вся проникнута характерным аксаковским «чувством природы». Его сущность заключалась не в эстетическом любовании «красотами природы», которое, по мнению писателя, есть не что иное, как «любовь к ландшафту, декорациям», свойственная и черствым, сухим людям, погруженным «в свой грязный омут» и ни о чем другом не способным думать, кроме как «о своих пошлых делишках», но в стремлении человека проникнуть в таинства окружающего нас мира. Аксаков называет такое стремление благородным, ибо оно возвышает человеческую душу, очищает ее от всяческой скверны, от «мелочных, своекорыстных хлопот», «самолюбивых мечтаний». Активное общение с природой вдохновляет мысль человека, придает ему «твердость воли и чистоту помышлений», обдает его «свободным, освежительным воздухом».

Аксаковское «чувство природы» глубоко гуманистично. «Не оскорбленная людьми жизнь природы», которую живописует Аксаков, — это царство свободы. Вот почему рыбная ловля, охота — не просто приятное времяпрепровождение. Они воспитывают благородные чувства в человеке, закаляют его волю, характер, сближают людей не только с природой, но и между собой и, таким образом, содействуют некоему духовному оздоровлению общества.

Такова философия Аксакова — охотника и писателя. И надо сказать, что некоторые ее элементы не прошли бесследно для русской литературы. Перед величием природы умолкают все низкие страсти человека. Это была любимая мысль Тургенева, Л. Толстого.

«Записки об уженье» выдержали за одно десятилетие три издания. Успех этой первой книги побудил Аксакова написать другую. Она называлась «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» и вышла в 1852 году.

Для Аксакова охота — это состязание человека с природой, в котором победителями оказываются разум, воля, упорство, выучка. Звери, птицы в представлении Аксакова — не мишень для охотничьего ружья, но большой, многосложный мир, в который должен проникнуть пытливый ум человека. Охота — это воспитание человека. Аксаков никогда не убьет птицу, не подозревающую об

опасности. Главное в охоте — не выстрел, в результате которого замертво падает зверек или птица, но радость общения с природой, поэзия познания, борьбы и победы. Аксаков не смотрел на охоту как на увеселение. Он не случайно, например, предпочитал всегда охотиться один, «а прислуги, — по его собственному признанию, — терпеть не мог» на охоте [1].

В «Записках ружейного охотника» с еще большей силой, чем в предшествующей книге, выявилась та особенность таланта Аксакова, которая создала ему славу выдающегося поэта русской природы.

Аксаков был тончайшим знатоком природы. С какой поразительной наблюдательностью фиксирует он «характер», повадки своих вальдшнепов, бекасов и разнородных куличков! Какое бесконечное разнообразие «портретов»! С какой неистощимой изобретательностью он воспроизводит, например, малоуловимые разновидности их «говора»! Силой большого таланта автор приковывает к своим пернатым героям внимание читателя и заставляет его с таким участием следить за их судьбой, словно перед ним люди. Гоголь недаром писал однажды Аксакову, что хотел бы видеть героев второго тома «Мертвых душ» столь же живыми, сколь его птицы [2].

«*Такой* книги еще у нас не бывало», — писал Тургенев автору «Записок ружейного охотника» [3]. Аксаков действительно создал новаторское произведение, ничего общего не имевшее с теми многочисленными «книгами для охотников», традиции которых в России восходят к XVIII веку.

«Записки» Аксакова хотя и были отчасти связаны преемственностью с определенной литературной традицией, вместе с тем представляли собой принципиально новое явление в русской литературе. Они отличались прежде всего гораздо большей достоверностью фактического материала. Аксаков писал лишь о том, чему сам был свидетель, что сам видел и слышал. Эта книга давала большой и свежий материал для ученых-натуралистов. Многие наблюдения Аксакова давно и прочно вошли в научный оборот.

Но главное достоинство «Записок ружейного охотника» состояло в том, что Аксаков, по словам Чернышевского, выступал в своем «классическом сочинении» одновременно как «художник и

---

[1] ИРЛИ, Р—I, оп. 1, д. № 10, лл. 15—15 об.

[2] Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XIV, АН СССР, 1952, стр. 250.

[3] «Вестник Европы», 1894, № 1, стр. 337.

охотник вместе»[1]. В этом критик видел секрет успеха книги. «Что за мастерство описаний, — восклицал Чернышевский, — что за любовь к описываемому и какое знание жизни птиц! Г. Аксаков обессмертил их своими рассказами, и, конечно, ни одна западная литература не похвалится чем-либо, подобным «Запискам ружейного охотника»[2].

Книга Аксакова получила у современной критики всеобщее признание. Не только, впрочем, критики, но самые выдающиеся писатели выступили в печати с восторженной оценкой «Записок» Аксакова. «Превосходная книга С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» облетела всю Россию», — писал в «Современнике» Некрасов[3]. Тургенев напечатал на страницах того же журнала две статьи, в которых с энтузиазмом приветствовал новое произведение Аксакова.

В 1855 году вышло еще одно произведение Аксакова — «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах», завершившее весь охотничий его цикл. Эти три книги, образующие в совокупности своеобразную трилогию, дают обширный материал для наблюдений над особенностями художественного мастерства Аксакова.

Вся трилогия отличается ясно выраженным единством стилистической манеры писателя. Аксакову свойственна ровная, повествовательная интонация, совершенно чуждая какой бы то ни было риторики, фразеологической пышности, внешней эмоциональной приподнятости. Тон повествования очень сдержанный, спокойный, «будничный». Письмо Аксакова никогда не тяготеет к яркой краске. Даже рассказывая о самых удивительных повадках героев своего охотничьего эпоса или о самых необычайных происшествиях, которые приходилось переживать охотнику, Аксаков никогда не изменяет этой эпической повествовательной манере.

По свидетельству Л. И. Арнольди, Гоголь, познакомившись с рукописью «Записок ружейного охотника», заметил, что «никто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными, свежими красками, как Аксаков»[4]. Художественное видение природы у писателя очень своеобразно и отражает важнейшую особенность реалистической эстетики Аксакова.

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XVI, М. 1953, стр. 25, 26.

[2] Там же, стр. 25.

[3] Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М. 1950, стр. 255.

[4] «Гоголь в воспоминаниях современников», 1952, стр. 495.

При всей своей влюбленности в природу Аксаков никогда не восторгается ее красотами, точнее говоря — никогда ее праздно не созерцает. Пейзаж у Аксакова — не украшающая повествование виньетка. Он всегда несет на себе большую рабочую нагрузку. Отсюда характерная черта поэтики аксаковского пейзажа: изображение природы — преимущественно тихой и умиротворенной — отличается свежестью и непосредственностью, суровой и безыскусственной простотой, оно по-пушкински строго и пластично. Нарочитая яркость, выспренность, красочность, контрастность — эти приемы романтического пейзажа чужды Аксакову. Он не терпит экзотики и вычурности. В его пейзажной живописи, отмечал Тургенев, «нет ничего ухищренного и мудреного, она никогда ничем не щеголяет, не кокетничает; в самых своих прихотях она добродушна»; подобно истинным и сильным талантам, Аксаков никогда не становится перед лицом природы в «позитуру» [1]. Он не ищет в ней ничего необычайного и необычного. Природа у Аксакова, так сказать, прозаически «повседневна», «заурядна», но именно потому она и оказывается источником подлинной красоты, поэзии. Повторяем, Аксаков не ищет этой красоты, он стремится лишь быть верным действительности, а все остальное является производным отсюда.

Охотничьи рассказы и очерки Аксакова полны не только поэзии, но и глубокой мысли. Наблюдательность и память писателя помогают осмыслить богатство и бесконечное многообразие природы, убеждают в неодолимой силе человека. Один из современных Аксакову беллетристов, касаясь впечатления, произведенного на него «Записками ружейного охотника», писал автору: «Мой взгляд на природу, которую я так страстно люблю, изменился вследствие чтения Вашей книги; вместо сухих, хотя ярких картин теперь я вижу в ней еще движение, смысл, слышу биение сердца этих токующих в сумраке и благоухании лесов, этих влажных топей, над которыми взлетывают Ваши кулички и вальдшнепы!» [2]

В охотничьей трилогии Аксакова изображались не только рыбы и пернатые. Ее подлинным лирическим героем был человек, сам автор. И речь идет не о том бесплотном герое, который «подразумевается» в иных произведениях. Нет, это реальный человеческий образ, во плоти и крови. Мы как будто осязаем обаятельный облик человека, не коленопреклоненно опустившегося перед таинствами

---

[1] И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 10, М. 1949, стр. 442.

[2] Письмо Г. П. Данилевского С. Т. Аксакову от 16 марта 1854 г., ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, д. № 16, л. 1 об.

природы, но неутомимо стремящегося проникнуть в ее святая святых. Мысль о безграничном богатстве природы и вместе с тем гордость за то, что это богатство находится во власти людей, — вот та идея, которая лежит в основе художественной позиции Аксакова — следопыта, исследователя природы и ее вдохновенного певца.

Глубоко был прав Тургенев, заметивший, что охотничьи книги Аксакова обогащали не только охотничью литературу, но и «общую нашу словесность».

В начале 50-х годов Аксаков задумал издание «Охотничьего сборника». Имелось в виду сделать его ежегодным альманахом и привлечь к участию в нем обширный круг литераторов и охотников. Вместе с соответствующим ходатайством Аксаков представил в Московский цензурный комитет подробно разработанную «Программу Охотничьего сборника». 20 марта 1853 года на заседании цензурного комитета рассматривался этот вопрос, и ходатайство было отклонено [1].

Чем объяснялось это решение? Оказывается, что на том же заседании цензурного комитета было оглашено высочайшее повеление по делу Ивана Аксакова в связи с представленным им к печати вторым томом «Московского сборника». Сборник этот был запрещен. Редактора И. Аксакова, не оправдавшего «доверенности правительства» при издании первого сборника (М. 1852), а также при подготовке к печати второго,— лишали «права быть редактором какого бы то ни было издания». Ряд материалов, предназначенных к публикации во втором сборнике, был признан «предосудительным», в их числе — «Отрывок из воспоминаний молодости» С. Т. Аксакова [2].

Узнав о неблагоприятном решении Московского цензурного комитета об «Охотничьем сборнике», С. Т. Аксаков решил обжаловать его перед Главным управлением цензуры в Петербурге. Жалоба была поддержана давнишним другом Аксакова по казанской гимназии, занимавшим в то время влиятельный пост министра финансов, А. Княжевичем. После долгих размышлений Главное управление приняло предварительное постановление: разрешить Аксакову издание упомянутого сборника и возбудить через товарища министра народного просвещения ходатайство о «высочайшем соизволении».

И, однакоже, издание «Охотничьего сборника» в конце концов не было разрешено. Почему? Истинная подоплека была неизвестна

[1] МОГИА, ф. 31, оп. 5, д. № 328, л. 28.

[2] Там же, д. № 327, лл. 13—13 об. Речь идет о «Знакомстве с Державиным».

даже самому Аксакову. Только теперь эта загадка может быть вполне раскрыта.

7 сентября 1853 года товарищ министра народного просвещения Норов обратился к управляющему III Отделением Л. Дубельту с секретным письмом, в котором извещал его о предстоящем ходатайстве перед царем в связи с делом С. Т. Аксакова и о том, что «встречается ныне надобность знать о личности г. Аксакова, в особенности потому, что фамилия его напоминает некоторых писателей, сделавшихся уже известными неблагонамеренным направлением своих сочинений по поводу издания «Московского сборника». Норов просил сообщить, не имеется ли в распоряжении III Отделения каких-либо компрометирующих С. Т. Аксакова сведений.

На этой бумаге появилась короткая, но выразительная резолюция Дубельта: «По неблагонамеренности г-на Аксакова едва ли можно ему дозволить быть издателем какого бы то ни было журнала». Одновременно в канцелярии III Отделения была подготовлена специальная справка о личности С. Т. Аксакова, в которой между прочим значилось, что Аксаков «известен III Отделению с 1830 года».

Через несколько дней после получения письма Норова Дубельт отправил ответ, содержание которого оказалось полной неожиданностью для министерства просвещения и повергло его в смятение.

Бумага Дубельта представляла собой перечень «преступлений» Аксакова, зарегистрированных в III Отделении. Были вспомянуты и история со статьей «Рекомендация министра», возбудившей «тогда своим неприличием неудовольствие государя», и обстоятельства, связанные с увольнением Аксакова из цензуры, и его «Отрывок из воспоминаний молодости», предположенный к напечатанию в «Московском сборнике». Все это заключалось выводом: «Соображая все это, равно и *другие сведения, имеющиеся о Сергее Аксакове в III Отделении,* нельзя предполагать, чтобы он при издании помянутого сборника руководствовался должною благонамеренностью, и потому едва ли можно ему дозволить издание какого бы то ни было журнала» [2].

Какие же еще «другие сведения» имел в виду Дубельт? Ответ на этот вопрос дают материалы «дела», заведенного на С. Т. Аксакова в III Отделении. В 1849 году был арестован Иван Аксаков по подозрению в антиправительственной деятельности. Подозрения

---

[1] ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., оп. 5, д. № 446, ч. II, л. 28.

[2] ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 6, д. № 150325, лл. 12—12 об. (см. также «Русский архив», 1894, № 2, стр. 222, где этот документ напечатан без указания источника).

эти не подтвердились, и по приказанию царя он был вскоре освобожден. Но при обыске у него были найдены письма отца, в которых содержалась резкая критика московских и вышестоящих петербургских властей. Письма явились предметом расследования в органах III Отделения и навлекли на С. Т. Аксакова подозрения, еще более возбудившие против него Дубельта.

Ничего не ведая о той закулисной возне, которая велась вокруг его имени, Аксаков продолжал собирать материалы для первого номера «Охотничьего сборника».

19 сентября 1853 года состоялось новое заседание Главного управления цензуры, на котором предшествующее решение об «Охотничьем сборнике» было признано ошибочным и отменено ввиду получения из III Отделения «неодобрительного о г. Аксакове отзыва» [1]. Не только Аксаков, но даже органы московской цензуры не были поставлены в известность об истинных причинах запрещения «Охотничьего сборника». Все, что было связано с III Отделением, держалось в строжайшей тайне...

7

Охотничья трилогия Аксакова явилась важным этапом в становлении его реалистического искусства. Поэтическое изображение природы расширило горизонты писателя и подготовило к художественному исследованию человека.

И здесь снова сказалось влияние Гоголя. Много раз он побуждал Аксакова к написанию истории своей жизни. Слушая изустные рассказы Аксакова, Гоголь не раз говорил ему о том, как хорошо было бы все это написать. С еще большим энтузиазмом Гоголь укреплял его в этой мысли после появления в печати первого отрывка «Семейной хроники». В августе 1847 года он писал Аксакову, что ему, наконец, следует начать диктовать «воспоминания прежней жизни» своей и «встречи со всеми людьми, с которыми случилось... встретиться, с верными описаниями характеров их». Этим можно было бы, добавляет Гоголь, доставить «много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время...» [2]

Работе над «воспоминаниями прежней жизни» были главным

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 6, д. № 150325, лл. 15 об. — 16.
[2] Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., АН СССР, 1952, т. XIII, стр. 376.

образом и посвящены последние десять лет жизни Аксакова. Обширный замысел осуществился в трех произведениях: «Семейной хронике», «Детских годах Багрова-внука» и «Воспоминаниях». Хронология изображаемых событий не совпадала с последовательностью, в какой выходили эти книги. В 1856 году были опубликованы «Семейная хроника» и «Воспоминания» в одной книге, а два года спустя— «Детские годы Багрова-внука». Все три произведения внутренне между собой связаны и являются составными частями единого замысла, хотя в художественном отношении далеко не равноценны.

Наиболее значительны в художественном отношении «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». В этих книгах перед нами раскрывается история трех поколений семьи Багрова, то есть Аксакова. Когда писалась «Семейная хроника», многие старые члены семьи были еще живы, и автору, по словам его сына, Ивана Аксакова, не хотелось оскорблять их родственного чувства различными теневыми обстоятельствами своих воспоминаний. Вот почему действительные имена некоторых персонажей, а также географические названия были заменены вымышленными. В предисловиях к первому и второму изданиям «Семейной хроники» и «Воспоминаний» автор специально подчеркивал, что между этими произведениями нет ничего общего. Впрочем, едва только «Семейная хроника» вышла из печати, как этот «маскарад», к немалому огорчению Аксакова, был тотчас же разгадан современной критикой и установлена полная идентичность литературных персонажей с их реальными прототипами.

Оба центральных произведения Аксакова основаны на абсолютно достоверном историческом материале. Писатель рассказывает историю и предисторию своей жизни, и в обоих случаях художественная позиция Аксакова в сущности одинакова, хотя в «Детских годах Багрова-внука» он повествует о событиях, которых сам был свидетелем, а «Семейная хроника» посвящена временам, предшествовавшим его рождению.

У Аксакова нет ни одного произведения, которое было бы основано на «чистом» вымысле. В этом — своеобразие его таланта или, как он говорил, его «авторская тайна». В 1857 году Аксаков писал Ф. В. Чижову: «Заменить... действительность вымыслом я не в состоянии. Я пробовал несколько раз писать вымышленное происшествие и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно» [1]. Незадолго перед смертью

[1] Л. Б., ф. Чижова, $^{15}/_{16}$.

Аксаков в письме к публицисту и критику М. Ф. Де Пуле сделал попытку раскрыть «сущность и характер» своего дарования. «Близкие люди не раз слыхали от меня, — отмечал он, — что у меня нет свободного творчества, что я могу писать, только стоя на почве действительности, идя за нитью истинного события; что все мои попытки в другом роде оказывались вовсе неудовлетворительными и убедили меня, что даром чистого вымысла я вовсе не владею»[1].

«Семейная хроника» не была исключением. Она написана на материале семейных преданий, изустных рассказов матери и отца. Историческая достоверность этой книги нисколько не уступает двум последующим. Но в одном отношении она значительно их превосходит. Именно здесь всего ярче и полнее раскрылся художественный талант Аксакова.

В «Семейной хронике» вырисовывается широкая панорама помещичьего быта. Повествование начинается драматическим рассказом о переселении семейства Багровых из Симбирской губернии в новое уфимское поместье. Со всем скарбом, с чадами и домочадцами, со ста восемьюдесятью крепостными крестьянами, насильно оторванными от своих насиженных мест, переезжает Степан Михайлович на новые, выгодно купленные земли. И этот контраст между настроением радости, царящим в барском доме, и безисходным горем, которым поражены крестьяне, вынужденные за бесценок распродать скот, хлеб, избы, домашнюю рухлядь и на телегах тащиться бог весть куда, — этот исполненный трагизма контраст сразу же вводит читателя в атмосферу крепостнического быта. Аксаков при этом нисколько не стремится быть обличителем. С эпическим спокойствием, а порой даже, кажется, с абсолютным бесстрастием воссоздает он потрясающие в своем трагизме картины помещичьего произвола. Припадки гнева Степана Михайловича, во время которых нет никому пощады — ни дворовым, ни даже членам семьи, буйные подвиги Куролесова, расправы с дворовыми девушками, которые учиняет Арина Васильевна в перерывах между побоями мужа, утонченная тирания Прасковьи Ивановны над своими гостями — все это лишь отдельные элементы той большой и страшной картины «темного царства», которую нарисовал Аксаков.

С симпатией и душевностью изображает, с другой стороны, Аксаков людей из народа — забитых, затравленных, но сохранивших свежесть и непосредственность своего чувства. Правда, этих

---

[1] ИРЛИ, Архив М. Ф. Де Пуле, ф. 569, д. № 108, лл. 2, об. — 3.

людей писатель рисует односторонне. Они у него всегда кротки и терпеливы, они мученически несут свой крест и никогда не поднимают голос протеста против трагических условий своего существования. И все же книга Аксакова была проникнута искренней любовью к простому человеку из народа. Своим гуманистическим пафосом, правдивым изображением уродливых сторон помещичьего быта «Семейная хроника» во многом перекликалась с антикрепостническими произведениями Тургенева и Григоровича.

Произведения Аксакова отличаются той, по выражению Добролюбова, «простой правдой», которую писатель и не силится даже возвысить «какою-нибудь художественною прибавкою» [1]. Эту же мысль подчеркивал еще раньше Чернышевский, когда он познакомился с одним из отрывков «Семейной хроники», напечатанным в «Москвитянине»: «Никаких вычур в рассказе, никакого желания со стороны автора завлечь читателя хитро придуманным действием. Но что за удивительное впечатление производит этот маленький рассказ!» [2]

В свойственной Аксакову неторопливой, эпической манере обстоятельно и подробно выписывает он мельчайшие детали крепостнического быта, и потому картина, воссоздаваемая им, оказывается необыкновенно выпуклой, пластичной. Повествование ведется с характерными повторами уже известных читателю подробностей, с той наивной непосредственностью и иллюзией недостаточной художественной отделки, какая присуща изустному рассказу. Все это вместе с поэтическим очарованием безыскусной, искрометной разговорной речи, словно подслушанной у самого народа, и создает своеобразие и обаяние аксаковского стиля.

Аксаков чрезвычайно экономен в изобразительных средствах. В этом отношении его стилевая манера восходит к пушкинской. Вяземский однажды заметил, что Пушкин в прозе «сторожит себя». Так же сторожил себя от излишеств красок Аксаков. Его повествование отличается той благородной сдержанностью и суровой простотой, которые обличают в художнике величайшую требовательность к каждому написанному им слову. Это искусство, которое, по меткому выражению Чернышевского, отличается «трезвостью слов», то есть способностью писателя «давать словам истинное их значение», — искусство, которым вполне владел Аксаков [3]. Его отношение

---

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в трех томах, т. 1, М. 1950, стр. 330.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XVI, М. 1953, стр. 32.

[3] Там же, стр. 33, 32.

к художественной форме отличалось целомудренной строгостью. Это был тот эстетический принцип, которому Аксаков следовал неуклонно. Характерен его отзыв о повести Тургенева «Постоялый двор». Аксаков хвалит Тургенева за то, что он не соблазнился «ни одним эффектом — ни в поступках действующих лиц, ни в явлениях жизни, ни в едином слове», хвалит за то, что повесть задумана и осуществлена с «разумною мерою». «Я высоко ценю эту меру, — добавляет Аксаков, — которая обличает строгость, чистоту убеждения и зрелость таланта» [1].

Такой мерой превосходно владел и сам автор «Семейной хроники».

Художественное мастерство Аксакова особенно ярко обнаруживается в изображении человека. Речь идет не об искусстве портретной живописи, которым также хорошо владел писатель. Мы говорим здесь об умении Аксакова проникать в самые сокровенные тайники человеческой души и раскрывать ее с такой убедительной наглядностью, глубиной жизненной правды, какая была свойственна только самым выдающимся художникам. Нет нужды говорить о том, сколь крупной удачей Аксакова является, например, образ Степана Михайловича Багрова — один из классических образов русской литературы.

Не только главные, но и второстепенные персонажи обретают у Аксакова значение художественных типов. Достаточно вспомнить доброго, сердечного дядьку Евсеича, вкрадчивого и хитрого дворецкого Калмыка, ухаживающего за больным Зубиным, милого, чудаковатого доктора Клоуса, «мрачного генерала» Ерлыкина.. Сколько их — отмеченных печатью яркой индивидуальности персонажей, в которых так полно воплотилось многообразие жизненных впечатлений писателя и его громадное искусство!

Многому научившись у Гоголя, Аксаков остался чужд важнейшему элементу гоголевского искусства — его «гумору», его методу сатирического изображения действительности. Даже своих самых «отрицательных» персонажей Аксаков рисует средствами, ничего общего не имеющими с приемами гоголевской сатиры. У Аксакова иное художественное видение мира. Сатирический метод типизации он не приемлет. Он никогда не обличает, не смеется над слабостями своих героев. Для него важна прежде всего та особенность в характере человека, которая сближает его со многими другими людьми. В нем не должно быть ничего исключительного,

---

[1] «Русское обозрение», 1894, № 9, стр. 26.

никакого «преувеличения» и «заострения». Таким способом обрисован даже самый «исключительный» образ «Семейной хроники» — Куролесов.

Но Аксаков отчасти усвоил и по-своему претворил другую сторону художественного метода Гоголя. Автор «Мертвых душ» хорошо понимал зависимость человека от общественной среды. Вот почему его интересует не только характер персонажа, но и объективные условия, в которых он сформировался. Сатирически обличая Манилова, Плюшкина, Ноздрева, Гоголь не делает их самих ответственными за свои поступки. Виновны и условия общественной жизни, создающие возможность подобного рода людей и поступков. Предметом сатиры Гоголя были не личности, а те или иные социальные пороки целого сословия. Такое изображение человеческого характера явилось величайшим завоеванием гоголевского реализма и огромным шагом вперед сравнительно, скажем, с сатирой XVIII века.

Отсвет этой художественной идеи Гоголя мы, несомненно, ощущаем в «Семейной хронике», хотя «субъективный» характер аксаковского таланта, как это показал Добролюбов, сильно ограничивал возможности писателя в этом направлении.

Аксаков изображает отрицательных персонажей таким образом, что это вводило в искушение иных недальновидных критиков, коривших писателя за идеализацию крепостнических отношений. Над подобными критиками смеялся еще Щедрин. Он писал, что несмотря «на слегка идиллический оттенок», который разлит в произведении Аксакова, однакоже «только близорукие могут увидеть в нем апологию прошлого» [1].

Автор «Семейной хроники» нисколько не стремится идеализировать своих отрицательных персонажей, но и не изображает их примитивными, мелодраматическими злодеями. Аксаков раскрывает человеческий характер с пушкинской объективностью, не однолинейно, а во всей совокупности свойственных ему противоречий. Старик Багров и груб и невежествен, но вместе с тем — человек «здравого ума и светлого взгляда», умеющий «тонко понимать»; дикий зверь в ярости, он в спокойном расположении духа бывал и добр, и мягок, и душевен; жестокость совмещалась в нем с ненавистью ко лжи, плутовству; угрюмый и нелюдимый, он умел добродушно пошутить и побалагурить; он прижимал копейку, но бывал способен

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVII, Л. 1934, стр. 353.

и на поступки, изобличавшие в нем щедрость и широту натуры... Вот каков психологический диапазон этого человека. По такому методу Аксаков рисует и большинство других своих персонажей. Добро и зло так переплетено в его героях, писал Чернышевский, что в них видишь живого, а не сочиненного человека. В этом состояла покоряющая сила аксаковского таланта.

«Семейная хроника» была проникнута глубоким общественным интересом. Герцен недаром назвал ее «огромной важности книгой»[1], а Щедрин — «драгоценным вкладом», обогатившим русскую литературу[2]. Добролюбов сравнивал «Хронику» с произведениями писателей обличительного направления, хотя хорошо понимал идейную ограниченность Аксакова, консерватизм его политической мысли. Победу реализма Аксакова критик видел в способности писателя изображать человека и различные явления действительности без «натяжек и заданных положений». В этом он усматривал даже преимущество Аксакова перед иными писателями обличительного направления. «Семейная хроника» отличается от их произведений жизненностью и разносторонностью. Своей простотой, задушевностью, отсутствием условности, нарочитости она создавала ощущение «живой были». Именно здесь видел Добролюбов причину огромного успеха книги Аксакова[3].

Общественный приговор «Семейной хронике» был единогласным. Критика писала о «беспримерном единодушии похвал». Чернышевский и Добролюбов, Герцен и Салтыков-Щедрин, Л. Толстой и Тургенев — все они оценили книгу Аксакова как событие в русской литературе. Вот несколько характерных строк из неопубликованного письма Шевченко к Аксакову от 4 января 1858 года: «Я давно уже и несколько раз прочитал ваше *известнейшее* произведение, но теперь я читаю его снова, и читаю с таким высоким наслаждением, как самый нежный любовник читает письмо своей боготворимой милой. Благодарю вас, много и премного раз благодарю вас за это высокое сердечное наслаждение»[4].

«Семейная хроника» имела значение еще в одном отношении, которое было почти одновременно и независимо друг от друга

---

[1] А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. Лемке, т. VIII, стр. 410.

[2] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVII, Л. 1934, стр. 353.

[3] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, 1935, стр. 451—452.

[4] ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 2, д. № 12.

отмечено Тургеневым и Л. Толстым. Новизна художественной формы аксаковской хроники, ее свободное и широкое, не скованное рамками сюжета, композиционное построение — все это ассоциировалось у обоих писателей с размышлениями о дальнейших путях развития русской прозы. Получив экземпляр только что вышедшей книги, Тургенев писал автору: «Вот он, настоящий тон и стиль, вот русская жизнь, вот задатки будущего русского романа» [1].

Толстой в одном из вариантов предисловия к «Войне и миру», в котором он пытался осмыслить жанровые особенности своей эпопеи, заметил, что русская художественная мысль не укладывается в рамки романа и ищет для себя новой формы, и в этой связи предлагал вспомнить Тургенева, Гоголя, Аксакова [2].

«Семейная хроника» явилась важным этапом в развитии русского социального романа. Когда-то еще Гоголь возмущался теми авторами драматических сочинений, которые, не замечая того нового, что происходит в жизни, по старинке продолжают тешить зрителя сюжетами, основанными на любовных похождениях своих героев. Это же самое происходило и в прозе. О том, насколько живучими были подобные традиции в прозе, свидетельствовал «Современник». В 1854 году анонимный рецензент этого журнала, в прямой связи с появлением в печати нового отрывка из «Семейной хроники», писал: «...Пора, наконец, хоть для опыта изменить форму теперешних беллетристических произведений, оставить в покое любовь с ее катастрофами, психологию с ее тонкостями и обратиться к простоте рассказа и придать ему нечто обыденное или доступное и близкое к действительному течению людского быта» [3].

Хроника Аксакова работала именно в том направлении, какое имел в виду «Современник». Поэзия «обыденной» жизни, доступной пониманию самого широкого круга людей, изображение глубоких общественных конфликтов, простота и непосредственность повествования — вот те элементы художественной прозы Аксакова, которые привлекали к себе пристальное внимание Тургенева и Толстого и которые получили дальнейшее развитие в их собственном творчестве.

---

[1] И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 11, М. 1949, стр. 137.
[2] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., М. 1943, т. 13, стр. 55.
[3] «Современник», 1854, № 4, «Современные заметки», стр. 107.

8

Хроника Аксакова вышла из печати в весьма знаменательное время: вскоре после окончания Крымской войны и в разгар ожесточенной политической борьбы вокруг вопроса об освобождении крестьян. Книга Аксакова давала превосходный материал для обличения крепостничества и сослужила хорошую службу революционным демократам и всем прогрессивным силам России. Недаром писателю пришлось преодолеть столько цензурных мытарств. Кое-что в тексте хроники было цензурой все-таки изъято, несмотря на яростное сопротивление Аксакова [1].

Крымская война обнаружила полную гнилость николаевского режима. Многое из того, что ранее было тайным, стало явным. На поверхность выплыли и стали достоянием гласности такие отвратительные явления, в которых раскрывалась самая сущность крепостнического строя. Все это не прошло незамеченным для Аксакова. Никогда еще он так бурно и страстно не реагировал на политические события, как сейчас. В письмах Аксакова сквозит тревога относительно того, что в стране, даже в армии, не все ладно. «Вы очень верно поняли тревогу в мирном Абрамцеве... Я расстроен не только духом, но и телом, и я захварываю от каждого известия из Крыма», — пишет он А. О. Смирновой [2]. «Наше политическое положение меня с ума сводит», — сообщает он Погодину [3]. В одном из аксаковских фондов хранится небольшой клочок бумаги, исписанный карандашом, рукой С. Т. Аксакова, и представляющий, вероятно, черновой отрывок письма к сыну Ивану от 23 февраля 1856 г. Содержание записи очень любопытно: «Общая безнравственность и внутреннее бесчувствие выражаются во всех, повидимому благородных, добрых и даже высоких движениях. Все принимает вид отвратительной комедии и тем отвратительнее, чем выше ее содержание...» [4] При всей своей благонамеренности Аксаков чувствовал, что в государстве неблагополучно, что ржа ест железо. Он не понимал истинных причин того, что происходит, но общую картину положения дел представлял себе близкою к истине.

---

[1] См. примечания к настоящему тому.

[2] Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, СПБ. 1899, стр. 184.

[3] Там же, стр. 35—36.

[4] ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 8.

Письма Аксакова этой поры полны резких критических нот. В них сквозит отрицательное отношение к «высшему обществу», органам власти. «Что касается до нашего общественного положения, — пишет он, — то я и все считаем его безнадежным. Полная бесхарактерность, ограниченность, отсутствие энергии и любви к своей земле, отсутствие русского направления, какой-то европеизм без толку, самые пустые наклонности, при какой-то чувствительности, и пр. и пр. представляют самую печальную перспективу» [1]. Каждый день приносил Аксакову новые факты, все более усиливавшие его тревожное состояние духа. «В нынешнее время, — пишет он с крайним раздражением в середине 50-х годов Н. А. Елагину, — я встретился с ложью в таком виде, в каком я с нею еще не встречался, и схватить и обличить эту ложь со всею ее змеиною хитростью (конечно, без примеси голубиной жалости) желал бы я от всей души. Нужно, чтоб и с этой стороны получила она отпор» [2].

Со всех сторон стекались в дом Аксакова известия о повсеместно творящихся безобразиях, о царящем в стране хаосе, о всеобщем разложении «высших сфер». «Взятки, грабительство дошли до высочайшей степени; честным людям надо бы бежать, а то их задавят и уморят голодной смертью», — доверительно, под величайшим секретом сообщает из Петербурга Надежда Тимофеевна Карташевская, родная сестра Аксакова [3]. В это же время приходит письмо из далекой Уфы от Е. И. Барановского, оренбургского губернатора, — письмо, в котором содержалось потрясшее всех Аксаковых наблюдение, тем более авторитетное, что оно принадлежало крупному должностному лицу: «Чувство долга и любви к отечеству почти не существует во дворянстве» [4]. В другом письме тот же Барановский обещает прислать писателю «две записки», из коих ему станет ясно, «что Куролесовы еще не перевелись, а только приняли другую личину» [5]. А вот свидетельство члена семьи С. Т. Аксакова — его сына Ивана. Поездив по России, он сообщает о фактах чудовищного разложения, охватившего все провинциальное дворян-

---

[1] Цит. по ст. В. Шенрока «С. Т. Аксаков и его семья», «Журнал министерства народного просвещения», 1904, № 12, стр. 264—265.

[2] Л. Б., ф. Елагиных, 2/46.

[3] ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, д. № 28, лл. 2—2 об.

[4] Там же, д. № 3, л. 7.

[5] Л. Б., ГАИС, III, XV/3.

ство, о том, что среди чиновников и помещиков нельзя встретить порядочного, честного человека и что если уж искать в провинции такового — то его можно найти лишь «между последователями Белинского» [1].

Современное положение дел в России пугало С. Т. Аксакова. Он не забыл 1848 года во Франции. Потрясенный тогда выступлением «подлой парижской черни», он с ужасом восклицал: «Теперь не в том дело, что безумные и отвратительные в своих неистовствах французы провозглашают Францию республикой, а в том, что пожар разольется по всей Европе» [2]. Нынешние события в России, по мнению Аксакова, несли в себе угрозу «пожара». Эта угроза была, казалось, особенно реальной ввиду всеобщего разложения, охватившего «верхи» русского общества, их полного равнодушия к положению народа, к интересам страны. Наблюдательная Вера Аксакова — дочь писателя, суждения которой интересны тем, что они часто отражали настроения самого С. Т. Аксакова, — заносит в свой дневник такие строки: «В настоящую минуту нет человека довольного во всей России. Везде ропот, везде негодование!» и в другом месте: «Положение наше совершенно отчаянно: не внешние враги нам страшны, но внутренние — наше правительство, действующее враждебно против народа, парализующее силы духовные, приносящее в жертву своих личных немецких выгод его душевные стремления, его силы, его кровь» [3].

Замечательно, что объектом критики в семье Аксаковых является не безликая «власть» и не отдельные представители правящих верхов, но именно правительство. В глазах самого С. Т. Аксакова оно настолько скомпрометировано, что он считает для себя, как писателя, бесчестным вступать с ним в какие бы то ни было отношения. Получив сообщение о том, что Плетнев представил царю доклад о «Семейной хронике», Аксаков тотчас же написал своему сыну Ивану полное горечи и тревоги письмо. «Слова Плетнева: «Добрый наш государь, конечно, поблагодарит вас за труд общеполезный...» очень меня смутили. Боюсь, чтоб не дали мне перстня. Все эти добрые люди не понимают, что самое

---

[1] «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. III, М. 1892, стр. 290—291.

[2] Цит. по ст. В. Шенрока «С. Т. Аксаков и его семья», «Журнал министерства народного просвещения», 1904, № 11. стр. 49.

[3] Дневник В. С. Аксаковой, СПБ. 1913, стр. 8, 15.

доброжелательное прикосновение правительства к моей чистой литературной славе — потемнит ее» [1].

Не следует думать, что Аксаков изменяет здесь своей благонамеренности. Он никогда не склонен делать из своих наблюдений далеко идущих выводов. Однакоже в его политическом сознании намечается определенная трещина, он все с большим раздражением реагирует на ненормальность окружающих его порядков. Недовольство Аксакова вызывает и тесно связанное с господствующим строем духовенство. Он прямо заявляет в одном письме: «...духовенство наше никуда не годится» и главная беда — в том, что оно «восстановило... против себя» народ. И Аксаков тщетно размышляет над решением «мудреной задачи», как он выражается, состоящей в том, чтобы «крестьянин не видел в попе чиновника от правительства, который держит руку помещиков» [2].

В эти годы в доме Аксакова оживленно обсуждается и крестьянский вопрос. Из самых различных источников доходили сюда сведения о том, как этот вопрос обострялся в стране с каждым днем. Писатель начинал понимать, что крепостное право исторически уже отжило и является источником величайшего зла, что оно продолжает служить питательной почвой, порождающей современных Куролесовых. Но он отнюдь не делал следовавшего отсюда с логической неизбежностью вывода о том, что институт крепостнических отношений необходимо немедленно ликвидировать. Аксаков презирал тех помещиков, которые тянули к старому и отказывались поступиться какими бы то ни было своими привилегиями и «правами» в отношении крестьян. Он считал, что решение крестьянского вопроса должно быть осуществлено сверху и методами крайне осторожными, чтобы не пострадал при этом престиж дворянства и не были особенно ущемлены интересы землевладельцев. Аксакову казалось, что положение могли бы исправить люди с энергией, волей и честностью Степана Михайловича Багрова, и беда заключается в том, что такие люди перевелись среди помещиков.

Подобно всем моралистам, не понимавшим истинных законов общественного развития, он ставил вопрос с ног на голову.

Своими художественными произведениями Аксаков давал читателю немало материала для размышлений и выводов об исторической обреченности крепостнических отношений и необходимости преобразования уродливого, антинародного строя, хотя сам он субъек-

---

[1] ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, л. 123 об.
[2] Там же, д. № 13, лл. 23—23 об.

тивно никогда не посягал на него. Внутренняя логика художественных образов, созданных писателем, была шире его политических идей. Такова была сила большого реалистического искусства.

Сказанное относится и к «Семейной хронике» и к «Детским годам Багрова-внука». Эти произведения близки друг другу по идейной проблематике, композиции, стилю, языку. Второе из них представляет собою такое же широкое эпическое полотно, столь же подробно и достоверно воссоздающее эпоху, атмосферу помещичьего быта, крепостнических отношений.

Но есть во второй части аксаковской трилогии и одна новая тема, существенно отличающая эту часть от первой. Героями «Семейной хроники» были старшие члены семьи Багровых — ее первое и второе поколение. В следующей части трилогии продолжают действовать те же персонажи, но в центре повествования оказывается уже третье поколение Багровых — образ маленького Сережи Багрова. Его жизнь от младенчества до девятилетнего возраста прослежена с такой пристальностью, с такими подробностями, на какие был способен только Аксаков. Сложный процесс формирования детской души — такова центральная тема новой книги Аксакова.

Эта тема давно привлекала к себе писателя, он работал над ее воплощением с огромным подъемом, со всем жаром своего сердца. В бумагах Аксакова хранится одна чрезвычайно интересная записка, написанная его рукой и представляющая собой, может быть, черновик письма к неизвестному нам адресату. Вот ее содержание: «Есть у меня заветная дума, которая давно и день и ночь меня занимает, но бог не посылает мне разума и вдохновения для ее исполнения. Я желаю написать такую книгу для детей, какой не бывало в литературе. Я принимался много раз и бросал. Мысль есть, а исполнение выходит недостойно мысли. Такая книга надолго сохранила бы благодарную память обо мне во всей грамотной России... Тайна в том, что книга должна быть написана, не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых и чтоб не только не было нравоучения (всего этого дети не любят), но даже намека на нравственное впечатление и чтоб исполнение было художественно в высшей степени» [1].

Главная задача, которую поставил перед собой Аксаков, состояла в том, чтобы написать «историю ребенка» и чтобы это была

---

[1] ИРЛИ, ф. 3., оп. 11, д. № 8, лл. 2—2 об.

«книга для детей»[1]. Этой книге писатель придавал особое значение в своем творчестве. В письме к А. И. Панаеву от 15 мая 1857 года он подчеркивал, что она «важнее» всех предшествующих его произведений «по содержанию, в педагогическом отношении»[2].

В русской литературе и публицистике 50—60-х годов педагогическая тема и проблемы воспитания занимали видное место. Можно вспомнить, как часто обращались к ним Чернышевский и Добролюбов. Для революционной демократии эти вопросы были связаны с задачей воспитания «новых людей», борцов против ненавистного строя. Проблемы воспитания привлекали к себе внимание и широких слоев дворянской интеллигенции. Все более очевидными для всех становились признаки разложения и духовного обнищания господствующего класса, всеобщее падение нравов в среде дворянства. Все это порождало мысль о необходимости укрепления моральных устоев общества и обостряло интерес к вопросам воспитания.

За шесть лет до выхода в свет книги Аксакова Л. Толстой дебютировал с повестью «Детство», явившейся первой частью его автобиографической трилогии. Между «Детскими годами Багрова-внука» и толстовской трилогией есть немало точек соприкосновения, хотя в целом это произведения, весьма различные по своему идейному направлению и еще больше — по своему стилю.

Сережа Багров рано начинает постигать, что взрослые, окружающие его, ведут себя не совсем искренне, что они хитрят и стараются всегда что-то утаить от него и что вообще в их поведении много непонятного. Он с удивлением замечает, что горячо любимая мать, кажущаяся ему воплощением полного совершенства, в противоположность отцу равнодушна к природе и всегда почему-то чинит препятствия желанию поудить или побродить по лесу. Еще более неприятно поражают его настойчивые предостережения матери не водиться с дворовыми мальчишками и сторониться прислуги, которая так чудно умеет распевать песни и рассказывать всевозможные истории. Глубоко запал ему в душу эпизод, случившийся в Багрове вскоре после переезда туда семьи на постоянное жилье, когда мать наотрез отказалась выйти к «добрым крестьянам», приветствовавшим нового барина. Сережа с отвращением слушает рассказы о старосте Мироныче, которого все называют разбойником и, однакоже, никто не отваживается утихомирить, ибо

---

[1] «Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 590—591.
[2] Абрамцево, рук. 69.

он приходится родней Михайлушке, пользующемуся неограниченным доверием Прасковьи Ивановны. Герой Аксакова давно уже постиг, что есть люди добрые и злые; потом он узнал, что есть господа, которые приказывают, и есть слуги, которые обязаны повиноваться, и что он сам, когда вырастет, будет принадлежать к числу господ.

Так, мало-помалу, перед Сережей Багровым начинает расширяться мир, и он делает важное для себя открытие, что в этом мире далеко не все прекрасно. Правда, это открытие не становится для него источником нравственных терзаний. Он видит недостатки, свойственные окружающей его среде, но он никогда не пытается себя противопоставить ей, возвыситься над ней. Его отношение к действительности носит созерцательный характер. Вместе с тем Сережа Багров — очень живой, восприимчивый, легко возбудимый ребенок, способный к сильному чувству и глубокому переживанию. Но главным предметом его размышлений является не поведение окружающих людей и его собственное отношение к ним, — сфера его интересов преимущественно ограничена природой. Почти всеми своими помыслами он устремлен к ней. Она — источник его первых детских радостей и забав. По мере того как он становится старше, углубляется и отношение его к природе. Характерно воспоминание в начале главы «Сергеевка»: «Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово; но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет». «Диалектика души» героя, развитие его характера особенно заметны в том, как по-разному проявляется отношение мальчика к природе.

Изображение природы занимает в «Семейной хронике» и «Детских годах» очень важное место. Аксаков любит природу, но, как и в охотничьих своих книгах, никогда не любуется ею. Она не играет в его произведениях декоративной роли, природа — чрезвычайно активный элемент повествования. Она наставница Сережи, она влияет на формирование его души. В отношениях с ней во многом раскрываются характеры и других персонажей — например, матери мальчика, отца, Евсеича. Аксаков был поэтом природы не только, или, вернее, не столько, в том смысле, что воспевал ее красоту и величие, сколько в том самом высоком значении, которое состояло в умении поэтически «одушевлять» ее, раскрывать ее сложную жизнь в многообразных связях с человеком. Аксаковское искусство изображения природы Горький недаром рассматривал в ряду самых высоких художественных достижений русской литературы XIX века.

Одним из важнейших элементов художественного мастерства Аксакова является его язык. Это та сфера творчества, в которой, пожалуй, наиболее ярко проявилась самобытность аксаковского таланта.

Существеннейшая особенность языковой и стилистической манеры художественных произведений Аксакова состоит в том, что они почти совершенно свободны от ощущения «книжности», от трафаретно-литературных элементов, от внешней изысканности и обладают той простотой и безыскусственностью, той удивительной пластичностью, которая свойственна мастерскому изустному рассказу. Анненков справедливо писал о «сладостной русской речи» Аксакова [1]. Язык Аксакова всегда сохраняет непосредственность и колоритность, гибкость и выразительность разговорной речи. Мысль в повествовании как бы выступает сама по себе, совершенно прозрачной, обнаженной и приобретает почти физическую ощутимость. Читая его произведения, заметил современный Аксакову критик, невольно думаешь, будто они написаны человеком, никогда не читавшим книг [2].

Аксаков относился к слову со страстной взыскательностью. Он не терпел словесных орнаментов. Начиная с «Бурана», в отдельных местах которого, правда, еще кое-где заметна некоторая нарядность языка, Аксаков всегда тяготел к слову ясному, точному, несущему на себе максимальную смысловую нагрузку. Очень осторожно и экономно прибегал он к архаизмам и диалектизмам, используя их лишь в качестве характерной стилевой краски. Эти слова писатель чаще всего выделяет в тексте курсивом, тем самым подчеркивая их определенное инородство в общей стилевой манере языка книги. Аксаков всегда отстаивал мысль, что использование диалектных речений должно быть умеренным, крайне осмотрительным и всегда строго соответствовать той художественной задаче, которую ставит перед собой писатель. В этом отношении Аксакова, например, не удовлетворяла повесть «Постоялый двор», и он откровенно написал Тургеневу: «Я считаю совершенною ошибкою употребление слов и выражений местных, провинциальных, для понимания которых надобно иметь словарь областных наречий. Язык должен быть общепонятный, русский. Вместо мнимого придаванья колорита местности такие слова мешают общему впечатлению, по крайней мере при первом чтении» [3]. Тургенев тотчас же согла-

---

[1] «Современник», 1856, № 3, Критика, стр. 15.
[2] «Русская беседа», 1856, № 1, Критика, стр. 41.
[3] «Русское обозрение», 1894, № 9, стр. 26.

сился с указанием Аксакова и заметил, что такого рода упреки делал ему еще в свое время Белинский.

Аксаков принадлежит к числу писателей, отличающихся наиболее богатым и разнообразным словарным составом языка. Он широко использовал сокровища народной речи. Реакционная «Северная пчела» — блюстительница «светских приличий» — недаром корила автора «Семейной хроники» за «неизящный слог» [1]. По этому поводу Аксаков писал Тургеневу: «Северная пчела» не подозревает, до какой степени она утешила меня своей бранью. Я боялся ее похвал, как огня. Слава богу, меня ругают в такой газете, где не признают великого таланта Гоголя» [2].

Работа над языком составляла одну из самых важных забот Аксакова-художника. Занимаясь своими «Записками ружейного охотника», Аксаков жаловался сыну Ивану, что не может найти в книге «приличного тона» и точно «назначить себе границы». Аксаков замечает далее, что эта книга — есть не что иное, как «пересказ простого охотника с бессознательным поэтическим чувством, который не знает в простоте сердца, что описывает природу поэтически. Это — литератор, прикидывающийся простяком» [3]. «*Прикидывающийся* простяком»! Безыскусственность аксаковского языка была результатом громадного труда и искусства.

Щедро используя формы и приемы народной речи, Аксаков чутьем большого художника никогда не переступал черту, за которой простота превращается в простоватость, народность — в простонародность.

9

Закончив «Семейную хронику», Аксаков написал А. И. Панаеву: «Это последний акт моей жизни» [4]. Но он ошибся: «акт» оказался не последним. За ним последовали «Детские годы Багрова-внука», превосходная повесть «Наташа», которая и содержанием своим и особенностями стиля перекликается с двумя центральными произведениями Аксакова, большой рассказ «Собирание бабочек», примыкающий к университетским воспоминаниям писателя. В эти же годы был написан целый цикл мемуаров — «Литературные и

[1] «Северная пчела», 1856, № 52, 6 марта.
[2] «Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 583.
[3] «Литературное наследство», 1952, т. 58, стр. 728.
[4] ИРЛИ, Р — 1, оп. 1, д. № 10, л. 4 об.

театральные воспоминания», воспоминания о Гоголе, Щепкине, Шушерине. Творческая энергия била в Аксакове ключом. Уже тяжело больной, за четыре месяца до смерти он продиктовал замечательный «Очерк зимнего дня». Судя по найденному тридцать лет назад «Отрывку из семейной хроники», написанному Аксаковым еще в конце 40-х годов и посвященному четвертому поколению Багровых-Аксаковых, можно предполагать, что писатель не был чужд мысли продолжить свою автобиографическую эпопею новой книгой.

50-е годы были наиболее напряженным и творчески плодотворным периодом жизни Аксакова. В преклонном возрасте, почти совсем ослепший, он переживает необычайный подъем своих духовных сил. Его литературная деятельность приобретает огромный размах. В Аксакове усиливается интерес к различным явлениям современной общественной жизни, и это все более возбуждает его творческую энергию. Он ведет обширную переписку, в которой отражаются его напряженные раздумья о современном положении дел в России, о проблемах искусства и литературы.

Любопытным эпизодом биографии писателя в этом десятилетии является его сотрудничество в газете «Молва». Она издавалась в течение восьми с половиной месяцев 1857 года (начиная с 13 апреля) и ничего общего не имела с надеждинской «Молвой». К участию в этом издании был привлечен С. Т. Аксаков. Здесь были им опубликованы два «Отрывка из очерков помещичьего быта 1800 годов», представлявшие собой фрагменты из повести «Наташа». Кроме того, Аксаков напечатал в газете ряд полемических заметок и «Писем к редактору «Молвы». Из них особенно интересно первое письмо, содержащее воспоминание о «Молве» 1832 года, о «битве за Мочалова против Каратыгина», о «полемических выходках против издателя «Телеграфа» и т. д. [1].

В следующем, 1858 году Аксаков принял участие в публичном выступлении группы писателей и ученых против нашумевшей в свое время грубой антисемитской выходки журнала «Иллюстрация». Под протестом, напечатанным на страницах «Русского вестника», стояли также имена Чернышевского и Шевченко [2].

В последнее десятилетие своей жизни Аксаков окончательно сформировался как художник-реалист. В эти годы стали значительно более глубокими и зрелыми его теоретические взгляды на искус-

---

[1] «Молва», 1857, № 1, стр. 10.

[2] См. «Русский вестник», 1858, ноябрь, кн. 1, стр. 134—135 и кн. 2, стр. 245.

ство. Самым важным завоеванием эстетической мысли Аксакова было осознание им того, что значительность произведения искусства определяется мерой правдивого отображения в нем действительности. Эта истина, которую впервые он начал постигать много лет назад, еще в ту пору, когда вел борьбу за Мочалова и Щепкина на страницах «Московского вестника», «Галатеи» и надеждинской «Молвы», стала теперь основой его эстетических взглядов. Аксаков окончательно понял, что вне жизненной правды немыслимо никакое искусство. С полной убежденностью писал он однажды: «Идеализация в художестве для меня недоступна» [1].

Продолжатель реалистических традиций 30—40-х годов, Аксаков дожил до конца 50-х годов, когда в русской литературе утверждались новые идеи и стремления, теоретически формулировавшиеся в статьях Чернышевского и Добролюбова, а художественно претворявшиеся в стихах Некрасова и в прозе Салтыкова-Щедрина. Автор «Семейной хроники» с интересом присматривался к этому новому направлению в русской литературе. Политически Аксаков был ему враждебен [2], но как художник он не мог не почувствовать той свежести и полноты жизненной правды, той серьезности мысли, которой дышали произведения Некрасова и Салтыкова-Щедрина [3]. В 1854 году Аксаков сделал любопытное признание в одном письме: «Я уважаю серьезное направление настоящего времени», но тут же поспешил добавить, что ему уже поздно менять своих кумиров, что он любит искусство для искусства и не допускает, «чтобы оно могло быть сознательным орудием какой-нибудь мысли, как бы ни была та важна и высока» [4]. Конечно, здесь не следует принимать всерьез рассуждение об искусстве для искусства, оно выражено с явно полемическим задором и ни в малейшей степени не отражало ни эстетических убеждений Аксакова, ни тем более — его позиций как художника.

---

[1] «Русский художественный архив», 1892, вып. II, стр. 54.

[2] В 1854 г. Тургенев пытался было привлечь Аксакова к сотрудничеству в «Современнике», но попытка эта не увенчалась успехом. Аксаков отклонил приглашение Тургенева под тем предлогом, что «дал себе слово никогда не печатать ни одной строчки в петербургских журналах» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 18).

[3] Один из циклов «Губернских очерков» был посвящен С. Т. Аксакову; при этом Щедрин писал, что испытал на себе «решительное влияние» его «прекрасных произведений» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII, стр. 129).

[4] «Русский художественный архив», 1892, вып. III—IV, стр. 130.

Гораздо более существенно другое. По выходе в свет «Семейной хроники» Аксаков сообщил Тургеневу, что будет с интересом ожидать критических отзывов о своей книге и добавил: «Всех более интересует меня мнение Некрасова. В последних стихах его так много истины и поэзии, глубокого чувства и простоты, что я поражен ими, ибо прежде не замечал ничего подобного в его стихах» [1]. Эти замечательные строки еще раз свидетельствуют о той сложной внутренней борьбе, которая происходила в Аксакове, а также и о том, что здоровое, прогрессивное начало в художнике могло успешно противостоять его отсталому, консервативному мировоззрению.

Какое же место принадлежит творчеству Аксакова в русской литературе?

Этот вопрос возникал уже перед современной писателю критикой. И решался он по-разному. Критики-славянофилы немало потрудились над созданием легенды, смысл коей состоял в том, чтобы изолировать Аксакова от каких бы то ни было традиций русской литературы. Наиболее прямолинейно защищал эту легенду Константин Аксаков на страницах славянофильской «Русской беседы». «Сочинения С. Т. Аксакова, — писал он, — стоят совершенно особняком в литературе нашей», а потому «требуют особого определения, особой оценки, и имеют свое особое значение среди нашей литературы» [2]. Мысль об «особом» характере аксаковского творчества вдохновлялась прежде всего стремлением поставить его вне гоголевских традиций. Эта тенденция очень ясно сквозила во многих статьях славянофилов. Например, анонимный критик той же «Русской беседы» за год еще до выступления К. Аксакова попытался было объявить автора «Семейной хроники» неким противовесом гоголевскому направлению. До сих пор, рассуждал он, русская литература развивалась под знаком отрицательного воззрения на жизнь; этому процессу содействовал Гоголь; теперь же в литературе возникло стремление отрешиться от «голого отрицания» и «художественно примирить высшие духовные начала с осмеянными, оплеванными, презренными формами жизни». И вот С. Т. Аксаков является чуть ли не главой этого «нововозникающего направления» [3].

С подобной же концепцией мы встречаемся и у Хомякова и у Шевырева. Оба они считали, что главная заслуга Аксакова якобы

---

[1] «Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 577.
[2] «Русская беседа», 1857, № 1, Обозрения, стр. 3.
[3] «Русская беседа», 1856, № 1, Критика, стр. 22.

состояла в том, что он впервые взглянул на русскую действительность не с отрицательной, а с положительной точки зрения. Славянофильская критика стремилась использовать творчество Аксакова в борьбе не только против гоголевского направления, но и против революционно-демократической эстетики. В этом отношении была особенно примечательна статья А. Хомякова. Основываясь на шеллингианской теории о «свободе художества», Хомяков совершенно исключает из творческого акта «рассудочное начало» как разрушительное для искусства. Дело художника лишь изображать те или иные явления жизни, а не оценивать их. Хороши ли они, плохи ли они — его не касается. В защите Аксаковым этого принципа Хомяков видит «великое наставление», завещанное им всем художникам [1]. Нетрудно заметить, что эта идейка была прямо направлена против учения Чернышевского об активной общественной роли искусства, имеющего своей целью вынесение приговора жизни.

Творчество Аксакова подвергалось в современной ему критике различным извращениям. Одни критики нигилистически отрицали какое бы то ни было значение его произведений, другие — апологетически превозносили писателя, утверждая, что он открыл новую эпоху в русской литературе и превзошел самого Гоголя. Против подобных утверждений решительно возражал Чернышевский, считавший обе точки зрения ошибочными, а вторую к тому же еще продиктованною «духом партии» [2]. Заметим, кстати, что и сам Аксаков выступал против неумеренных восхвалений в печати своих произведений и попыток изобразить его главой некой новой литературной школы. Об одном таком выступлении «Московских ведомостей» с иронией сообщал в январе 1856 г. Аксаков своему сыну Ивану. Автор статьи, напечатанной в этой газете, писал: «Если кому-нибудь из наших современников суждено своим талантом, воззрением на жизнь и художественным воспроизведением жизни основать литературную школу, создать новые идеалы и форму, то, конечно, С. Т. Аксакову». Процитировав эти строки, писатель добавляет: «Последние слова совершенный вздор» [3].

Революционно-демократическая критика отстаивала произведения Аксакова от попыток политической спекуляции на них со

---

[1] «Русская беседа», 1859, № 3, стр. VI.

[2] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 699.

[3] ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, л. 119 об.

стороны славянофилов и их единомышленников. Чернышевский и Добролюбов прекрасно понимали смысл фальшивой апологетики творчества С. Т. Аксакова и истинные цели, которые при этом преследовали враги гоголевского направления. Не скрывая слабых сторон аксаковского таланта, оба критика вместе с тем высоко чтили лучшие произведения писателя и вполне объективно оценивали его место в истории русской литературы.

Развернутый и глубокий анализ творчества Аксакова дал Добролюбов в своих двух известных статьях: «Деревенская жизнь помещика в старые годы» и «Разные сочинения С. Аксакова». Особенно замечательна первая из них. В «Семейной хронике» и «Детских годах» критик видел достоверную летопись эпохи, имеющую историческое значение. Но, будучи «несомненным памятником времен минувших», эти произведения, по убеждению Добролюбова, дают превосходный материал и для уяснения многих явлений современной жизни. Весь пафос добролюбовского анализа в том и состоял, чтобы показать читателю злободневность аксаковских наблюдений. Много воды утекло с тех пор, как совершились события, изображенные Аксаковым, но мало что с тех пор изменилось. Добролюбов дал политически очень острое, революционно-демократическое истолкование аксаковского творчества, превратив свою статью в страстный памфлет против крепостнического строя.

Вместе с тем Добролюбов не игнорирует и слабых сторон художественного метода Аксакова, проистекающих прежде всего из того, что он — писатель, отличающийся «более субъективной наблюдательностью, нежели испытующим вниманием к внешнему миру». Эта односторонность Аксакова во многом ослабляла обличительную направленность его произведений, ибо мешала ему понять, что произвол, господствующий в отношениях помещиков и крестьян, существовал не в результате только личной вины барина, а «независимо от того, вспыльчив был барин или нет», что произвол «был общим, неизбежным следствием тогдашнего положения землевладельцев».

Этот недостаток аксаковского таланта, отразившийся лишь частично в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука», сказался, однако, как справедливо отметил Добролюбов, с неизмеримо большей силой в третьей части трилогии — «Воспоминаниях», а также в «Литературных и театральных воспоминаниях» и некоторых других статьях-мемуарах, собранных в «Разных сочинениях», последней вышедшей при жизни Аксакова книге. Эти произведения Аксакова содержат в себе интересный и полезный мате-

риал для истории русской литературы и театра. Конечно, по своей познавательной и литературной ценности они значительно уступают двум центральным книгам писателя. Талант Аксакова, писал Добролюбов, оказался «слишком субъективен для метких общественных характеристик» и «слишком наивен для острой и глубокой наблюдательности». И, однакоже, эти мемуары заслуживают внимания современного читателя. Они содержат в себе много живых подробностей, характеризующих прошлое нашей литературы и театра, а кроме того, обладают тем немаловажным достоинством, что написаны пером большого художника, тем неповторимым аксаковским языком, который сам по себе — поэзия.

Смерть настигла Аксакова на шестьдесят восьмом году жизни (в ночь на 30 апреля 1859 г.). В статьях-некрологах писали, что русская литература лишилась своего «патриарха». «Мир праху честного и полезного гражданина! — читаем мы в некрологе, появившемся на страницах «Современника». — Имя С. Т. Аксакова займет почетную страницу в истории русской литературы!» [1]

Большой и самобытный талант этого писателя, глубоко национальный по своему характеру, создал художественные произведения, стоящие в ряду самых выдающихся достижений русского реализма XIX века. Сопоставляя «Семейную хронику» и «Былое и думы», Тургенев однажды писал Герцену, что эти две книги представляют собой «правдивую картину русской жизни, только на двух ее концах и с двух различных точек зрения. Но земля наша не только велика и обильна, — она и широка и обнимает многое, что кажется чуждым друг другу!..» [2]

Это меткое наблюдение большого художника помогает уяснить наше отношение к Аксакову. Его лучшие произведения, сохраняя значение достоверной летописи давно минувшей исторической эпохи, интересны современному читателю не только с точки зрения познавательной, они являются также источником огромной эстетической радости, которую доставляет встреча с подлинным произведением искусства.

С. Т. Аксакова высоко ценил М. Горький. Он видел в нем одного из самых тонких и глубоких живописцев природы и был

[1] «Современник», 1859, № 5, Смесь, стр. 158.

[2] И. С. Тургенев, Собр. соч., М. 1949, т. 11, стр. 141.

убежден в том, что на его творчестве могут многому поучиться современные советские писатели. К числу любимых произведений Горького принадлежала «Семейная хроника». В повести «В людях» великий художник рассказал о том, как много значила книга Аксакова в истории его духовного развития. Он вспоминал, как эта книга, «Записки охотника» Тургенева и другие произведения русской литературы ему «вымыли... душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности»; «я почувствовал, — пишет далее Горький, — что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!»

Создатель обширной галереи художественных образов, вдохновенный поэт природы, тончайший знаток русского слова, Сергей Тимофеевич Аксаков является неотъемлемой частью нашей великой национальной культуры.

С. Машинский

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

ПЕРВЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ»

СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ БАГРОВ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, — всего находилось в излишестве, — а потому, что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместною. Событие совершилось очень просто: три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли. Части их были небольшие, но уже четверо чужих хозяев имели право на общее владение неразмежеванною землею, — и дедушке моему, нетерпеливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашние кляузы, сделалась такая жизнь несносною. С некоторого времени стал он часто слышать об Уфимском наместничестве, о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носились слухи, что стоило только позвать к себе в гости

десяток *родичей отчинников* Картобынской или Кармалинской тюбы [1], дать им два-три жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина, да несколько ведер крепкого ставленого башкирского меду, да лагун корчажного крестьянского пива, так и дело в шляпе: неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две; да с башкирцами и нельзя вдруг толковать о деле, и надо всякий день спрашивать: «А что, знаком, добрый человек, давай говорить об мой дела» [2]. Если гости, евшие и пившие буквально день и ночь, еще не вполне довольны угощением, не вполне напелись своих монотонных песен, наигрались на чебызгах [3], наплясались, стоя и приседая на одном месте в самых карикатурных положениях, то старший из родичей, пощелкавши языком, покачав головой и не смотря в лицо спрашивающему, с важностию скажет в ответ: «Пора не пришел — еще баран тащи». Барана, разумеется, притащат, вина, меду нальют, и вновь пьяные башкирцы поют, пляшут и спят, где ни попало... Но всему в мире есть конец; придет день, в который родич скажет, уже прямо смотря в глаза спрашивающему: «Ай, бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой нужда?» Тут, как водится, с природною русскому человеку ловкостию и плутовством, покупщик начнет уверять башкирца, что нужды у него никакой нет, а наслышался он, что башкирцы больно добрые люди, а потому и приехал в Уфимское наместничество и захотел с ними дружбу завести и проч. и проч.; потом речь дойдет нечаянно до необъятного количества башкирских земель,

---

[1] Т ю б а — волость.

[2] Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы.

[3] Ч е б ы з г а — дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга чудное явление в мире духовых инструментов.

до неблагонадежности припущенников[1], которые год-другой заплатят деньги, а там и платить перестанут, да и останутся даром жить на их землях, как настоящие хозяева, а там и согнать их не смеешь и надо с ними судиться; за такими речами (сбывшимися с поразительной точностью) последует обязательное предложение избавить добрых башкирцев от некоторой части обременяющих их земель... и за самую ничтожную сумму покупаются целые области и заключают договор судебным порядком, в котором, разумеется, нет и быть не может количества земли: ибо кто же ее мерил? Обыкновенно границы обозначаются урочищами, например вот так: «От устья речки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропе, а от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор, от лисьих нор до Солтамраткиной борти» и прочее. И в таких точных и неизменных межах и урочищах заключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысяч десятин земли! И за все это платилось каких-нибудь сто рублей (разумеется, целковыми) да на сто рублей подарками, не считая частных угощений. — Полюбились дедушке моему такие рассказы; и хотя он был человек самой строгой справедливости и ему не нравилось надуванье добродушных башкирцев, но он рассудил, что не дело дурно, а способ его исполнения и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовых своих крестьян и переехать самому с семейством, то есть достигнуть главной цели своего намерения; ибо с некоторого времени до того надоели ему беспрестанные ссоры с мелкопоместными своими родственниками за общее владение землей, что бросить свое

[1] Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на известное число лет, живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников, по окончании договорного срока, не оставила земель башкирских; из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства с нарезкой им пятнадцатидесятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии... и вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян.

родимое пепелище, гнездо своих дедов и прадедов, сделалось любимою его мыслию, единственным путем к спокойной жизни, которую он, человек уже немолодой, предпочитал всему.

Итак, накопивши несколько тысяч рублей, простившись с своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Ариной, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетных дочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что. «Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда — Алексей...» — сказал на прощанье мой дедушка и отправился за Волгу, в Уфимское наместничество.

Но не сказать ли вам наперед, что за человек был мой дедушка.

Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды стряхивает с себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер. Правильные черты лица, прекрасные большие темноголубые глаза, легко загоравшиеся гневом, но тихие и кроткие в часы душевного спокойствия, густые брови, приятный рот, все это вместе придавало самое открытое и честное выражение его лицу; волóсы у него были русые. Не было человека, кто бы ему не верил; его слово, его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов. Природный ум его был здрав и светел. Разумеется, при общем невежестве тогдашних помещиков и он не получил никакого образования, русскую грамоту знал плохо; но, служа в полку, еще до офицерского чина выучился он первым правилам арифметики и выкладке на счетах, о чем любил говорить даже в старости. Вероятно, он служил не очень долго, ибо вышел в отставку каким-то полковым квартирмейстером. Впрочем, тогда дворяне долго служили в солдатском и унтер-офицерском зва-

ниях, если не проходили их в колыбели и не падали всем на голову из сержантов гвардии капитанами в армейские полки. О служебном поприще Степана Михайловича я мало знаю; слышал только, что он бывал часто употребляем для поимки волжских разбойников и что всегда оказывал благоразумную распорядительность и безумную храбрость в исполнении своих распоряжений, что разбойники знали его в лицо и боялись, как огня. Вышед в отставку, несколько лет жил он в своем наследственном селе Троицком, Багрово тож, и сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских работах, не стоял часовым при ссыпке и отпуске хлеба; смотрел редко, да метко, как говорят русские люди, и, уж прошу не прогневаться, если замечал что дурное, особенно обман, то уже не спускал никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, рассуждал посвоему: наказать виноватого мужика тем, что отнять у него собственные дни, — значит вредить его благосостоянию, то есть своему собственному; наказать денежным взысканием — тоже; разлучить с семейством, отослать в другую вотчину, употребить в тяжелую работу — тоже, и еще хуже, ибо отлучка от семейства — несомненная порча; прибегнуть к полиции... боже помилуй, да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы выть по виноватом, как по мертвом, и наказанный счел бы себя опозоренным, погибшим. Да и надо сказать, что дедушка мой был строг только в пылу гнева; прошел гнев, прошла и вина. Этим пользовались: иногда виноватый успевал спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли в такое положение, что было не на кого и не за что рассердиться.

Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае кстати объяснить, что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки, и хотя у него было сто восемьдесят душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам, от какого-то варяжского князя, он ставил свое семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов. Он не женился на одной весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему

очень нравилась, единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин.

Итак, вот каков был Степан Михайлович; теперь возвратимся к прерванному рассказу.

Переправившись чрез Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону, называемую луговою, переехал Черемшан, Кандурчу, чрез Красное поселение, слободу селившихся тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Сургута в Большой Сок. Сергиевск — ныне заштатный город, давший свое имя находящимся в двенадцати верстах от него серным источникам, известным под названием Сергиевских серных вод. Чем дальше углублялся дедушка в Уфимское наместничество, тем привольнее, изобильнее становились места. Наконец, в Бугурусланском уезде, около Абдуловского казенного винного завода, показались леса. В уездном городе Бугуруслане, расположенном по высокой горе, над рекою Большой Кинель, про которую долго певалась песня:

Кинель река
Не быстра, глубока,
Только тиниста, —

в Бугуруслане остановился Степан Михайлович, чтоб порасспросить и поразузнать поближе о продающихся землях. В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежавших башкирцам: все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, описанные в казну за Акаевский бунт, прежде всеобщего прощения и возвращения земель отчинникам башкирцам, или были уже заселены их собственными припущенниками, или куплены разными помещиками. Из Бугуруслана дедушка делал поездки в Бугульминский, Бирский и Мензелинский уезды (из некоторых частей двух последних составлен ныне новый Белебеевский уезд); побывал он на прекрасных берегах Ика и Демы. Места очаровательные! И в старости Степан Михайлович с восторгом вспоминал о первом впечатлении, произведенном на него изобильными, плодоносными окрестностями этих рек; но он не поддался обольщению и узнал покороче на месте, что покупка башкирских земель неминуемо поведет за

собою бесконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали прав своих и числа настоящих отчинников. Дедушка мой, ненавидящий и боявшийся, как язвы, слова тяжба, решился купить землю, прежде купленную другим владельцем, *справленную и отказанную за него* судебным порядком, предполагая, что тут уже не может быть никакого спора. Казалось, что суждение его было справедливо, но на деле вышло совсем другое, и меньшой внук его, уже будучи сорока лет, покончил последний спор. С сожалением воротился с берегов Ика и Демы дедушка мой в Бугуруслан и в двадцати пяти верстах от него купил землю у помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан, быстрой, глубокой и многоводной. На сорок верст протяжения, от города Бугуруслана до казенного селения Красный Яр, оба берега его были не заселены. Что за угодье, что за приволье было тогда на этих берегах! Вода такая чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку! Местами росла густая урема [1] из березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек; местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло (боярская спесь), скорлазубец (царские кудри) и кошачья трава (валериана). Бугуруслан течет по долине; по обеим сторонам его тянутся, то теснясь, то отступая, отлогие, а иногда и крутые горы; по скатам и отрогам их изобильно рос всякий черный лес; поднимешься на гору — там равнина, непочатая степь, чернозем в аршин глубиною. По реке и окружающим ее инде болотам все породы уток и куликов, гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнезда и разнообразным криком и писком наполняли воздух; на горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучною травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами; там водилась во множестве вся степная птица: дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречетки; по лесистым отрогам жила бездна тетеревов; река кипела

---

[1] Уремой называется лес и кусты, растущие около рек.

всеми породами рыб, которые могли сносить ее студеную воду: щуки, окуни, голавли, язи, даже кутема и лох изобильно водились в ней; всякого зверя и в степях и лесах было невероятное множество; словом сказать: это был — да и теперь есть — уголок обетованный. — Дедушка купил около пяти тысяч десятин земли и заплатил так дорого, как никто тогда не плачивал, по полтине за десятину. Две тысячи пятьсот рублей в то время была великая сумма. Совершив купчую крепость и приняв землю во владение, то есть справив и отказав ее за собою, весело воротился он в Симбирскую губернию к ожидавшему его семейству и живо, горячо принялся за все приготовления к немедленному переселению крестьян: дело очень хлопотливое и трудное по довольно большому расстоянию, ибо от села Троицкого до новокупленной земли было около четырехсот верст. В ту же осень двадцать тягол отправились в Бугурусланский уезд, взяв с собою сохи, бороны и семянной ржи; на любых местах взодрали они девственную почву, обработали двадцать десятин озимого посеву, то есть переломали непареный залог и посеяли рожь под борону; потом подняли нови еще двадцать десятин для ярового сева, поставили несколько изб и воротились на зиму домой. В конце зимы другие двадцать человек отправились туда же и с наступившею весною посеяли двадцать десятин ярового хлеба, загородили плетнями дворы и хлевы, сбили глиняные печи и опять воротились в Симбирскую губернию; но это не были крестьяне, назначаемые к переводу; те оставались дома и готовились к переходу на новые места: продавали лишний скот, хлеб, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, началу сенокоса, нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав дворовую птицу на верхи возов и привязав к ним коров, потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с *стариною*, с церковью, в которой крестились и венчались, и с могилами дедов и отцов. Переселение, тяжкое везде, особенно противно русскому человеку; но переселяться тогда в неизвестную басурманскую сторону, про которую, между

хорошими, ходило много и недобрых слухов, где, по отдаленности церквей, надо было и умирать без исповеди и новорожденным младенцам долго оставаться некрещеными, — казалось делом страшным!.. За крестьянами отправился и дедушка. Новоселившуюся деревню назвал Знаменским, дав обет, со временем, при благоприятных обстоятельствах построить церковь во имя знамения божия матери, празднуемого 27 ноября, что и было исполнено уже его сыном. Но крестьяне, а за ними и все окружные соседи, назвали новую деревеньку Новым Багровом, по прозванию своего барина и в память Старому Багрову, из которого были переведены: даже и теперь одно последнее имя известно всем, а первое остается только в деловых актах: богатого села Знаменского с прекрасною каменною церковию и высоким господским домом не знает никто. Неусыпно и неослабно смотрел дедушка за крестьянскими и за господскими работами: во-время убрался с сенокосом, во-время сжал яровое и ржаное и во-время свез в гумно. Урожай был неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. К ноябрю месяцу у всех были построены избы, и даже поспел небольшой господский флигель. Разумеется, дело не обошлось без вспоможения соседей, которые, несмотря на дальнее расстояние, охотно приезжали на *помочи* к новому разумному и ласковому помещику, — попить, поесть и с звонкими песнями дружно поработать. Зимой дедушка отправился в Симбирскую деревню и перевез свое семейство. На следующий год уже не так трудно было перевесть еще сорок душ и обзавести их хозяйством. Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за сорок. Итак, выбрав заранее место, где вода была не глубока, дно крепко, а берега высоки и также крепки, с обеих сторон реки подвели к ней плотину из хвороста и земли, как две руки, готовые схватиться, а для большей прочности оплели плотину плетнем из гибкой ивы: оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. С одной стороны, где берег казался пониже, заранее устроен был мельничный амбар на два мукомольные постава с толчеей. Все снасти были готовы и даже смазаны; на огромные водяные колеса

через деревянные трубы *кауза*[1] должна была броситься река, когда, преграждённая в своем природном русле, она наполнит широкий пруд и станет выше дна кауза. Когда все уже было готово и четыре длинные дубовые сваи крепко вколочены в твердое, глинистое дно Бугуруслана, поперек будущего вешняка, дедушка сделал помочь на два дня; соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. В первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана, до сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около ста человек собрались *занимать заимку*, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное: все к чему-то готовились; вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно в одно и то же мгновенье, с громким криком сдвинули в реку с обоих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками; много унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна; связанные копны соломы с каменьями полетели туда же, за ними следовал навоз и земля; опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это, кое-как затопленное, стало выше поверхности воды, человек двадцать крестьян, дюжих и ловких, вскочили на верх запруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все это производилось с такою быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому; одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячьих, ибо все принимало участие в таком важном событии, все суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямой рекой; долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн;

---

[1] Каузом называется деревянный ящик, по которому вода бежит и падает на колеса; около Москвы зовут его *дворец* (дверец), а в иных местах *скрыни*.

но, наконец, люди одолели, вода не могла пробиться более, остановилась, как бы задумалась, завертелась, пошла назад, наполнила берега своего русла, затопила, перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд, или, лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих; кое-где торчали верхи затопленных погибших дерев. На другой день затолкла толчея, замолола мельница — и мелет и толчет до сих пор...

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, девственная, роскошная природа!.. Нет, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазнал тебя — свежею, цветущею, неизмятою отвсюду набежавшим разнородным народонаселением! Ты не та, но все еще прекрасна, так же обширна, плодоносна и бесконечно разнообразна, Оренбургская губерния!.. Дико звучат два эти последние слова! Бог знает, как и откуда зашел туда *бург!*.. Но я зазнал тебя, благословенный край, еще Уфимским наместничеством!

Чудесный край, благословенный,
Хранилище земных богатств,
Не вечно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паств!
И люди набегут толпами,
Твое приволье полюбя,
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!
Помнут луга, порубят лес,
Взмутят в водах лазурь небес!

И горы соляных кристаллов
По тузлукам твоим найдут
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут!
И тук земли не истощенный
Всосут чужие семена,
Чужие снимут племена
Их плод, сторицей возвращенный!
И вглубь лесов и в даль степей
Разгонят дорогих зверей!

Так писал о тебе, лет тридцать тому назад, один из твоих уроженцев, и все это отчасти уже исполнилось или исполняется с тобою; но все еще прекрасен ты, чудесный край! Светлы и прозрачны, как глубокие, огромные чаши, стоят озера твои — Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыб твои реки, то быстротекущие по долинам и ущельям между отраслями Уральских гор, то светло и тихо незаметно катящиеся по ковылистым степям твоим, подобно яхонтам, нанизанным на нитку. Чудны эти степные реки, все из бесчисленных, глубоких водоемин, соединяющихся узкими и мелкими протоками, в которых только и приметно течение воды. В твоих быстрых родниковых ручьях, прозрачных и холодных, как лед, даже в жары знойного лета, бегущих под тенью дерев и кустов, живут все породы форелей, изящных по вкусу и красивых по наружности, скоро пропадающих, когда человек начнет прикасаться нечистыми руками своими к девственным струям их светлых прохладных жилищ. Чудесной растительностью блистают твои тучные, черноземные, роскошные луга и поля, то белеющие весной молочным цветом вишенника, клубничника и дикого персика, то покрытые летом, как красным сукном, ягодами ароматной полевой клубники и мелкою вишнею, зреющею позднее и темнеющею к осени. Обильною жатвой награждается ленивый и невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего жалкою сохою или неуклюжим сабаном твою плодоносную почву! Свежи, зелены и могучи стоят твои разнородные черные леса, и рои диких пчел шумно населяют нерукотворные борти твои, заноси их душистым липовым медом. И уфимская куница, более всех уважаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы и Белой! Мирны и тихи патриархальные первобытные обитатели и хозяева твои, кочевые башкирские племена! Много уменьшились, но еще велики, многочисленны конские табуны, и коровьи и овечьи стада их. Еще попрежнему, после жестокой, буранной зимы отощалые, исхудалые, как зимние мухи, башкирцы с первым весенним теплом, с первым подножным кормом выгоняют на привольные места наполовину передохшие от голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними с женами и детьми...

И вы никого не узнаете через две или три недели! Из лошадиных остовов явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребец гордо и строго пасет косяк кобылиц своих, не подпуская к нему ни зверя, ни человека!.. Раздобрели тощие, зимние стада коров, полны питательной влагой вымя и сосцы их. Но что башкирцу до ароматного коровьего молока! Уже поспел живительный кумыс, закис в кобыльих *турсуках*[1], и всё, что может пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьет допьяна целительный, благодатный, богатырский напиток, и дивно исчезают все недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся лица, румянцем здоровья покрываются бледные, впалые щеки. Но странный и грустный вид представляют покинутые селения! Наскачет иногда на них ничего подобного не видавший заезжий путешественник и поразится видом опустелой, как будто вымершей деревни! Дико и печально смотрят на него окна разбросанных юрт с белыми трубами, лишенные пузырчатых оконниц, как человеческие лица с выткнутыми глазами... Кое-где лает на привязи сторожевой голодный пес, которого изредка навещает и кормит хозяин, кое-где мяучит одичалая кошка, сама промышляющая себе пищу, — и никого больше, ни одной души человеческой.

Как живописны и разнообразны, каждая в своем роде, лесная, степная и гористая твоя полоса, особенно последняя, по скату Уральского хребта, всеми металлами богатая, золотоносная полоса! Какое пространство от границ Вятской и Пермской губерний, где по зимам не в редкость замерзание ртути, до Гурьева городка на границе Астраханской губернии, где растет мелкий виноград на открытом воздухе, чихирем которого прохлаждаются в летние жары, греются зимою и торгуют уральские казаки! Что за чудесное рыболовство по Уралу! Единственное и по вкусу добываемой *красной рыбы*[2] и по своему исполнению. Ба́греньем называется это рыболовство,

---

[1] Турсук — мешок из сырой кожи, снятый с лошадиной ноги.

[2] Красной рыбой называются белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица и другие.

и ждет оно горячей и верной кисти, чтоб возбудить общее внимание... Но виноват, заговорился я, говоря о моей прекрасной родине. Посмотрим лучше, как продолжает жить и действовать мой неутомимый дедушка.

НОВЫЕ МЕСТА

Ну, отдохнул Степан Михайлович и не раз от души перекрестился, когда перебрался на простор и приволье берегов Бугуруслана. Не только повеселел духом, но и поздоровел телом. Ни просьб, ни жалоб, ни ссор, ни шума! Ни Воейковых, ни Мошенских, ни Сущевых! [1] Ни лесных порубок, ни хлебных потрав, ни помятых лугов! Один полный господин не только над своей землей, но и над чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова — никто и слова не скажет. Крестьяне тоже как раз привыкли к новому месту, и полюбилось им оно. Да и как не привыкнуть, как не полюбить! Из безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, что с трудом прокармливали по корове да по лошади на тягло, где с незапамятных времен пахали одни и те же загоны и несмотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили землю, — переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека, на быструю, свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на широкий, проточный и рыбный пруд и на мельницу у самого носа, тогда как прежде таскались они за двадцать пять верст, чтобы смолоть воз хлеба, да и то случалось несколько дней ждать очереди. Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безводным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело было не так вначале, и стариков винить не за что: Троицкое некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекавшей версты за три от селения из-под Моховых озер, да сверх того вдоль всего селения тянулось, хотя не широкое, но длинное, светлое и в середине глубокое озеро, дно которого состояло из

[1] Помещики, жившие с дедушкой в Старом Багрове и владевшие вместе с ним неразмежеванной землей.

белого песка; из этого озера даже бежал ручей, называвшийся *Белый ключ*. Так было в старину, давно, правда, очень давно. По преданию известно, что Моховые озера были некогда глубокими лесными круглыми провалами с прозрачною, холодною, как лед, водою и топкими берегами, что никто не смел близко подходить к ним ни в какое время, кроме зимы, что будто бы берега опускались и поглощали дерзкого нарушителя неприкосновенного царства водяных чертей. Но человек — заклятый и торжествующий изменитель лица природы! Старинному преданию, не подтверждаемому новыми событиями, перестали верить, и Моховые озера мало-помалу, от мочки конопле́й у берегов и от пригона стад на водопой, позасорились, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса; потом заплыли толстою землянистою пеленой, которая поросла мохом и скрепилась жилообразными корнями болотных трав, покрылась кочками, кустами и даже сосновым лесом, уже довольно крупным; один провал затянуло совсем, а на другом остались два глубокие, огромные окна, к которым и теперь страшно подходить с непривычки, потому что земля, со всеми болотными травами, кочками, кустами и мелким лесом, опускается и поднимается под ногами, как зыбкая волна. От уменьшения, вероятно, Моховых озер речка Майна поникла вверху и уже выходит из земли несколько верст ниже селения, а прозрачное, длинное и глубокое озеро превратилось в грязную вонючую лужу; песчаное дно, на сажень и более, затянуло тиной и всякой дрянью с крестьянских дворов; Белого ключа давно и следов нет, скоро не будет о нем и памяти.

Переселясь на новые места, дедушка мой принялся с свойственными ему неутомимостью и жаром за хлебопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духом, так привыкли работать настоящим образом, что скоро обстроились и обзавелись, как старожилы, и в несколько лет гумна Нового Багрова занимали втрое больше места, чем самая деревня, а табун добрых лошадей и стадо коров, овец и свиней казались принадлежащими какому-нибудь большому и богатому селению.

С легкой руки Степана Михайловича переселение в Уфимский или Оренбургский край начало умножаться

с каждым годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, татары и мещеряки; русских переселенцев, казенных крестьян разных ведомств и разнокалиберных помещиков также было немало. Явились и соседи у дедушки: шурин его Иван Васильевич Неклюдов купил землю в двадцати верстах от Степана Михайловича, перевел крестьян, построил деревянную церковь, назвал свое село Неклюдовым и сам переехал в него с семейством, чему дедушка совсем не обрадовался: до всех родственников своей супруги, до всей *неклюдовщины*, как он называл их, Степан Михайлович был большой неохотник. Помещик Бахметев купил землю еще ближе, верстах в десяти от Багрова, на верховье речки Совруши, текущей параллельно с Бугурусланом на юго-запад; он также перевел крестьян и назвал деревню Бахметевкой. С другой стороны, верстах в двадцати по реке Насягай, или Мочагай, как и до сих пор называют ее туземцы, также завелось помещичье селение Полибино, впоследствии принадлежавшее С. А. Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзиным. Насягай больше и лучше Бугуруслана: полноводнее, рыбнее, и птица на нем водилась и водится гораздо изобильнее. По дороге в Полибино, прямо на восток, верстах в восьми от Багрова, заселилась на небольшом ручье большая мордовская деревня Нойкино; верстах в двух от нее построилась мельница на речке Бокле, текущей почти параллельно с Бугурусланом на юг; недалеко от мельницы впадает Бокла в Насягай, который диагоналом с северо-востока торопливо катит свои сильные и быстрые воды прямо на юго-запад. Верстах в семнадцати от Нового Багрова принимает он в себя наш Бугуруслан и, усиленный его водами, недалеко от города Бугуруслана соединяется с Большим Кинелем, теряя в нем знаменательное и звучное свое имя.

Наконец, появился мордовский выселок, под названием Кивацкого, уже только в двух верстах от дедушки, вниз по Бугуруслану; это была мордва, отделившаяся от селения Мордовский Бугуруслан, сидевшего на речке Малый Бугурусланчик верстах в девяти от Багрова. Степан Михайлович сначала поморщился от близкого соседства, напоминавшего ему старое Троицкое; но тут

вышло совсем другое дело. Это были добрые, смирные люди, уважавшие дедушку не менее, как своего волостного начальника. В несколько лет Степан Михайлович умел снискать общую любовь и глубокое уважение во всем околотке. Он был истинным благодетелем дальних и близких, старых и новых своих соседей, особенно последних, по их незнанию местности, недостатку средств и по разным надобностям, всегда сопровождающим переселенцев, которые нередко пускаются на такое трудное дело, не приняв предварительных мер, не заготовя хлебных запасов и даже иногда не имея на что купить их. Полные амбары дедушки были открыты всем — бери, что угодно. «Сможешь — отдай при первом урожае; не сможешь — бог с тобой!» С такими словами раздавал дедушка щедрою рукой хлебные запасы на *семены* и *емены*. К этому надо прибавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обширного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей! Только правдою можно было получить от него все. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к нему на господский двор: не только ничего не получит, да в иной час дай бог и ноги унести. Много семейных ссор примирил он, много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон ехали и шли к нему за советом, судом и приговором — и свято исполнялись они! Я знал внуков, правнуков тогдашнего поколения, благодарной памяти которых в изустных рассказах передан был благодетельный и строгий образ Степана Михайловича, не забытого еще и теперь. Много слыхал я простых и вместе глубоких воспоминаний, сопровождаемых слезами и крестным знамением об упокоении души его. Не удивительно, что крестьяне любили горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при нем служившие, часто переносившие страшные бури его неукротимой вспыльчивости. Впоследствии некоторые из молодых слуг его доживали свой век при внуке Степана Михайловича уже стариками; часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, справедливом и

добром своем старом барине и никогда без слез о нем не вспоминали.

И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный человек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые искажали в нем образ человеческий и делали его способным на ту пору к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его таким в моем детстве, что случилось много лет позднее того времени, про которое я рассказываю, — и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти! Как теперь гляжу на него: он прогневался на одну из дочерей своих, кажется за то, что она солгала и заперлась в обмане; двое людей водили его под руки; узнать было нельзя моего прежнего дедушку; он весь дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его глаз, помутившихся, потемневших от ярости! «Подайте мне ее сюда!» — вопил он задыхающимся голосом. (Это я помню живо: остальное мне часто рассказывали.) Бабушка кинулась было ему в ноги, прося помилования, но в одну минуту слетел с нее платок и волосник, и Степан Михайлович таскал за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тем не только виноватая, но и все другие сестры и даже брат их с молодою женою и маленьким сыном убежали из дома и спрятались в рощу, окружавшую дом; даже там ночевали; только молодая невестка воротилась с сыном, боясь простудить его, и провела ночь в людской избе. Долго бушевал дедушка на просторе в опустелом доме. Наконец, уставши колотить Танайченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился он в изнеможении на постель и, наконец, впал в глубокий сон, продолжавшийся до раннего утра следующего дня. — Светел, ясен проснулся на заре Степан Михайлович, весело крикнул свою Аришу, которая сейчас прибежала из соседней комнаты с самым радостным лицом, как будто вчерашнего ничего не бывало. «Чаю! Где дети, Алексей, невестушка? Подайте Сережу», — говорил проснувшийся безумец, и все явились, спокойные и веселые, кроме невестки с сыном. Это была женщина сама с сильным характером, и никакие просьбы не могли ее заставить так скоро броситься с ласкою к вчерашнему дикому зверю, да и маленький сын беспрестанно говорил:

«Боюсь дедушки, не хочу к нему». Чувствуя себя в самом деле нехорошо, она сказалась больною и не пустила сына. Все пришли в ужас, ждали новой грозы. Но во вчерашнем диком звере сегодня уже проснулся человек. После чаю и шутливых разговоров свекор сам пришел к невестке, которая действительно была нездорова, похудела, переменилась в лице и лежала в постели. Старик присел к ней на кровать, обнял ее, поцеловал, назвал красавицей-невестынькой, обласкал внука и, наконец, ушел, сказавши, что ему «без невестыньки будет скучно». Через полчаса невестка, щегольски, по-городскому разодетая, в том самом платье, про которое свекор говорил, что оно особенно идет ей к лицу, держа сына за руку, вошла к дедушке. Дедушка встретил ее почти со слезами. «Вот и больная невестка себя не пожалела, встала, оделась и пришла развеселить старика», — сказал он с нежностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, все не любившие невестку, которая почтительно и весело отвечала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующие взгляды на своих недоброхоток... Но я не стану более говорить о темной стороне моего дедушки; лучше опишу вам один из его добрых, светлых дней, о которых я много наслышался.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ СТЕПАНА МИХАЙЛОВИЧА

В исходе июня стояли сильные жары. После душной ночи потянул на рассвете восточный, свежий ветерок, всегда упадающий, когда обогреет солнце. На восходе его проснулся дедушка. Жарко было ему спать в небольшой горнице, хотя с поднятым на всю подставку подъемом старинной оконной рамы с мелким переплетом, но зато в пологу из домашней рединки. Предосторожность необходимая: без полога заели бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими в тонкую преграду крылатые музыканты и всю ночь пели ему докучные серенады. Смешно сказать, а грех утаить, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров: в них слышно мне знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие

зелеными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни; я помню замирание молодого сердца и сладкую, безотчетную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни... Проснулся дедушка, обтер жаркою рукою горячий пот с крутого, высокого лба своего, высунул голову из-под полога и рассмеялся. Ванька Мазан и Никанорка Танайченок храпели врастяжку на полу, в карикатурно-живописных положениях. «Эк храпят, собачьи дети!» — сказал дедушка и опять улыбнулся. Степан Михайлович был загадочный человек: после такого сильного словесного приступа следовало бы ожидать толчка калиновым подожком (всегда у постели его стоявшим) в бок спящего или пинка ногой, даже приветствия стулом; но дедушка рассмеялся, просыпаясь, и на весь день попал в добрый стих, как говорится. Он встал без шума, раз-другой перекрестился, надел порыжелые, кожаные туфли на босые ноги и в одной рубахе из крестьянской оброчной лленой холстины (ткацкого тонкого полотна на рубашки бабушка ему не давала) вышел на крыльцо, где приятно обхватила его утренняя, влажная свежесть. Я сейчас сказал, что ткацкого холста на рубашки Арина Васильевна не давала Степану Михайловичу, и всякий читатель вправе заметить, что это не сообразно с характерами обоих супругов. Но как же быть — прошу не прогневаться, так было на деле: женская натура торжествовала над мужскою, как и всегда! Не раз битая за толстое белье, бабушка продолжала подавать его и, наконец, приучила к нему старика. Дедушка употребил однажды самое действительное, последнее средство; он изрубил топором на пороге своей комнаты все белье, сшитое из оброчной лленой холстины, несмотря на вопли моей бабушки, которая умоляла, чтоб Степан Михайлович «бил ее, да своего добра не рубил...», но и это средство не помогло: опять явилось толстое белье — и старик покорился... Виноват, опровергая мнимое замечание читателя, я прервал рассказ про «добрый день моего дедушки». Никого не беспокоя, он сам достал войлочный потник, лежавший всегда в чулане, подостлал его под себя на верхней ступени крыльца и сел встречать солнышко по всегдашнему своему обычаю. — Перед восходом солнца бывает

весело на сердце у человека как-то бессознательно; а дедушке, сверх того, весело было глядеть на свой господский двор, всеми нужными по хозяйству строениями тогда уже достаточно снабженный. Правда, двор был не обгорожен, и выпущенная с крестьянских дворов скотина, собираясь в общее мирское стадо для выгона в поле, посещала его мимоходом, как это было и в настоящее утро и как всегда повторялось по вечерам. Несколько запачканных свиней потирались и почесывались о самое то крыльцо, на котором сидел дедушка, и, хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объедками, которые без церемонии выкидывались у того же крыльца; заходили также и коровы и овцы; разумеется, от их посещений оставались неопрятные следы; но дедушка не находил в этом ничего неприятного, а, напротив, любовался, глядя на здоровый скот как на верный признак довольства и благосостояния своих крестьян. Скоро громкое хлопанье длинного пастушьего кнута угнало посетителей. Начала просыпаться дворня. Дюжий конюх Спиридон, которого до глубокой старости звали «Спирькой», выводил, одного за другим, двух рыже-пегих и третьего бурого жеребца, привязывал их к столбу, чистил и проминал на длинной коновязи, причем дедушка любовался их статями, заранее любовался и тою породою, которую надеялся повести от них, в чем и успел совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребице, вышла из погреба, сходила на Бугуруслан умыться, повздыхала, поохала (это была ее неизменная привычка), помолилась богу, оборотясь к солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились в небе, щебетали и пели ласточки и косаточки, звонко били перепела в полях, рассыпались в воздухе песни жаворонков, надседаясь хрипло кричали в кустах дергуны; подсвистыванье погонышей, токованье и блеянье дикого барашка неслись с ближнего болота, варакушки взапуски передразнивали соловьев; выкатывалось из-за горы яркое солнце!.. Задымились крестьянские избы, погнулись по ветру сизые столбы дыма, точно вереница речных судов выкинула свои флаги; потянулись мужички в поле... Захотелось дедушке умыться студеной водою и потом

напиться чаю. Разбудил он безобразно спавших слуг своих. Повскакали они, как полоумные, в испуге, но веселый голос Степана Михайловича скоро ободрил их: «Мазан, умываться! Танайченок, будить Аксютку и барыню, чаю!» Не нужно было повторять приказаний: неуклюжий Мазан уже летел со всех ног с медным, светлым рукомойником на родник за водою, а проворный Танайченок разбудил некрасивую молодую девку Аксютку, которая, поправляя свалившийся набок платок, уже будила старую, дородную барыню Арину Васильевну. В несколько минут весь дом был на ногах, и все уже знали, что старый барин проснулся весел. Через четверть часа стоял у крыльца стол, накрытый белою браною скатерткой домашнего изделья, кипел самовар в виде огромного медного чайника, суетилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, с Степаном Михайловичем, не охая и не стоная, что было нужно в иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровье: «Как почивал и что во сне видел?» Ласково поздоровался дедушка с своей супругой и назвал ее Аришей; он никогда не целовал ее руки, а свою давал целовать в знак милости. Арина Васильевна расцвела и помолодела: куда девалась ее тучность и неуклюжесть! Сейчас принесла скамеечку и уселась возле дедушки на крыльце, чего никогда не смела делать, если он неласково встречал ее. «Напьемся-ка вместе чайку, Ариша! — заговорил Степан Михайлович, — покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спал я крепко, так что и сны все заспал. Ну, а ты?» Такой вопрос был необыкновенная ласка, и бабушка поспешно отвечала, что которую ночь Степан Михайлович хорошо почивает, ту и она хорошо спит; но что Танюша всю ночь металась. Танюша была меньшая дочь, и старик любил ее больше других дочерей, как это часто случается; он обеспокоился такими словами и не приказал будить Танюшу до тех пор, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вместе с Александрой и Елизаветой Степановнами, и она уже оделась; но об этом сказать не осмелились. Танюша проворно разделась, легла в постель, велела затворить ставни в своей горнице и хотя заснуть не могла, но пролежала в потемках часа два; де-

душка остался доволен, что Танюша хорошо выспалась. Единственного сынка, которому было девять лет, никогда не будили рано. Старшие дочери явились немедленно; Степан Михайлович ласково дал им поцеловать руку и назвал одну Лизынькой, а другую Лексаней. Обе были очень не глупы, Александра же соединяла с хитрым умом отцовскую живость и вспыльчивость, но добрых свойств его не имела. Бабушка была женщина самая простая и находилась в полном распоряжении у своих дочерей; если иногда она осмеливалась хитрить с Степаном Михайловичем, то единственно по их наущению, что, по неуменью, редко проходило ей даром и что старик знал наизусть; он знал и то, что дочери готовы обмануть его при всяком удобном случае, и только от скуки или для сохранения собственного покоя, разумеется будучи в хорошем расположении духа, позволял им думать, что они надувают его; при первой же вспышке все это высказывал им без пощады, в самых нецеремонных выражениях, а иногда и бивал, но дочери, как настоящие Евины внучки, не унывали: проходил час гнева, прояснялось лицо отца, и они сейчас принимались за свои хитрые планы и нередко успевали.

Накушавшись чаю и поговоря о всякой всячине с своей семьей, дедушка собрался в поле. Он уже давно сказал Мазану: «Лошадь!» — и старый бурый мерин, запряженный в длинные крестьянские дроги, или роспуски, чрезвычайно покойные, переплетенные частою веревочной решеткою с длинным лубком посередине, накрытым войлоком — уже стоял у крыльца. Конюх Спиридон сидел кучером в незатейливом костюме, то есть просто в одной рубахе, босиком, подпоясанный шерстяным тесемочным красным поясом, на котором висел ключ и медный гребень. В предыдущий раз Спиридон ездил в такую же экспедицию даже без шляпы, но дедушка побранил его за то, и на этот раз он приготовил себе что-то вроде шапки, сплетенной из широких лык; дедушка посмеялся над его *шлычкой* и, надев *полевой* кафтан из небеленого домашнего холста да картуз и подостлав под себя про запас от дождя армяк, сел на дроги. Спиридон также подложил под себя сложенный втрое свой обыкновенный зипун из крестьянского белого

сукна, но окрашенный в яркокрасный цвет марены, которой много родилось в полях. Этот красный цвет был в таком употреблении у стариков, что багровских дворовых соседи звали «маренниками»; я сам слыхал это прозвище лет пятнадцать после смерти дедушки. В поле Степан Михайлович был всем доволен. Он осмотрел отцветавшую рожь, которая, в человека вышиною, стояла, как стена; дул легкий ветерок, и сине-лиловые волны ходили по ней, то светлее, то темнее отражаясь на солнце. Любо было глядеть хозяину на такое поле! Дедушка объехал молодые овсы, полбы и все яровые хлеба; потом отправился в паровое поле и приказал возить себя взад и вперед по вспаренным десятинам. Это был его обыкновенный способ узнавать доброту пашни: всякая целизна, всякое нетронутое сохою местечко сейчас встряхивало качкие дроги, и если дедушка бывал не в духе, то на таком месте втыкал палочку или прутик, посылал за старостой, если его не было с ним, и расправа производилась немедленно. В этот раз все шло благополучно; может быть, и попадались целизны, только Степан Михайлович их не замечал или не хотел заметить. Он заглянул также на места степных сенокосов и полюбовался густой высокой травой, которую чрез несколько дней надо было косить. Он побывал и на крестьянских полях, чтобы знать самому, у кого уродился хлеб хорошо и у кого плохо, даже пар крестьянский объехал и попробовал, все заметил и ничего не забыл. Проезжая чрез залежи и увидев поспевавшую клубнику, дедушка остановился и, с помощью Мазана, набрал большую кисть крупных, чудных ягод и повез домой своей Арише. Несмотря на жар, он проездил почти до полдён. Только завидели спускающиеся с горы дедушкины дроги — кушанье уже стояло на столе, и вся семья ожидала хозяина на крыльце. «Ну, Ариша, — весело сказал дедушка, — какие хлеба дает нам бог! Велика милость господня! А вот тебе и клубничка». Бабушка растаяла от радости. «Наполовину поспела, — продолжал он, — с завтрашнего дня посылать по ягоды». Говоря эти слова, он входил в переднюю; запах горячих щей несся ему навстречу из залы. «А, готово! — еще веселее сказал Степан Михайлович, — спасибо», и, не заходя в свою комнату, прямо

прошел в залу и сел за стол. Надобно сказать, что у дедушки был обычай: когда он возвращался с поля, рано или поздно, — чтоб кушанье стояло на столе, и боже сохрани, если прозевают его возвращение и не успеют подать обеда. Бывали примеры, что от этого происходили печальные последствия. Но в этот блаженный день все шло как по маслу, все удавалось. Здоровенный дворовый парень Николка Рузан стал за дедушкой с целым сучком березы, чтобы обмахивать его от мух. Горячие щи, от которых русский человек не откажется в самые палящие жары, дедушка хлебал деревянной ложкой, потому что серебряная обжигала ему губы; за ними следовала ботвинья со льдом, с прозрачным балыком, желтой, как воск, соленой осетриной и с чищеными раками, и тому подобные легкие блюда. Все это запивалось домашней брагой и квасом, также со льдом. Обед был превеселый. Все говорили громко, шутили, смеялись; но бывали обеды, которые проходили в страшной тишине и безмолвном ожидании какой-нибудь вспышки. Все дворовые мальчишки и девчонки знали, что старый барин весело кушает, и все набились в залу за подачками; дедушка щедро оделял всех, потому что кушанья готовилось впятеро более, чем было нужно. После обеда он сейчас лег спать. Вымахали мух из полога, опустили его над дедушкой, подтыкали кругом края под перину; скоро сильный храп возвестил, что хозяин спит богатырским сном. Все разошлись по своим местам также отдыхать. Мазан и Танайченок, предварительно пообедав и наглотавшись объедков от барского стола, также растянулись на полу в передней, у самой двери в дедушкину горницу. Они спали и до обеда, но и теперь не замедлили заснуть, только духота и упёка от солнца, ярко светившего в окна, скоро их разбудила. От сна и от жара пересохло у них в горле, захотелось им прохладить горячие гортани господской бражкой с ледком, и вот на какую штуку пустились дерзкие лежебоки: в непритворенную дверь достали они дедушкин халат и колпак, лежавшие на стуле у самой двери. Танайченок надел на себя барское платье и сел на крыльцо, а Мазан побежал со жбаном на погреб, разбудил ключницу, которая, как и все в доме, спала мертвым сном, требовал поскорее

проснувшемуся барину студеной браги, и, когда ключница изъявила сомнение, проснулся ли барин, — Мазан указал ей на фигуру Танайченка, сидящего на крыльце в халате и колпаке; нацедили браги, положили льду, проворно побежал Мазан с добычей. Жбан выпили побратски, положили халат и колпак на старое место и целый час еще дожидались, пока проснется дедушка. Еще веселее утрешнего проснулся барин, и первое его слово было: «Студеной бражки». Перепугались лакеи: Танайченок побежал к ключнице, которая сейчас догадалась, что первый жбан выпили они сами; она отпустила пойла, но вслед за посланным сама подошла к крыльцу, на котором сидел уже в халате настоящий барин. С первых слов обман открылся, и дрожащие от страха Мазан и Танайченок повалились барину в ноги, и что ж, вы думаете, сделал дедушка?.. Расхохотался, послал за Аришей и за дочерьми и, громко смеясь, рассказал им всю проделку своих слуг. Отдохнули бедняги от страха, и даже один из них улыбнулся. Степан Михайлович заметил и чуть-чуть не рассердился; брови его уже начали было морщиться, но в его душе так много было тихого спокойствия от целого веселого дня, что лоб его разгладился и, грозно взглянув, он сказал: «Ну, бог простит на этот раз; но если в другой...» Договаривать было не нужно.

Нельзя не подивиться, что у такого до безумия горячего и в горячности жестокого господина люди могли решиться на такую наглую шалость. Но много раз я замечал в продолжение моей жизни, что у самых строгих господ прислуга пускалась на отчаянные проказы. С дедушкой же моим это был не единственный случай. Тот же самый Ванька Мазан, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь перестлать постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками, вздумал понежиться, полежать на барской кровати, лег, да и заснул. Дедушка сам нашел его, крепко спящего в этом положении, и — только рассмеялся! Правда, он отвесил ему добрый раз своим калиновым подожком, но это так, ради смеха, чтоб позабавиться испугом Мазана. Впрочем, с Степаном Михайловичем и не то случилось: во время его отсутствия выдали за-

муж четырнадцатилетнюю девочку, двоюродную его сестру, П. И. Багрову, круглую, но очень богатую сироту, жившую у него в доме и горячо им любимую, — за такого развратного и страшного человека, которого он терпеть не мог. Конечно, это дело устроили близкие родные его сестры с материнской стороны, но с согласия Арины Васильевны и при содействии ее дочерей. Об этом я расскажу после, теперь же возвратимся к доброму дню моего дедушки.

Он проснулся часу в пятом пополудни и, после студеной бражки, несмотря на палящий зной, скоро захотел накушаться чаю, веруя, что горячее питье уменьшает тягость жара. Он сходил только искупаться в прохладном Бугуруслане, протекавшем под окнами дома, и, воротясь, нашел всю свою семью, ожидающую его у того же чайного стола, поставленного в тени, с тем же кипящим чайником, самоваром и с тою же Аксюткою. Накушавшись досыта любимого потогонного напитка с густыми сливками и толстыми подрумянившимися пенками, дедушка предложил всем ехать для прогулки на мельницу. Разумеется, все с радостию согласились, и две тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли с собой удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. В одну минуту запрягли двое длинных дрог: на одних сел дедушка с бабушкой, посадив промеж себя единственного своего наследника, драгоценную отрасль древнего своего дворянского рода; на других дрогах поместились три тетки и парень Николашка Рузан, взятый для того, чтоб нарыть в плотине червяков и насаживать ими удочки у барышень. На мельнице бабушке принесли скамейку, и она уселась в тени мельничного амбара, неподалеку от кауза, около которого удили ее меньшие дочери, а старшая, Елизавета Степановна, сколько из угождения к отцу, столько и по собственному расположению к хозяйству, пошла с Степаном Михайловичем осматривать мельницу и толчею. Малолетний сынок то смотрел, как удят рыбу сестры (самому ему удить на глубоких местах еще не позволяли), то играл около матери, которая не спускала с него глаз, боясь, чтоб ребенок не свалился как-нибудь в воду. Оба камня мололи: одним

обдирали пшеницу для господского стола, а на другом мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дедушка был знаток всякого хозяйственного дела; он хорошо разумел мельничный устав и толковал своей умной и понятливой дочери все тонкости этого дела. Он мигом увидел все недостатки в снастях или ошибки в уставе жерновов: один из них приказал опустить на ползарубки, и мука пошла мельче, чем помолец был очень доволен; на другом поставе по слуху угадал, что одна цевка в шестерне начала подтираться; он приказал запереть воду, мельник Болтуненок соскочил вниз, осмотрел и ощупал шестерню и сказал: «Правда твоя, батюшка Степан Михайлович! одна цевка маленько пообтерлась». — «То-то маленько, — без всякого неудовольствия возразил дедушка, — кабы я не пришел, так шестерня-то бы ночью сломалась». — «Виноват, Степан Михайлович, не доглядел». — «Ну, бог простит, давай новую шестерню, а у старой подтертую цевку переменить, да чтобы новая была не толще, не тоньше других — в этом вся штука». Сейчас принесли новую шестерню, заранее прилаженную и пробованную, вставили на место прежней, смазали, где надобно, дегтем, пустили воду не вдруг, а понемногу (тоже по приказанию дедушки) — и запел, замолол жернов без перебоя, без стука, а плавно и ровно. Потом пошел дедушка с своей дочерью на толчею, захватил из ступы горсть толченого проса, обдул его на ладони и сказал помольщику, знакомому мордвину: «Чего смотришь, сосед Васюха? Видишь, ни одного не отолченного зернышка нет. Ведь перепустишь, так пшена-то будет меньше». Васюха сам попробовал и сам увидел, что дедушка говорит правду; сказал спасибо, поклонился, то есть кивнул головой, и побежал запереть воду. Оттуда прошел дедушка с своей ученицей на птичный двор; там все нашел в отличном порядке; гусей, уток, индеек и кур было великое множество, и за всем смотрела одна пожилая баба с внучкой. В знак особенной милости дедушка дал обеим поцеловать ручку и приказал, сверх месячины, выдавать птичнице ежемесячно по полпуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степан Михайлович к Арине Васильевне, всем был он доволен:

и дочь понятна, и мельница хорошо мелет, и птичница Татьяна Горожана[1] хорошо смотрит за птицею.

Жар давно свалил, прохлада от воды умножала прохладу от наступающего вечера, длинная туча пыли шла по дороге и приближалась к деревне, слышалось в ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотине, любовался Степан Михайлович на широкий пруд, как зеркало, неподвижно лежавший в отлогих берегах своих; рыба играла и плескалась беспрестанно, но дедушка не был рыбаком. «Пора, Ариша, домой, староста, чай, ждет меня», — сказал он. Меньшие дочери, видя его в веселом расположении, стали просить позволения остаться поудить, говоря, что на солнечном закате рыба клюет лучше и что через полчаса они придут пешком. Дедушка согласился и уехал с бабушкой домой на своих дрогах, а Елизавета Степановна с маленьким братом села на другие дроги. Степан Михайлович не ошибся: у крыльца ожидал его староста, да и не один, а с несколькими мужиками и бабами. Староста уже видел барина, знал, что он в веселом духе, и рассказал о том кое-кому из крестьян; некоторые, имевшие до дедушки надобности или просьбы, выходящие из числа обыкновенных, воспользовались благоприятным случаем, и все были удовлетворены: дедушка дал хлеба крестьянину, который не заплатил еще старого долга, хотя и мог это сделать; другому позволил женить сына, не дожидаясь зимнего времени, и не на той девке, которую назначил сам; позволил виноватой солдатке, которую приказал было выгнать из деревни, жить попрежнему у отца, и проч. Этого мало: всем было поднесено по серебряной чарке, вмещавшей в себе более квасного стакана, домашнего крепкого вина. Коротко и ясно отдал дедушка хозяйственные приказания старосте и поспешил за ужин, несколько времени его уже ожидавший. Вечерний стол мало отличался от обеденного, и, вероятно, кушали за ним даже поплотнее, потому что было не так жарко. После ужина Степан Михайлович имел обыкновение еще с полчаса посидеть в

---

[1] Прозванье «Горожаны» она имела потому, что несколько времени смолоду жила в каком-то городе.

одной рубахе и прохладиться на крыльце, отпустя семью свою на покой. В этот раз несколько долее обыкновенного он шутил и смеялся с своей прислугой; заставлял Мазана и Танайченка бороться и драться на кулачки и так их поддразнивал, что они, не шутя, колотили друг друга и вцепились даже в волосы; но дедушка, досыта насмеявшись, повелительным словом и голосом заставил их опомниться и разойтись.

Летняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угас свет вечерней зари и не угаснет до начала соседней утренней зари! Час от часу темнела глубь небесного свода, час от часу ярче сверкали звезды, громче раздавались голоса и крики ночных птиц, как будто они приближались к человеку! Ближе шумела мельница и толкла толчея в ночном сыром тумане... Встал мой дедушка с своего крылечка, перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почивать, несмотря на духоту в комнате, на жаркий пуховик и приказал опустить на себя полог.

ВТОРОЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ»

МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧ КУРОЛЕСОВ

Я обещал рассказать особо об Михайле Максимовиче Куролесове и его женитьбе на двоюродной сестре моего дедушки Прасковье Ивановне Багровой. Начало этого события происходило в 1760-х годах, прежде того времени, о котором я рассказывал в первом отрывке из «Семейной хроники», а конец — гораздо позже. Исполняю мое обещание.

Степан Михайлович был единственный сын Михаила Петровича Багрова, а Прасковья Ивановна — единственная дочь Ивана Петровича Багрова. Дедушка мой очень любил ее как единственную женскую отрасль рода Багровых и как единственную свою двоюродную сестру. Прасковья Ивановна лишилась матери еще в колыбели, а десяти лет потеряла отца. Мать ее была из рода Бактеевых и очень богата: она оставила дочери девятьсот душ крестьян, много денег и еще более драгоценных ве-

щей и серебра; после отца также получила она триста душ; итак, она была богатая сирота и будущая богатая невеста. После смерти отца она сначала жила у бабушки Бактеевой, потом приезжала и гостила подолгу в Троицком, и, наконец, Степан Михайлович перевез ее на житье к себе. Любя не менее дочерей свою сестричку-сиротку, как называл ее Степан Михайлович, он был очень нежен с ней по-своему; но Прасковья Ивановна, по молодости лет или, лучше сказать, по детскости своей, не могла ценить любви и нежности своего двоюродного брата, которые не выражались никаким баловством, к чему она уже попривыкла, поживши довольно долго у своей бабушки; итак, немудрено, что она скучала в Троицком и что ей хотелось воротиться к прежней своей жизни у старушки Бактеевой. Прасковья Ивановна была не красавица, но имела правильные черты лица, прекрасные умные, серые глаза, довольно широкие, длинные, темные брови, показывающие твердый и мужественный нрав, стройный высокий рост, и в четырнадцать лет казалась осьмнадцатилетнею девицей; но, несмотря на телесную свою зрелость, она была еще совершенный ребенок и сердцем и умом: всегда живая, веселая, она резвилась, прыгала, скакала и пела с утра до вечера. Голос имела чудесный, страстно любила песни, качели, хороводы и всякие игрища, и когда ничего этого не было, то целый день играла в куклы, непременно сопровождая свои игры всякого рода русскими песнями, которых и тогда знала бесчисленное множество.

За год до переезда ее к Степану Михайловичу приехал в Симбирскую губернию, в отпуск, молодой человек, лет двадцати восьми, родовой тамошний дворянин Михаил Максимович Куролесов, служивший в военной службе; он был, как говорится, молодец собой. Многие называли его даже красавцем, но иные говорили, что он, несмотря на свою красивость, был как-то неприятен, и я в ребячестве слыхал об этом споры между бабушкой и моими тетками. С пятнадцатилетнего возраста он находился в службе в каком-то известном тогда славном полку и дослужился уже до чина майора. В отпуск приезжал редко, да и приезжать было не к чему, потому что у него родового имения всего было душ с полтораста,

и то малоземельных, находившихся в разнопоместном селении Грачовке. Разумеется, он не имел настоящего образования, но был боек на словах и писал также бойко и складно. Я имел в своих руках много его писем, из которых очевидно, что он был человек толковый, ловкий и в то же время твердый и деловой. Не знаю, как он был родня нашему бессмертному Суворову, но в переписке Куролесова я нашел несколько писем гениального полководца, которые всегда начинались так: «Милостивый государь мой, братец Михаил Максимович» — и оканчивались: «С достодолжным почтением к вам и милостивой государыне сестрице Прасковье Ивановне, честь имею быть и проч.». Михаила Максимовича мало знали в Симбирской губернии, но как «слухом земля полнится», и притом, может быть, он и в отпуску позволял себе кое-какие дебоши, как тогда выражались, да и приезжавший с ним денщик или крепостной лакей, несмотря на строгость своего командира, по секрету кое-что пробалтывал, — то и составилось о нем мнение, которое вполне выражалось следующими афоризмами, что «майор шутить не любит, что у него ходи по струнке и с тропы не сваливайся, что он солдата не выдаст и, коли можно, покроет, а если попался, так уж помилованья не жди, что слово его крепко, что если пойдет на ссору, то ему и черт не брат, что он лихой, бедовый, что он *гусь лапчатый, зверь полосатый...»* [1], но все единогласно называли его отличным хозяином. Носились также слухи, вероятно вышедшие из тех же источников, что майор большой гуляка, то есть охотник до женского пола и до хмельного, но знает всему место и время. Первая охота прикрывалась поговоркою, что «быль молодцу не укора»; а вторая, что «выпить мужчине не беда» и что «кто пьян да умен, — два угодья в нем». Итак, майор Куролесов не имел положительно дурной репутации, а напротив, в глазах многих имел репутацию выгодную. К тому же был искателен, умел приласкаться и приласкать, оказывал уважение старшим и почетным людям, и потому приняли

[1] Двумя последними поговорками, несмотря на видимую их неопределенность, русский человек определяет очень много, ярко и понятно для всякого.

его все радушно и с удовольствием. Будучи близким соседом Бактеевых, которым приходился дальним родственником по мужу дочери Бактеевой, А. А. Курмышевой (да, кажется, и крестьяне их жили в одном селе), он умел так сыскать их расположение, что все его любили и носили на руках. Сначала делал он это без особенных видов, а вследствие своего неизменного правила «добиваться благосклонности людей почтенных и богатых»; но потом, увидев там живую, веселую и богатую Прасковью Ивановну, по наружности совершенную уже невесту, он составил план жениться на ней и прибрать к рукам ее богатство. С этой определенной целью он удвоил свои заискиванья к бабушке и тетке Прасковьи Ивановны и добился до того, что они в нем, как говорится, души не чаяли; да и за молодой девушкой начал так искусно ухаживать, что она его полюбила, разумеется как человека, который потакал всем ее словам, исполнял желания и вообще баловал ее. Михаил Максимович открылся родным Прасковьи Ивановны, прикинулся влюбленным в молодую сироту, и все поверили, что он ею *смертельно заразился*, грезит ею во сне и наяву, сходит от нее с ума; поверили, одобрили его намерение и приняли бедного страдальца под свою защиту. При таком благосклонном покровительстве родных нетрудно было ему успеть в своем намерении: он угождал девочке доставлением разных удовольствий, катал на лихих своих конях, качал на качелях и сам качался с ней, мастерски певал с нею русские песни, дарил разными безделушками и выписывал для нее затейливые детские игрушки из Москвы.

Зная, что для полного успеха необходимо получить согласие двоюродного брата и опекуна невесты, Михаил Максимович попробовал втереться к нему в милость. Под разными предлогами, с рекомендательными письмами от родных Прасковьи Ивановны, приезжал он к Степану Михайловичу в деревню — но не понравился хозяину. С первого взгляда это может показаться странным: отчего бы не понравиться? У молодого майора были некоторые качества, которые как будто бы симпатизировали с свойствами Степана Михайловича; но у старика, кроме здравого ума и светлого взгляда, было

это нравственное чутье людей честных, прямых и правдивых, которое чувствует с первого знакомства с человеком неизвестным кривду и неправду его, для других незаметную; которое слышит зло под благовидною наружностью и угадывает будущее его развитие. Ласковые речи и почтительный тон не обманули Степана Михайловича, и он сразу отгадал, что тут скрываются какие-нибудь плутни. Притом дедушка был самой строгой и скромной жизни, и слухи, еще прежде случайно дошедшие до него, так легко извиняемые другими, о беспутстве майора поселили отвращение к нему в целомудренной душе Степана Михайловича, и хотя он сам был горяч до бешенства, но недобрых, злых и жестоких без гнева людей — терпеть не мог. Вследствие всего этого принял он Михаила Максимовича холодно и сухо, несмотря на умные и дельные разговоры обо всем и особенно о хозяйстве; когда же гость, увидев Прасковью Ивановну, уже переехавшую в то время к моему дедушке, стал любезничать с нею, как старый знакомый, и она слушала его с удовольствием, то у дедушки, по обыкновению, покривилась голова на сторону, посдвинулись брови и покосился он на гостя неласково. Напротив, Арине Васильевне и всем дочерям гость очень приглянулся, потому что с первых минут он умел к ним подольститься, и они пустились было с ним в разные ласковые речи; но вышесказанные мною зловещие признаки грозы на лице Степана Михайловича всех обдали холодом, и все прикусили язычки. Гость попытался восстановить общественное спокойствие и приятность беседы, но напрасно: от всех начал он получать короткие ответы, от хозяина же и не совсем учтивые. Делать было нечего, надо было уехать, хотя уже наступало позднее ночное время и следовало бы гостю, по деревенскому обычаю, остаться ночевать. «Дрянь человек и плут, авось в другой раз не приедет», — сказал Степан Михайлович семье своей, и, конечно, ничей голос не возразил ему; но зато потихоньку долго хвалили бравого майора, и охотно слушала и рассказывала про его угодливости молодая девочка, богатая сирота.

Похлебав несолоно, отъехал Михаил Максимович от Степана Михайловича и воротился к Бактеевой с изве-

стием о своей неудаче. Дедушку моего хорошо знали и с первой минуты потеряли всякую надежду на его добровольное согласие. Долго думали, но ничего не придумали. Отважный майор предлагал пригласить молодую девушку в гости к бабушке и обвенчаться с ней без согласия Степана Михайловича, но Бактеева и Курмышева были уверены, что дедушка мой не отпустит свою сестру одну, а если и отпустит, то очень не скоро, а майору оставаться долее было нельзя. Он предлагал отчаянное средство: уговорить Прасковью Ивановну к побегу, увезти ее и сейчас где-нибудь обвенчаться; но родные и слышать не хотели о таком зазорном деле, — и Михаил Максимович уехал в полк. Пути провидения для нас непостижимы, а потому мы не можем судить, отчего судьбе было угодно, чтоб это злое намерение увенчалось успехом. Через полгода вдруг получила старуха Бактеева известие, что Степан Михайлович по весьма важному делу уезжает куда-то далеко и надолго. Куда и зачем уезжал он — не знаю, только куда-то далеко, в Астрахань или в Москву, и непременно по делу, потому что брал с собой поверенного Пантелея Григорьевича. Сейчас послали грамоту к Степану Михайловичу и просили позволения, чтоб внучка, во время отсутствия своего опекуна и брата, приехала погостить к бабушке, но получили короткий ответ, «что Параше и здесь хорошо и что если желают ее видеть, то могут приехать и прогостить в Троицком сколько угодно». Послав такой положительный ответ и пригрозив строго-настрого своей всегда покорной супруге, чтоб она берегла Парашу как зеницу своего ока и никуда из дома не отпускала, Степан Михайлович отправился в путь.

Бактеева пересылалась и переписывалась с Прасковьей Ивановной и с семейством моего дедушки. Сейчас по получении известия, что он уехал, Бактеева уведомила об этом Михаила Максимовича Куролесова, прибавя, что Степан Михайлович уехал надолго и что не может ли он приехать, чтоб лично хлопотать по известному делу, а сама старуха Бактеева с дочерью немедленно отправилась в Троицкое. Она всегда была в дружеских отношениях с Ариной Васильевной; узнав, что Куролесов и ей очень понравился, она открылась, что молодой майор без

памяти влюблен в Парашеньку; распространилась в похвалах жениху и сказала, что ничего так не желает, «как пристроить при своей жизни свою внучку-сиротинку, и уверена в том, что она будет счастлива; что она чувствует, что ей уже недолго жить на свете, и потому хотела бы поторопиться этим делом». Арина Васильевна, с своей стороны, совершенно одобрила такое намерение, но выразила сомнение, «чтобы Степан Михайлович на это согласился, и что, бог знает почему, Михаил Максимович, хотя всем взял, но ему больно не понравился». — Призвали на совет старших дочерей Арины Васильевны, и под председательством старухи Бактеевой и ее дочери Курмышевой, особенно горячо хлопотавшей за майора, положено было: предоставить улаживание этого дела родной бабушке, потому что она внучке всех ближе, но таким образом, чтоб супруга Степана Михайловича и ее дочери остались в стороне, как будто они ничего не знают и ничему не причастны. Я уже сказал прежде, что Арина Васильевна была женщина добрая и очень простая; дочери ее были совершенно на стороне Бактеевой, а потому и немудрено, что ее могли уговорить способствовать такому делу, за которое Степан Михайлович жестоко будет гневаться. Между тем беззаботная и веселая сирота и не подозревала, что решают судьбу ее. Об Михаиле Максимовиче часто говорили при ней, хвалили изо всех сил, уверяли, что он любит ее больше своей жизни, что день и ночь думает о том, как бы ей угодить, и что если он скоро приедет, то, верно, привезет ей множество московских гостинцев. Прасковья Ивановна слушала с удовольствием такие речи и говорила, что она сама никого на свете так не любит, как Михаила Максимовича. Покуда гостила старуха Бактеева в Троицком, ей привезли из деревни письмо от Куролесова, который уведомлял, что как скоро получит отпуск, то немедленно приедет. Наконец, Бактеева и Курмышева, условившись с Ариной Васильевной, что она ни о чем к своему супругу писать не станет и отпустит к ним Парашеньку, несмотря на запрещение Степана Михайловича, под предлогом тяжкой болезни родной бабушки, — уехали в свое поместье. Прасковья Ивановна плакала и просилась к бабушке, особенно узнав, что майор скоро приедет, но ее

не пустили из уважения к приказанию братца Степана Михайловича. Куролесов не мог получить немедленно себе отпуска и приехал месяца через два. Вскоре после его приезда отправили гонца с письмом в Троицкое к Арине Васильевне; в письме Курмышева уведомляла, что старуха Бактеева сделалась отчаянно больна, желает видеть и благословить внучку, а потому просит прислать ее с кем-нибудь; было прибавлено, что, без сомнения, Степан Михайлович не будет гневаться за нарушение его приказания и конечно бы отпустил внучку проститься с своей родной бабушкой. Письмо очевидно было написано напоказ, для оправдания Арины Васильевны перед строгим супругом. Верная своему обещанию и обеспеченная таким письмом, Арина Васильевна немедленно собралась в дорогу и сама отвезла Парашеньку к ее мнимо-умирающей бабушке; прогостила у больной с неделю и воротилась домой, совершенно обвороженная ласковыми речами Михаила Максимовича и разными подарками, которые он привез из Москвы не только для нее, но и для дочерей ее. Прасковья Ивановна была очень довольна, бабушке ее стало сейчас лучше, угодник майор привез ей из Москвы много игрушек и разных гостинцев, гостил у Бактеевой в доме безвыездно, рассыпался перед ней мелким бесом и скоро так привязал к себе девочку, что когда бабушка объявила ей, что он хочет на ней жениться, то она очень обрадовалась и, как совершенное дитя, начала бегать и прыгать по всему дому, объявляя каждому встречному, что «она идет замуж за Михаила Максимовича, что как будет ей весело, что сколько получит она подарков, что она будет с утра до вечера кататься с ним на его чудесных рысаках, качаться на самых высоких качелях, петь песни или играть в куклы, не маленькие, а большие, которые сами умеют ходить и кланяться...» Вот в каком состоянии находилась голова бедной невесты. Мешкать не стали, опасаясь, чтоб не дошли слухи до Степана Михайловича; созвали соседей, сделали помолвку, обручили жениха с невестой, заставили поцеловаться, посадили рядочком за стол и выпили их здоровье. Невеста соскучилась было длинной церемонией, множеством поздравлений и сиденьем на одном месте, но когда позволили ей посадить возле себя

свою новую московскую куклу, то сделалась очень весела, объявила всем гостям, что это ее дочка, и заставляла куклу кланяться и вместе с ней благодарить за поздравления. Через неделю жениха с невестой обвенчали с соблюдением всех формальностей, показав новобрачной, вместо пятнадцатого, семнадцатый год, в чем по ее наружности никто усумниться не мог. — Хотя Арина Васильевна и ее дочери знали, на какое дело шли, но известие, что Парашенька обвенчана, чего они так скоро не ожидали, привело их в ужас: точно спала пелена с их глаз, точно то случилось, о чем они и не думали, и они почувствовали, что ни мнимая смертельная болезнь родной бабушки, ни письмо ее — не защита им от справедливого гнева Степана Михайловича. Еще прежде известия о свадьбе отправила Арина Васильевна письмо к своему супругу, в котором уведомляла, что по таким-то важным причинам отвезла она внучку к умирающей бабушке, что она жила там целую неделю и что хотя бог дал старухе Бактеевой полегче, но Парашеньку назад не отпустили, а оставили до выздоровления бабушки; что делать ей было нечего, насильно взять нельзя, и она поневоле согласилась и поспешила уехать к детям, которые жили одни-одинёхоньки, и что теперь опасается она гнева Степана Михайловича. На это письмо он отвечал, что Ариша сделала глупо, чтоб она ехала опять к старухе Бактеевой и во что бы то ни стало привезла Парашу домой. Арина Васильевна вздыхала, плакала над письмом и не знала, что делать. Молодые Куролесовы не замедлили приехать к ней с визитом. Парашенька казалась совершенно счастливою и веселою, хотя уже не так детски резвою. Муж ее также казался вполне счастливым и в то же время был так спокоен и рассудителен, что успокоил бедную Арину Васильевну своими умными речами. Он убедительно доказал, что весь гнев Степана Михайловича упадет на родную бабушку Бактееву, которая тоже по своей опасной болезни, хотя ей теперь, благодаря бога, лучше, имела достаточную причину не испрашивать согласия Степана Михайловича, зная, что он не скоро бы дал его, хотя конечно бы со временем согласился; что мешкать ей было нельзя, потому что она, как говорится, на ладан дышала и тяжело было бы ей

умирать, не пристроив своей родной внучки, круглой сироты, потому что не только двоюродный, но и родной брат не может заменить родной бабушки. Много было наговорено подобных успокоительных рассуждений, сопровождаемых богатыми свадебными подарками, которые были приняты с большим удовольствием, смешанным с некоторым страхом. Оставлены были подарки и для Степана Михайловича. Михаил Максимович посоветовал Арине Васильевне, чтоб она погодила писать к своему супругу до получения ответа на известительное и рекомендательное письмо молодых и уверил, что он вместе с Прасковьей Ивановной будет немедленно писать к нему, но писать он и не думал и хотел только отдалить грозу, чтоб успеть, так сказать, утвердиться в своем новом положении. После женитьбы Михаил Максимович послал немедленно просьбу об увольнении его в отставку, которую и получил очень скоро. Первым его делом было объездить с молодой своей женой всех родственников и всех знакомых как с ее стороны, так и с своей. В Симбирске же, начиная с губернатора, не было забыто ни одно служебное, ни одно сколько-нибудь значительное лицо. Все не могли довольно нахвалиться прекрасною парочкой молодых, во всех так умели найти они благосклонное расположение, что одобрение этого брака сделалось общим мнением. Так прошло несколько месяцев.

Степан Михайлович, не получая давно писем из дому, видя, что дело его затянулось, соскучившись в разлуке с семейством, вдруг в один прекрасный день воротился неожиданно в свое Троицкое. Задрожали и руки и ноги у Арины Васильевны, когда она услыхала страшные слова: «Барин приехал». — Степан Михайлович, узнав, что все живы и здоровы, светел и радостен вошел в свой господский дом, расцеловал свою Аришеньку, дочерей и сына и весело спросил: «Да где же Параша?» Ободрившись ласковостью супруга, Арина Васильевна отвечала ему с притворной улыбкой: «Где, доподлинно не знаю; может, у бабушки. Да ведь ты, батюшка, давно изволишь знать, что Парашенька замужем». Не стану описывать изумления и гнева моего дедушки; гнев этот удвоился, когда он узнал, что Прасковья Ивановна выдана за Куролесова. Степан Михайлович принялся было

за расправу с своей супругой, но она, повалившись ему в ноги со всеми дочерьми и представив письма старухи Бактеевой, успела уверить его, что «знать ничего не знает и что она была сама обманута». Бешенство Степана Михайловича обратилось на старуху Бактееву; он приказал себе приготовить других лошадей и, отдохнув часа два-три, поскакал прямо к ней. Можно себе представить, какую схватку *учинил* он с бабушкой Прасковьи Ивановны. Старуха, вытерпев первый поток самых крепких ругательств, приосанилась и, разгорячившись в свою очередь, сама напала на моего дедушку: «Да что ж это ты развоевался, как над своей крепостной рабой, — сказала она, — разве ты забыл, что я такая же столбовая дворянка, как и ты, и что мой покойный муж был гораздо повыше тебя чином. Я поближе тебя к Парашеньке, я родная бабушка ей и такая же опекунша, как и ты. Я устроила ее счастие, не дожидаясь твоего согласия, потому что была больна при смерти и не хотела ее оставить на всю твою волю; ведь я знаю, что ты бешеный и сумасшедший; живя у тебя, пожалуй, она бы в иной час и палки отведала; Михаил Максимович ей по всему пара, и Парашенька его сама полюбила. Да и кто же его не полюбит и не похвалит! Тебе только он не угодил, а ты спроси-ка твою семью, так и узнаешь, что она им не нахвалится». — «Врешь ты, старая мошенница, — вопил мой дедушка, — ты обманула мою Аришу, прикинулась, что умираешь... Ты продала свою внучку разбойнику Мишке Куролесову, который приворотил вас с дочкой к себе нечистой силой...» Старуха Бактеева вышла из себя и в запальчивости выболтала, что Арина Васильевна и ее дочери были с ней заодно и заранее приняли разные подарки от Михаила Максимовича. Такие слова обратили опять весь гнев Степана Михайловича на его семейство. Погрозив, что он разведет Парашу с мужем по ее несовершеннолетию, он отправился домой, но заехал по дороге к священнику, который венчал Куролесовых. Он грозно потребовал у него отчета, но тот очень спокойно и с уверенностью показал ему обыск, подпись бабушки и невесты, рукоприкладство свидетелей и метрическое свидетельство из духовной консистории, что Прасковье Ивановне семнадцатый год. Это был новый удар

для моего дедушки, лишивший его всякой надежды к расторжению ненавистного ему брака и несказанно усиливший его гнев на Арину Васильевну и дочерей. Я не буду распространяться о том, что он делал, воротясь домой. Это было бы ужасно и отвратительно. По прошествии тридцати лет тетки мои вспоминали об этом времени, дрожа от страха. Я скажу только в коротких словах, что виноватые признались во всем, что все подарки, и первые, и последние, и назначенные ему, он отослал к старухе Бактеевой для возвращения кому следует, что старшие дочери долго хворали, а у бабушки не стало косы и что целый год ходила она с пластырем на голове. Молодым же Куролесовым он дал знать, чтобы они не смели к нему и глаз показывать, а у себя дома запретил поминать их имена.

Между тем время шло, залечивая всякие раны, и духовные и телесные, успокаивая всякие страсти. Через год зажила голова у Арины Васильевны, утих гнев в сердце Степана Михайловича. Сначала он не хотел не только видеть, но и слышать об молодых Куролесовых, даже не читал писем Прасковьи Ивановны; но к концу года, получая со всех сторон добрые вести об ее житье и о том, как она вдруг сделалась разумна не по годам, Степан Михайлович смягчился, и захотелось ему видеть свою милую сестричку. Он рассудил, что она менее всех виновата, что она была совершенный ребенок, — и позволил приехать ей в Троицкое, но без мужа. Разумеется, она сейчас прискакала. В самом деле, Прасковья Ивановна так переменилась в один год своего замужества, что Степан Михайлович не мог надивиться. И странное дело, откуда вдруг взялась у нее такая любовь и признательность к своему двоюродному брату, какой она вовсе не чувствовала до замужства и еще менее, казалось, могла почувствовать после своей свадьбы? Прочла ли она в его глазах, полных слез при встрече с нею, сколько скрывается любви под суровой наружностью и жестоким самовластием этого человека? Было ли это темное предчувствие будущего, или неясное понимание единственной своей опоры и защиты? Почувствовала ли она бессознательно, что из всех баловниц и потатчиц ее ребяческим желаниям — всех больше любит ее грубый

брат, противник ее счастия, невзлюбивший любимого ею мужа?.. Не знаю, но для всех было поразительно, что прежняя легкомысленная, равнодушная к брату девочка, не понимавшая и не признававшая его прав и своих к нему обязанностей, имеющая теперь все причины к чувству неприязненному за оскорбление любимой бабушки, — вдруг сделалась не только привязанною сестрою, но горячею дочерью, которая смотрела в глаза своему двоюродному брату, как нежно и давно любимому отцу, нежно и давно любящему свою дочь... Как бы то ни было, но внезапно родившееся чувство прекратилось только с ее жизнью. Что за чудная перемена сделалась во всем существе Прасковьи Ивановны в такие молодые лета в один год замужства? Пропало неразумное дитя, и явилась хотя веселая, но разумная женщина. Она искренне признавала всех виноватыми пред Степаном Михайловичем. Извиняла только себя неразумием, а бабушку, мужа и других — горячею и слепою к ней любовию. Она не просила, чтоб Степан Михайлович сейчас простил ее мужа, виноватого больше всех, но надеялась, что со временем, видя, как она счастлива, какой попечительный, неутомимый хозяин ее муж, как устроивает ее состояние, — братец простит Михаила Максимовича и позволит ему приехать. Хотя дедушка мой ничего не сказал на такие слова, но был совершенно побежден ими. Он не стал долго держать у себя свою умную сестрицу, как он стал называть ее с этих пор, и отправил немедленно к мужу, говоря, что теперь *там* ее место. Прощаясь, он сказал ей: «Если через год ты будешь так же довольна своим мужем и он будет так же хорошо с тобою жить, то я помирюсь с ним». И точно, через год, зная, что Михаил Максимович ведет себя хорошо и занимается устройством имения жены своей с неусыпным рвением, видя нередко свою сестрицу здоровою, довольною и веселою, Степан Михайлович сказал ей: «Привози своего мужа». Он принял Куролесова с радушием, прямо и откровенно высказал свои прежние сомнения и обещал ему, если он всегда будет так хорошо себя вести, — родственную любовь и дружбу. Михайла Максимович держал себя очень умно; он не был так вкрадчив и искателен, как прежде, но так же почтителен,

внимателен, предупредителен. В нем слышалось больше самостоятельности и уверенности; он был озабочен, погружен в хозяйственные дела, просил советов у старика, понимал их очень хорошо и пользовался ими с отличным уменьем. Он счелся с ним в дальнем родстве сам по себе и называл его дядюшкой, Арину Васильевну тетушкой, сына их братцем, а дочерей сестрицами. Он оказал Степану Михайловичу какую-то услугу еще до своего примирения, или прощения; дедушка знал это и теперь сказал ему спасибо и даже поручил о чем-то похлопотать. Одним словом, дело уладилось превосходно. Казалось, все обстоятельства говорили в пользу Михайла Максимовича, но дедушка повторял свое: «Хорош парень, ловок и смышлен, а сердце не лежит».

Так прошел еще год, в продолжение которого Степан Михайлович переселился в Уфимское наместничество. В первые три года после женитьбы Куролесов вел себя скромно и смирно или по крайней мере так скрытно, что ничего не было слышно. Впрочем, он дома жил мало и все время проводил в разъездах. Один только слух носился везде и даже увеличивался, — что молодой хозяин *строгонек*. В следующие два года Куролесов наделал чудеса по устройству имения жены своей, что неоспоримо доказывало его неусыпную деятельность, предприимчивость и железную волю в исполнении своих предприятий. Имение Прасковьи Ивановны управлялось прежде очень плохо: оно было расстроено, запущено, крестьяне избалованы. Они давали очень мало дохода не потому, чтобы местность была невыгодна для сбыта хлеба, но потому, что они, кроме того что плохо работали, были малоземельны и находились отчасти в общем владении с бабушкой Бактеевой и теткой Курмышевой. Михайла Максимович с того начал, что принялся за перевод крестьян на новые места, а старые земли продал очень выгодно. Он купил степь в Симбирской губернии (теперь Самарской), в Ставропольском уезде, около семи тысяч десятин, землю отличную, хлебородную, чернозем в полтора аршина глубиною, ровную, удобную для хлебопашества, по речке «Берля», в вершинах которой только рос по отрогам небольшой лесок; да был еще заповедный «Медвежий Враг», который и теперь составляет

единственный лес для всего имения. Там поселил он триста пятьдесят душ. Это вышло имение отменно выгодное, потому что находилось во ста верстах от Самары, и в шестидесяти и в сорока верстах от многих волжских пристаней. Известно, что удобный сбыт хлеба составляет у нас все достоинство имения. Потом отправился Михайла Максимович в Уфимское наместничество и купил у башкирцев примерно по урочищам более двадцати тысяч десятин также чернозему, хотя далеко не так богатого, как в Симбирской губернии, но с довольным количеством дровяного и даже строевого леса. Земля лежала по реке Усень и по речкам Сююш, Мелеус, Кармалка и Белебейка; тогда, кажется, это был Мензелинский уезд, а теперь Белебеевский, принадлежащий к Оренбургской губернии. Там поселил он, на истоке множества ключей, составляющих речку большой Сююш, четыреста пятьдесят душ да на речке Белебейке пятьдесят душ. Большую деревню назвал «Парашино», а маленькую — «Ивановка». Симбирское же имение называлось «Куролесово», и все три названия составляли имя, отчество и фамилию его жены. Эта романическая затея в таком человеке, каким явится впоследствии Михайла Максимович, всегда меня удивляла. Впрочем, есть люди, которые находят, что подобные выходки бывают часто. Резиденцию свою и своей супруги устроил он в особом ее родовом материнском именье, состоящем из трехсот пятидесяти душ, в селе Чурасове, находящемся в пятидесяти верстах от губернского города. Там выстроил он, по-тогдашнему, великолепный господский дом со всеми принадлежностями; отделал его на славу, меблировал отлично, расписал весь красками внутри и даже снаружи; люстры, канделябры, бронза, фарфоровая и серебряная посуда удивляли всех; дом поставил на небольшом косогоре, из которого били и кипели более двадцати чудных родниковых ключей. Дом, косогор, родники, все это обхватывалось и заключалось в богатом плодовитом саду, на двенадцати десятинах, со всевозможными сортами яблоков и вишен. Внутреннее хозяйство дома, прислуга, повара, экипажи, лошади, все было устроено и богато и прочно. Окружные соседи, которых было немало, и гости из губернского города не переводились в Чурасове: ели,

пили, гуляли, играли в карты, пели, говорили, шумели, веселились. Парашеньку свою Михайла Максимович одевал как куклу, исполнял, предупреждал все ее желания, тешил с утра до вечера, когда только бывал дома. Одним словом, в несколько лет во всех отношениях он поставил себя на такую ногу, что добрые люди дивились, а недобрые завидовали. Михаил Максимович не забыл и о церкви и в два года, вместо ветхой деревянной, выстроил и снабдил великолепною утварью новую каменную церковь; даже славных певчих завел из своих дворовых людей. На четвертом году замужства Прасковья Ивановна, совершенно довольная и счастливая, родила дочь, а потом через год и сына; но дети не жили: девочка умерла на первом же году, а сын уже трех лет. Прасковья Ивановна так привязалась было к нему, что эта потеря стоила ей дорого. Целый год она не осушала глаз, и даже необыкновенно крепкое ее здоровье очень расстроилось, и более детей она не имела. Между тем авторитет Михайла Максимовича в общественном мнении рос не по дням, а по часам. С мелким и бедным дворянством, правду сказать, поступал он крутенько и самовластно, и хотя оно его не любило, но зато крепко боялось, а высшее дворянство только похваливало Михайла Максимовича за то, что он не дает забываться тем, кто его пониже. Год от году становились чаще и продолжительнее отлучки Куролесова, особенно с того несчастного года, когда Прасковья Ивановна потеряла сына и неутешно сокрушалась. Вероятно, ее супругу наскучили слезы, вздохи и тишина в уединении, потому что Прасковья Ивановна целый год не хотела никого видеть. Впрочем, и самое шумное и веселое общество в Чурасове его к себе не привлекало.

Мало-помалу стали распространяться и усиливаться слухи, что майор не только строгонек, как говорили прежде, но и жесток, что, забравшись в свои деревни, особенно в Уфимскую, он пьет и развратничает, что там у него набрана уже своя компания, пьянствуя с которой он доходит до неистовств всякого рода, что главная беда: в пьяном виде немилосердо дерется безо всякого резону и что уже два-три человека пошли на тот свет от его побой, что исправники и судьи обоих уездов, где находились

его новые деревни, все на его стороне, что одних он задарил, других запоил, а всех запугал; что мелкие чиновники и дворяне перед ним дрожкой дрожат, потому что он всякого, кто осмеливался делать и говорить не по нем, хватал середи бела дня, сажал в погреба или овинные ямы и морил холодом и голодом на хлебе да на воде, а некоторых без церемоний дирал немилосердно какими-то *кошками*[1]. Слухи были не только справедливы, но слишком умеренны; действительность далеко превосходила робкую молву. Кровожадная натура Куролесова, воспламеняемая до бешенства спиртными парами, развивалась на свободе во всей своей полноте и представила одно из тех страшных явлений, от которых содрогается и которыми гнушается человечество. Это ужасное соединение инстинкта тигра с разумностью человека.

Наконец, слухи превратились в достоверность, и никто из окружающих Прасковью Ивановну родных, соседей и прислуги, никто уже не ошибался насчет Михайла Максимовича. Когда он возвращался в Чурасово после своих страшных подвигов, то вел себя попрежнему почтительно к старшим, ласково и внимательно к равным, предупредительно и любезно к своей жене, которая, выплакав свое горе, опять стала здорова и весела, а дом ее попрежнему был полон гостей и удовольствий. Хотя Михайла Максимович ни с кем в Чурасове не дрался, предоставляя это удовольствие старосте и дворецкому, но все понаслышке дрожали от одного его взгляда; даже в обращении с ним родных и коротких знакомых было заметно какое-то смущение и опасение. Прасковья Ивановна ничего не замечала, а если и замечала, то приписывала совсем другой причине: невольному уважению, которое внушал всем Михайла Максимович своим диковинным хозяйством, своим уменьем жить богато и разумной твердостью своих поступков. Люди рассудитель-

---

[1] Кошки были любимым орудием наказания у Михайла Максимовича. Это не что иное, как ременные плети, оканчивающиеся семью хвостами из сыромятной кожи с узлами на конце каждого хвоста. В Парашине даже после смерти Куролесова некоторое время сохранялись в кладовой, разумеется без употребления, эти отвратительные орудия, и я видел их сам. Когда имение досталось сыну Степана Михайловича, кошки были сожжены.

ные, любящие Прасковью Ивановну, видя ее совершенно спокойною и счастливою, радовались, что она ничего не знает, и желали, чтоб как можно долее продолжилось это незнание. Конечно, и между тогдашними приживалками и мелкопоместными соседками были такие, у которых очень чесался язычок и которым очень хотелось отплатить высокомерному майору за его презрительное обращение, то есть вывести его на свежую воду; но кроме страха, который они чувствовали невольно и который, вероятно, не удержал бы их, было другое препятствие для выполнения таких благих намерений: к Прасковье Ивановне не было приступу ни с какими вкрадчивыми словами о Михайле Максимовиче; умная, проницательная и твердая Прасковья Ивановна сейчас замечала, несмотря на хитросплетаемые речи, что хотят ввернуть какое-нибудь словцо, невыгодное для Михайла Максимовича; она сдвигала свои темные брови и объявляла решительным голосом, что тот, кто скажет неприятное для ее мужа, никогда уже в доме ее не будет. После такого предупредительного и грозного выражения, разумеется, уже никто не осмеливался путаться не в свое дело. Приближенная к Прасковье Ивановне прислуга, особенно один старик, любимец покойного ее отца, и старуха, ее нянька, которых преимущественно жаловала госпожа, но с которыми, вопреки тогдашним обычаям, не входила она в короткие сношения, — также ничего не могли сделать. Старику и старухе, о которых я сейчас сказал, была кровная нужда, чтобы их барыня узнала настоящую правду о своем супруге: близкие родные их, находившиеся в прислуге у барина, невыносимо страдали от жестокости своего господина. Наконец, старик и старуха решились рассказать барыне все и, улучив время, когда Прасковья Ивановна была одна, вошли к ней оба; но только вырвалось у старушки имя Михайла Максимовича, как Прасковья Ивановна до того разгневалась, что вышла из себя; она сказала своей няне, что если она когда-нибудь разинет рот о барине, то более никогда ее не увидит и будет сослана на вечное житье в Парашино. Таким образом, прекращены были все пути к доносу на Михайла Максимовича и заткнуты все рты. Прасковья Ивановна верила безусловно своему мужу и

любила его. Она знала, что посторонние люди охотно путаются в чужие дела, охотно мутят воду, чтобы удачнее ловить в ней рыбу, и она заранее приняла твердое намерение, постановила неизменным правилом не допускать до себя никаких рассуждений о своем муже. Правило очень мудрое, необходимое для сохранения спокойствия в семейной жизни; но нет правила без исключения. Может быть, что в настоящем случае твердый нрав и крепкая воля Прасковьи Ивановны, сильно подкрепленные тем обстоятельством, что все богатство принадлежало ей, могли бы вначале остановить ее супруга, и он, как умный человек, не захотел бы лишить себя всех выгод роскошной жизни, не дошел бы до таких крайностей, не допустил бы вырасти вполне своим чудовищным страстям и кутил бы умеренно, втихомолку, как и многие другие.

Так протекло несколько лет. Михайла Максимович предавался на свободе своим наклонностям, быстро развивался и, наконец, начал совершать безнаказанно неслыханные дела. Я не стану рассказывать подробно, какую жизнь вел он в своих деревнях, особенно в Парашине, а также в уездных городишках: это была бы самая отвратительная повесть. Я скажу только то, что необходимо для получения настоящего понятия об этом страшном человеке. Первые года, занимаясь устройством жениных имений, можно сказать, с самозабвением, он мог назваться самым умным, деятельным и попечительным хозяином. Всеми бесконечно разнообразными и тяжелыми заботами и хлопотами, соединенными с дальним переселением крестьян и водворением их на местах нового жительства, Михайла Максимович неусыпно занимался сам, постоянно имея в виду одно: благосостояние крестьян. Он умел не жалеть денег, где было нужно, смотрел, чтобы они доходили до рук во-время, в меру, и предупреждал всякие надобности и нужды переселенцев. Сам выпроваживал их со *старины*, сам ехал с ними большую часть дороги и сам встречал их на новоселье, снабженном всем для их приема и помещения. Правда, он был слишком строг, жесток в наказании виноватых, но справедлив в разборе вин и не ставил крестьянину всякого лыка в строку; он позволял себе от времени до времени гульнуть, потешиться денек-другой, завернув

куда-нибудь в сторонку, но хмель и буйство скоро слетали с него, как с гуся вода, и с новой бодростию являлся он к своему делу.

Да, дело лежало у него на плечах, занимало все его умственные способности и не давало ему предаться пагубному пьянству, которое, отнимая у него ум, снимало узду с его̀ страстей, чудовищных, бесчеловечных. Да, дело спасало его. Когда же он привел в порядок обе новые деревни — Куролесово и Парашино, устроил в них господские усадьбы с флигелями, а в Парашине небольшой помещичий дом; когда у него стало мало дела и много свободного времени, — пьянство, с его обыкновенными последствиями, и буйство совершенно овладели им, а всегдашняя жестокость мало-помалу превратилась в неутолимую жажду мук и крови человеческой. Избалованный страхом и покорностию всех его окружающих людей, он скоро забылся и перестал знать меру своему бешеному своеволию. Он выбрал себе из дворовых и даже из крестьян десятка полтора головорезов, достойных исполнителей его воли, и образовал из них шайку разбойников. Видя, что барину все сходило с рук, они поверили его всемогуществу, и сами, пьяные и развратные, охотно и смело исполняли все его безумные приказания. Досаждал ли кто Михайлу Максимовичу непокорным словом или поступком, например даже хотя тем, что не приехал в назначенное время на его пьяные пиры, — сейчас, по знаку своего барина, скакали они к провинившемуся, хватали его тайно или явно, где бы он ни попался, привозили к Михайлу Максимовичу, позорили, сажали в подвал в кандалы или секли по его приказанию. Михайла Максимович очень любил хорошие вещи, хороших лошадей и любил, как украшение дома, хорошие, по его мнению, картины. Если что-нибудь подобное нравилось ему в доме своего соседа или просто в том доме, где ему случилось быть, то он сейчас предлагал хозяину поменяться; в случае несогласия его он предлагал иногда и деньги, если был в хорошем духе; если и тут хозяин упрямился, то Михайла Максимович предупреждал его, что возьмет даром. В самом деле, через несколько времени являлся он с своей шайкой, забирал все, что ему угодно, и увозил к себе; на него

жаловались, предписывали произвесть следствие; но Михайла Максимович с первого разу приказал сказать земскому суду, что он обдерет кошками того из чиновников, который покажет ему глаза, и — оставался прав, а челобитчик между тем был схвачен и высечен, иногда в собственном его имении, в собственном доме, посреди семейства, которое валялось в ногах и просило помилования виноватому. Бывали насилия и похуже и также не имели никаких последствий. Через несколько времени Михайла Максимович мирился с обиженными, удовлетворяя их иногда деньгами, а чаще привлекая к миру страхом; но похищенное добро оставалось его законною собственностью. Пируя с гостями, он любил хвастаться, что вот эту красотку в золотых рамах отнял он у такого-то господина, а это бюро с бронзой у такого-то, а эту серебряную стопку у такого-то, — и все эти такие-то господа нередко пировали тут же и притворялись, что не слышат слов хозяина, или скрепя сердце сами смеялись над собой. Михайла Максимович имел удивительно крепкое сложение; он пил много, но никогда не напивался *до положения риз*, как говорится; хмель не валял его с ног, а поднимал на ноги и возбуждал страшную деятельность в его отуманенном уме, в его разгоряченном теле. Любимым его наслаждением было — заложить несколько троек лихих лошадей во всевозможные экипажи, разумеется с колокольчиками, насажать в них своих собеседников и собеседниц, дворню, кого ни попало, и с громкими песнями и криками скакать во весь дух по окольным полям и деревням. Имея с собой всегда запас вина, он особенно любил напоить допьяна всякого встречного, какого бы звания, пола и возраста он ни был, и больно секал того, кто осмеливался ему противиться. Наказанных привязывали к деревьям, к столбам и заборам, не обращая внимания ни на дождь, ни на стужу. О более возмутительных насилиях я умалчиваю. В таком расположении духа ехал он однажды через какую-то деревню; проезжая мимо овинного тока, на котором молотило крестьянское семейство, он заметил женщину необыкновенной красоты. «Стой! — закричал Михайла Максимович. — Петрушка! какова баба?» — «Больно хороша!» — отвечал Петрушка. «Хочешь на ней жениться?» — «Да

как же жениться на чужой жене?» — отвечал ухмыляясь Петрушка. «А вот как! Ребята! бери ее, сажай ко мне в повозку...» Женщину схватили, посадили в повозку, привезли прямо в приходское село, и, хотя она объявила, что у ней есть муж и двое детей — обвенчали с Петрушкой, и никаких просьб не было, не только при жизни Куролесова, но даже при жизни Прасковьи Ивановны. Когда же все имение перешло в руки ее племянника, он возвратил эту женщину вместе с мужем и детьми прежнему ее господину: первый муж давно уже умер. Наследник, то есть тот же племянник, роздал также несколько разных вещей прежним хозяевам, которые предъявили свои требования; многие же вещи долго валялись в кладовых, пока не истлели от ветхости. Трудно поверить, чтоб могли совершаться такие дела в России даже и за восемьдесят лет, но в истине рассказа нельзя сомневаться.

Как ни была ужасна и отвратительна сама по себе эта преступная, пьяного буйства исполненная жизнь, но она повела еще к худшему, к более страшному развитию природной жестокости Михайла Максимовича, превратившейся, наконец, в лютость, в кровопийство. Терзать людей сделалось его потребностью, наслаждением. В те дни, когда случалось ему не драться, он был скучен, печален, беспокоен, даже болен, и потому час от часу становились реже его поездки в Чурасово и короче пребывания там. Зато, воротясь в свое любимое Парашино, он спешил вознаградить себя. Обзор хозяйственных заведений представлял ему достаточное число жертв; тут уже всякая вина была виновата, а в каком хозяйстве нельзя найти каких-нибудь мелочных упущений, если захочешь отыскать их! Впрочем, от лютости Михайла Максимовича страдали преимущественно дворовые люди. Он редко наказывал крестьян, и то в случаях особенной важности или личной известности ему виноватого человека; зато старосты и приказчики терпели от него наравне с дворовыми. У него не было пощады никому, и каждый из его приближенных, а иной и не один раз, бывал наказан насмерть. Замечательно, что, когда Михайла Максимович сердился, горячился и кричал, что бывало редко, — он не дрался; когда же добирался до человека с намерением потешиться его муками, он говорил

тихо и даже ласково: «Ну, любезный друг, Григорий Кузьмич (вместо обыкновенного Гришки), делать нечего, пойдем, надобно мне с тобой рассчитаться». С такими словами обращался он к главному своему конюху, по прозванью Ковляге, который, неизвестно почему, чаще других подвергался истязаниям. «Поцарапайте его кошечками», — говорил с улыбкой Михайла Максимович окружающим, и начиналась долговременная пытка, в продолжение которой барин пил чай с водкой, курил трубку и от времени до времени пошучивал с несчастной жертвой, покуда она еще могла слышать... Меня уверяли достоверные свидетели, что жизнь наказанных людей спасали только тем, что завертывали истерзанное их тело в теплые, только что снятые шкуры баранов, тут же зарезанных. Осмотрев внимательно наказанного человека, Михайла Максимович говорил, если был доволен: «Ну, будет с него, приберите к месту...» и делался весел, шутлив и любезен на целый день, а иногда и на несколько дней. Чтобы довершить характеристику этого страшного существа, я приведу его собственные слова, которые он не один раз говаривал в кругу пирующих собеседников: «Не люблю палок и кнутьев, что в них? Как раз убьешь человека! То ли дело кошечки: и больно и не опасно!» Я рассказал десятую долю того, что знаю, но, кажется, и этого довольно. Замечательно, как необъяснимое явление и противоречие в искаженной человеческой природе, что Михайла Максимович, достигнув высшей степени разврата и лютости, ревностно занялся построением каменной церкви в Парашине; он производил эту работу экономически. В то время, на котором остановился мой рассказ, церковь по наружности была отделана, и наняты были мастеровые для внутренней отделки; столяры, резчики, золотари и иконописцы уже несколько месяцев работали в Парашине, занимая весь господский дом.

Четырнадцать лет была замужем Прасковья Ивановна и хотя замечала что-то странное в своем супруге, которого последние два года редко и ненадолго видала, но не только не знала, даже и не подозревала ничего подобного. Она продолжала жить беззаботно и весело: летом занималась с увлечением своим плодовитым садом и родниками, которых не позволяла обделывать и очень

любила сама расчищать, а все остальное время года проводила с гостями и сделалась большой охотницей играть в карты. Вдруг получает она с почты или с нарочным письмо от одной старушки, дальней родственницы ее мужа, которую она очень уважала. В письме была описана вся жизнь Михайла Максимовича и в заключение сказано, что грешно оставлять в неведении госпожу тысячи душ, которые страдают от тиранства изверга, ее мужа, и которых она может защитить, уничтожив доверенность, данную ему на управление имением; что кровь их вопиет на небо; что и теперь известный ей лакей, Иван Ануфриев, умирает от жестоких истязаний и что самой Прасковье Ивановне нечего опасаться, потому что Михайла Максимович в Чурасово не посмеет и появиться; что добрые соседи и сам губернатор защитят ее. Прасковья Ивановна была поражена, как громом. Я слышал сам, как она рассказывала, что в первые минуты совсем было сошла с ума, но необычайная твердость духа и теплая вера подкрепили ее, и она вскоре решилась на такой поступок, на какой едва ли бы отважился самый смелый мужчина: она велела заложить лошадей, сказавши, что едет в губернский город, и с одною горничной девушкой, с кучером и лакеем отправилась прямо в Парашино. Путь лежал дальний, надобно было проехать четыреста верст, и нашлось довольно свободного времени обдумать свой поступок. Прасковья Ивановна сама говорила, что не составляла в голове своей никаких планов, как и что ей делать. Она хотела только взглянуть своими глазами и удостовериться, что делает и как живет там ее Михайла Максимович. Она не верила вполне письму его родственницы, которая жила далеко и могла быть обманута ложными слухами, а спросить в Чурасове свою няню не захотела. Никакая опасность не входила ей в голову: муж всегда с нею был так нежен и почтителен, что ей казалось самым естественным и возможным делом уговорить Михайла Максимовича сесть с ней в коляску и увезть его в Чурасово. Она приехала в Парашино нарочно вечером, оставила свою коляску у околицы, а сама с горничной и лакеем, никем не узнанная (да ее мало и знали), прошла до господского двора и через задние ворота пробралась до самого флигеля,

из которого неслись крик, песни и хохот, и твердою рукою отворила дверь... Судьба как нарочно собрала все, что могло одним разом показать ей, какую жизнь вел Михайла Максимович. Он пировал с какими-то гостями, пьяный даже более обыкновенного. Одетый в шелковую красную рубаху с косым воротом, в самом развратном виде, с стаканом пунша в одной руке, обнимал он другою рукою сидящую у него на коленях красивую женщину; его полупьяные лакеи, дворовые и крестьянские бабы пели песни и плясали. Прасковья Ивановна едва не упала в обморок от такого зрелища; она все поняла и, никем не замеченная, потому что горница была полна народа, затворила дверь и вышла из сеней. На крыльце встретилась она лицом к лицу с одним из слуг Михайла Максимовича, человеком не молодым и не пьяным, по счастию. Он узнал барыню и закричал было: «Матушка, Прасковья Ивановна, вы ли это?..» Но Прасковья Ивановна зажала ему рот и, отведя его подальше на средину широкого двора, грозно сказала: «Так-то вы без меня поживаете? Конец вашему веселому житью». Слуга повалился ей в ноги и со слезами сказал: «Матушка, разве мы ему рады? Разве это наша воля? Сам господь вас принес!..» Прасковья Ивановна велела ему молчать и приказала вести себя к Ивану Ануфриеву, узнав, что он еще жив. На заднем дворе, в скотной избе нашла она умирающего Ануфриева. Он был очень слаб, и от него она не могла ничего узнать; но родной его брат Алексей, молодой парень, только вчера наказанный, кое-как сполз с лавки, стал на колени и рассказал ей всю страшную повесть о брате, о себе и о других [1]. Сердце Прасковьи Ивановны облилось кровью от жалости и ужаса, совесть терзала ее, и она твердо решилась положить конец преступным, злодейским действиям Михайла Максимовича, что казалось ей весьма легко. Она строго запретила сказывать о своем приезде и, узнав, что в новом доме, построенном уже несколько лет и по какой-то странной причуде барина до сих пор не отделанном, есть одна жилая, особая комната, не занятая

---

[1] Иван Ануфриев остался жив и прожил лет до пятидесяти, а брат его захилел и умер через год.

мастеровыми, в которой Михайла Максимович занимался хозяйственными счетами, — отправилась туда, чтоб провесть остаток ночи и поговорить на другой день поутру с своим уже не пьяным супругом. Но тайна ее приезда не вполне сохранилась. Слух о нем дошел до одного из самых отчаянных сподвижников Михайла Максимовича, который из преданности или из страха шепнул о том на ухо своему барину. Ошеломила эта весть Михайла Максимовича. Хмель вылетел у него из головы, он смутился и почуял грозу. Хотя он мало знал твердый и мужественный нрав своей жены, потому что не было опытов еще ему проявиться, но он его угадывал. Он распустил свою пьяную беседу, вылил на себя два ушата холодной воды, освежился телом, укрепился духом, переоделся в обыкновенное платье и пошел посмотреть, спит ли Прасковья Ивановна. Он успел уже обдумать и составить план своих действий. Он рассчитал очень верно, что Прасковья Ивановна была кем-нибудь извещена об образе его жизни, что она не поверила известиям и приехала удостовериться в них лично. Он узнал, что она заглянула во флигель и видела мельком его пирушку, но не знал, что она видела Ануфриева и что Алексей рассказал ей все. В пирушке и гульбе он надеялся кое-как извиниться, прикинуться раскаявшимся грешником, умаслить нежностями свою жену и как можно скорее увезти ее из Парашина.

Между тем уже рассветало, и даже взошло солнце. Михайла Максимович бережно подошел к комнате, в которой находилась Прасковья Ивановна; он тихонько отворил дверь и увидел, что приготовленная ей дорожная постель на сундуке не была смята, что на нее никто не ложился. Он окинул глазами всю комнату: Прасковья Ивановна стояла на коленах и со слезами молилась богу на новый церковный крест, который горел от восходящего солнца перед самыми окнами дома; никакого образа в комнате не было. Постояв несколько минут, Михайла Максимович сказал веселым голосом: «Полно молиться, душа моя Парашенька! Как это ты вздумала обрадовать меня своим приездом!» Прасковья Ивановна не смутилась, встала, не допустила мужа обнять себя и, пылая внутренно справедливым гневом, холодно и

твердо объявила ему, что она все знает и видела Ивана Ануфриева. Беспощадно и резко высказала свое отвращение от изверга, который уже не может быть ее мужем; объявила ему, чтобы он возвратил ей доверенность на управление имением, сейчас уехал из Парашина, не смел бы показываться ей на глаза и не заглядывал бы ни в одну из ее деревень, и что если он этого не исполнит, то она подаст просьбу губернатору, откроет правительству все его злодейства — и он будет сослан в Сибирь на каторгу. Не ожидал этого Михайла Максимович. Пена выступила у него на губах от бешенства и злобы. «А, так ты так-то поговариваешь, лебедка! Так и я поговорю с тобой другим голосом! — заревел остервенившийся злодей, — ты не выедешь из Парашина, покуда не подпишешь мне купчей крепости на все свое имение, а не то я уморю тебя с голоду в подвале». После этих слов он схватил стоявшую в углу палку, несколькими ударами сбил с ног свою Парашеньку и бил до тех пор, пока она не лишилась чувств. Он позвал несколько благонадежных людей из своей прислуги, приказал отнести барыню в каменный подвал, запер огромным замком и ключ положил к себе в карман. Грозен и страшен явился он перед своей дворней, которую приказал собрать всю налицо. Хотел было отыскать виноватого, того, кто водил барыню в скотную избу, но тот, предвидя беду, давно уже скрылся, с ним бежали кучер и лакей, приехавшие с Прасковьей Ивановной; за ними послали погоню. Горничная девушка не решилась покинуть своей госпожи. Михайла Максимович ее не тронул, дал ей некоторые наставления, как уговаривать барыню к покорности, и запер своими руками в тот же подвал. Что же сделал Михайла Максимович потом? Запил и закутил более прежнего. Но увы! напрасно он пил водку, как воду, напрасно пела и плясала перед ним пьяная ватага — Михайла Максимович сделался угрюм и мрачен. Это не мешало, однакож, ему действовать неутомимо к достижению своей цели. Он заготовил в уездном городе на имя одного из своих достойных друзей законную доверенность от Прасковьи Ивановны на продажу Парашина и Куролесова (Чурасово из милости оставлял ей) и всякий день два раза спускался в подвал к своей жене

и уговаривал подписать доверенность; просил прощенья, что в горячности так строго с нею обошелся; обещался, в случае ее согласия, никогда не появляться ей на глаза и божился, что оставит духовную, в которой, после своей смерти, откажет ей все имение. Прасковья Ивановна, страдая от побоев, изнуряемая голодом и получившая даже лихорадку, не хотела и слышать ни о какой сделке. Так прошло пять дней. Чем все бы это кончилось — одному богу известно.

Между тем дедушка Степан Михайлович продолжал благополучно жить в новом своем Багрове, которое отстояло от Парашина в ста двадцати верстах. Я уже сказал, что он давно искренне примирился с Михайлом Максимовичем, и хотя сердце его не лежало к нему, но вообще он был им доволен. Куролесов, с своей стороны, оказывал Степану Михайловичу и всему его семейству большое уважение, преданность и готовность на всякие послуги. Поселив Парашино и занимаясь его устройством, он каждый год приезжал в Багрово, был постоянно ласков, искателен, просил у Степана Михайловича советов, как у человека опытного в переселении крестьян; с большою благодарностью точно и подробно записывал все его слова и в самом деле пользовался ими. Он упросил даже Степана Михайловича два раза приехать в Парашино, чтобы взглянуть, умел ли он воспользоваться его советами. Дедушка в оба раза остался совершенно доволен новым хозяином и в последнее свое посещение, осмотрев пашню и все хозяйственные заведения, сказал Куролесову: «Ну, брат Михайла, ты из молодых, да ранний, и тебя учить нечего». В самом деле, все хозяйственные дела у Михайла Максимовича были в отличном порядке. Само собою разумеется, что он принимал, угощал и чествовал старика, как родного отца. По прошествии нескольких лет недобрые слухи о Куролесове стали носиться в Багрове. Сначала дедушке совсем об них не говорили, потому что он не любил слушать дурных вестей, но слухи росли год от году. Семейство Степана Михайловича знало их, и Арина Васильевна решилась сказать ему, что Михайла Максимович «больно нехорошо живет». Старик не поверил и отвечал, что «только развесь уши, так, пожалуй, и церковную татьбу

взведут на человека». «Знаю я, — продолжал он, — каковы были крестьяне и дворовые у Бактеевых, — наподряд мошенники и лежебоки, да и братнины крестьяне также без хозяина избаловались. Что мудреного, что настоящая работа и порядок показались им хуже медведя? Может статься, что Михайла и крутенько поворотил, ну да привыкнут. А что он погуляет, выпьет иногда после трудов, так и то мужчине не беда, лишь бы не забывал своего дела. Вот мерзких дел не надо, да ведь, пожалуй, и солгут: а ты с дочками любишь слушать рабьи сплетни!» После таких слов долго ничего не говорили Степану Михайловичу. Наконец, родовые багровские крестьяне, переведенные вместе с бактеевскими из Симбирской губернии в Парашино, имевшие родственников в Новом Багрове, стали приезжать туда и рассказывать про барина страшные вести. Арина Васильевна вторично доложила о том своему супругу и предложила ему, чтобы он сам расспросил парашинского старика из багровских, которого честность и правдивость ему давно были известны и который теперь находится у них в деревне. Дедушка согласился. Призвал, расспросил старика и услышал такую повесть, от которой встали у него дыбом волосы на голове. Как быть, что делать, чем тут пособить — не умел он придумать; он получал изредка письма от Прасковьи Ивановны, видел, что она была совершенно спокойна и счастлива, и заключил, что она о поведении своего супруга ничего не знала. Он сам некогда давал ей советы, чтоб она никому не позволяла наушничать на своего мужа, и убедился, что она хорошо исполняет его советы. Он рассудил, что если она узнает истину, то вряд ли поправит дело, а будет только убиваться с горя понапрасну. Итак, надо желать, чтоб она ничего не знала. Он терпеть не мог путаться в чужие дела, да и считал это бесполезным в отношении к Михайле Максимовичу. «Пусть сломит себе шею или попадет в уголовную — туда ему и дорога. Этого человека один только бог может исправить. Крестьянам жить у него можно, а дворовые все негодяи, пускай терпят за свои грехи. Не хочу мешаться в эти поганые дела». Так рассудил по своей логике Степан Михайлович и удовольствовался только тем, что перестал отвечать на письма

Куролесова и прекратил всякие с ним сношения; тот понял, что это значит, и оставил старика в покое; переписка же у Степана Михайловича с Прасковьей Ивановной сделалась как-то чаще и задушевнее.

Так оставались дела до того утра, когда вдруг явились к моему дедушке перед крыльцо трое бежавших людей из Парашина. В первый день своего побега они скрывались в непроходимом лесном болоте, которое упиралось в парашинские крестьянские гумна; вечером они кое с кем повидались, узнали подробно всю историю и пустились прямо к Степану Михайловичу, как единственному защитнику и покровителю Прасковьи Ивановны. Можно себе представить, что такое было с Степаном Михайловичем, когда он узнал о случившемся в Парашине! Он любил свою единственную двоюродную сестру не меньше, если не больше, своих родных дочерей. Параша, до полусмерти избитая разбойником своим мужем, Параша, сидящая в подвале уже третий день, может быть давно умершая, представлялась с такой ясностию его живому воображению, что он вскочил как безумный, побежал по своему двору, по деревне, исступленным голосом сзывая дворовых и крестьян. Все сбежались, прискакали из полей, кого не было дома. Все, сочувствуя отчаянному горю любимого господина, кричали единогласно, что они все едут и пешком идут выручать Прасковью Ивановну... И вот через несколько часов трое роспусков, запряженных тройками лихих господских коней, с двенадцатью человеками отборных молодцов из дворовых и крестьян и с людьми, бежавшими из Парашина, вооруженными ружьями, саблями, рогатинами и железными вилами, скакали по парашинской дороге. К вечеру выехали еще двое роспусков на лучших крестьянских лошадях, с десятью так же вооруженными людьми, и поскакали по той же парашинской дороге на подмогу Степану Михайловичу. На другой день вечером первый поезд был уже в семи верстах от Парашина; выкормили усталых лошадей и, только начала заниматься летняя заря, нагрянули на широкий господский двор и подъехали прямо к известному подвалу, находившемуся возле самого флигеля, в котором жил Куролесов. Степан Михайлович бросился в подвал и начал стучать кулаком в деревянную дверь.

Слабый голос спросил: «Кто тут?» Дедушка узнал голос сестры своей, прослезился от радости, что застал ее живою, и, крестясь, громко закричал: «Слава богу! Это я, брат твой, Степан Михайлович, ничего не бойся!» Он послал кучера, лакея и старого слугу Прасковьи Ивановны заложить коляску, в которой она приехала из Чурасова, поставил шесть человек с ружьями, саблями и рогатинами у входа в выход, а сам с остальными, с помощью топоров и железного лома, принялся отбивать дверь. В одну минуту она была сломана; Степан Михайлович своими руками вынес Прасковью Ивановну, положил ее на роспуски, с одной стороны посадил возле нее верную горничную, а с другой сел сам и со всеми людьми спокойно съехал со двора. Солнце начинало всходить, и опять ярко загорелся крест на церкви, когда Прасковья Ивановна проезжала мимо нее. Ровно за шесть суток молилась она на этот крест... помолилась и теперь, благодаря бога за свое избавление. Коляска догнала их уже в пяти верстах от Парашина. Степан Михайлович пересадил сестру в коляску и отправился с нею в Багрово.

Как же все это случилось? — спросят меня. Неужели никто не видал этого происшествия? Куда девался Михайла Максимович и его верные слуги? Неужели он ничего не знал, или его не было дома? Нет, многие слышали и видели освобождение Прасковьи Ивановны; Михайла Максимович был дома, даже знал, что происходит, — и не осмелился показаться из своего флигеля.

Событие совершилось очень просто: пропировавшие с барином весь вечер холопы были так мертвецки пьяны, что иных нельзя было добудиться. Любимый и трезвый лакей, не пивший никогда вина, с трудом разбудил хмельного барина; дрожа от страха, рассказал он про наезд Степана Михайловича и про ружья, прямо нацеленные на флигель. «Где же все наши?» — спросил Михайла Максимович. «Одни спят, другие попрятались», — отвечал холоп и солгал, потому что пьяная ватага начинала собираться у господского крыльца. Михайла Максимович подумал, махнул рукой и сказал: «Черт с ней! Запри дверь и смотри в окно, что будет дальше». Через несколько минут лакей закричал: «Ба-

рыню увозят!.. увезли!..» — «Ложись спать», — сказал Михайла Максимович, завернулся в одеяло и заснул или притворился заснувшим.

Да, есть нравственная сила правого дела, перед которою уступает мужество неправого человека. Михайла Максимович знал твердость духа и бесстрашную отвагу Степана Михайловича, знал неправость своего дела и, несмотря на свое бешенство и буйную смелость — уступил свою жертву без спора.

Бережно повез Степан Михайлович свою, всегда горячо любимую, больную сестру, возбуждавшую теперь еще бóльшую его нежность и глубокое сострадание. Он не расспрашивал ее дорогой ни о чем и когда привез благополучно в Багрово, то запретил домашним беспокоить ее расспросами. Благодаря необыкновенно крепкому телосложению и столько же сильному духу Прасковья Ивановна недели через две оправилась; тогда Степан Михайлович решился расспросить ее обо всем: ему необходимо было знать настоящую истину события для того, чтобы знать, как действовать, а россказням людей, своими глазами ничего не видавших, он никогда не верил. Прасковья Ивановна с полною откровенностью сказала ему настоящую правду, но в то же время просила, чтоб он не говорил о том своему семейству и чтоб никто ее ни о чем не расспрашивал. Боясь горячего нрава своего брата, отдавая себя в полное его распоряжение, она умоляла, однако, не мстить Михайлу Максимовичу и с твердостью объявила, что она одумалась и решилась не позорить своего мужа, не бесчестить имени, которое сама должна носить во всю свою жизнь. Она прибавила, что теперь раскаялась в тех словах, которые вырвались у нее при первом свидании с Михайлом Максимовичем в Парашине, и что ни под каким видом она не хочет жаловаться на него губернатору; но, считая за долг избавить от его жестокости крепостных людей своих, она хочет уничтожить доверенность на управление ее имением и просит Степана Михайловича взять это управление на себя; просит также сейчас написать письмо к Михайлу Максимовичу, чтобы он возвратил доверенность, а если же он этого не сделает, то она уничтожит ее судебным порядком. Она желала, чтоб все это

написано было Степаном Михайловичем твердо, но без всяких обидных слов; для большего же удостоверения хотела собственноручно подписать свое имя; надобно прибавить, что она плохо знала русскую грамоту. Степан Михайлович так любил сестру, что преодолел свой гнев и согласился на ее просьбу и желание. Он не хотел слышать только об одном: об управлении ее имением. «Не люблю путаться в чужие дела, — говорил он, — не хочу, чтобы твои родные сказали, что я нагреваю руки около твоих тысячи душ. Хозяйство пойдет скверно у тебя, это правда, но ты богата, с тебя будет; теперь же, так и быть напишу, что беру на себя все управление имением, чтобы пугнуть твоего сахара медовича... Прочее, о чем просишь, все будет сделано». Вследствие того семейству был отдан строгий приказ ни о чем не расспрашивать Парашу. Письмо к Михайлу Максимовичу написал дедушка собственной своей рукой; Прасковья Ивановна также приписала в нем, и гонец отправился в Парашино. В то же время, как они соображали, думали, гадали и писали — в Парашине уже все было решено. На четвертый день воротился гонец с известием, что, волею божиею, Михайла Максимович скоропостижно скончался и что его уже похоронили. — Невольно перекрестился Степан Михайлович, получив первый это известие, и сказал: «Слава богу». То же сказала и вся его семья, которая, несмотря на свое прежнее благорасположение к Куролесову, давно уже смотрела на него со страхом, как на ужасного злодея. Но не то было с Прасковьей Ивановной. Судя по себе, все думали, что она порадуется этому известию, и поспешили сообщить его. К общему удивлению, она была поражена им до такой степени, что пришла в совершенное отчаяние, и снова захворала. Когда же крепкая натура преодолела болезнь, тоска овладела ею; несколько недель не осушала она глаз с утра до вечера и так исхудала, что напугала Степана Михайловича. Непонятно было для всех, из какого источника происходило такое глубокое сокрушение о смерти мужа, изверга рода человеческого, как все его называли, которого она не могла уже любить и который так злодейски поступил с нею. Но вот объяснение.

Несколько десятков лет после этого происшествия моя мать, которую очень любила Прасковья Ивановна, спросила ее в минуту сердечного излияния и самых откровенных разговоров о прошедшем (которых Прасковья Ивановна не любила): «Скажите, пожалуйста, тетушка, как могли вы так убиваться по Михайле Максимовиче? Я на вашем месте сказала бы: царство ему небесное — и порадовалась бы». — «Ты дура, — отвечала Прасковья Ивановна, — я любила его четырнадцать лет и не могла разлюбить в один месяц, хотя узнала, какого страшного человека я любила; а главное, я сокрушалась об его душе: он так умер, что не успел покаяться».

К шести неделям рассудок несколько овладел страждущею душою Прасковьи Ивановны, и она поехала, или, лучше сказать, согласилась поехать в Парашино вместе с братом и со всем его семейством, чтобы отслужить панихиду и отправить сорочины на могиле Михайла Максимовича. К общему удивлению, Прасковья Ивановна, во время пребывания своего в Парашине и во время печальной церемонии, не выронила ни одной слезинки, но можно себе представить, чего стоило такое усилие ее растерзанной душе и еще больному телу! По ее желанию пробыли в Парашине только несколько часов, и она не входила во флигель, в котором жил и умер ее муж.

Не трудно догадаться, отчего произошла скоропостижная кончина Куролесова. Когда Степан Михайлович выручил свою сестру из подвала, то все в Парашине ободрились и ожидали, что пришел конец владычеству Михайла Максимовича. Все думали, что багровский барин, бывший вместо отца их барыне, скрутит ее мужа и выгонит из имения, ему не принадлежащего. Никому и в голову не входило, чтобы молодая их госпожа, так обиженная, избитая до полусмерти, сидевшая на хлебе и на воде в погребу, в собственном своем имении, — не стала преследовать судебным порядком своего мучителя. Всякий день ждали, что нагрянет Степан Михайлович с капитан-исправником и земским судом, но прошла неделя, другая, третья — никто не приезжал... Михайла Максимович пил, гулял и буйствовал; передрал до полусмерти всю свою дворню, не исключая и того трезвого лакея, который будил его во время известного события —

за то, что они его выдали, — и хвалился, что получил от Прасковьи Ивановны крепость на все ее имение. Мера терпения человеческого преисполнилась; впереди не было никакой надежды, и двое из негодяев, из числа самых приближенных к барину и — что всего замечательнее — менее других терпевшие от его жестокости, решились на ужасное дело: они отравили его мышьяком, положа мышьяк в графин с квасом, который выпивал по обыкновению Михайла Максимович в продолжение ночи. Яд был положен в таком количестве, что Куролесов жил не более двух часов. Преступники не имели сообщников, и потому такое страшное событие поразило всех неописанным ужасом. Все подозревали друг друга, но долго не знали настоящих виновников. Чрез полгода один из них сделался отчаянно болен и пред смертью признался в своем преступлении. Товарищ его, которого, однако, умирающий не назвал, бежал и пропал без вести.

Без сомнения, скоропостижная смерть Куролесова повела бы за собой уголовное следствие, если б в Парашине не было в конторе очень молодого писца, которого звали также Михайлом Максимовичем и который только недавно был привезен из Чурасова. Этот молодой человек, необыкновенно умный и ловкий, уладил все дело...

. . . .

Впоследствии он был поверенным, главным управителем всех имений и пользовался полною доверенностью Прасковьи Ивановны. Под именем Михайлушки он был известен всем и каждому в Симбирской и Оренбургской губернии. Этот замечательно умный и деловой человек нажил себе большие деньги, долго держался скромного образа жизни, но, отпущенный на волю после кончины Прасковьи Ивановны, потеряв любимую жену, спился и умер в бедности. Кто-то из его детей, как мне помнится, вышел в чиновники и, наконец, в дворяне.

Не могу умолчать, что лет через сорок, сделавшись владельцем Парашина, внук Степана Михайловича нашел в крестьянах свежую, благодарную память об управлении Михайла Максимовича, потому что чувствовали постоянную пользу многих его учреждений; забыли его жестокость, от которой страдали преимущественно дворовые, но помнили уменье отличать правого от винова-

того, работящего от ленивого, совершенное знание крестьянских нужд и всегда готовую помощь. Старики рассказывали, улыбаясь, что у Куролесова была поговорка: «Плутуй, воруй, да концы хорони, а попался, так не пеняй».

Воротясь в Багрово, Прасковья Ивановна, пригретая самой нежной, искренней любовью своего брата и заботливым ухаживаньем всей его семьи (которую, однако, она не очень любила), ожидавшей от нее великих и богатых милостей, мало-помалу отдыхала от удара, жестоко ее поразившего. Крепкое ее здоровье восстановилось, душа успокоилась, и по прошествии года она решилась переехать в свое Чурасово. Грустно было Степану Махайловичу расставаться с сестрицей; по душе она пришлась ему всеми своими свойствами, и привык он к ней чрезвычайно; во всю свою жизнь он ни разу не прогневался на Прасковью Ивановну; но он не удерживал ее, а напротив, сам уговаривал к скорейшему отъезду. «Ну что, сестрица, за житье тебе с нами, — говорил Степан Михайлович. — У нас жизнь скучная, но мы уже к ней привыкли. Ты человек еще молодой (ей был тридцатый год), ты богата, ты привыкла не к такой жизни. Ступай в свое Чурасово. Там у тебя дом барский, диковинный сад с родниками, много богатых соседей, все тебя любят, все живут весело; а может быть, бог пошлет тебе счастливую судьбу; охотников будет много». Прасковья Ивановна со дня на день откладывала свой отъезд — так было тяжело ей расстаться с братом, ее спасителем и благодетелем с малых лет. Наконец, день был назначен. Накануне, рано поутру, пришла она к Степану Михайловичу, который, задумавшись, печально сидел на своем крылечке; она обняла его, поцеловала, заплакала и сказала: «Братец, я чувствую всю вашу ко мне любовь и сама люблю и почитаю вас, как родного отца. Конечно, бог видит мою благодарность; но я хочу, чтоб и люди ее видели. Позвольте мне укрепить вам все мое материнское имение: отцовское и без того достанется Алеше. Мои родные, с матушкиной стороны, богаты, и вы знаете, что мне не за что награждать их своим имением. Замуж я никогда не пойду. Я хочу, чтоб род Багровых был богат. Согласитесь, братец, успокойте, утешьте меня»... И при этих

словах она бросилась ему в ноги и осыпала поцелуями его руки, которыми он старался поднять ее. «Слушай, сестра, — сказал Степан Михайлович несколько строгим голосом. — Ты меня плохо знаешь! Чтоб я покорыстовался чужим добром и взял именье мимо законных наследников... нет, этому не бывать, и никто про Степана Багрова этого не скажет. Смотри же, чтоб и помину не было об бактеевском именье, а не то мы с тобой поссоримся в первый раз в жизни».

На другой день Прасковья Ивановна уехала в Чурасово и зажила своей особенною, самобытною жизнью.

ТРЕТИЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ»

ЖЕНИТЬБА МОЛОДОГО БАГРОВА

Много пронеслось годов, много совершилось событий: был голод, повальные болезни, была пугачевщина. Шайки Емели распугали помещиков Оренбургского края, и Степан Михайлович со своим семейством также бежал, сначала в Самару, а потом вниз по матушке по Волге, в Саратов и даже в Астрахань. Но все прошло, все успокоилось, все забылось. Одни подросли, другие возмужали, третьи постарели; разумеется, в числе третьих был Степан Михайлович. Видел это он и сам, да как-то не верил. Нередко говорил он: «Много уплыло по вешней воде», и говорил он это без огорчения, как будто речь шла о другом человеке, а не о нем... В самом деле, не тот уже был мой дедушка. Куда девались его богатырские силы, и проворство, и неутомимость? Дедушка дивился тому иногда, но продолжал жить попрежнему, по-старинному: он так же столько же ел и пил, сколько и чего хотела душа, так же одевался, не справляясь с погодою, отчего начинал иногда прихварывать. Тускнели понемногу его ясные и зоркие взгляды, слабел громкий голос; реже он гневался, реже бывал весел и светел. Старших дочерей своих он пристроил: первая, Веригина, уже давно умерла, оставив трехлетнюю дочь; вторая, Коптяжева, овдовела и опять вышла замуж за

Нагаткина; умная и гордая Елизавета какими-то судьбами попала за генерала Ерлыкина, который, между прочим, был стар, беден и пил запоем; Александра нашла себе столбового русского дворянина, молодого и с состоянием, И. П. Коротаева, страстного любителя башкирцев и кочевой их жизни, — башкирца душой и телом; меньшая, Танюша, оставалась при родителях; сынок был уже двадцати семи лет, красавчик, кровь с молоком: «кофту да юбку, так больше бы походил на барышню, чем все сестры», — так говорил про него сам отец. Несмотря на горькие слезы и постоянное сокрушение Арины Васильевны, Степан Михайлович, как только сыну минуло шестнадцать лет, определил его в военную службу, в которой он служил года три, и по протекции Михайла Максимовича Куролесова находился почти год бессменным ординарцем при Суворове; но Суворов уехал из Оренбургского края, и какой-то немец-генерал (кажется, Трейблут) без всякой вины жестоко отколотил палками молодого человека, несмотря на его древнее дворянство. Бабушка чуть не умерла с печали, да и дедушке не понравилась эта шутка: он взял Алешу в отставку и определил в Верхний земский суд, где он усердно и долго служил и был впоследствии прокурором.

Не могу пройти молчанием замеченную мною странность: бо́льшая часть этих господ немцев и вообще иностранцев, служивших тогда в русской службе, постоянно отличались жестокостью и большою охотою до палок. Немец-лютеранин, отколотивший беспощадно молодого Багрова, был в то же время строгим соблюдателем церковных русских обрядов. Вот как случилось это историческое событие в багровской семейной хронике. Под какой-то неважный праздник прика́зал немец-генерал служить всенощную в полковой церкви, что совершалось всегда в его присутствии и при собрании всех офицеров. Время было летнее, окошки отворены; вдруг залилась в воздухе русская песня по Дворянской улице города Уфы; генерал бросился к окошку: по улице шли трое молодых унтер-офицеров, один из них пел песню; генерал приказал их схватить и каждому дать по триста палок. Бедный мой отец, который не пел, а только вместе шел с другими унтерами, объявил, что, он дворянин, но

генерал, злобно улыбаясь, сказал ему: «Дворянин должен быть с бо́льшим благоговением к служба господня», — и в своем присутствии, в соседней комнате с церковью, при торжественном пении божественных славословий, зверски приказал отсчитать триста ударов невинному юноше, запрещая ему даже кричать, чтоб «не возмущать господня служба». Замертво отвезли наказанного в лазарет. Там должны были разрезать на нем мундир, так распухло его нежное молодое тело; два месяца гнила у него спина и плечи. Каково было все это узнать матери, любившей единственного сынка до безумия! Дедушка жаловался кому-то, и еще до выхода из лазарета сын его, немедленно подавший просьбу об отставке, был уволен из военной службы для определения к статским делам с чином четырнадцатого класса. В настоящее время было забыто это происшествие; ему прошло уже восемь лет.

Алексей Степанович преспокойно служил и жил в Уфе, отстоявшей в двухстах сорока верстах от Багрова, и приезжал каждый год два раза на побывку к своим родителям. Ничего особенного с ним не происходило. Тихий, скромный, застенчивый, ко всем ласковый, цвел он, как маков цвет, и вдруг... помутился ясный ручеек жизни молодого деревенского дворянина.

В городе Уфе, где постоянно находилась воеводская канцелярия, постоянно жил товарищ наместника коллежский советник Николай Федорович Зубин, человек умный и честный, но слишком нежный и слабый. Он овдовел, и у него осталось трое детей: дочь Сонечка, двенадцати лет, и два малолетных сына. Отец любил свою Сонечку страстно, да и как было не любить такую красавицу и умницу, которая, несмотря на свой детский возраст, скоро сделалась ему подругой и помощницей по домашнему хозяйству. Года через полтора после смерти первой жены, горячо им любимой, выплакав сердечное горе, Николай Федорович успокоился и влюбился в дочь известного описателя Оренбургского края, тамошнего помещика П. А. Рычкова, и вскоре женился. Молодая жена, Александра Петровна, умная, гордая и красивая, овладела совершенно нежным сердцем вдовца и возненавидела его любимицу, свою молоденькую, но уже прекрасную падчерицу. Дело весьма обыкновенное.

Страшное слово «мачеха», давно сделавшееся прилагательным именем для выражения жестокости, шло как нельзя лучше к Александре Петровне; но Сонечку нельзя было легко вырвать из сердца отца; девочка была неуступчивого нрава, с ней надо было бороться, и оттого злоба мачехи достигла крайних пределов; она поклялась, что дерзкая тринадцатилетняя девчонка, кумир отца и целого города, будет жить в девичьей, ходить в выбойчатом платье и выносить нечистоту из-под ее детей... Она буквально сдержала свою клятву: через два или три года Сонечка жила в девичьей, одевалась, как черная служанка, мыла и чистила детскую, где поселились уже две новые сестрицы. Что же страстно любивший отец?.. Он не видел дочери по целым месяцам и, когда встречал одетую чуть не в рубище, — отворачивался, вздыхал, плакал потихоньку и спешил удалиться. Таковы бывают по большей части немолодые вдовцы, влюбленные в молодых своих жен. Я не знаю в точности всех путей и средств, которыми достигла Александра Петровна своего торжества, и потому не стану говорить о них; не стану также распространяться о том, каким жестокостям и мучениям подвергалась несчастная сирота, одаренная от природы чувствительною, сильною и непокорною душою; тут не были забыты самые унизительные наказания, даже побои за небывалые вины. Скажу только, что падчерица была близка к самоубийству: она спаслась от него чудом. Вот как это случилось: решившись прекратить невыносимую жизнь, бедная девушка захотела в последний раз помолиться в своей каморке на чердаке перед образом Смоленской божией матери, которым благословила ее умирающая мать. Она упала перед иконой и, проливая ручьи горьких слез, приникла лицом к грязному полу. Страдания лишили ее чувств на несколько минут, и она как будто забылась; очнувшись, она встала и видит, что перед образом теплится свеча, которая была потушена ею накануне; страдалица вскрикнула от изумления и невольного страха, но скоро, признав в этом явлении чудо всемогущества божьего, она ободрилась, почувствовала неизвестные ей до тех пор спокойствие и силу и твердо решилась страдать, терпеть и жить. С этого дня беспомощная сирота облеклась

непроницаемою бронею терпенья к вящему раздражению своей мачехи. Она все исполняла, что ей приказывали; все переносила спокойно; никакие ругательства, никакие унизительные наказания не вырывали слез, не доводили ее до дурноты, до обморока, как это прежде бывало, и к обыкновенному названию «мерзкая девчонка» присоединился эпитет «отчаянная и мерзкая девчонка». Но исполнилась мера долготерпения божьего, и грянул гром: великолепная Александра Петровна, в цвете лет, здоровья и красоты, родила еще сына и умерла в десятый день после родов. Она знала за сутки, что должна умереть, и поспешила примириться с своею совестью: вдруг ночью разбудили Сонечку и позвали к мачехе; Александра Петровна при свидетелях покаялась в своих винах перед падчерицей, просила у нее прощенья и заклинала именем божиим не оставить ее детей; подчерица простила, обещала не оставить их и сдержала обещанье. Александра Петровна призналась также своему мужу, что все обвинения, взводимые на его дочь, были выдумка и клевета.

Боже мой, как смерть перевернула все вверх дном! Николая Федорыча разбил нервический паралич, после которого он жил еще несколько лет, но уже не вставал с постели. Загнанная, оборванная барышня, которую подлое лакейство, особенно приданые мачехи, обижали сколько душе угодно, втоптали в грязь, — вдруг сделалась полновластною госпожою в доме, потому что больной отец отдал ей в распоряжение все. Объяснение и примирение виновного отца с обиженной дочерью были умилительны и даже возмутительны для дочери и окружающих. Раскаянье долго терзало больного старика, долго лились у него слезы и день и ночь, и долго повторял он только одни слова: «Нет, Сонечка, ты не можешь меня простить!» Не осталось ни одного знакомого в городе, перед которым он не исповедовал бы торжественно вин своих перед дочерью, и Софья Николавна сделалась предметом всеобщего уважения и удивления. Умудренная годами тяжких страданий, семнадцатилетняя девушка вдруг превратилась в совершенную женщину, мать, хозяйку и даже официальную даму, потому что по болезни отца принимала все власти, всех чиновников и городских жителей, вела с ними переговоры, писала

письма, деловые бумаги и впоследствии сделалась настоящим правителем дел отцовской канцелярии. С самым напряженным вниманием и нежностью ухаживала Софья Николавна за больным отцом, присматривала попечительно за тремя братьями и двумя сестрами и даже позаботилась о воспитании старших; она нашла возможность приискать учителей для своих братьев от одной с ней матери, Сергея и Александра, из которых первому было двенадцать, а другому десять лет: она отыскала для них какого-то предоброго француза Вильме, заброшенного судьбою в Уфу, и какого-то полученого малоросса В-ского, сосланного туда же за неудавшиеся плутни. Софья Николавна воспользовалась случаем, сама училась вместе с братьями[1] и чрез полтора года отправила их в Москву к А. Ф. Аничкову, с которым через двоюродного его брата, находившегося в Уфе, познакомилась она заочно и вела постоянную переписку. Аничков жил в Москве вместе с известным Н. И. Новиковым; оба приятеля до того пленились красноречивыми письмами неизвестной барышни с берегов реки Белой из Башкирии, что присылали ей все замечательные сочинения в русской литературе, какие тогда появлялись, что очень много способствовало ее образованию. Аничков был особенным ее почитателем и счел за счастье исполнить просьбу Софьи Николавны, то есть взять на свои руки обоих ее братьев и поместить их в университетский благородный пансион, что и сделал усердно и точно. Мальчики очень хорошо учились, но, по несчастию, ученье было прервано тем, что их потребовали в гвардию, куда они были записаны еще в колыбели.

Все, по-тогдашнему умные и образованные люди, попадавшие в Уфу, спешили познакомиться с Софьей Николавной, пленялись ею и никогда не забывали. Большая часть таких знакомств обратилась впоследствии в дружбу с ее семейством, которая прекращалась только смертью. Из числа их я назову только тех, которых знал сам: В. В. Романовского, А. Ю. Авенариуса, П. И. Чичагова,

---

[1] Она училась так прилежно, что скоро могла понимать французские книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по-французски.

Д. Б. Мертваго и В. И. Ичанского. Ученые и путешественники, посещавшие новый и чудный Уфимский край, также непременно знакомились с Софьей Николавной и оставляли письменные знаки удивления ее красоте и уму. Конечно, положение этой девушки в обществе и семействе было выгодно, служило ей, так сказать, картинным подножием, но зато и стояло на нем чудное создание. Особенно памятны мне стихи одного путешественника, графа Мантейфеля, который прислал их Софье Николавне при самом почтительном письме на французском языке, с приложением экземпляра огромного сочинения в пяти томах in quarto доктора Бухана, только что переведенного с английского на русский язык и бывшего тогда знаменитою новостью в медицине. Домашний лечебник Бухана был драгоценным подарком для Софьи Николавны: она могла пользоваться его указаниями и составлять лекарства для леченья своего больного отца. В стихах же граф Мантейфель называл уфимскую красавицу и Венерой и Минервой.

Несмотря на болезненное состояние, Николай Федорович не оставлял несколько лет своей должности. Всякий год раза два он давал вечера с танцами; сам к дамам не выходил, а мужчин принимал лежа в кабинете, но молодая хозяйка принимала весь город. Несколько раз в год он непременно посылал свою Сонечку на балы к почетным лицам города. Софья Николавна, богато одетая, отлично по-тогдашнему танцующая, уступая усильным просьбам старика, приезжала на бал на самое короткое время. Протанцевав польский, менуэт и один контрданс или экоссез, она сейчас уезжала, мелькнув в обществе, как блестящий метеор. Все, что имело право влюбляться, было влюблено в Софью Николавну, но любовью самою почтительной и безнадежной, потому что строгость ее нравов доходила до крайних размеров.

И вот в какую необыкновенную девушку влюбился сынок Степана Михайловича! Он не мог вполне понимать и ценить ее, но одной наружности, одного живого и веселого ума ее достаточно было, чтобы свести с ума человека, — и молодой человек сошел с ума. С первого взгляда Софья Николавна, которую он увидел у обедни, обворожила, как говорили тогда, его мягкое сердце.

Узнав, что красавица принимает всех чиновников, приезжающих к ее отцу, Алексей Степаныч (станем звать его полным именем), как чиновник, служивший в Верхнем земском суде, стал постоянно являться с поздравлениями по праздничным и табельным дням в приемной товарища наместника; всегда видел Софью Николавну и таял час от часу более. Эти посещения, слишком точные, слишком продолжительные, хотя почти безмолвные, были скоро замечены всеми, и, вероятно, первая заметила их молодая хозяйка. Очарованные глаза, пылающие щеки, смущение, доходившее до самозабвения, всегда были красноречивыми объяснителями любви. Над искренней любовью обыкновенно все смеются, так положено испокон века, — и весь город смеялся над смиренным, застенчивым и стыдливым, как деревенская девушка, Алексеем Степанычем, который в ответ на все шутки и намеки конфузился и краснел как маков цвет. Софья Николавна, строгая и даже суровая ко всем светским любезникам, вопреки ожиданию всех, была снисходительна к своему безмолвному обожателю. Я не знаю, жалко ли ей стало молодого безответного человека, терпевшего за любовь к ней насмешки, поняла ли она, что это не минутное увлечение, не шутка для него, а вопрос целой жизни — не знаю, но суровая красавица не только благосклонно кланялась и смотрела на Алексея Степаныча, но даже заговаривала с ним; робкие, несвязные ответы, прерывающийся от внутреннего волнения голос не казались ей ни смешными, ни противными. Впрочем, надо сказать, что Софья Николавна высоко себя держала перед бойкими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скромными всегда была снисходительна и ласкова.

Так тянулось дело довольно долго. Вдруг дерзкая мысль озарила горящую голову Алексея Степаныча, мысль — жениться на Софье Николавне! Он сам сначала перепугался такого смелого и несбыточного желания. Куда ему до Софьи Николавны, первого лица в городе, первой умницы и красавицы в целом свете, по его мнению... и он совершенно отбросил такое намерение. Но мало-помалу постоянная благосклонность и внимание, приветливые, как будто ободряющие взгляды Софьи Николавны (так ему казалось), а всего более любовь,

овладевшая всем существом его, снова вызвали отброшенную мысль, и она скоро сроднилась, сжилась с его жизнью. Одна старая помещица, жившая по делу в Уфе, Алакаева, которая езжала в дом к Зубиным, дальняя родственница Алексея Степаныча, принимала в нем всегда особенное участие; он стал чаще навещать ее, ласкаться к ней, как умел, и, наконец, открылся в своей любви к известной особе и в своем намерении искать ее руки. Любовь, как городская молва, была давно известна Алакаевой, но намерение жениться ее удивило. «Не пойдет, — сказала старуха, качая головой, — она преумная, прегордая, превоспитанная. Мало ли в нее влюблялись, но никто посвататься не осмелился. Ты, конечно, красавчик, старинного дворянского рода, имеешь небольшое состояние, а со временем будешь и богат — это все знают; но ты человек не ошлифованный, деревенский, ничему не ученый, и больно уж смирен в публике»... Обо всем этом догадывался и сам Алексей Степаныч, но любовь совершенно помутила его голову; и денно и нощно кто-то шептал ему в уши, что Софья Николавна за него пойдет. Хотя надежды молодого человека казались Алакаевой неосновательными, но она согласилась на его просьбу съездить к Софье Николавне и, не делая никаких намеков о его намерении, завести речь о нем, как-нибудь стороною и заметить все, что она скажет. Алакаева поехала немедленно; Алексей Степаныч остался у ней в доме, ожидая ее возвращения; старуха проездила довольно долго; на влюбленного напал такой страх, такая тоска, что он принялся плакать и, наконец, утомленный слезами, заснул, прислонясь головой к окошку. Старуха, воротясь, разбудила его и с веселым видом сказала: «Ну, Алексей Степаныч, в самом деле что-то есть. Я стала о тебе говорить и немножко на тебя нападать, а Софья Николавна заступилась за тебя не на шутку и, наконец, сказала, что ты должен быть человек очень добрый, скромный, тихий и почтительный к родителям, что таких людей благословляет бог и что такие люди лучше бойких говорунов». Алексей Степаныч опьянел от радости и сам не помнил, что говорил тогда. Алакаева, дав ему успокоиться, с твердостью сказала: «Если это твое непременное желание, то вот тебе мой совет. Поез-

жай немедленно к отцу и матери, расскажи им все и проси у них согласия и благословения, пока добрые люди не помешали. Если ты получишь и то и другое, то я не отказываюсь хлопотать за тебя. Только не торопись; умасли наперед сестер, а мать противиться твоему желанию не станет. Разумеется, первое дело согласие твоего отца. Я его знаю, он больно крут, но разумен; поговори с ним, когда он будет весел». Алексей Степаныч удивился такому осторожному совету и таким околичностям и возразил, что родители его будут очень рады и что «разве есть какой-нибудь порок в Софье Николавне?» — «Пребольшой, — отвечала умная старуха. — Она бедна, у нее ровно нет ничего, а ее дедушка был простой урядник в казачьем Уральском войске». На Алексея Степаныча нисколько не подействовали эти многозначительные слова, но предчувствие не обмануло старуху Алакаеву, и предостережение было слишком поздно. Через неделю Алексей Степаныч взял отпуск, раскланялся с Софьей Николавной, которая очень ласково пожелала ему счастливого пути, пожелала, чтобы он нашел родителей своих здоровыми и обрадовал их своим приездом, — и полный радостных надежд от таких приятных слов, молодой человек уехал в деревню, к отцу и матери. Старики обрадовались, но как-то не удивились несвоевременному приезду сына и посматривали на него вопросительно; а сестры (которые жили неподалеку и по уведомлению матери сейчас прискакали) целовали и миловали братца, но чему-то улыбались. Алексей Степаныч был особенно дружен с меньшой сестрой и открылся ей первой в своей страсти. Татьяна Степановна, несколько романическая девица, любившая брата больше, чем другие сестры, слушала его с участием и, наконец, так увлеклась, что открыла ему весь секрет: семья знала уже об его любви и смотрела на нее неблагоприятно. Вот каким образом происходило дело: месяца за два до приезда Алексея Степаныча, Иван Петрович Каратаев ездил зачем-то в Уфу и привез своей жене эту городскую новость; Александра Степановна (я сказал о ее свойствах) вскипела негодованием и злобой; она была коновод в своей семье и вертела всеми, как хотела, разумеется кроме отца; она обратила в шпионы одного из лакеев

Алексея Степаныча, и он сообщал ей все подробности об образе жизни и о любви своего молодого барина; она нашла какую-то кумушку в Уфе, которая разнюхала, разузнала всю подноготную и написала ей длинную грамоту, с помощию отставного подъячего, составленную из городских вестей и сплетен дворни в доме Зубина, преимущественно со слов озлобленных приданых покойной мачехи. Не трудно догадаться, какими красками была расписана Софья Николавна.

Дело известное, что в старину (я разумею старину екатерининскую), а может быть, и теперь, сестры не любили или очень редко любили своих невесток, то есть жен своих братьев, отчего весьма красноречиво называются *золовками*; еще более не любили, когда женился единственный брат, потому что жена его делалась безраздельною, полною хозяйкою в доме. В человеческом существе скрыто много эгоизму; он действует часто без нашего ведома, и никто не изъят от него; честные и добрые люди, не признавая в себе эгоистических побуждений, искренне приписывают их иным, благовидным причинам: обманывают себя и других без умысла. В натурах недобрых, грубых и невежественных обнаруживаются признаки эгоизма ярче и бесцеремоннее. Так было и в семействе Степана Михайловича. Женитьба брата, на ком бы то ни было, непременно досадила бы всем. «Братец к нам переменится, не станет нас так любить и жаловать, как прежде, молодая жена ототрет родных, и дом родительский будет нам чужой» — это непременно сказали бы сестры Алексея Степаныча, хотя бы его невеста была — их поля ягода; но невестки Софьи Николавны хуже нельзя было придумать для них. Александра Степановна поспешила пригласить Елизавету Степановну в Багрово, чтобы сообщить матери и сестрам, разумеется с приличными украшениями, все полученные ею сведения о похождениях своего братца; все поверили ей безусловно, и вот какое мнение составилось о Софье Николавне. Во-первых, Зубиха (так называли ее сестры и мать Алексея Степаныча в своих тайных заседаниях) — низкого рода; дедушка у ней был уральский казак, по прозванью Зуб, а мать (Вера Ивановна Кандалинцова) — из купеческого звания. Следовательно, низко было по-

родниться с ней старинному дворянскому дому. Во-вторых, Зубиха — нищая: как умрет отец или отставят его от должности, то пойдет по миру, а потому и братцев и сестриц своих навяжет на шею мужу. В-третьих, Зубиха — гордячка, модница, городская прощелыга, привыкшая повелевать всем городом; следовательно, на них, на деревенских жителей, — даром что они старинные столбовые дворяне, — и плюнуть не захочет. Наконец, в-четвертых, Зубиха — колдунья, которая корнями приворачивает к себе всех мужчин, бегающих за ней высуня язык, и в том числе приворотила бедного братца их, потому что пронюхала об его будущем богатстве и об его смиренстве, захотела быть старинной дворянкой и нарохтится за него замуж. — Александра Степановна, которая заправляла всем делом, с помощью бойкого и ядовитого языка своего всех смутила и доказала, как дважды два четыре, что такая невеста, как Софья Николавна, — совершенная беда для них; «что она, пожалуй, и Степана Михайловича приворотит, и тогда все они пропали; следовательно, надо употребить все усилия, чтобы Алексей Степаныч не женился на Софье Николавне». Очевидно, что всего нужнее было внушить Степану Михайловичу самые дурные мысли об Софье Николавне, но как это сделать? Действовать прямо они не решались, потому что совесть была не чиста. Кой грех отец заподозрит их в умысле, тогда уж не поверит и правде; он еще и прежде, когда старики приискали было невесту своему сыну, дал им почувствовать, что понимает их нежелание видеть брата женатым. Итак, устроили следующую машинацию: одну из родных племянниц Арины Васильевны, петую дуру, смертную вестовщицу и пьяницу, Флену Ивановну Лупеневскую, научили приехать как будто в гости в Багрово и между прочими рассказнями рассказать про любовь Алексея Степаныча, разумеется, с самой невыгодной стороны для Софьи Николавны. Долго Александра Степановна учила с голосу Флену Ивановну, что говорить и как говорить. Наконец, роль была, по возможности, вытвержена. Флена Ивановна явилась в Багрово к обеду, после которого и хозяева и гости заснули часа три и потом собрались к чаю. Старик был в духе и сам навел свою гостью на исполнение роли.

«Ну что, Флена-пушка! (так звал ее Степан Михайлович по причине толщины и малого роста) рассказывай, что слышала от приезжих из Уфы! (Ее сестра Катерина Ивановна Кальпинская с мужем недавно оттуда воротились.) Чай, вестей навезли с три короба, ну да ты прилжешь четвертый...» — «Ох, шутник ты наш, шутник, дядюшка любезный, — отвечала Флена Ивановна, — что мне лгать! Вестей-то навезли много». Тут она рассказала целую кучу разных былей и небылиц и нелепых сплетен, от которых я пощажу моих читателей. Дедушка притворился, что ничему не верит, даже справедливым известиям; он подтрунивал над рассказчицей, путал ее в словах, сбивал и так забавно дразнил, что вся семья валялась со смеху. Глупой бабе, выпившей со сна добрую чарку настойки для бодрости, за досаду стало, и она с некоторою горячностью сказала старику: «Да что это, дядюшка, ты все смеешься и ничему не веришь? Погоди, я приберегла тебе весточку на закуску; ты ей за неволю поверишь, да и смеяться не станешь». Семья переглянулась, а дедушка засмеялся. «Ну, вытряхивай, — весело сказал он, — поверить не поверю, а смеяться не стану: ты уж мне надоела». — «Ох, дядюшка, дядюшка, — начала Флена Ивановна, — ты вот об братце-то нашем любезном, Алексее-то Степановиче, ничего не знаешь. Ведь он весь высох с тоски; приворотила его к себе нечистой силой уфимская ведьма, дочка набольшого тамошнего воеводы, что ли, наместника ли — не знаю. Говорят, такая красавица, всех заполонила, и старых и молодых, всех корнями обвела. Все за ней, прости господи, как кобели за сукой, так и бегают. А голубчик-то мой, братец-то Алексей Степаныч, так врюхался, что не ест, не пьет и не спит. Все и сидит у ней, глаз с нее не сводит, глядит да вздыхает, а по ночам все мимо ее дома ходит, с ружьем да с саблей, все караулит ее; она ж, Зубиха-то, говорят, его приголубливает; ведь он сам красавчик и столбовой дворянин, так и у ней губа-то не дура: хочет за него замуж выйти. Да и как не хотеть? Ведь она нищая, и отец ее из простых, сын казака уральского, Федьки Зуба; хоть сам и дослужился до чинов и при больших местах был, а ничего не нажил: все протранжирил на столы, да на пиры, да на дочкины наряды; ста-

рик еле жив, на ладан дышит, а детей-то куча: от двух жен — шесть человек. Все сядут на твою, дядюшка, шею, коли братец-то на ней женится; у ней приданого одни платья; на брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк. А уж Алексей Степаныч, говорят, на себя не похож — узнать нельзя, точно в воду опущенный; уж и лакеи-то, глядя на него, плачут, а вам доложить не смеют. Поверь, дядюшка, все правда до единого слова: допроси своих лакеев, они не запрутся». Арина Васильевна принялась плакать, а дочки куксить глаза. Дедушка был немного озадачен, но скоро овладел собою и с равнодушной улыбкой отвечал: «Прилгано много, а может, есть и правда. Я сам слышал, что Зубина красавица и умница, вот в чем и все колдовство[1]. Что мудреного, если и у Алексея глаза разгорелись. Остальное все враки. Выйти замуж за Алексея — Зубина и не думает; она найдет себе получше и побойчее жениха. Он ей не пара.— Ну, теперь кончено. Больше об этом не тарантить. Пойдемте пить чай на дворе». — Разумеется, Флена Ивановна и все прочие более не смели и поминать об уфимских новостях. Вечером гостья уехала. После ужина, когда Арина Васильевна и дочери начали было безмолвно прощаться с Степаном Михайловичем, он остановил их следующими словами: «Ну, что, Ариша? Что у тебя на уме бродит? Дура Флена, конечно, много приврала, а мне сдается, что тут есть и правда. Письма Алексеевы как-то стали другие. Надо бы это дело как-нибудь поразведать. Да всего лучше позовем Алешу сюда: от него узнаем всю правду.

Тут Александра Степановна вызвалась в одну неделю спосылать нарочного в Уфу, чтобы разведать об этом деле через родственницу своего мужа, прибавя, что она женщина правдивая и ни за что не солжет; старик согласился не вызывать сына до получения новых известий. Александра Степановна сейчас ускакала домой в свою Каратаевку (всего в пятидесяти верстах от

---

[1] Дедушка вообще колдовству мало верил. Даже стрелял один раз (вынув тихонько дробь) в колдуна, который уверял, что ружье заговорено и не выстрелит; резумеется, ружье выстрелило и крепко напугало колдуна, который, однако, нашелся и торжественно объявил, что дедушка мой «сам знает», чему и поверили все, разумеется кроме Степана Михайловича.

Багрова) и ровно через неделю воротилась к старикам; она привезла то самое письмо, которое еще прежде получила от своей кумушки и о котором я уже говорил. Письмо показали и прочли Степану Михайловичу, и хотя он плохо верил женским справкам и донесениям, но некоторые статьи и письма показались ему правдоподобными и произвели на него неприятное впечатление. Он решительно сказал, что если в самом деле Зубина думает выйти замуж за Алешу, то он не позволит ему жениться на ней, потому что она не дворянского рода. «На этой же почте пишите к Алеше и зовите его домой». — Через несколько дней, которые не были потеряны даром, потому что Арина Васильевна с дочерьми успела напеть в уши старику много неблагоприятного для любви Алексея Степаныча, вдруг как снег на голову, явился он сам, что мы уже знаем.

Услыхав от сестры все, сейчас рассказанное мною, Алексей Степаныч крепко призадумался и оробел. Лишенный от природы твердой воли, воспитанный в слепом повиновении к семейству, а к отцу — в страхе, он не знал, что ему делать. Наконец, решился поговорить с матерью. Арина Васильевна, любившая единственного сынка без памяти, но привыкшая думать, что он все еще малое дитя, и предубежденная, что это дитя полюбило опасную игрушку, встретила признание сына в сильном чувстве такими словами, какими встречают желание ребенка, просящего дать ему в руки раскаленное железо; когда же он, слыша такие речи, залился слезами, она утешала его; опять-таки, как ребенка, у которого отнимают любимую игрушку. Что ни говорил Алексей Степаныч, как ни старался опровергнуть клеветы на Софью Николавну — мать его не слушала или слушала без всякого внимания. Прошло еще два дня: сердце молодого человека разрывалось; тоска по Софье Николавне и любовь к ней росли с каждым часом, но, вероятно, он не скоро бы осмелился говорить с отцом, если бы Степан Михайлович не предупредил его сам. В одно прекрасное утро, после ночи, проведенной почти без сна, Алексей Степаныч, несколько похудевший и побледневший, рано пришел к отцу, который сидел, по своему обыкновению, на своем крылечке. Старик был весел и ласково встретил сына; но, взглянув пристально ему в лицо, он понял, что

происходило в душе молодого человека. Дав поцеловать ему свою руку, он с живостью, но без гнева сказал ему: «Послушай, Алексей! Я знаю, что лежит у тебя на сердце, и вижу, что дурь крепко забралась к тебе в голову. Рассказывай же мне всю подноготную без утайки, и чтоб все до одного слова была правда». Хотя Алексей Степаныч не привык откровенно говорить с отцом, которого больше боялся, чем любил, но любовь к Софье Николавне придала ему смелость. Он бросился сначала к отцу в ноги и потом рассказал ему со всеми подробностями, ничего не скрывая, свою сердечную повесть. Степан Михайлович слушал терпеливо, внимательно: кто-то из домашних шел было к нему поздороваться, но он издали выразительно погрозил калиновым подожком своим, и никто, даже Аксинья с чаем, не смел подойти, пока он сам не позвал. Рассказ сына был беспорядочен, сбивчив, длинен и не убедителен, но тем не менее светлый ум Степана Михайловича понял ясно, в чем состояло дело. По несчастию, оно ему не понравилось и не могло понравиться. Он мало понимал романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая казалась ему слабостью, унижением, дрянностью в мужчине; но в то же время он понял, что Софья Николавна тут ни в чем не виновата и что все дурное, слышанное им на ее счет, было чистою выдумкою злых людей и недоброжелательством собственной семьи. Подумав немного, вот что он сказал без всякого гнева, даже ласково, но с твердостью: «Послушай, Алексей! Ты именно в таких годах, когда красивая девица может приглянуться мужчине. В этом беды еще никакой нет; но я вижу, что ты чересчур врезался, а это уж не годится. Я Софью Николавну ни в чем не виню; я считаю, что она девица предостойная, — только тебе не пара и нам не с руки. Во-первых, она дворянка вчерашняя, а ты потомок самого древнего дворянского дома. Во-вторых, она горожанка, ученая, бойкая, привыкла после мачехи повелевать в доме и привыкла жить богато, даром что сама бедна; а мы люди деревенские, простые, и наше житье ты сам знаешь; да и себя ты должен понимать: ты парень смирный; но хуже всего то, что она больно умна. Взять жену умнее себя — беда: будет

командирша над мужем; а притом, ты так ее любишь, что на первых порах непременно избалуешь. Ну, так вот тебе мое отцовское приказание: выкинь эту любовь из головы. Я же, признаться тебе, думаю, что Софья Николавна за тебя и не пойдет. Надо рубить дерево по себе. Мы поищем тебе какую-нибудь смирненькую, тихонькую, деревенскую родовую дворяночку, да и с состоянием. Выйдешь в отставку, да и заживешь припеваючи. Ведь мы, брат, не широки в перьях; только что сыты, а доходов больно мало; об куролесовском же наследстве, которое всем глаза разодрало, я и не думаю. Это дело неверное; Прасковья Ивановна сама человек не старый, может выйти замуж и народить ребят. Ну, так смотри же, Алеша! чтоб все с тебя слетело, как с гуся вода, и чтоб помину не было о Софье Николавне...» Степан Михайлович протянул милостиво руку своему сыну, которую тот поцеловал с привычною почтительностью. Старик велел подавать чай и звать к себе семью. Он был необыкновенно ласков и весел со всеми, но несчастный Алексей Степаныч впал в совершенное уныние. Никакой гнев отца не привел бы его в такое отчаяние. Гнев Степана Михайловича проходил скоро, и после него являлись и снисхождение и милость, а теперь он видел спокойную твердость и потерял всякую надежду. Алексей Степаныч вдруг так изменился в лице, что мать испугалась, взглянув на него, и стала приставать к нему с вопросами: что с ним сделалось? здоров ли он? Сестры также заметили перемену, но, будучи похитрее, ничего не сказали. Степан Михайлович все видел и все понимал. Покосившись на Арину Васильевну, он проворчал сквозь зубы: «Не приставай к нему». Алексея Степаныча оставили в покое, не обращая на него внимания, — и деревенский день покатился по своей обыкновенной колее.

Разговор с отцом глубоко поразил, сокрушил, можно сказать, сердце Алексея Степаныча. Он потерял сон, аппетит, сделался совершенно ко всему равнодушен и ослабел телом. Арина Васильевна принялась плакать, и даже сестры перетревожились. На другой день мать едва могла добиться, чтобы он сказал несколько слов о том, что говорил с ним отец. На все допросы Алексей Степаныч отвечал: «Батюшке не угодно, я человек погибший, я не

жилец на этом свете». И в самом деле, через неделю он лежал в совершенной слабости и в постоянном забытьи: жару наружного не было, а он бредил и день и ночь. Болезни его никто понять не мог, но это просто была нервная горячка. Семья перепугалась ужасно: докторов поблизости не было, и больного принялись лечить домашними средствами; но ему становилось час от часу хуже, и, наконец, он сделался так слаб, что каждый час ожидали его смерти. Арина Васильевна и сестры ревели и рвали на себе волосы. Степан Михайлович не плакал, не сидел беспрестанно над больным, но едва ли не больше всех страдал душою; он хорошо понимал причину болезни. «Но молодость свое взяла», и ровно через шесть недель Алексею Степанычу стало полегче. Он проснулся к жизни совершенным ребенком, и жизнь медленно вступала в права свои; он выздоравливал два месяца; казалось, он ничего прошедшего не помнил. Он радовался всякому явлению в природе и в домашнем быту, как новому, незнакомому явлению; наконец, совершенно оправился, даже поздоровел, пополнел и получил, уже более года потерянный, румянец во всю щеку; удил рыбу, ходил на охоту за перепелами, ел и пил аппетитно и был весел. Родители не нарадовались, не нагляделись на него и убедились, что болезнь выгнала из молодой головы и сердца все прежние мысли и чувства. Может быть, оно и в самом деле было бы так, если б его взяли в отставку, продержали с год в деревне, нашли хорошенькую невесту и женили; но старики беспечно обнадеялись настоящим положением сына: через полгода отправили его опять на службу в тот же Верхний земский суд, опять на житье в ту же Уфу — и судьба его решилась навсегда. Прежняя страсть загорелась с новою, несравненно большею силой. Как возвратилась любовь в сердце Алексея Степаныча, вдруг или постепенно, — ничего не знаю: знаю только, что он сначала ездил к Зубиным изредка, потом чаще и, наконец, так часто, как было возможно. Знаю, что покровительница его, Алакаева, продолжала ездить к Софье Николавне, тонкими расспросами выведывала ее расположение и привозила благоприятные отзывы, утверждавшие и в ней самой надежду, что гордая красавица благосклонно расположена к ее скромному родственнику. Через

несколько месяцев после отъезда Алексея Степаныча из деревни вдруг получили от него письмо, в котором он с несвойственной ему твердостью, хотя всегда с почтительной нежностью, объяснил своим родителям, что любит Софью Николавну больше своей жизни, что не может жить без нее, что надеется на ее согласие и просит родительского благословения и позволения посвататься. Старики вовсе не ожидали такого письма и были им поражены. Степан Михайлович сдвинул брови, но ни одним словом не выразил своих мыслей. Вся семья хранила глубокое молчание; он махнул рукой, и все оставили его одного. Долго сидел мой дедушка, чертя калиновым подожком какие-то узоры на полу своей комнаты. Степан Михайлович скоро смекнул, что дело плохо и что теперь уж никакая горячка не вылечит от любви его сына. По своей живой и благосклонной натуре он даже поколебался, не дать ли согласия, о чем можно было заключить из его слов, обращенных к Арине Васильевне. «Ну что, Ариша (говорил он ей на следующее утро, разумеется наедине), как ты мекаешь? Ведь не позволим, так нам не видать Алексея как ушей своих: или умрет с тоски, или на войну уйдет, или пойдет в монахи — и род Багровых прекратится». Но Арина Васильевна, уже настроенная дочерьми, как-то не испугалась за своего сынка и отвечала: «Твоя воля, Степан Михайлович; что тебе угодно, того и я желаю; да только какое же будет от них тебе уважение, если они поставят на своем после твоего родительского запрещенья?» Пошлая хитрость удалась: самолюбие старика расшевелилось, и он решился подержаться. Он продиктовал сыну письмо, в котором выразил удивление, что он принялся опять за прежнее, и повторил то, что говорил ему на словах. Короче, письмо содержало положительный отказ.

Прошло две-три недели — не было писем от Алексея Степаныча. Наконец, в один осенний, ненастный день дедушка сидел в своей горнице, поперек постели, в любимом своем халате из тонкой армячины [1] сверх рубашки-

---

[1] Не знаю, как теперь, а в старые годы на оренбургской мене такую покупали армячину, которая своей тониной и чистотой равнялась с лучшими азиатскими тканями.

косоворотки, в туфлях на босую ногу; подле него пряла на самопрялке козий пух Арина Васильевна и старательно выводила тонкие длинные нити, потому что затеяла выткать из них домашнее сукно на платье своему сыночку, так чтоб оно было ему и легко, и тепло, и покойно; у окошка сидела Танюша и читала какую-то книжку; гостившая в Багрове Елизавета Степановна присела подле отца на кровати и рассказывала ему про свое трудное житье, про службу мужа, про свое скудное хозяйство и недостатки. Старик печально слушал, положа руки на колени и опустив на грудь свою, уже поседелую, голову. Вдруг дверь из лакейской отворилась: высокий, красивый молодой парень, Иван Малыш, в дорожной куртке, проворно вошел и подал письмо с почты, за которым ездил он в город за двадцать пять верст. Очевидно было, что письма ожидали с нетерпеньем, потому что все встрепенулись. «От Алеши?» — спросил торопливо и неспокойно старик. «От братца», — отвечала Танюша, подбежавшая к Малышу, проворно взявшая письмо и прочитавшая адрес. «Спасибо, что скоро съездил. Чарку водки Малышу. Ступай обедать и отдыхать». Ту ж минуту отворился высокий поставец, барышня вытащила длинный штоф узорного стекла, налила серебряную чарку и подала Малышу; тот перекрестился, выпил, крякнул, поклонился и ушел. «Ну, читай, Танюша»,— сказал дедушка. Татьяна Степановна была его чтецом и писцом. Она поместилась у окошка; бабушка оставила прялку, дедушка встал с кровати, и все обсели кругом Татьяну Степановну, распечатавшую между тем письмо, но не смевшую предварительно заглянуть в него. После минутного молчания началось медленное и внятное чтение вполголоса. После обыкновенных тогда: «Милостивейший государь батюшка и милостивейшая государыня матушка» — Алексей Степаныч писал почти следующее: «На последнее мое просительное письмо я имел несчастие получить немилостивый ответ от вас, дражайшие родители. Не могу преступить воли вашей и покоряюсь ей; но не могу долго влачить бремя моей жизни без обожаемой мною Софьи Николавны, а потому в непродолжительном времени смертоносная пуля скоро

просверлит голову несчастного вашего сына» [1]. Эффект был сильный: тетки мои захныкали, бабушка, ничего подобного не ожидавшая, побледнела, всплеснула руками и повалилась без памяти на пол, как сноп: в старину также бывали обмороки. Степан Михайлович не шевельнулся; только голова его покосилась на одну сторону, как перед началом припадка гнева, и слегка затряслась... Она не переставала уже трястись до его смерти. Дочери, опомнившись, бросились помогать матери и скоро привели ее в чувство. Тогда, поднявши вой, как по мертвому, Арина Васильевна бросилась в ноги Степану Михайловичу. Дочери, следуя ее примеру, также заголосили. Арина Васильевна, несмотря на грозное положение головы моего дедушки, забыв и не понимая, что сама подстрекнула старика не согласиться на женитьбу сына, громко завопила: «Батюшка Степан Михайлович! сжалься, не погуби родного своего детища, ведь он у нас один и есть; позволь жениться Алеше! Часу не проживу, если с ним что случится». Старик оставался неподвижно в прежнем положении. Наконец, нетвердым голосом сказал: «Полно выть. Выпороть надо бы Алешу. Ну, да до завтра; утро вечера мудренее; а теперь уйдите и велите давать обедать». Обед у старика служил успокоительным средством в трудных обстоятельствах. Арина Васильевна заголосила было опять: «Помилуй, помилуй!» Но Степан Михайлович громко закричал: «Убирайтесь вон!» — и в голосе его послышался рев приближающейся бури. Все поспешно удалились. До обеда никто не смел заглянуть в комнату Степана Михайловича. Что пролетело по душе его в эти минуты, какая борьба совершилась у железной воли с отцовскою любовью и разумностью, как уступил победу упорный дух?.. трудно себе представить; но когда раздался за дверью голос Мазана: «Кушанье готово», дедушка вышел спокоен, и ожидавшие его жена и дочери, каждая у своего стула, не заметили на слегка побледневшем лице его ни малейшего гнева; напротив, он был

---

[1] Письмо это я почти помню наизусть. Вероятно, оно и теперь существует в старых бумагах одного из моих братьев. Очевидно, что некоторые выражения письма заимствованы из тогдашних романов, до которых Алексей Степаныч был охотник.

спокойнее, чем поутру, даже веселее, и кушал очень аппетитно. Скрепя сердце Арина Васильевна должна была подлаживаться к его речам и, не смея не только спрашивать, но даже и вздыхать, напрасно старалась разгадать мысли своего супруга; напрасно устремляла вопрошающие взгляды маленьких своих каштановых глазок, заплывших жиром, — темноголубые, открытые и веселые глаза Степана Михайловича ничего не отвечали. После обеда он уснул, по обыкновению; проснувшись, сделался еще веселее, но о письме и о сыне ни полслова. Все, однако, видели, что на уме у старика ничего недоброго не было. Прощаясь с супругом после ужина, Арина Васильевна осмелилась спросить: «Не изволишь ли сказать мне чего-нибудь об Алеше?» Дедушка улыбнулся и отвечал: «Я уже сказал тебе: утро вечера мудренее. Почивай с богом».

Утро в самом деле оказалось и мудро и благодатно. Дедушка встал в четыре часа. Мазан вздул ему огня. Первыми словами Степана Михайловича были: «Танайченок, ты сейчас едешь в Уфу с письмом к Алексею Степанычу; соберись в одну минуту; да чтобы никто не знал, куда и зачем едешь! В корень молодого Бурого, а на пристяжку Свистуна. Возьми овса две осьмины и каравай хлеба. Спроси у ключника Петра два рубля медных денег на дорогу. Как я напишу письмо, чтобы все было готово. Сказано — сделано». Эта поговорка исполнялась у дедушки без отговорок. Он отпер дубовую шкатулку, или шкаф, нечто вроде письменного бюро, достал бумаги, перо, чернильницу и написал, не без труда (потому что лет уже десять подписывал только свое имя), тяжелым старинным почерком: «Любезный сын наш Алексей! Мы с матерью твоей Ариной Васильевной позволяем тебе жениться на Софье Николавне Зубиной, если на то будет воля божия, и посылаем тебе наше родительское благословение. Отец твой Степан Багров».

Через полчаса, еще задолго до свету, вытянул Танайченок длинную гору мимо господского гумна и ехал бойкой рысью по дороге в Уфу. В пять часов приказал Степан Михайлович подавать самовар той же Аксютке, которая из молодой и некрасивой девчонки сделалась уже очень немолодой и еще более некрасивой девкой; но

будить никого не приказал. Несмотря на то, старую барыню разбудили и по секрету донесли, что уже давным-давно уехал куда-то Танайченок с письмом от барина на паре господских лошадей. Арина Васильевна не осмелилась вдруг прийти к своему супругу; она помешкала с час времени и явилась, когда уже старик напился чаю и весело балагурил с Аксиньей. «Ну зачем тебя разбудили? — приветливо сказал Степан Михайлыч, протягивая руку. — Ведь ты, чай, плохо спала?» — «Меня никто не будил, — отвечала Арина Васильевна, почтительно целуя руку старика, — я сама проснулась. Я спала ночь хорошо в надежде на твою милость к бедному нашему Алеше». Дедушка пристально посмотрел на нее, но ничего не увидел на привыкшем к притворству лице. «А коли так, то я тебя порадую: я послал нарочного гонца в Уфу и написал Алексею от обоих нас позволение жениться на Софье Николавне».

Арина Васильевна, — несмотря на то, что, приведенная в ужас страшным намерением сына, искренне молила и просила своего крутого супруга позволить жениться Алексею Степанычу,—была не столько обрадована, сколько испугана решением Степана Михайловича, или лучше сказать, она бы и обрадовалась, да не смела радоваться, потому что боялась своих дочерей; она уже знала, что думает о письме Лизавета Степановна, и угадывала, что скажет Александра Степановна. По всем этим причинам Арина Васильевна приняла решение своего супруга, которым он надеялся ее обрадовать, как-то холодновато и странно, что старик заметил. Лизавета Степановна не изъявила ни малейшего удовольствия, а только одну почтительную покорность воле отца; Танюша, верившая письму брата искренне, обрадовалась от всего сердца. Лизавета Степановна даже и в первую минуту не была встревожена намерением брата; она плакала и просила за него только потому, что мать и меньшая сестра плакали и просили: нельзя же было ей так ярко рознить с ними. Она выписала немедленно Александру Степановну, которая пришла в бешенство, узнав о решении дела, и сейчас прискакала; разумеется, она сочла письмо братца за пустую угрозу, за штуку Софьи Николавны. С помощью Лизаветы Степановны она скоро уверила в этом мать и даже

меньшую сестру Танюшу. Но дело было кончено: явно восставать против него не представлялось уже никакой возможности. Мыслей же Степана Михайлыча, будто Софья Николавна сама не пойдет за Алексея Степаныча, никто из семьи не разделял.

Оставим Багрово и посмотрим, что делается в Уфе. Я не беру на себя решить положительно, имел ли Алексей Степаныч твердое намерение застрелиться в случае отказа своих родителей, или, прочитав в каком-нибудь романе подобное происшествие, вздумал попробовать, не испугаются ли его родители такого страшного последствия своей непреклонности? Судя по дальнейшему развитию характера Алексея Степаныча, мне хорошо известному, я равно не могу признать его способным ни к тому, ни к другому поступку. Итак, я предполагаю только, что молодой человек не хитрил, не думал пугнуть своих стариков, напротив, искренне думал застрелиться, если ему не позволят жениться на Софье Николавне; но в то же время я думаю, что он никогда не имел бы духу привесть в исполнение такого отчаянного намерения, хотя люди тихие и кроткие, слабодушные, как их называют, бывают иногда способны к отчаянным поступкам более, чем натуры живые и бешеные. Мысль о самоубийстве, без сомнения, была почерпнута из какого-нибудь романа: она совершенно противоречит характеру Алексея Степаныча, его взгляду на жизнь и сфере понятий, в которых он родился, воспитался и жил. Как бы то ни было, пустив в ход свою грамотку, Алексей Степаныч пришел в сильное волнение, занемог и получил лихорадку. Покровительница его Алакаева, знавшая все, — о последнем письме ничего не знала; она навещала его ежедневно и замечала, что, кроме лихорадки простой и лихорадки любовной, молодой человек еще чем-то необыкновенно встревожен. В один день сидела она у Алексея Степаныча, вязала чулок и разговаривала о всякой всячине, стараясь занять больного и отвлечь его мысли от безнадежной любви. Алексей Степаныч прилег на канапе, заложил руки за голову и смотрел в окошко. Вдруг он побледнел как полотно: по улице проехала телега парой и заворотила на двор; Алексей Степаныч узнал лошадей и Танайченка. Он вскочил на ноги и с криком: «От

батюшки, из Багрова» — бросился в переднюю. Алакаева схватила его за руки и с помощью сидевшего в лакейской человека не допустила его выбежать на крыльцо, потому что на дворе стояла мокрая и холодная осенняя погода. Между тем Танайченок проворно вбежал в комнату и подал письмо. Алексей Степаныч дрожащими руками распечатал, прочел коротенькое письмо, залился слезами и бросился на колени перед образом. Алакаева сначала не знала, что и подумать; но Алексей Степаныч подал ей родительскую грамотку, и она, прочитав ее, также с радостными слезами принялась обнимать обезумевшего от восторга молодого человека. Тут он признался ей, какое письмо послал к отцу и матери. Алакаева покачала головой. Призвали Танайченка, расспросили подробно об его отправке и увидели, что дело было решено собственно самим Степаном Михайлычем, без участия, без ведома своей семьи и, вероятно, против ее желания. Когда прошли первые минуты радостного волнения для Алексея Степаныча и совершенного изумления для Алакаевой, которая перечитав снова письмо, все еще не верила глазам своим, потому что хорошо знала нрав Степана Михайлыча и хорошо понимала недоброжелательство семьи, — начали они совещаться, как приступить к делу. Когда оно казалось далеким, невозможным со стороны семейства жениха, тогда они считали его благонадежным со стороны невесты; но тут вдруг напало на Алакаеву сомнение: припомнив и сообразив все благоприятные признаки, она почувствовала, что, может быть, слишком перетолковала их в пользу жениха. Как умная женщина, она поспешила охладить пылкие надежды молодого человека, благоразумно рассуждая, что, обольстившись ими, труднее ему будет перенесть внезапное разрушение радужных своих мечтаний; отказ вдруг представился ей очень возможным, и ее опасения навели страх на Алексея Степаныча. Впрочем, Алакаева нисколько не отступилась от своего обещания и на другой же день поехала с предложением к Софье Николавне. Она просто, ясно, без всякого преувеличенья, описала постоянную и горячую любовь Алексея Степаныча, давно известную всему городу (конечно, и Софье Николавне); с родственным участием говорила о пре-

красном характере, доброте и редкой скромности жениха; справедливо и точно рассказала про его настоящее и будущее состояние; рассказала правду про все его семейство и не забыла прибавить, что вчера Алексей Степаныч получил чрез письмо полное согласие и благословение родителей искать руки достойнейшей и всеми уважаемой Софьи Николавны; что сам он от волнения, ожидая ответа родителей и несказанной любви занемог лихорадкой, но, не имея сил откладывать решение своей судьбы, просил ее, как родственницу и знакомую с Софьей Николавной даму, узнать: угодно ли, не противно ли будет ей, чтобы Алексей Степаныч сделал формальное предложение Николаю Федоровичу. Софья Николавна, давно привыкшая, как говорилось в старину, «сама обивать около себя росу», или к самобытности, как говорится теперь, — без смущения, без всяких церемоний и девичьих оговорок и жеманств, тогда неизбежных, отвечала Алакаевой следующее: «Благодарю Алексея Степаныча за честь, мне сделанную, а вас, почтеннейшая Мавра Павловна, за участие. Скажу вам откровенно: я давно заметила, что Алексей Степаныч ко мне неравнодушен, и давно ожидала, что он сделает мне предложение, не решая, впрочем, вопроса, пойду ли я за него, или нет. Последняя поездка Алексея Степаныча к отцу и к матери, его внезапная, как сами вы мне сказывали, опасная продолжительная болезнь в деревне и перемена, когда он воротился, показали мне, что родители его не желают иметь меня невесткой. Признаюсь, я этого не ожидала; скорее можно было опасаться несогласия со стороны моего отца. Потом я увидела, что Алексей Степаныч возвратился к прежним чувствам, и теперь догадываюсь, что он успел склонить отца и мать к согласию. Но рассудите сами, почтеннейшая Мавра Павловна, что теперь это дело принимает совсем другой вид: входить в семейство против его желания — риск слишком опасный. Конечно, отец мой не стал бы противиться моему выбору, но могу ли я решиться его обмануть? Узнав же, что его Сонечку какой-то деревенский помещик не вдруг удостоил чести войти в его семейство, — он ни за что не согласится и сочтет это унижением. Я не влюблена в Алексея Степаныча, я только уважаю его прекрасные свойства, его постоянную

любовь и считаю, что он может составить счастие любимой женщины. Итак, позвольте мне подумать и притом, прежде чем я скажу об этом моему больному отцу, прежде чем встревожу его таким известием, я хочу сама говорить с Алексеем Степанычем: пусть он приедет к нам, когда выздоровеет».

Алакаева с точностью передала ответ жениху; ему показался он не предвещающим добра, но Алакаева, напротив, находила его весьма благоприятным и успокоила Алексея Степаныча.

Долго сидела Софья Николавна одна в гостиной, простившись очень дружески с Маврой Павловной, и думала крепкую думу. Омрачились ее живые и блестящие глаза, тяжелые мысли пробегали по душе и отражались, как в зеркале, на ее прекрасном лице. Все, что она сказала Алакаевой, была совершенная правда, и вопрос идти или нет за Алексея Степаныча — точно оставался не решенным. Наконец, предположение сватовства обратилось в действительность, и надо было решить этот великий, роковой вопрос для всякой девушки. Необыкновенно ясная голова Софьи Николавны, еще не омраченная страстностью ее натуры, тогда ничем глубоко не возмущаемой, все понимала и все видела в настоящем виде, в настоящем свете. Положение ее в будущем было безотрадно: отец лежал на смертном одре и, по словам лучшего доктора Зандена [1], не мог прожить более года; все состояние старика заключалось в двух подгородных деревушках: Зубовке и Касимовке, всего сорок душ с небольшим количеством земли; наличных денег у Николая Федоровича было накоплено до десяти тысяч рублей, и он назначал их на приданое своей Сонечке. Выдать ее замуж было постоянным, горячим его желанием; но — бывают же такие чудеса: Софья Николавна не имела еще ни одного жениха, то есть не получила ни одного формального предложения. По смерти старика должны остаться шестеро сводных детей от двух браков; должны были учредиться две опеки, и последние трое детей от Александры Петровны поступали к родной бабушке, Е. Д. Рычковой,

---

[1] Федор Иванович Занден, доктор весьма ученый, бывший впоследствии штадт-физиком в Москве.

под опеку сына ее, В. П. Рычкова. Материнское имение их заключалось также в небольшой деревеньке душ в пятьдесят; братья Софьи Николавны от одной матери находились в Москве, в университетском благородном пансионе, и она оставалась совершенно одна, даже не было дальних сродников, у которых могла бы она жить. Одним словом, некуда было приклонить голову! Нужда, бедность, жизнь из милости в чужих людях, полная зависимость от чужих людей — тяжелы всякому; но для девушки, стоявшей в обществе так высоко, жившей в таком довольстве, гордой по природе, избалованной общим искательством и ласкательством, для девушки, которая испытала всю страшную тяжесть зависимости и потом всю прелесть власти, — такой переход должен был казаться невыносимым. И вот молодой, честный, скромный, пригожий собою мужчина, старинного дворянского рода, единственный сын, у отца которого было сто восемьдесят душ, который должен был получить богатое наследство от тетки, который любит, боготворит ее, — предлагает ей руку и сердце: с первого взгляда тут нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишком велико. Никто в городе не мог подумать, чтоб Софья Николавна вышла за Алексея Степаныча. Она очень хорошо понимала справедливость общественного мнения и не могла не уважать его. Невеста — чудо красоты и ума, жених, правда, белый, розовый, нежный (что именно не нравилось Софье Николавне), но простенький, недальный, по мнению всех, деревенский дворянчик; невеста — бойка, жива, жених — робок и вял; невеста — по-тогдашнему, образованная, чуть не ученая девица, начитанная, понимавшая все высшие интересы, жених — совершенный невежда, ничего не читавший, кроме двух-трех глупейших романов, вроде Любовного вертограда или Аристея и Телазии да Русского песенника, жених, интересы которого не простирались далее ловли перепелов на дудки и соколиной охоты; невеста — остроумна, ловка, блистательна в светском обществе, жених — не умеет сказать двух слов, неловок, застенчив, смешон, жалок, умеет только краснеть, кланяться и жаться в угол или к дверям, подалее от светских говорунов, которых просто боялся, хотя поистине многих из них был

гораздо умнее; невеста — с твердым, надменным, неуступчивым характером, жених — слабый, смирный, безответный, которого всякий мог загонять. Ему ли поддержать, защитить жену в обществе и семействе?.. Такие противоположные мысли, взгляды и картины роились, мешались, теснились в воображении молодой девушки. Давно наступили сумерки, она все еще сидела одна в гостиной; наконец, невыразимое смятение тоски, страшное сознание, что ум ничего придумать и решить не может, что для него становится все час от часу темнее — обратили ее душу к молитве. Она побежала в свою комнату молиться и просить света разума свыше, бросилась на колени перед образом Смоленской божьей матери, некогда чудным знамением озарившей и указавшей ей путь жизни; она молилась долго, плакала горючими слезами и мало-помалу почувствовала какое-то облегчение, какую-то силу, способность к решимости; хотя не знала еще, на что она решится, это чувство было уже отрадно ей. Она сходила посмотреть на заснувшего больного своего отца, воротилась в свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день поутру Софья Николавна проснулась без всякого волнения; она подумала несколько минут, бросила взгляд на вчерашние свои колебания и смущения и спокойно осталась при своем намерении: поговорить сначала с женихом и потом уже решить дело окончательно, смотря по тому впечатлению, какое произведет на нее разговор с Алексеем Степанычем.

Алексей Степаныч, желая как можно скорее узнать решение судьбы своей, призвал доктора и умолял вылечить его поскорее. Доктор обещал и на этот раз сдержал обещание. Через неделю Алексей Степаныч, правду сказать, худой, бледный и слабый, сидел уже в гостиной у Софьи Николавны. Взглянув на тощую фигуру молодого человека, прежде цветущего румянцем здоровья, она почувствовала жалость и многое сказала не так резко, не так строго, как хотела. В сущности невеста сказала жениху все то же, что говорила Алакаевой, но прибавила, что она, во-первых, не расстанется с отцом, пока он жив, а во-вторых, что она не будет жить в деревне, а желает жить в губернском городе, именно в Уфе, где имеет много знакомых, достойных и образованных

людей, в обществе которых должна жить с мужем. В заключение она прибавила, что очень бы желала, чтоб ее муж служил и занимал в городе хотя не блестящее, но благородное и почетное место. На все такие предварительные условия и предъявления будущих прав жены Алексей Степаныч отвечал с подобострастием, что «все желания Софьи Николавны для него закон и что его счастие будет состоять в исполнении ее воли...», и этот ответ, недостойный мужчины, верный признак, что на любовь такого человека нельзя положиться, что он не может составить счастия женщины, — мог понравиться такой умной девушке. Поневоле должно признать, что в основании ее характера уже лежали семена властолюбия и что в настоящее время, освобожденные из-под тяжкого гнета жестокой мачехи, они дали сильные ростки, что без ведома самой Софьи Николавны — любовь к власти была тайною причиною ее решимости. Софья Николавна захотела сама прочесть письмо, в котором Алексей Степаныч получил позволение своих родителей искать ее руки. Письмо было в кармане у жениха, и он показал его. Софья Николавна прочла и убедилась, что ее догадки о первоначальном несогласии родителей были совершенно справедливы. Молодой человек не умел притворяться и притом так был влюблен, что не мог противиться ласковому взгляду или слову обожаемой красавицы; когда Софья Николавна потребовала полной откровенности, он высказал ей всю подноготную без утайки, и, кажется, эта откровенность окончательно решила дело в его пользу. Мысль воспитать по-своему, образовать добродушного молодого человека, скромного, чистосердечного, неиспорченного светом — забралась в умную, но все-таки женскую голову Софьи Николавны. Ей представилась пленительная картина постепенного пробуждения и воспитания дикаря, у которого не было недостатка ни в уме, ни в чувствах, погруженных в непробудный сон, который будет еще более любить ее, если это возможно, в благодарность за свое образование. Эта мысль овладела пылким воображением Софьи Николавны, и она очень милостиво отпустила своего хворого обожателя; обещала поговорить с отцом и передать ответ через Алакаеву. Алексей Степаныч утопал в восторге, по-тогдашнему

выражению. Вечером Софья Николавна опять прибегла к молитве; опять молилась долго, восторженно, напряженно; она заснула очень утомленная и ночью видела сон, который растолковала, как следует, в подтверждение своего решения. Ум человеческий все растолкует так, как ему хочется. Я забыл этот сон, но помню, что его можно было растолковать в противоположную сторону с гораздо большим основанием и гораздо меньшими натяжками. На следующее утро Софья Николавна немедленно сообщила своему почти умирающему отцу о предложении Алексея Степаныча. Хотя Николай Федорыч почти не знал жениха, но у старика как-то составилось понятие о нем как о человеке самом ничтожном. При всем пламенном желании пристроить Сонечку при своей жизни, этот жених (первый, надобно заметить) ему не нравился. Но Софья Николавна с обыкновенною пылкостью своего ума и убедительным красноречием доказала старику, что не должно пропускать такой партии. Она высказала ему все, что мы уже знаем, в пользу этого брака и главное, что не только не разлучится с ним, но и останется жить в одном доме. Она так живо представила свое беспомощное, бесприютное состояние, когда богу будет угодно оставить ее сиротой, что Николай Федорыч прослезился и сказал: «Друг мой, умница моя Сонечка! делай, что тебе угодно: я на все согласен. Представь же мне поскорей своего будущего жениха; я хочу познакомиться с ним поближе и также хочу непременно, чтоб его родители сделали нам письменное предложение».

Софья Николавна написала записку Алакаевой и просила передать Алексею Степанычу, что Николай Федорыч приглашает его к себе в таком-то часу.

Алексей Степаныч продолжал утопать в блаженстве, разделяя его только с покровительницей своей Маврой Павловной; но приглашение к Николаю Федорычу в назначенный час, приглашение, которого он никак не ожидал, считая старика слишком больным и слабым, очень его смутило. Николай Федорыч, за отсутствием наместника, первое лицо, первая власть в целом Уфимском крае, Николай Федорыч, к которому он и прежде приближался с благоговением — теперь казался ему чем-то особенно страшным. Ну, если ему не понравилось на-

мерение чиновника Верхнего земского суда тринадцатого класса жениться на его дочке? Если он сочтет дерзостью такое предложение да крикнет: «Как ты осмелился подумать о моей дочери? По тебе ли она невеста? Посадить его под караул, отдать под суд...» Как ни дики кажутся такие мысли, но они действительно пришли тогда в голову молодому человеку, о чем он сам рассказывал впоследствии.

Собравшись с духом, ободряемый словами Алакаевой, Алексей Степаныч напялил мундир, или, вернее сказать, надел его на себя, как на вешалку, потому что очень похудел, и отправился к товарищу наместника. С треугольной шляпой подмышкой, придерживая дрожащей рукой непослушную шпагу, вошел он, едва переводя дух от робости, в кабинет больного старика, некогда умного, живого и бодрого, но теперь почти недвижимого, иссохшего, как скелет, лежащего уже на смертной постели. Алексей Степаныч отвесил низкий поклон и стал у дверного косяка. Уже один этот прием заставил поморщиться больного хозяина. «Подойдите ко мне поближе, господин Багров, сядьте возле моей постели. Я слаб, не могу говорить громко». Алексей Степаныч со многими поклонами присел на кресло, стоявшее у самой кровати. «Вы ищете руки моей дочери», — продолжал старик... Жених вскочил с кресел, поклонился и сказал, что точно так, что он осмеливается искать этого счастия... Я мог бы передать весь разговор подробно, потому что много раз слышал, как пересказывал его из слова в слово Алексей Степаныч; но в нем отчасти есть повторение того, что мы уже знаем, и я боюсь наскучить читателям. Сущность дела состояла в том, что Николай Федорыч расспросил молодого человека об его семействе, об его состоянии, об его намерениях относительно службы и места постоянного жительства; сказал ему, что Софья Николавна ничего не имеет, кроме приданого в десять тысяч рублей, двух семей людей и трех тысяч наличных денег для первоначального обзаведения; в заключение он прибавил, что хотя совершенно уверен, что Алексей Степаныч, как почтительный сын, без согласия отца и матери не сделал бы предложения, но что родители его могли передумать и что приличие требует, чтобы они сами написали об

этом прямо к нему, и что до получения такого письма он не может дать решительного ответа. Алексей Степаныч привставал, кланялся, садился, во всем соглашался и обещал завтра же написать к отцу и к матери. Через полчаса старик сказал, что устал (это была совершенная правда), и отпустил молодого человека довольно сухо. По выходе его Софья Николавна в ту же минуту вошла в кабинет к отцу: он лежал с закрытыми глазами, лицо его выражало утомление и вместе душевное страдание. Услыхав приближение дочери, он бросил на нее умоляющий взгляд, сжал руки на груди и воскликнул: «Сонечка, неужели ты пойдешь за него?» — Софья Николавна знала наперед, какое действие произведет это свидание, и приготовилась даже к худшему впечатлению. «Я предупреждала вас, батюшка, — сказала она тихо, кротко, но с твердостию, — что по совершенному незнанию светского обращения, по неловкости и робости, Алексей Степаныч с первого раза должен показаться вам дурачком, но я виделась с ним много раз, говорила долго, узнала его коротко и ручаюсь вам, что он никого не глупее, а многих гораздо умнее. Я прошу вас поговорить с ним еще раза два и уверена, что вы согласитесь со мною». Старик долго, пристально, проницательно посмотрел на свою дочь, как будто хотел прочесть что-то сокровенное в ее душе, глубоко вздохнул и согласился вызвать к себе на днях и поговорить побольше с молодым человеком.

Алексей Степаныч с первою почтою написал самое нежное, самое почтительное письмо к своим родителям. Он благодарил их за то, что они вновь даровали ему жизнь, и униженно просил, чтобы они написали поскорее письмо к Николаю Федорычу Зубину и просили у него руки его дочери для своего сына, прибавляя, что это всегда так водится и что Николай Федорыч без их письма не дает решительного ответа. Исполнение просьбы столь обыкновенной затруднило стариков: они были не сочинители, в подобных оказиях не бывали и не умели приступить к делу; осрамиться же в глазах товарища наместника и будущего свата, верно ученого дельца и писаки, — крепко им не хотелось. Целую неделю сочиняли письмо; наконец, кое-как написали и послали его к Алексею Степанычу. Письмо точно было написано не-

ловко, без всяких вежливостей и любезностей, необходимых в подобных обстоятельствах.

Покуда Алексей Степаныч дожидался ответа из деревни, Николай Федорыч пригласил его к себе еще два раза. Второе посещение не поправило невыгодного впечатления, произведенного первым; но при третьем свидании присутствовала Софья Николавна, которая, как будто не зная, что жених сидит у отца, вошла к нему в кабинет, неожиданно воротясь из гостей ранее обыкновенного. Ее присутствие все переменило; она умела заставить говорить Алексея Степаныча, знала, о чем он может говорить и в чем может выказаться с выгодной стороны его природный, здравый смысл, чистота нравов, честность и мягкая доброта. Николай Федорыч, видимо, был доволен, обласкал молодого человека и пригласил его приезжать, как можно чаще. Когда Алексей Степаныч ушел, старик обнял свою Сонечку со слезами и, осыпая ее ласковыми и нежными именами, назвал между прочим чародейкой, которая силою волшебства умеет вызывать из души человеческой прекрасные ее качества, так глубоко скрытые, что никто и не подозревал их существования. Софья Николавна была также очень довольна, потому что и сама не смела надеяться, чтоб Алексей Степаныч мог так хорошо поддержать ее доброе мнение и оправдать выгодные о нем отзывы.

Наконец, письмо с формальным предложением стариков было получено, и Алексей Степаныч лично вручил его Николаю Федорычу. Увы! без волшебного присутствия и помощи Софьи Николавны жених опять попрежнему не понравился будущему тестю, да и письмом остался он очень недоволен. На следующий день он имел продолжительный разговор с своею дочерью, в котором представил ей все невыгоды иметь мужа ниже себя по уму, по образованию и характеру; он сказал, что мужнино семейство не полюбит ее, даже возненавидит, как грубое и злое невежество всегда ненавидит образованность; он предостерегал, чтобы она не полагалась на обещания жениха, которые обыкновенно редко исполняются и которых Алексей Степаныч не в силах будет исполнить, хотя бы и желал. На такие справедливые замечания и советы, почерпнутые прямо из жизни, Софья

Николавна умела возражать с удивительной ловкостью и в то же время умела так убедительно и живо представить хорошую сторону замужства с человеком хотя небойким и необразованным, но добрым, честным, любящим и неглупым, что Николай Федорыч был увлечен ее пленительными надеждами и дал полное согласие. Софья Николавна с горячностью обняла отца, целовала его иссохшие руки, подала ему образ, стала на колени у кровати и, проливая ручьи горячих слез, приняла его благословение. «Батюшка!— воскликнула с увлечением восторженная девушка,—я надеюсь, с божиею помощью, что чрез год вы не узнаете Алексея Степаныча. Чтение хороших книг, общество умных людей, беспрестанные разговоры со мною вознаградят недостаток воспитания; застенчивость пройдет, и уменье держать себя в свете придет само собою». — «Дай бог, — отвечал старик. — Пошли за священником, я хочу помолиться о твоем счастье вместе с тобою».

В тот же день вечером пригласили Алакаеву с женихом, старинных зубинских знакомых, Аничкова и Мисайловых, и дали Алексею Степанычу слово. Нет выражений для описания блаженства молодого человека! Софья Николавна до глубокой старости вспоминала об этих счастливых для него минутах. Алексей Степаныч бросился в ноги Николаю Федорычу, целовал его руки, плакал, рыдал, как дитя, едва не упал в обморок от избытка счастия, которое до последней минуты казалось ему недоступным. Невеста сама была глубоко тронута таким искренним выражением пламенной, безграничной любви.

Чрез два дня назначили официальную помолвку и пригласили весь город. Город был удивлен, потому что многие не верили слухам, будто Софья Николавна Зубина идет за Алексея Степаныча Багрова. Наконец, все поверили и съехались; поздравляли, желали всякого благополучия и всех возможных благ. Жених был радостен и светел; он не замечал никаких двусмысленностей в поздравлениях, никаких насмешливых улыбок и взглядов; но Софья Николавна все видела, все заметила, все слышала и понимала, хотя, говоря с нею, были все осторожны и почтительны. Она знала наперед, как встретит общество ее поступок, но внутренно не могла не огорчаться выражением мнения этого общества, чего, ко-

нечно, никто не заметил. Она была весела, ласкова со всеми, особенно с женихом, и казалась совершенно счастливою и довольною своим выбором. Вскоре жениха с невестою пригласили в кабинет к Николаю Федорычу и обручили там при немногих свидетелях. Старик плакал во все время, когда священник читал молитвы. По окончании обряда приказал жениху с невестою поцеловаться, обнял их горячо и сильно, сколько мог, и, поглядев пристально в лицо Алексею Степанычу, сказал: «Люби ее и всегда так, как любишь теперь. Бог дает тебе такое сокровище...» Он не мог договорить. Обрученные жених и невеста вышли опять к гостям, в сопровождении присутствовавших при обручении. Все мужчины обнимали жениха и целовали руку у невесты; все дамы обнимали невесту, и у всех перецеловал ручки жених. Наконец, когда кончилась эта суматоха, обрученных посадили рядом на диван, упросили вновь поцеловаться и с бокалами в руках осыпали их вторичными поздравлениями и добрыми желаниями. Между мужчинами хозяйничал С. И. Аничков, а между дамами — Алакаева. Алексей Степаныч с роду не пивал ничего, кроме воды, но его уговорили выпить бокал какого-то вина, которое сильно подействовало на его непривычный организм, расстроенный недавнею болезнию и постоянным волнением души. Он сделался необыкновенно жив, смеялся, плакал и много наговорил для потехи общества и для огорчения невесты. Гости развеселились. За одним бокалом последовал другой, за другим третий; подали богатую закуску; все плотно покушали, еще выпили и разъехались шумно и весело. У жениха закружилась и заболела голова, и Алакаева увезла его домой.

Николай Федорыч чувствовал себя очень плохо и хотел как можно скорей сыграть свадьбу; но как в то же время он желал, чтоб приданое было устроено богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу на несколько месяцев. Старинные материнские брильянты и жемчуги надобно было переделать и перенизать по новому фасону в Москве и оттуда же выписать серебро и некоторые наряды и подарки; остальные же платья, занавес парадной кровати и даже богатый чернобурый салоп, мех которого давно уже был куплен за пятьсот

рублей и которого теперь не купишь за пять тысяч, — все это было сшито в Казани; столового белья и голландских полотен было запасено много. Десять тысяч, назначенные на приданое, составляли тогда большую сумму, а как много дорогого было припасено заранее, то роспись приданого выходила так роскошна и великолепна, что, читая ее теперь, трудно поверить дешевизне восьмидесятых годов прошедшего столетия.

Первым делом, после обручения и помолвки, были рекомендательные письма ко всем родным жениха и невесты. Софья Николавна, владевшая, между прочим, особенным дарованием писать красноречиво, написала такое письмо к будущему свекру и свекрови, что Степан Михайлыч хотя был не сочинитель и не писака, но весьма оценил письмо будущей своей невестки. Выслушав его с большим вниманием, он взял его из рук Танюши и, с удовольствием заметив четкость руки невесты, сам прочел письмо два раза и сказал: «Ну, умница и, должно быть, горячая душа!» Вся семья злилась и молчала; одна Александра Степановна не вытерпела и, сверкая круглыми, выкатившимися от бешенства зрачками, сказала: «Что и говорить, батюшка, книжница; мягко стелет, да каково-то будет спать!» Но старик грозно взглянул на нее и зловещим голосом сказал: «А почем ты знаешь? Ничего не видя, уж ты коришь! Смотри! держи язык за зубами и других у меня не мути». После таких слов все пришипились и, разумеется, еще более возненавидели Софью Николавну. Степан Михайлыч под влиянием теплого и ласкового письма взял сам перо в руки и, вопреки всяким церемониям, написал следующее:

«Милая моя, дорогая и разумная, будущая невестушка.

Если ты нас, стариков, так заочно полюбила и уважаешь, то и мы тебя полюбили; а при свиданье, бог даст, и еще больше полюбим, и будешь ты нам, как родная дочь, и будем мы радоваться счастию нашего сына Алексея».

Софья Николавна также по достоинству оценила простую речь старика; она уже прежде, по одним рассказам, полюбила его заочно. Родных у невесты не было, и писать ее жениху было не к кому. Но она захотела,

чтоб Алексей Степаныч написал рекомендательное письмо к ее заочному другу и покровителю ее братьев, А. Ф. Аничкову; разумеется, жених с радостью согласился исполнить ее желание. Софья Николавна не слишком надеялась на уменье Алексея Степаныча объясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть на письмо. Боже мой, что прочла она в этом письме! Алексей Степаныч, много наслышавшись об Аничкове, вздумал написать витиевато, позаимствовался из какого-нибудь тогдашнего романа и написал две страницы таких фраз, от которых, при других обстоятельствах, Софья Николавна расхохоталась бы, но теперь... кровь бросилась ей в голову, и потом слезы хлынули из глаз. Успокоившись, она сначала не знала, как ей быть, как выйти из этого затруднительного положения? Впрочем, она думала недолго, написала черновое письмо от жениха к Аничкову и сказала Алексею Степанычу, что по непривычке к переписке с незнакомыми людьми он написал такое письмо, которое могло бы не понравиться Аничкову, и потому она написала черновое и просит его переписать и послать по адресу. Ей было совестно, и больно, и оскорбительно за своего жениха, голос ее слегка дрожал, и она едва владела собою; но жених чрезвычайно обрадовался такому предложению; выслушав письмо, восхищался им, удивлялся сочинительнице и покрывал поцелуями ее руки. Тяжел был первый шаг к неуважению будущего своего супруга и к осуществлению мысли повелевать им по произволу...

Зная, что у стариков мало денег и что они поневоле скупы на них, Алексей Степаныч написал просительное письмо к своим родителям с самым умеренным требованием денег и для подкрепления своих слов упросил Алакаеву, чтобы она написала к Степану Михайлычу и удостоверила в справедливой просьбе сына и в необходимости издержек для предназначенной свадьбы; он просил всего восемьсот рублей, но Алакаева требовала тысячу пятьсот рублей. Старики отвечали сыну, что у них таких денег нет и что они посылают ему последние триста рублей; а пятьсот рублей, если они уж необходимы, предоставляли ему у кого-нибудь занять, но прибавляли, что пришлют ему четверку лошадей, кучера,

форейтора, повара и всяких съестных припасов. На Алакаеву же старики рассердились за требование такой огромной суммы и не отвечали ей. Делать было нечего; Алексей Степаныч поблагодарил за милости своих родителей и занял пятьсот рублей; но как этих денег недостало, то Алакаева дала ему еще своих пятьсот рублей тайно от его стариков.

Между тем свидания жениха с невестой становились чаще, продолжительнее, а разговоры откровеннее. Тут только увидела Софья Николавна, как много будет ей работы в будущем; тут только она вполне разглядела своего жениха! Она не ошиблась в том, что он имел от природы хороший ум, предоброе сердце и строгие правила честности и служебного бескорыстия, но зато во всем другом нашла она такую ограниченность понятий, такую мелочность интересов, такое отсутствие самолюбия и самостоятельности, что неробкая душа ее и твердость в исполнении дела, на которое она уже решилась,— не один раз сильно колебались; не один раз приходила она в отчаяние, снимала с руки обручальное кольцо, клала его перед образом Смоленския божия матери и долго молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просветить ее слабый ум. Так поступала она, что мы уже знаем, во всех трудных обстоятельствах своей жизни. После молитвы Софья Николавна чувствовала себя как-то бодрее и спокойнее, принимала это чувство за указание свыше, надевала обручальное кольцо и выходила в гостиную к своему жениху спокойная и веселая. Больной ее отец чувствовал себя час от часу хуже и слабее; дочь умела его уверить, что она с каждым днем открывает новые достоинства в своем женихе, что она совершенно довольна и надеется быть счастливою замужем. Тяжкий недуг уже омрачал ясность взгляда Николая Федорыча; он не только верил искренности своей дочери, но и сам убеждался, что его Сонечка будет счастлива, и часто говорил: «Слава богу, теперь мне легко умереть».

Приближалось время свадьбы. Все приданое было готово. Жених также приготовился благодаря советам Алакаевой, которая совершенно взяла его в руки. Умная старуха сама не подозревала, до какой степени Алексей

Степаныч не знал и не понимал приличий в общественной жизни. Без нее он наделал бы таких промахов, от которых невеста не один раз сгорела бы со стыда. Например, он хотел подарить ей в день именин такой материи на платье, какую можно было подарить только ее горничной; он думал ехать к венцу в какой-то старинной повозке на пазах, которая возбудила бы смех в целом городе, и пр. и пр. Оно в сущности ничего не значит, но видеть своего жениха посмешищем уфимского модного света было бы слишком тяжело для Софьи Николавны. Разумеется, все это было поправлено Алакаевой, или, лучше сказать, самой невестой, потому что старуха обо всем советовалась с нею. Софья Николавна заранее объявила жениху, чтоб он и не думал дарить ее в именины, потому что она терпеть не может именинных подарков. Для свадьбы же приказала купить аглицкую новенькую карету, только что привезенную из Петербурга одним уфимским помещиком Мурзахановым, успевшим промотаться и проиграться в несколько месяцев. За карету было заплачено триста пятьдесят рублей ассигнациями. Софья Николавна отдала за нее свои деньги и прислала в подарок жениху от имени своего отца, запретив ему беспокоить своей благодарностью умирающего старика. Так улаживались и другие затруднения. Алексей Степаныч и Софья Николавна написали от себя и от имени Николая Федорыча письма к Степану Михайлычу и Арине Васильевне, убедительно прося их осчастливить своим приездом на свадьбу. Зажившиеся в деревне и одичавшие старики, разумеется, не поехали: город и городское общество представлялись им чем-то чуждым и страшным. Из дочерей также никто не хотел ехать, но Степану Михайлычу показалось это неловким, и он приказал отправиться на свадьбу Елизавете и Александре Степановнам. Ерлыкин находился на службе в Оренбурге, а Иван Петрович Каратаев сопровождал свою супругу в Уфу. Прибытие этих незваных и неожиданных гостей наделало много огорчений Софье Николавне. Будущие ее золовки, от природы очень умные и хитрые, расположенные враждебно, держали себя с нею холодно, неприязненно и даже неучтиво. Хотя Софья Николавна слишком хорошо угадывала, какого располо-

жения можно ей было ждать от сестер своего жениха, тем не менее она сочла за долг быть сначала с ними ласковою и даже предупредительною; но увидя, наконец, что все ее старания напрасны и что чем лучше она была с ними, тем хуже они становились с нею — она отдалилась и держала себя в границах светской холодной учтивости, которая не защитила ее, однако, от этих подлых намеков и обиняков, которых нельзя не понять, которыми нельзя не оскорбляться и которые понимать и которыми оскорбляться в то же время неловко, потому что сейчас скажут: «На воре шапка горит». Отвратительное оружие намеков и обиняков, выгнанное образованностью в общество мещан, горничных и лакеев, было тогда оружием страшным и общеупотребительным в домах деревенских помещиков, по большей части весьма близких с своей прислугой и нравами и образованием. Да еще правду ли я сказал, что оно выгнано? Не живет ли оно и теперь между нас, сокрытое под другими, более приличными, более искусственными формами? Разумеется, всему уфимскому обществу показались сестрицы жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана Петровича, уже довольно обашкирившегося и всегда начинавшего с восьми часов утра тянуть желудочный травник, то он при первой рекомендации чмокнул три раза ручку у Софьи Николавны и с одушевлением истинного башкирца воскликнул: «Ну, какую кралечку подцепил брат Алексей!» Много переглотала Софья Николавна слез от злобных выходок будущих своих золовок и грубых шуток и любезностей будущего свояка. Всего прискорбнее было то, что Алексей Степаныч ничего не примечал и, казалось, был очень доволен обращением своих сестер с Софьей Николавной, и, конечно, это ее не только огорчало в настоящем, но и пугало в будущем. Ядовитые эти змеи, остановясь у брата в доме, с первой же минуты начали вливать свой яд в его простую душу и делали это так искусно, что Алексей Степаныч не подозревал ухищрений. Тысячи намеков на гордость его невесты, на ее нищенство, прикрывающееся золотом и парчою, на его подчиненность воле и прихотям Софьи Николавны беспрестанно раздавались в его ушах; много он не замечал, не понимал, но многое попадало прямо в цель, смущало

его ум и бессознательно заставляло задумываться. Все эти уловки, а иногда и открытые нападения, прикрывались видом участия и родственной любви. «Что это, братец, как ты худ? — говорила Елизавета Степановна.— Ты совсем измучился, исполняя приказания Софьи Николавны. Вот теперь, ты только что воротился из Голубиной Слободки[1], устал, проголодался и, ничего не покушавши, скачешь опять на дежурство к невесте. Ведь мы тебе родные, ведь нам тебя жалко...» И притворные слезы или по крайней мере морганье глазами и утиранье их платком довершали вкрадчивую речь. «Нет, — бешено врывалась в разговор Александра Степановна, — не могу утерпеть. Я знаю, ты осердишься, братец, а может быть, и разлюбишь нас; так, видно, угодно богу, но я скажу тебе всю правду: ты совсем переменился, ты нас стыдишься, ты нас совсем забыл; у тебя только и на уме как бы лизать ручки у Софьи Николавны да как бы не проштрафиться перед нею. Ведь ты сделался ее слугой, крепостным слугой! Каково нам видеть, что уж и эта старая ведьма Алакаева помыкает тобой, как холопом: поезжай туда, то-то привези, об этом-то справься... да приказывает еще все делать проворнее, да еще изволит выговоры давать; а нас и в грош не ставит, ни о чем с нами и посоветоваться не хочет...» Алексей Степаныч не находил слов для возражения и говорил только, что он сестриц своих любит и всегда будет любить и что ему пора ехать к Софье Николавне, после чего брал шляпу и поспешно уходил. «Да, беги, беги поскорее, — кричала ему вслед бешеная Александра Степановна, — а то прогневается да еще ручки не пожалует». Подобные явления повторялись не один раз и, конечно, производили свое впечатление. Софья Николавна не могла не заметить, что приезд сестриц Алексея Степаныча произвел в нем некоторую перемену. Он казался смущенным, не с такою точностью исполнял свои обещания и даже менее проводил с ней время. Софья Николавна очень хорошо понимала настоящую причину; к тому же Алакаева, с которою вошла она в короткие и дружеские отношения

[1] Отдаленная улица в Уфе.

и которая знала все, что делается на квартире у Алексея Степаныча, не оставляла ее снабжать подробными сведениями. Софья Николавна по своей пылкой и страстной природе не любила откладывать дела в долгий ящик. Она справедливо рассуждала, что не должно давать время и свободу укореняться вредному влиянию сестриц, что необходимо открыть глаза ее жениху и сделать решительное испытание его характеру и привязанности, и что, если и то и другое окажется слишком слабым, то лучше разойтись перед венцом, нежели соединить судьбу свою с таким ничтожным существом, которое, по ее собственному выражению, «от солнышка не защита и от дождя не епанча». Рано утром она вызвала к себе жениха, затворилась с ним в гостиной, не приказала никого принимать и обратилась к испуганному и побледневшему Алексею Степанычу с следующими словами: «Послушайте, я хочу объясниться с вами откровенно, сказать вам все, что у меня лежит на сердце, и от вас требую того же. Сестрицы ваши меня терпеть не могут и употребили все старания, чтоб восстановить против меня ваших родителей. Я знаю все это от вас самих. Ваша любовь ко мне преодолела все препятствия: родители ваши дали вам свое благословение, и я решилась за вас выйти, не побоявшись ненависти целой семьи. Я надеялась найти себе защиту в вашей ко мне любви и в моем старании доказать вашим родителям, что я не заслуживаю их неприязни. Я вижу теперь, что я ошиблась. Вы сами видели, как я приняла ваших сестриц, как я ласкалась, как я старалась угодить им. Они заставили меня удалиться своими грубостями, но я ни разу не сделала им ни малейшей невежливости. Что же из этого вышло? Прошла только одна неделя, как приехали ваши сестрицы, и вы уже много переменились ко мне: вы забываете или не смеете иногда исполнять того, что мне обещали, вы менее проводите со мной времени, вы смущены, встревожены, вы даже не так ласковы ко мне, как были прежде. Не оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы нечестно с вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили; но вы боитесь показывать мне свою любовь, боитесь ваших сестер и потому смущаетесь и даже избегаете случаев оставаться со мной наедине. Это все со-

вершенная правда, вы сами это знаете. Итак, скажите, какую надежду могу я иметь на твердость вашей любви? Да и что это за любовь, которая струсила и прячется оттого, что невеста ваша не нравится вашим сестрицам, о чем вы давно знаете? Что же будет, если я не понравлюсь вашим родителям и если они косо на меня посмотрят? Да вы разлюбите меня в самом деле! Нет, Алексей Степаныч, благородные люди не так любят и не так поступают. Зная, что меня терпеть не могут ваши родные, вы должны были удвоить при них ваше внимание, нежность и уважение ко мне — тогда они не осмелились бы и рта разинуть; а вы допустили их говорить вам в глаза оскорбительные мне слова. Я все знаю, что они говорят вам. Я заключаю из всего этого, что любовь ваша пустое нежничанье, что на вас нельзя положиться и что нам лучше расстаться теперь, нежели быть несчастными на всю жизнь. Подумайте хорошенько о моих словах. Я даю вам два дня, чтобы их обдумать. Продолжайте ездить к нам, но два дня я не буду видеться с вами наедине и не стану поминать об этом разговоре; потом спрошу вас по совести, как честного человека: имеете ли вы довольно твердости, чтобы быть моим защитником против ваших родных и всех, кто вздумал бы оскорблять меня? Можете ли вы заставить ваших сестер не обижать меня и заочно, в вашем присутствии, ни одним словом, ни одним оскорбительным намеком. Хотя разрыв за неделю до свадьбы для всякой благовоспитанной девушки большое несчастие, но лучше перенести его разом, нежели мучиться всю жизнь. Вы знаете, что я не влюблена в вас, но я начинала любить вас и, конечно, полюбила бы сильнее и постояннее, чем вы. Прощайте! Сегодня и завтра мы чужие». Алексей Степаныч, давно заливавшийся слезами и несколько раз порывавшийся что-то сказать, не успел разинуть рта, как невеста ушла и заперла за собою дверь. Как громом пораженный, Алексей Степаныч не вдруг пришел в себя. Наконец, мысль потерять обожаемую Софью Николавну представилась ему с поразительною ясностью, ужаснула его и вызвала то мужество, ту энергию, к которой бывают способны на короткое время люди самого слабого, самого кроткого нрава. Он поспешно отправился домой, и когда

его сестрицы, нисколько не сжалившись над огорченным и расстроенным видом братца, встретили его обычными злобными шуточками — Алексей Степаныч пришел в исступление и задал им такую выпалку, что они перепугались. Человек добрый, тихий и терпеливый бывает страшен в гневе. Алексей Степаныч сказал между прочим своим сестрам, что «если они осмелятся еще сказать при нем хотя одно оскорбительное слово об его невесте или насчет его самого, то он в ту же минуту переедет на другую квартиру, не велит их пускать ни к себе, ни к невесте и обо всем напишет к батюшке». Этого было довольно. Александра Степановна твердо помнила слова отца: «Держи язык за зубами и других у меня не мути». Она очень хорошо знала, какая грозная туча взмыла бы от жалобы братца и каких страшных последствий могла она ожидать. Обе сестрицы кинулись на шею Алексея Степаныча, просили прощенья, плакали, крестились и божились, что вперед этого никогда не будет, что они сами смерть как любят Софью Николавну и что только из жалости к его здоровью, для того, чтобы он меньше хлопотал, они позволяли себе такие глупые шутки. В тот же день поехали они к Софье Николавне, лебезили перед ней и ласкались самым униженным образом. Она очень хорошо поняла, что это значит, и — торжествовала. Положение несчастного жениха было поистине достойно сожаления. Его любовь, несколько успокоившаяся, приутихшая от частых свиданий и простого, ласкового обращения Софьи Николавны, от уверенности в близости свадьбы, несколько запуганная и как будто пристыженная насмешками сестер, — вспыхнула с такою яростью, что в настоящую минуту он был способен на всякое самоотвержение, на всякий отчаянный поступок, пожалуй — на геройство. Все это ярко выражалось на его молодом и прекрасном лице, и с таким-то лицом несколько раз являлся он перед Софьей Николавной в продолжение этих бесконечных двух дней. Тяжело было ей смотреть на него, но она имела твердость выдержать назначенный искус. Она сама не ожидала того сердечного волнения и тоскливой жалости, которые испытала в это время. Она почувствовала, что уже любит этого смиренного, простого молодого человека, безгранично ей

преданного, который не задумался бы прекратить свою жизнь, если б она решилась отказать ему!.. Наконец, прошли и эти долгие два дня. На третий, рано поутру, Алексей Степаныч дожидался своей невесты в гостиной; тихо отворилась дверь, и явилась Софья Николавна прекраснее, очаровательнее, чем когда-нибудь, с легкою улыбкою и с выражением в глазах такого нежного чувства, что, взглянув на нее и увидя ласково протянутую руку, Алексей Степаныч от избытка сильного чувства обезумел, на мгновение потерял употребление языка... но вдруг опомнившись, не принимая протянутой руки, он упал к ногам своей невесты, и поток горячего сердечного красноречия, сопровождаемый слезами, полился из его груди. Софья Николавна не дала ему кончить, она подняла его, сказала ему, что она видит, чувствует и разделяет любовь его, верит всем его обещаниям и без страха вручает ему свою судьбу. Она приласкала его так, как никогда не ласкала, и сказала несколько таких нежных слов, каких никогда не говорила...

Только пять дней оставалось до свадьбы. Все приготовления были совершенно кончены, и жених и невеста, свободные от хлопот, почти не расставались. Уже пять месяцев Софья Николавна была невестой Алексея Степаныча, и во все это время, верная своему намерению перевоспитать своего жениха — невеста не теряла ни одной удобной минуты и старалась своими разговорами сообщать ему те нравственные понятия, которых у него недоставало, уяснять и развивать то, что он чувствовал и понимал темно, бессознательно, и уничтожать такие мысли, которые забрались ему в голову от окружающих его людей; она даже заставляла его читать книги и потом, разговаривая с ним о прочитанном, с большим искусством объясняла все смутно или превратно понятое, утверждая все шаткое и применяя вымышленное к действительной жизни. Но едва ли во все эти пять хлопотливых месяцев успела Софья Николавна высказать так много нового, как в эти пять дней; по случаю же недавнего, сейчас мною рассказанного происшествия, поднявшего, изощрившего, так сказать, душу жениха, все было принято Алексеем Степанычем с особенным сочувствием. Каков вообще был успех этого курса нравственной

педагогики — я решить на себя не беру. Трудно судить, до какой степени были справедливы мнения обоих особ, о которых я говорю; но они впоследствии согласно утверждали, ссылаясь на отзыв посторонних людей, что в Алексее Степаныче произошла великая перемена, что он точно переродился. Я охотно готов этому верить, но имею доказательство, что в знании светских приличий успехи Алексея Степаныча были не так велики. Я знаю, что он рассердил свою невесту накануне свадьбы и что ее вспыльчивость произвела сильное и болезненное впечатление на кроткую его душу. Вот как это происходило: у Софьи Николавны сидели две значительные уфимские дамы; вдруг входит лакей с каким-то бумажным свертком, подает Софье Николавне и докладывает, что Алексей Степаныч прислал это с кучером и приказал, «чтобы вы поскорее сделали чепец для Александры Степановны». Не предупрежденная ни одним словом своего жениха, который только за полчаса с нею расстался, Софья Николавна вспыхнула от досады. Значительные дамы, будто бы подумавшие сначала, что этот сверток подарок от жениха, не хотели скрыть своих улыбок, и невеста, не совладев с собою, приказала отнести посылку назад и сказать Алексею Степанычу, «чтобы он обратился к чепечнице и что, верно, по ошибке принесли к ней эту работу». Дело происходило весьма просто: жених, воротясь домой, нашел свою сестру в большом затруднении, потому что мастерица, которая взялась сделать ей для свадьбы парадный чепчик, вдруг захворала и прислала назад весь материал. Алексей Степаныч, видевший своими глазами, как искусно его невеста делала головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и приказал Никанорке отнесть к Софье Николавне вышеупомянутый сверток и покорнейше просить ее, чтобы она сделала чепчик для Александры Степановны. Никанорка не пошел сам за недосугом, и послал кучера, а кучер вместо покорнейшей просьбы передал приказание. Алексей Степаныч поспешил к невесте для объяснения и взял с собою опять тот же несчастный сверток. Софья Николавна, не простывшая еще от первой вспышки, увидя жениха, входящего с знакомым ей свертком бумаги, вспылила еще больше и наговорила

много лишних, горячих и оскорбительных слов. Жених смутился, растерялся, оправдывался очень плохо, но сердечно огорчился. Софья Николавна отослала материал для чепчика к какой-то известной ей женщине и, раскаявшись в своей горячности, старалась ее поправить; но, к удивлению своему, Алексей Степаныч не мог забыть оскорбления, смешанного с каким-то страхом; он сделался очень печален, и напрасно старалась невеста успокоить и развеселить его.

Наступило 10 мая 1788 года, день, назначенный для свадьбы. Жених приехал к невесте поутру, и Софья Николавна, уже встревоженная накануне, к огорчению своему увидела, что вчерашнее грустное выражение не сошло с лица Алексея Степаныча. Она сама в свою очередь огорчилась и даже оскорбилась. Она привыкла думать, что Алексей Степаныч не будет помнить себя от радости в тот день, когда поведет ее к венцу, а он является невеселым и даже грустным! Она сказала это своему жениху и тем смутила его еще больше. Разумеется, он старался уверить ее, что считает себя блаженнейшим из смертных и проч., но надутые и пошлые слова, произносимые и прежде много раз и выслушиваемые с удовольствием, теперь не проникнутые смыслом внутреннего одушевления, неприятно отозвались в слухе невесты. Через несколько времени они расстались с тем, чтобы увидеться уже в церкви, где в шесть часов вечера жених должен был ожидать невесту.

Страшное сомнение возникло в душе Софьи Николавны: будет ли счастлива она замужем? Много темных пророческих мыслей пробежало в ее пылком уме. Она обвиняла себя за горячность, за резкие выражения; сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна была предвидеть множество подобных промахов своего жениха и принимать их спокойно. Они уже и случались не один раз, но тут несчастное стечение обстоятельств, присутствие посторонних дам, с которыми она была в неприязненных отношениях, укололо ее самолюбие и раздражило ее природную вспыльчивость. Она чувствовала, что испугала Алексея Степаныча, каялась в своей вине и в то же время сознавалась во глубине своей души, что способна провиниться опять. Тут снова представилась

ей вся трудность взятого на себя подвига: перевоспитание, пересоздание уже двадцатисемилетнего человека. Целая жизнь, долгая жизнь с мужем-неровней, которого она при всей любви не может вполне уважать, беспрестанное столкновение совсем различных понятий, противоположных свойств, наконец частое непонимание друг друга... и сомнение в успехе, сомнение в собственных силах, в спокойной твердости, столько чуждой ее нраву, впервые представилось ей в своей поразительной истине и ужаснуло бедную девушку!.. Но что же делать? Неужели разорвать свадьбу пред самым венцом, поразить своего умирающего отца, привыкшего к успокоительной мысли, что его Сонечка будет счастлива за добрым человеком? Неужели потешить всех своих недоброжелателей, особенно значительных дам? Сделаться баснею, шуткою города и целого края, может быть подвергнуться клеветам? Наконец, убить, в настоящем значении слова убить страстно любящего ее жениха? И все это из одного опасения, что у ней недостанет твердости к выполнению давно обдуманного плана, который начинал уже блистательно осуществляться? «Нет, не бывать тому! Бог поможет мне, Смоленская божия матерь будет моей заступницей и подаст мне силы обуздать мой вспыльчивый нрав...» Так думала и так решила Софья Николавна. Слезы и молитва возвратили ей твердость.

Церковь Успения божией матери находилась очень близко от дома невесты и стояла тогда на пустыре. Задолго до шести часов она окружена была толпою любопытного народа. Высокий крылец зубинского дома, выходивший на улицу, обставился экипажами тех особ, которые были приглашены провожать невесту; остальное общество съезжалось прямо в церковь. Невесту одевали к венцу. Маленький брат, трехлетний Николенька, которого рождение стоило жизни его матери, обувал Софью Николавну по принятому обычаю, разумеется с помощию горничных. В исходе шестого часа невеста была уже готова и, приняв благословение отца, вышла в гостиную. Богатый подвенечный наряд придавал еще более блеску ее красоте. Дорога от дома жениха в церковь лежала мимо окон гостиной, и Софья Николавна видела, как он проехал туда в английской мурзахановской

карете на четверке славных доморощенных лошадей; она даже улыбнулась и ласково кивнула головой Алексею Степанычу, который, высунувшись из кареты, глядел в растворенные окна дома. Проехали также сестры жениха, Алакаева и все мужчины, провожавшие его в церковь. Невеста не хотела, чтобы жених дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, чтобы ехали немедленно. Софья Николавна спокойно и твердо вошла в церковь, ласково и весело подала руку своему жениху, но смутилась, увидев на его лице то же грустное выражение, и все заметили, что жених и невеста были невеселы под венцом. Церковь была ярко освещена и полна народа; архиерейские певчие не щадили своих голосов. Свадьба во всех отношениях была парадна и великолепна. По окончании обряда сестры, весь поезд с обеих сторон и также лучшая уфимская публика сопровождали молодых в дом к Николаю Федорычу. Там немедленно начались и продолжались танцы до богатого, но раннего ужина. Все гости, имевшие право входить к Николаю Федорычу в кабинет, перебывали у него и поздравили со вступлением в брак его дочери. На другой и следующие дни происходило все то, что обыкновенно при таких случаях бывает, то есть обед, бал, визиты, опять обед и опять бал: одним словом, все точно так, как водится и теперь, даже в столицах.

Грустная тень давно слетела с лица молодых. Они были совершенно счастливы. Добрые люди не могли смотреть на них без удовольствия, и часто повторялись слова: «Какая прекрасная пара!» Через неделю молодые собирались ехать в Багрово, куда сестры Алексея Степаныча уехали через три дня после свадьбы. Софья Николавна написала с ними ласковое письмо к старикам.

Сестры Алексея Степаныча, после неожиданной вспышки братца, держали себя в последнее время осторожно: не позволяли при нем себе никаких намеков, ужимок и улыбок, а перед Софьей Николавной были даже искательны; но, разумеется, этим нисколько ее не обманули, зато братец поверил от души их искреннему расположению к невесте. На свадьбе и на праздниках после свадьбы, разумеется, они играли жалкие роли, а потому поспешили уехать. Воротясь домой, то есть к

Степану Михайлычу, они решились действовать осторожно и не показывать перед стариком своей враждебности к Софье Николавне, но зато Арине Васильевне и двум своим сестрам расписали они такими красками свадьбу и все там происходившее, что поселили в них сильное предубеждение и неблагорасположение к невестке. Они не забыли рассказать об исступленном гневе и угрозах Алексея Степаныча за их выходки против Софьи Николавны, и все уговорились держать себя с нею при Степане Михайлыче ласково и не говорить ему прямо ничего дурного насчет невестки, но в то же время не пропускать благоприятных случаев, незаметно для старика восстановлять его против ненавистной им Софьи Николавны. Поступать надобно было очень искусно. Не доверяя этого дела другим, взяли его на себя Елизавета и Александра Степановны. Дедушка подробно расспрашивал о свадьбе, о том, кого они видели, о состоянии здоровья старика Зубина и вообще обо всем, там происходившем. Они все хвалили; но в похвалах этих слышен был запах и вкус яда — и не удалось им провести Степана Михайлыча. Он обратился так, ради шутки, а может быть, и для соображения, к Ивану Петровичу Каратаеву и спросил его: «Ну, что, брат Иван, что ты мне скажешь о нашей невестушке? Их дело бабье, а ты мужчина и лучше можешь судить об этом». Иван Петрович, несмотря на миганье своей супруги, отвечал с увлечением: «Да вот что, батюшка, я вам скажу: что такой кралечки (без этого живописного слова он не умел похвалить красоту), какую подцепил брат Алексей, другой не отыщешь в целом свете. Что взглянет, то рублем подарит. А уж что за умница, так уж и говорить нечего. Одно доложу вам, батюшка: горда; пошутить нельзя; только вздумаешь подпустить турусы на колесах — так взглянет, что язык прикусишь». — «Вижу, брат, что она тебе врать не позволяла, — сказал старик с веселым лицом, рассмеялся и прибавил: — ну это еще не большая беда». Степан Михайлыч по всем рассказам, по письмам Софьи Николавны и по ответу Ивана Петровича Каратаева составил в своем уме весьма благоприятное мнение об Софье Николавне.

Известие о скором приезде молодых произвело тревогу и суету в тихом, слишком простом доме деревенских

помещиков. Надобно было почиститься, приодеться, принарядиться. Невестка, городская модница, привыкла жить по-барски, даром что бедна: осудит, осмеет — так думали и говорили все, кроме старика. Особых и свободных комнат в доме не было, надобно было вывести Танюшу из ее горницы, выходившей углом в сад на прозрачный Бугуруслан с его зелеными кустами и голосистыми соловьями. Танюше очень не хотелось перейти в предбанник, но другого места не было: все сестры жили в доме, а Каратаев и Ерлыкин спали на сеннике. За день до приезда молодых привезли кровать, штофный занавес, гардины; приехал и человек, умеющий все это уставить и приладить. Танюшину комнату отделали в несколько часов. Степан Михайлович посмотрел, полюбовался, а женщины кусали от зависти губы. Наконец, прискакал передовой с известием, что молодые остановились в мордовской деревне Нойкино, в восьми верстах от Багрова, где они переоденутся, и часа через два приедут. Все пришло в движение. Хотя старик еще с утра послал за священником, но как он еще не приезжал, то послали гонца верхом поторопить его. Между тем в Нойкине происходила также забавная суматоха. Молодые ехали на переменных по проселочной дороге, и потому надобно было посылать передового для заготовления лошадей от деревни до деревни. В Нойкине все знали Алексея Степаныча еще дитятей, а Степана Михайлыча считали отцом и благодетелем. Вся деревня от мала до велика, душ шестьсот мужеска и женска пола, сбежалась к той избе, где должны были остановиться молодые. Софья Николавна едва ли видала вблизи мордву, и потому одежда мордовок и необыкновенно рослых и здоровых девок, их вышитые красною шерстью белые рубахи, их черные шерстяные пояса, или хвосты, грудь и спина и головные уборы, обвешанные серебряными деньгами и колокольчиками, очень ее заняли. Но когда она услыхала простые, грубые, но искренние восклицания всей толпы на изломанном несколько русском языке, то радостные приветствия, то похвалы и добрые пожелания, — она и смеялась и даже плакала. «Ай, ай, Алеша, какой жена тебе бог давал. Ай, ай, хороша, — говорили старики и старухи, — а отца наша Степан Михайлыч

то-то рада будет! Ну дай вам бог, дай бог!» Когда же молодая, переодевшись в пышное городское платье, вышла садиться в карету, то в народе поднялся такой гул восторга и радостных похвал, что даже лошади перепугались. Молодые, подарив десять рублей на вино всему миру, отправились в дорогу.

Позади городского гумна, стоящего на высокой горе, показался высокий экипаж. «Едут, едут!» — раздалось по всему дому, и вся дворня, а вскоре и все крестьяне сбежались на широкий господский двор, а молодежь и ребятишки побежали навстречу. Старики Багровы со всем семейством вышли на крыльцо: Арина Васильевна в шелковом шушуне и юбке, в шелковом гарнитуровом с золотыми травочками платке на голове, а Степан Михайлыч в каком-то стародавнем сюртуке, выбритый и с платком на шее, стояли на верхней ступеньке крыльца; один держал образ Знамения божьей матери, а другая — каравай хлеба с серебряной солонкой. Золовки и два зятя стояли около них. Экипаж подкатил к крыльцу, молодые вышли, упали старикам в ноги, приняли их благословение и расцеловались с ними и со всеми их окружающими; едва кончила молодая эту церемонию и обратилась опять к свекру, как он схватил ее за руку, поглядел ей пристально в глаза, из которых катились слезы, сам заплакал, крепко обнял, поцеловал и сказал: «Слава богу! Пойдем же благодарить его». Он взял невестку за руку, провел в залу сквозь тесную толпу, постановил возле себя — и священник, ожидавший их в полном облачении, возгласил: «Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков».

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ»

МОЛОДЫЕ В БАГРОВЕ

После молебна, за которым горячо молились свекор и невестка, все приложились ко кресту; священник окропил молодых и всех присутствующих святой водой; начались вновь целованья и обычные в таких случаях речи:

«Просим нас полюбить, принять в свое родственное расположение» и проч. Разумеется, это говорили те, с которыми молодая еще не была знакома. Степан Михайлыч молчал; он только смотрел с любовью в заплаканные глаза и на пылающие щеки Софьи Николавны, внимательно слушал каждое ее слово и замечал каждое движение. Наконец, взял невестку за руку, повел в гостиную, сел на канапе и посадил возле себя молодых. Арина Васильевна поместилась на другом конце канапе, рядом с сыном; кругом сели сестры с мужьями. Надобно сказать, что Степан Михайлыч никогда не сидел в гостиной и входил в нее только при самых необыкновенных случаях и то на самое короткое время; в целом доме он знал свою особую горницу и крылечко, весьма незатейливо сложенное из деревянных брусьев и досок; он так привык к ним, что в гостиной был как-то не дома и ему становилось неловко. Но на этот раз он преодолел себя и повел ласковые речи с Софьей Николавной: прежде всего расспросил о здоровье любезного свата Николая Федоровича; искренне пожалел, узнав, что он слабеет час от часу, и прибавил, что «не станет долго задерживать в Багрове дорогих своих гостей». Нечего и говорить, что молодая не ходила за словом в карман и была не только вежлива, но предупредительна, даже искательна. Арина Васильевна, женщина от природы добродушная, подлаживалась к своему супругу как умела и насколько хватало у ней смелости не слушаться своих дочерей. Аксинья Степановна искренне полюбила невестку с первого взгляда и была с ней ласкова, но прочие молчали, и нетрудно было угадать по их взглядам, что происходило у них в душе. Через полчаса молодая пошептала что-то на ухо своему мужу, который поспешно встал и вышел в приготовленную для них спальню, находившуюся возле гостиной. Степан Михайлыч посмотрел с удивлением, но Софья Николавна заняла его таким одушевленным разговором, что он развлекся и очень удивился, когда через несколько времени растворились обе половинки дверей в спальню, и Алексей Степаныч вошел, держа в руках огромный серебряный поднос, нагруженный свадебными подарками, под тяжестью которых поднос даже гнулся. Софья Николавна встала с живостью, взяла с подноса

и поднесла свекру кусок аглицкого тончайшего сукна и камзол из серебряного глазета, весь богато расшитый по карте[1] золотою канителью, битью и блестками, прибавя, что все сработано ее собственными руками: это была совершенная правда. Степан Михайлыч, хотя косился на стоящего с подносом сына, но принял подарки милостиво и поцеловал невестку. Арине Васильевне был поднесен шелковый головной платок, сплошь затканный золотом, и цельная штука превосходной шелковой китайской материи, считавшейся и тогда редкостью; золовкам — также по куску шелковой дорогой материи, а зятьям — по куску аглицкого же сукна: разумеется, подарки золовкам и зятьям были несколько низшего достоинства. Все вставали, целовались, целовали ручки, кланялись и благодарили. Двери из залы трещали от напора любопытных зрителей и зрительниц, а из дверей спальни робко выглядывали одни масленые головы деревенских горничных, потому что *избная* дворня не смела вломиться в богато убранную комнату молодых. В зале послышался шум: лакеи не могли выгнать посетителей, которые мешали им накрывать стол. Степан Михайлыч догадался, в чем дело, встал, выглянул в дверь и одним взглядом и тихо произнесенным словом «вон!» очистил залу.

Обед происходил обыкновенным порядком; молодые сидели рядом между свекром и свекровью; блюд было множество, одно другого жирнее, одно другого тяжеле; повар Степан не пожалел корицы, гвоздики, перцу и всего более масла. Свекор ласково потчевал молодую, и молодая ела, творя молитву, чтоб не умереть на другой день. Разговоров было мало, сколько оттого, что у всех были *рты на барщине*, как говаривал Степан Михайлыч, столько же и оттого, что говорить не умели, да и все смущались, каждый по-своему; к тому же Ерлыкин, в трезвом состоянии, когда он пил только одну воду, был крайне скуп на слова, за что и считался отменно умным человеком; Каратаев же без спроса не смел разинуть

---

[1] Ш и т ь е п о к а р т е значило, вероятно значит и теперь, что узоры рисовались на карте, потом вырезывались, наклеивались на материю и вышивались золотом.

рта при Степане Михайлыче и ограничивался только повторением последних слов, как, например: «Сенокос был бы хорош, если б не захватило ненастье». — «Если б не захватило ненастье», — повторял Каратаев. «Рожь сильно цвела, да неожиданно хватил мороз». — «Неожиданно хватил мороз», — подхватывал Каратаев и т. д. Такие подхватыванья случались иногда весьма невпопад. — Старики не догадались запастись в Уфе кипучим вином и здоровье новобрачных пили трехлетней, на три ягоды налитой, клубниковкой, густой, как масло, разливающей вокруг себя чудный запах полевой клубники. Ванька Мазан, обутый в сапоги, вонявшие дегтем, в сюртуке, сидевшем на нем, как рогожный куль на медведе, подавал всем один бокал с белыми узорами и синеватой струйкой, которая извивалась внутри стеклянной ножки. Когда пришлось молодым благодарить за поздравление, Софье Николавне, конечно, было неприятно пить из бокала, только что вышедшего из жирных губ Каратаева; но она не поморщилась и хотела даже выпить целый бокал. Свекор остановил ее и сказал: «Не кушай всего, милая невестынька, головка заболит: наливка вкусна и сладима, но крепка; ты к этому непривычна». Софья Николавна уверяла, что такое чудесное питье не может быть вредно, и просила позволения еще прихлебнуть немножко, и свекор из своих рук дал ей выпить один глоток.

Для всей семьи было ясно, что Степан Михайлыч доволен невесткой и что все ее речи ему нравились. Видела это и сама Софья Николавна, хотя и заметила с удивлением, что два раза свекор на минуту был чем-то недоволен. В продолжение стола не один раз она встречала его выразительный взгляд, приветливо на нее устремленный. Наконец, кончился долгий и утомительный, впрочем для одной Софьи Николавны, деревенский праздничный обед, который старалась она оживить, по возможности, веселыми разговорами. Встали из-за стола; сын и дочери поцеловали у отца руку, что хотела было сделать и Софья Николавна, но старик не дал руки, обнял и расцеловал свою невестку. Это недаванье руки случилось уже в другой раз, и, следуя пылкой своей природе, Софья Николавна с живостью и нежностью сказала: «Отчего же, батюшка, вы не даете

мне руки? Я также ваша дочь и также с любовью и почтением желаю поцеловать вашу руку». Пристально и как-то глубоко посмотрел старик на свою невестку и ласково отвечал: «Любить-то я тебя люблю, но только родным детям надо целовать руку у отца. Ведь я не поп».

Опять вошли в гостиную и расселись попрежнему. Аксютка принесла *кофь* [1], которого старик не пил, который подавался в самых торжественных случаях и до которого вся семья была очень лакома. После кофе Степан Михайлыч встал и, сказав: «Теперь надо хорошенько уснуть, да и молодым с дороги тоже бы отдохнуть не мешало», пошел в свою горницу, куда проводили его сын и невестка. «Вот мой угол, невестынька, — весело сказал старик, — садись, так будешь гостья. Я только для первого разу посидел со всеми вами в гостиной, да еще в этом хомуте (он указал на галстук). Алеша это знает; теперь же, если кто хочет со мной сидеть, так милости прошу ко мне». Он поцеловал невестку, дал поцеловать руку сыну и отпустил их, а сам разделся и лег успокоиться от необыкновенных своих телесных подвигов и душевного движенья. Крепкий сон не замедлил овладеть им, и скоро раздался здоровый храп, от которого мерно шевелился полог, опущенный Мазаном на старого барина.

Примеру хозяина последовали и другие. Зятья, по лицам которых нетрудно было догадаться, что они хорошо покушали, а Каратаев даже и выпил, отправились спать на сенник в конюшню. Дочери собрались в горницу к матери, которая спала особо от старика; там начались такие шептанья и шушуканья, суды и пересуды, что никто из них в этот день и спать не ложился. Досталось на орехи бедной Софье Николавне! Расцыганили ее золовушки! Очевидная благосклонность свекра к невестке выводила из себя озлобленную семью. Нашлась, однако, одна добрая душа, вдова Аксинья Степановна, по второму мужу Нагаткина, которая заступилась за Софью Николавну; но на нее так прогневались, что выгнали вон из комнаты и окончательно исключили

---

[1] Так произносилось это слово в семействе Багровых.

из семейного совета, и тут же получила она вдобавок к прежнему прозвищу «простоты сердечной» новое оскорбительное прозвище, которое и сохранилось при ней до глубокой старости; но добрая душа осталась, однако, навсегда благорасположенною к невестке и гонимою за то в семье.

Молодые отправились в свою парадно убранную спальню. Софья Николавна с помощью горничной своей девушки, черномазой и бойкой Параши, разобрала дорожные сундуки и баулы, которых было необыкновенно много в английской мурзахановской карете. Параша знала уже наперечет всю дворню, всех старух и стариков в крестьянах, которых особенно следовало подарить, и Софья Николавна, привезшая с собой богатый запас разных мелких вещей, всем назначила подарки, располагая их по летам, заслугам и почету, которым пользовались эти люди у своих господ. Молодые супруги не чувствовали усталости и надобности отдохнуть. Софья Николавна переоделась в другое платье, менее пышное, и, оставя Парашу окончательно раскладываться и устраиваться в спальне, пошла, несмотря на жар, гулять с молодым своим мужем, которому очень хотелось показать ей свои любимые места: березовую рощу, остров, обсаженный только что распустившимися липами, и прозрачные воды огибающей его реки. И как хорошо было там в эту пору, когда свежесть весны соединяется с летнею теплотою! Алексей Степаныч, страстно любящий, еще не привыкший к счастию быть мужем обожаемой женщины, был как-то неприятно изумлен, что Софья Николавна не восхитилась ни рощей, ни островом, даже мало обратила на них внимания и, усевшись в тени на берегу быстро текущей реки, поспешила заговорить с мужем об его семействе, о том, как их встретили, как полюбила она свекра, как с первого взгляда заметила, что она ему понравилась, что, может быть, и матушке свекрови также бы она понравилась, но что Арина Васильевна как будто не смела приласкать ее, что всех добрее кажется Аксинья Степановна, но что и она чего-то опасается... «Я все вижу и понимаю, — прибавила она, — вижу я, откуда сыр-бор горит. Я не пропустила ни одного слова, ни одного взгляда, вижу, чего я должна ожидать. Бог судья

твоим сестрицам, Елизавете и Александре Степановне...»

Но рассеянно слушал Алексей Степаныч: освежительная тень, зелень наклонившихся ветвей над рекою, тихий ропот бегущей воды, рыба, мелькавшая в ней, наконец обожаемая Софья Николавна, его жена, сидящая подле и обнявшая его одной рукой... Боже мой, да разве тут можно что-нибудь замечать, кого-нибудь обвинять, чем-нибудь быть недовольным? Да тут нельзя слышать и понять, что услышишь, — и Алексей Степаныч решительно не слыхал и не понял, что говорила его молодая жена; ему было так хорошо, так сладко, что одно только забвение всего окружающего и молчание могло служить полным выражением его упоительного блаженства. Софья Николавна продолжала говорить, говорила много, с жаром, с чувством и, наконец, заметила, что муж ее не слушает, чуть ли не дремлет. Она быстро встала, и тут последовало одно из тех явлений, тех столкновений взаимного непонимания друг друга, которое хотя и проглядывало уже не один раз, но так ярко еще никогда не обозначалось. Все было высказано вновь, и в потоке горячих речей вырвались слезы и упреки в невнимании и равнодушии. Изумленный, даже встревоженный Алексей Степаныч, как будто упавший с неба, как будто разбуженный от сладкого сна, думая успокоить жену, уверял с совершенною искренностью, что все прекрасно и все бесподобно, что это все ее одно воображение, что ее все любят и что разве может кто-нибудь ее не любить?.. Несмотря на простоту и ясность чистосердечного убеждения, на безграничную любовь, которая выражалась в глазах, в лице и в голосе Алексея Степаныча, Софья Николавна, при всем ее уме и живой чувствительности, не поняла своего мужа и в его словах нашла новое доказательство того же равнодушия, того же невнимания. Объяснения и толкования продолжались с возрастающим жаром, и не знаю до чего бы дошли, если б Алексей Степаныч, издали увидя бегущую к ним, по высоким мосткам, горничную девушку сестры Татьяны Степановны и догадавшись, что батюшка проснулся и что их ищут, не сообщил поспешно своих опасений Софье Николавне, которая в одну минуту очнулась, овладела собой

и, схватив мужа за руку, поспешила с ним домой; но невесело шел за ней Алексей Степаныч.

В Багрове заранее были сделаны распоряжения, чтобы в день приезда молодых угостить дворню, всех своих и даже соседних крестьян, если кто захочет прийти или приехать. Заранее сварили несколько *печей* корчажного пива, *насидели* десяток-другой ведер крепкого домашнего вина и приготовили всякой нужной посудины. Ложась отдохнуть после обеда, Степан Михайлыч спросил: «А что, нойкинских и кивацких много?» — и Мазан отвечал, что все здесь: и старики, и старухи, и ребятишки. Степан Михайлыч улыбнулся и сказал: «Ну, так мы их угостим. Скажи же ключнице Федосье и ключнику Петру, чтоб все было готово». Степан Михайлыч спал недолго, но проснулся еще веселее, чем лег. Первое слово его было: «Все ли готово?» Отвечали, что давно готово. Старик поспешно оделся, уж не в парадный сюртук, а в свой любимый халат из тонкой армячины, и вышел на крылечко, чтоб лично распорядиться угощением. На широком зеленом дворе, не отгороженном от улицы, были утверждены на подставках доски, на которых стояли лагуны с пивом, бочонки с вином и лежали грудами для закуски разрезанные надвое пироги. Пирогами назывались и теперь называются в Оренбургской губернии небольшие продолговатые хлебные караваи из пшеничной муки. Кучка дворовых стояла особо и ближе всех; подальше находилась большая толпа крестьян и крестьянок, а еще подалее — уже огромная толпа мордвы обоего пола. Степан Михайлыч окинул все беглым взглядом, увидел, что все в порядке, и воротился на свое крылечко. Только что хотел он спросить у своей семьи, которая вся уже собралась, а где же молодые, как явилась Софья Николавна с Алексеем Степанычем. Свекор встретил невестку еще ласковее и обошелся с нею уже так просто, как с дочерью. «Ну, Алеша, — сказал он, — бери жену за руку и веди ее поздороваться с дворовыми и крестьянами: ведь все хотят видеть и поцеловать ручку у своей молодой барыни... Пойдемте!» Он пошел вперед; за ним следовал Алексей Степаныч с женою, рука в руку; в некотором отдалении шла Арина Васильевна с дочерьми и зятьями. С трудом удерживали

свою досаду золовки (исключая Аксиньи Степановны). Возрастающие ласки Степана Михайлыча, торжественное вступление ненавистной Софьи Николавны в звание молодой хозяйки, ее красота и щегольский наряд, ловкость, бойкость ее языка, почтительная и увлекательная ласковость к свекру — все это раздражало, язвило их завистливые души. Они вдруг почувствовали свое падение в доме отца. «Об нас уж что говорить, мы уж отрезанные ломти, — шептала Александра Степановна, — а вот на Танюшу не могу смотреть без слез. Что она теперь в доме? Холопка Софьи Николавны; да и вас, матушка, теперь никто почитать не станет. Все будут смотреть из ее рук...» Голос ее дрожал, и слезы навертывались на круглых вертящихся глазах. Между тем, подошед к дворовым, Степан Михайлыч подозвал и своих крестьян, говоря: «Что же вы не вместе стоите? Разве вы не одной матки детки? Ну вот вам, — продолжал он, — молодая госпожа, а молодого барина вы давно знаете; служите им, когда придет время, так же верно и усердно, как нам с Ариной Васильевной, а они будут вас за то любить да жаловать». Все поклонились в ноги. Молодая была изумлена, не знала, куда деваться и что начать: она не привыкла к подобным явлениям. Видя ее смущение, свекор сказал: «Ничего! поклониться — голова не отвалится. Ну, целуйте же у молодой барыни ручку, да и погуляйте за ее здоровье». Все встали и начали подходить к Софье Николавне. Она оглянулась: ловкая Параша и приданый лакей Федор стояли в стороне с подарками. По знаку госпожи своей они проворно подали ей целый узел и ящик с разными вещами. Еще не привыкшая протягивать ручку для поцелуев и в то же время стоять неподвижно, как статуя, — Софья Николавна принялась было сама целоваться со всеми, что повторялось при получении из рук ее подарка; но Степан Михайлыч вмешался в дело: он смекнул, что эдак придется ему не пить чаю до ужина. «Где же тебе, невестынька, перецеловать всех, да еще по два раза? — сказал он. — Их много; вот с стариками, с старухами — другое дело; а с тех будет и ручки». Несмотря, однако, на облегчение и ускорение этой довольно скучной и тягостной церемонии, она продолжалась очень долго. Степан Михайлыч,

по живости своей, сам иногда задерживал ход дела, называя некоторых дворовых и крестьян по имени и сопровождая эти имена одобрительными отзывами. Многие старики или старухи говорили простые слова усердия и любви, иные даже плакали, и все вообще смотрели на молодую радостно и приветно. Софья Николавна была глубоко потрясена. «За что эти добрые люди готовы полюбить меня, а некоторые уже любят? — думала она. — Чем я заслужила их любовь?..» Наконец, когда все, от старого до малого, перецеловали руку у молодой барыни и некоторые были перецелованы ею, когда все получили щедрые подарки, Степан Михайлыч взял за руку Софью Николавну и подошел с ней к толпе мордвы. «Здорово, соседи! — сказал он весело и приветливо. — Спасибо, что приехали. Вот вам молодая соседка. Полюбите ее. Милости просим и вас выпить и закусить чем бог послал». Радостные и шумные восклицания понеслись из толпы. «Ай, спасибо, спасибо, Степан Михайлыч! Слава бог! какой он жена-то давал твой Лексей! Ай, ай, хорош! За то, Степан Михайлыч, что ты больно добрый человек!»

Началась попойка. Степан Михайлыч с молодыми и со всей своей семьей поспешил к любимому своему крылечку. Он чувствовал, что давно прошла пора для вечернего чая, который неизменно подавался в шесть часов, а теперь было давно семь. Уже длинная тень от дома покосилась на юг и легла своими краями на кладовую и конюшню; давно на большом столе, у самого крыльца, кипел самовар и дожидалась Аксютка. Все расселись вокруг стола; но Степан Михайлыч не расстался с своим крылечком и сел на любимом своем месте, подостлав под себя неизменный войлочный потник. Вечерний чай разливала Танюша, и Аксютка только ей прислуживала. Софья Николавна попросила позволения у свекра сесть возле него на крылечке, на что старик с видимым удовольствием согласился. Невестка проворно выскочила из-за стола и с недопитой своей чашкой чая в одну минуту очутилась уже подле свекра. Он приласкал ее и, заботясь, чтоб она не вымарала платья, приказал и ей постлать войлок. У них пошел живой и веселый разговор; а за чайным столом злобно

переглядывалась и даже перешептывалась семья, несмотря на присутствие молодого мужа; он не мог этого не заметить, и ему, и без того невеселому, становилось как-то и грустно и неловко. Вдруг раздался громкий голос старика: «Ступай к нам, Алеша, у нас веселее». Алеша встрепенулся, пересел к отцу и как будто стал повеселее. После чая, оставшись на тех же местах, продолжали разговаривать до ужина, который также был подан позже обыкновенного, то есть после девяти часов. Все это время звучные песни и веселый смех подгулявшего народа далеко оглашали постепенно темневшую окрестность. После ужина сейчас разошлись по своим местам, или *по своим норам,* как говорил Степан Михайлыч. Прощаясь, невестка, попросила свекра благословить и перекрестить ее на сон грядущий, и свекор охотно перекрестил ее и поцеловал с отеческим чувством.

Свекровь и старшая золовка Нагаткина сопровождали молодых в спальню и несколько минут посидели у них. Алексей Степаныч в свою очередь пошел проводить мать и сестру. Софья Николавна поспешно отпустила свою горничную и села у одного из растворенных окон, обращенных к реке, густо обросшей вербой и тальником. Ночь была великолепна; заря как будто не гасла, медленно готовясь перейти из вечерней в утреннюю. Свежесть от воды и запах молодых древесных листьев, вместе с раскатами и свистами соловьев, неслись в растворенные окна. Но о другом думала Софья Николавна. Как умная женщина, знавшая наперед, что ожидало ее в семействе мужа, она, конечно, заранее составила план своих действий. Не выезжая никогда из города, она не имела никакого понятия о жизни деревенских небогатых помещиков, рассеянных по разным захолустьям обширного края. Она, конечно, не представляла себе ничего приятного, но действительность была гораздо хуже. Все ей не нравилось, все было противно: и дом, и сад, и роща, и остров. Она привыкла любоваться великолепными видами с нагорного берега реки Белой, в окрестностях Уфы, а потому деревушка в долине, с бревенчатым, потемневшим от времени и ненастья домом, с прудом, окруженным болотами, и с вечным стуком

толчеи показались ей даже отвратительными. Люди также не могли ей понравиться, начиная с семьи до крестьянских ребятишек, кроме Степана Михайлыча. Если б не было его, она пришла бы в отчаянье. Она составила себе о нем предварительно выгодное понятие; грубоватая наружность свекра с первого взгляда испугала ее, но скоро она прочла в его разумных глазах и добродушной улыбке, услыхала в голосе, что у этого старика много чувства, что он сердечно расположен к ней, что он готов полюбить, что он полюбит ее. Зная и прежде, что у нее вся надежда на свекра, она тогда же приняла твердое намерение непременно снискать его любовь; но теперь она сама его полюбила, и расчет ума соединился с сердечным влечением. В этом отношении Софья Николавна была довольна собой; она сама видела, что шла быстро к цели, и смущало ее только то, что она в горячности оскорбила своего доброго мужа; она нетерпеливо ждала его, но он как нарочно не возвращался. Софья Николавна давно бы побежала отыскать его, если б знала, где найти... Так ей хотелось броситься к нему на шею, заплакать, сказать «прости меня» и потоком горячих ласк и слов уничтожить в душе его последнюю тень неудовольствия... Но Алексей Степанович не возвращался. Благодатные мгновения раскаянья, восторженной любви, желанья исправить свою вину — проходили даром. Порыв не может продолжаться долго, и через несколько минут Софье Николавне стало странно, а потом и досадно, что так долго не возвращается ее муж. Наконец, он пришел, несколько расстроенный, смущенный, и, вместо того, чтоб броситься к нему на шею и сказать «прости меня», Софья Николавна взволнованным и несколько раздраженным голосом спросила Алексея Степаныча, едва переступившего порог: «Помилуй, где ты был? отчего ты бросил меня одну? я измучилась, дожидаясь тебя битых два часа». — «Я посидел у матушки с сестрами каких-нибудь четверть часа», — отвечал тихо и печально Алексей Степаныч. «И они успели тебе нажаловаться, выдумали, наклеветали на меня, и ты им поверил. Отчего ты так огорчен, так печален?» На лице Софьи Николавны выразилось сильное волнение, и прекрасные глаза наполнились слезами. Молодой муж встревожился и даже

испугался (слезы начинали пугать его). «Сонечка, — сказал он, — успокойся; никто на тебя не жаловался, да и за что? ты ни перед кем не виновата». Алексей Степаныч сказал не совсем правду. Открыто никто не жаловался, прямо никто не обвинял; но обиняками и намеками дали ему почувствовать, что жена его бессовестно ластится к одному свекру для того, чтобы потом наплевать на всю остальную семью, что хитрости ее понимают и поймет со временем и сам Алексей Степаныч, когда очутится ее холопом. Алексей Степаныч не поверил таким намекам; но грустное состояние, в котором он находился после разговоров на острове, как-то усилилось и легло свинцом на его доброе сердце. Он сказал только два слова Арине Васильевне: «Напрасно, матушка!» — и поспешно ушел; но не вдруг воротился в спальню, а несколько времени походил один по зале, уже пустой, темной, посмотрел в отворенные семь окон на спящую во мраке грачовую рощу, на темневшую вдали урему, поприще его детских забав и охот, вслушался в шум мельницы, в соловьиные свисты, в крики ночных птиц... Легче стало у него на сердце, и пошел он в спальню, никак не воображая встречи, которая его ожидала. Софья Николавна скоро одумалась, вновь раскаянье заговорило в ней, хотя уже не с прежнею силой; она переменила тон, с искренним чувством любви и сожаления она обратилась к мужу, ласкала его, просила прощенья, с неподдельным жаром говорила о том, как она счастлива, видя любовь к себе в батюшке Степане Михайлыче, умоляла быть с ней совершенно откровенным, красноречиво доказала необходимость откровенности — и мягкое сердце мужа разнежилось, успокоилось, и высказал он ей все, чего решился было ни под каким видом не сказывать, не желая ссорить жену с семьей. Успокоившись, он лег и сейчас заснул; но Софья Николавна долго не спала и думала свою крепкую думу. Наконец, вспомнив, что ей надо рано встать, что она имела намеренье прийти к своему свекру на его крылечко вместе с восходом солнышка, задолго до прихода семьи, чтобы утешить старика и высказаться на просторе, — она постаралась заснуть, и хотя не скоро, хотя с большим усилием, но заснула.

С первыми лучами солнца проснулась Софья Николавна. Немного спала она, но встала бодрою и живою. Проворно оделась, поцеловала мужа, сказала ему, что идет к батюшке, что он может еще уснуть час-другой, и поспешила к свекру. Степан Михайлыч проспал несколько долее обыкновенного и только что умылся и вышел на крылечко. Утро, праздничное, великолепное майское утро, со всею прелестью полной весны, с ее свежестью и роскошью тепла, с хором радостных голосов всей живущей твари, с утренними, длинными тенями, где таились еще и прохлада и влажность, убегающие от солнечных торжествующих лучей, обхватило Софью Николавну и подействовало на нее живительно, хотя она не привыкла сочувствовать красотам деревенской природы. Появление невестки удивило свекра и обрадовало. Ее свежее лицо, блестящие глаза, убор волос и щегольское утреннее платье не показывали, чтобы невестку разбудили, чтобы она вскочила со сна и, не выспавшись, не прибравшись, неряхой прибежала к своему свекру. Степан Михайлыч любил живых, бодрых и умных людей; все это находил он в Софье Николавне, и все это очень ему нравилось. «Что это ты так рано вскочила? — весело сказал он, обнимая невестку. — Ведь ты не выспалась! Ведь ты не привыкла рано вставать! Ведь головка будет болеть!» — «Нет, батюшка, — отвечала Софья Николавна, обнимая старика с искренней нежностью. — Я привыкла рано вставать; с самого детства у меня было много дела и много забот. Целая семья и больной отец были у меня на руках. Последнее время я избаловалась, стала позднее вставать. Но сегодня я проснулась рано; Алексей мне сказал (старик поморщился), что вы уже давно встали, и я пришла к вам в надежде, что вы меня не прогоните и позволите мне напоить вас чаем». В этих обыкновенных словах было так много внутреннего чувства, так они были сказаны от души, что старик был растроган, поцеловал Софью Николавну в лоб и сказал: «Ну, если так, спасибо, милая невестынька. Мы поговорим, поболтаем с тобой на просторе, и ты напоишь меня чаем». Аксютка ставила уже самовар на стол. Степан Михайлыч не приказал никого будить, и Софья Николавна начала распоряжаться чаем. Все она

делала проворно, ловко, как будто целый век ничего другого не делала. С удовольствием смотрел старик на эту прекрасную молодую женщину, не похожую на все его окружающее, у которой дело так и кипело в руках. Чай был сделан крепкий, точно так, как он любил, то есть: чайник, накрытый салфеткой, был поставлен на самовар, чашка налита полнехонько наравне с краями, и Софья Николавна подала ее, не пролив ни одной капли на блюдечко; ароматный напиток был так горяч, что жег губы. «Да ты колдунья, — с приятным изумлением сказал старик, приняв чашку и отведав чай, — ты знаешь все мои причуды; ну, если ты будешь так угождать мужу, то хорошо ему будет жить». Старик обыкновенно пил чай один, и, когда сам накушивался, тогда начинала пить семья; но тут, приняв вторую чашку, приказал невестке, чтоб она налила чашечку себе, села подле него и вместе с ним кушала чай. «Никогда не пивал больше двух, а теперь выпью третью, — сказал он самым ласковым голосом, — как-то чай кажется лучше». В самом деле, Софья Николавна все делала с таким удовольствием, что оно просвечивалось на ее выразительном лице и не могло не сообщиться восприимчивой природе Степана Михайлыча, и стало у него необыкновенно весело на душе. Он заставил выпить невестку другую чашку и даже съесть домашний крендель, печеньем которых долго славились багровские печеи. Чай убрали; начались разговоры, самые живые, одушевленные, искренние и дружелюбные. Софья Николавна дала полную волю своим пылким чувствам, своему увлекательному красноречию — и окончательно понравилась старику. Посреди такой приятной беседы вдруг он спросил: «А что муж? спит?» — «Алексей просыпался, когда я уходила; но я велела ему еще соснуть», — с живостью отвечала Софья Николавна. Старик сильно наморщился и на минуту замолчал. «Послушай, милая моя невестушка, — сказал он подумавши, без гнева, но с важностью, — ты такая умница, что я скажу тебе правду без обиняков. Я не люблю ничего держать на душе. Послушаешь — ладно, не послушаешь — как хочешь: ты мне не родная дочь. Мне не по нутру, что ты называешь мужа Алексей; у него есть отчество. Ты ему не мать, не отец. Ведь ты и

слугу стала бы звать Алексей. Жена должна обходиться с мужем с уваженьем; тогда и другие станут его уважать. Не понравилось мне тоже, что ты вчера за подарками его посылала и что он стоял с подносом, как лакей. Вот и сейчас ты сказала, что *велела* ему соснуть. Повелевать жене не приходится, а то будет худо. Может, это у вас так в городе ведется; но по-нашему, по-старинному, по-деревенскому, — все это никуда не годится». С почтеньем слушала Софья Николавна. «Благодарю вас, батюшка, — сказала она так искренне, с таким внутренним чувством, что каждое слово доходило до сердца старика, — благодарю вас, что вы не потаили от меня того, что вам было неприятно. Я не только с радостью исполню вашу волю, я и сама понимаю теперь, что это точно нехорошо. Я еще молода, батюшка. Меня некому было поучить: отец мой шестой год лежит в постели. Я переняла такое обращенье с мужем у других. Вперед этого никогда не будет не только при вас, но и без вас. Батюшка, — продолжала она, и крупные слезы закапали из ее глаз, — я полюбила вас, как родного отца; поступайте со мной всегда, как с родной дочерью; остановите, побраните меня, если я провинюсь в чем-нибудь, и простите, но не оставляйте на сердце неудовольствия. По молодости, по горячности моей я могу провиниться на каждом шагу; вспомните, что я в чужой семье, что я никого не знаю и что никто не знает меня; не оставьте меня...» Она бросилась на шею к свекру, у которого также глаза были полны слез, она обняла его точно, как родная дочь, и целовала его грудь, даже руки. Свекор не отнял их и сказал: «Ну, так ладно!» У Степана Михайлыча была чуткая природа, мы уже знаем это; он безошибочно угадывал зло и безошибочно привлекался к добру. С первого взгляда понравилась ему невестка, а теперь он понял, оценил и вполне ее полюбил навсегда. Многим опытам была впоследствии подвергнута эта любовь, всякий бы другой поколебался, но он устоял до последнего своего вздоха.

Вскоре явился Алексей Степаныч, а вслед за ним и вся семья. Дочери давно посылали Арину Васильевну, но она не смела прийти, потому что слова Степана Михайлыча «никого не будить» равнялись запрещенью

приходить. Она и теперь пришла только потому, что старик приказал Мазану позвать всех. Не видно было следов слез на лице Софьи Николавны, и она встретила свекровь и золовок с особенною ласкою и предупредительностью. В Степане Михайлыче ничего необыкновенного также не было заметно; но живость и веселость невестки, которую она не умела скрыть, была сейчас замечена двумя средними золовками, и они с ужасом разгадали сущность дела. — Степан Михайлыч решил, что молодым надо объездить родных по старшинству, и потому было положено, что завтра молодые поедут к Аксинье Степановне Нагаткиной, которая и отправилась домой в тот же день после обеда; с ней поехала и Елизавета Степановна, чтоб помочь в хлопотах по хозяйству для приема молодых к обеду. До деревни Нагаткиной считалось пятьдесят верст. Для добрых багровских коней такое расстояние не требовало отдыха, и выезд назначен был в шесть часов утра.

Степан Михайлыч нисколько не скрывал своего расположения к невестке. Он не разлучался с нею и беспрестанно разговаривал: то расспрашивал о семейных ее обстоятельствах, то заставлял рассказывать про ее городскую жизнь; слушал с вниманием и участием, нередко умными и меткими словами обсуживая дело. Софья Николавна с жаром хваталась за его дельные замечания и ясно доказывала, что с ее стороны это было не угодливое поддакиванье образу мыслей старика, но полное пониманье и убежденье в справедливости его слов. В свою очередь и Степан Михайлыч знакомил невестку с прошедшею и настоящею жизнью нового для нее семейства; он рассказывал все так правдиво, так просто, так искренне и так живо, что Софья Николавна, одна способная ценить его вполне, приходила в восхищенье. Она не встречала подобного человека: ее отец был старик умный, нежный, страстный и бескорыстный, но в то же время слабый, подчиненный тогдашним формам приличия, носивший на себе печать уклончивого, искательного чиновника, который, начав с канцелярского писца, дослужился до звания товарища наместника; здесь же стоял перед ней старец необразованный, грубый по наружности, по слухам даже жестокий в гневе, но разумный, добрый,

правдивый, непреклонный в своем светлом взгляде и честном суде — человек, который не только поступал всегда прямо, но и говорил всегда правду. Величавый образ духовной высоты вставал перед пылкой, умной женщиной и заслонял все прошлое, открывая перед нею какой-то новый нравственный мир. И какое счастье: этот человек — ее свекор! От него зависит ее спокойствие в семье мужа и, может быть, даже благополучие в супружеской жизни!

Обед прошел гораздо живее и веселее вчерашнего: невестка сидела попрежнему между свекром и своим мужем, но Арина Васильевна пересела на обыкновенное свое место насупротив Степана Михайлыча. Сейчас после обеда уехали в Нагаткино Аксинья и Елизавета Степановны. Ложась уснуть, по обыкновению, старик сказал: «Ну, Ариша, кажись, бог дал нам славную невестку; ее грешно не полюбить». — «Подлинно так, Степан Михайлыч, — отвечала Арина Васильевна. — Уж если тебе Софья Николавна угодна, так мне и подавно». Старик покосился, но смолчал. Старуха ушла поскорее, чтоб не обмолвиться и чтоб сообщить своим дочерям знаменательные слова Степана Михайлыча, которые и приняты были, как закон, к точному исполнению, по крайней мере по наружности.

Хотя мало спала Софья Николавна в последнюю ночь, но не могла заснуть после обеда. Она опять ходила гулять с своим мужем, по его желанию, в старую березовую грачовую рощу и вниз по реке. Тут не было уже никаких неприятных столкновений. Торжествующая, увлеченная и восхищенная своим свекром, Софья Николавна старалась передать Алексею Степанычу пылкие ощущения, которыми была переполнена ее восприимчивая душа. Подобно всем страстным, восторженным людям, она перенесла некоторую часть качеств, пленивших ее в свекре, на своего молодого, прекрасного друга и любила его в то время больше, чем когда-нибудь. С радостным изумлением слушал одушевленные речи своей красавицы жены Алексей Степаныч и думал про себя: «Слава богу, что они с батюшкой так понравились друг другу: теперь все будет хорошо». Он целовал руки Софьи Николавны, говорил ей, что он счастливейший человек во всей

вселенной и что она такое божество, которому нет равного на свете и которому должны все поклоняться. Он не мог понимать вполне своей жены, не мог чувствовать высказанной глубокой и тонкой оценки высоких качеств Степана Михайлыча и попрежнему оставался только совершенно убежденным, что отец его такой человек, которого все должны почитать и даже бояться. В этот раз Софья Николавна ничего не замечала; она чувствовала и говорила за него сама; она хвалила и березовую кочковатую рощу и глубокую реку; даже о золовках своих отзывалась очень благосклонно.

Проснувшись после обеда, Степан Михайлыч немедленно позвал к себе невестку с мужем и всю свою семью. Давно не видали его таким ласковым и светлым. Хорошо ли он выспался, или на сердце у него было хорошо, — только всякий видел, что старый барин чем-то очень доволен и весел. После отзыва Степана Михайлыча Александра и Елизавета Степановны себя попринудили, а Танюша (все ее так звали) и Арина Васильевна очень охотно стали ласковее и разговорчивее; Каратаеву мигнула Александра Степановна, и он смелее стал повторять последние слова говорящего, хотя бы и не с ним говорили; но мрачный генерал продолжал молчать и смотреть значительно. Семейная беседа сделалась необыкновенно жива и одушевлена. Старику захотелось поранее накушаться чаю, разумеется в тени подле крылечка, и невестка получила исключительное право разливать вечерний чай. Танюша охотно уступила ей свою должность. После чая Степан Михайлыч приказал заложить двое дрог, посадил с собою невестку и в сопровождении всей семьи поехал на мельницу. Надобно сказать, что старик был охотник до мельничного дела и сам занимался им. Жернова мололи, и толчея толкла отлично, хотя амбар был невзрачен и неопрятно покрыт камышом. Хозяин любил похвастаться внутренним устройством своей мельницы и принялся подробно показывать все невестке; он любовался ее совершенным неведением, ее любопытством, а иногда и страхом, когда он вдруг пускал сильную воду на все четыре постава, когда снасти начинали пошевеливаться, покачиваться и постукивать, а жернова быстро вертеться, петь и гудеть, когда

в хлебной пыли начинал трястись и вздрагивать пол под ногами и весь мельничный амбар. Для Софьи Николавны это была совершенная новость, которая нисколько ей не нравилась; но из угождения свекру она всему дивилась, обо всем расспрашивала, всем любовалась. Свекор был очень доволен, долго продержал невестку на мельнице и, когда вышел с нею на плотину, где молодой муж и две золовки удили рыбу, то был встречен общим смехом: старик и невестка были покрыты мукою. Для Степана Михайлыча это было дело обыкновенное; он же, выходя, немножко отряхнулся по привычке и утерся, а Софья Николавна не подозревала, что так искусно и сильно напудрена, и сам свекор расхохотался, глядя на свою невестку; она же смеялась больше всех, шутила очень забавно и жалела только о том, что нет зеркала и что не во что ей посмотреться, хорошо ли она убрана на бал. Видя, что все очень заняты рыбной ловлей, старик повез свою молодую мельничиху (так звал он ее весь этот вечер) вокруг пруда через мост и, обогнув все верховье, все разливы, воротился уже по плотине к тому каузу, около которого удили рыбаки и где спокойно сидела и смотрела на них тучная Арина Васильевна. Везде, где проезжали свекор с невесткой, была грязь, топь; по скверному мостишку едва можно было переехать через реку и еще труднее было пробраться по навозной и топкой плотине; все было не по вкусу Софье Николавне, но, конечно, не мог этого заметить Степан Михайлыч, который не видал ни грязи, ни топи, не слыхал противного запаха от стоячей воды или навозной плотины. Все было им самим заведено, устроено, и все было ему приятно. Солнце садилось, становилось сыро; все весело отправились домой; рыбаки повезли с собой добычу, славных окуней, красноперок и небольших язей. У крыльца ожидал хозяина староста; старик занялся хозяйственными распоряжениями, молодая привела в порядок свой наряд; рыбу между тем сварили, изжарили на сковороде в сметане, а самых крупных окуней испекли в коже и чешуе, и все это за ужином нашли очень вкусным.

Так прошел другой день; разошлись поранее, чтоб молодым завтра пораньше встать и ехать в гости. Александра Степановна, оставшись наедине с матерью и

меньшею сестрою, сбросив с себя тяжкое принужденье, дала волю своему бешеному нраву и злому языку. Она видела, что все погибло, что свекор горячо полюбил невестку, что сбылись ее предсказания, что приворотила старика городская прощелыга и что теперь нечего другого делать, как спровадить молодых поскорее в Уфу и без них приняться уже за какую-нибудь хитрую работу. Досталось и Арине Васильевне и Танюше за то, что они были уже слишком ласковы и что, если б не она, то заворожила бы и их эта модница, эта нищая казачья внучка.

На другой день, точно в шесть часов утра, отправились молодые в Нагаткино на шестерике славных доморощенных лошадей, в аглицкой своей карете. Невестка успела напоить чаем свекра и поехала, обласканная им; он даже перекрестил ее на дорогу, потому что молодые должны были ночевать в гостях. Дорога шла сначала вниз по реке, а потом, перерезав ее и поднявшись в гору, достигала уездного городка Бугуруслана. Не останавливаясь в нем, путешественники наши переехали по мосту реку Большой Кинель и луговою его стороною, ровною и покрытою густой травой, по степной, колеистой, летней дороге, не заезжая ни в одно селенье, побежали шибкой рысью, верст по десяти в час. Алексей Степаныч давно не бывал за Кинелем; зеленая, цветущая, душистая степь приводила его в восхищенье; то и дело стрепета поднимались с дороги, и кроншнепы постоянно провожали экипаж, кружась над ним и залетая вперед, садясь по вехам и оглашая воздух своими звонкими трелями. Алексей Степаныч очень жалел, что с ним не было ружья. — Полная звуков, голосов и жизни степь, богатая тогда всеми породами полевой дичи, так сильно его развлекала, или, правду сказать, так поглощала все его внимание, что он без участия слушал, а отчасти и вовсе не слыхал умных и живых разговоров Софьи Николавны. Она скоро заметила невнимание мужа и призадумалась; потом из веселой сделалась недовольною и, наконец, принялась разговаривать с своей Парашей, которая сидела с ними в карете. Перевалив плоскую возвышенность, как раз к двенадцати часам подкатила карета к деревенскому небольшому дому Аксиньи Степановны, еще менее

багровского похожему на городские дома. Дом стоял на плоском берегу Малого Кинеля и отделялся от него одним только огородом с молодыми овощами, с грядками, изрешеченными белыми лутошками для завивки побегов сахарного гороха, и с несколькими подсолнечниками. Неравнодушно вспоминая и теперь эту простую, бедную местность, которую увидел я в первый раз лет десять позднее, я понимаю, что она нравилась Алексею Степанычу и что должна была не понравиться Софье Николавне. Место голое, пустое, на припеке, на плоском берегу; кругом ровная степь с сурчинами, ни деревца, ни кустика, река тихая, омутистая, обросшая камышом и палочником... Кому же все это понравится? Ничего казистого, великолепного, живописного; но Алексей Степаныч так любил это место, что даже предпочитал его Багрову. Я не согласен с ним, но также очень полюбил тихий домик на берегу Кинеля, его прозрачные воды, его движущиеся течением реки камыши, зеленую степь вокруг и плот, ходивший почти от самого крыльца и перевозивший через Кинель в еще более степную, ковылистую, казалось безграничную даль, прямо на юг!..

Хозяйка с двумя маленькими сыновьями и двухлетней дочерью, с Елизаветой Степановной и ее мужем, встретила дорогих гостей на крыльце. Несмотря, однако, на невыгодную наружность деревенских хором, в комнатах было все чисто и опрятно, и даже гораздо чище и опрятнее, чем у Степана Михайлыча. Вообще у «сердечной простоты», как ее называли сестрицы, несмотря на ее вдовье положение, несмотря на присутствие маленьких детей, замечался в доме какой-то прибор и порядок, обличавший исключительно женскую попечительность. Я уже сказал, что Аксинья Степановна была добрая женщина, что она полюбила невестку, и потому очень естественно, что она в качестве гостеприимной хозяйки приняла и чествовала молодых с полным радушием. Это предвидели в Багрове и нарочно отправили Елизавету Степановну, чтоб она по превосходству своего ума и положения в обществе (она была генеральша) могла воздерживать порывы дружелюбия простодушной Аксиньи Степановны; но простая душа не поддалась умной и хитрой генеральше и на все ее настойчивые советы

отвечала коротко и ясно: «Вы себе там как хотите, не любите и браните Софью Николавну, а я ею очень довольна; я, кроме ласки и уважения, ничего от нее не видала, а потому и хочу, чтоб она и брат были у меня в доме мною так же довольны...» И все это она исполняла на деле с искренней любовью и удовольствием: заботилась, ухаживала за невесткой и потчевала молодых напропалую. Зато гордая Елизавета Степановна и даже ее муж, впрочем так натянувшийся к ночи, что его заперли в пустую баню, держали себя гораздо холоднее и дальше, чем в Багрове. Софья Николавна не обращала на них внимания и была увлекательно любезна с хозяйкой и ее маленькими детьми. После обеда немного отдохнули, потом гуляли по Кинелю, перевозились на ту сторону, потом пили чай на берегу реки; предлагали гостье поудить рыбу, но она отказалась, говоря, что терпеть не может этой забавы и что ей очень приятно проводить время с сестрицами. Алексей же Степаныч, обрадованный взаимным дружеским обращением старшей сестры и жены, с увлечением занялся удочками, которыми вся прислуга потешалась и тешила своих молодых господ. Он до самого ужина просидел на берегу Кинеля, забившись в густой камыш, и выудил несколько крупных лещей, которыми изобиловали кинельские тихие воды. Отъезд был назначен также в шесть часов следующего утра; даже хотели выехать поранее, чтобы не заставить Степана Михайлыча дожидаться молодых к обеду; хозяйка же с своей сестрицей-генеральшей положили выехать к вечеру, чтоб ночевать в Бугуруслане, выкормить хорошенько лошадей и на другой уже день приехать в Багрово. Софья Николавна продолжала быть несколько недовольною своим мужем. Несмотря на необыкновенный ум, она не могла понять, как мог человек, страстно ее любящий, любить в то же время свое сырое Багрово, его кочковатые рощи, навозную плотину и загнившие воды; как мог он заглядываться на скучную степь с глупыми куликами и, наконец, как он мог несколько часов не видать своей жены, занимаясь противной удочкой и лещами, от которых воняло отвратительной сыростью. Не могла понять, и потому, когда Алексей Степаныч спешил делиться с нею сладкими впечат-

лениями природы и охоты, она почти обижалась. Впрочем, на этот раз в ней нашлось столько благоразумия, что она не заводила объяснений, не делала упреков: сцена на острове была у ней еще в свежей памяти.

Алексей Степаныч и Софья Николавна проспали спокойно ночь в собственной спальне Аксиньи Степановны, которую она им уступила, устроив все наилучшим образом, как могла и как умела, не обратив никакого внимания на едкие замечания сестрицы-генеральши. Рано поутру молодые уехали получасом даже ранее назначенного срока. На возвратном пути ничего особенного не случилось, кроме того, что Алексей Степаныч несколько менее развлекался степью и куликами и не так уже ахал, когда стрепета взлетали с дороги, и потому внимательнее слушал и нежнее смотрел на свою обожаемую жену. Они приехали в Багрово ранее, чем их ожидали. Стол, однакоже, накрывали, и Александра Степановна успела уже сказать, что «придется батюшке сегодня попозднее обедать, что где же городским людям несколько дней сряду так рано вставать». Старик хорошо понимал музыку этих слов и, к общему изумлению, весело отвечал: «Ну так что ж? мы и подождем дорогих гостей». Все были поражены этими словами. Надобно сказать, что Степан Михайлыч во всю свою жизнь позже двенадцати часов не садился за стол, а если чувствовал особенный аппетит, то приказывал подавать кушанье и раньше и при малейшей медленности или задержке он начинал сильно гневаться. «Так вот какова Софья Николавна, — шептала в уши матери и меньшей сестре Александра Степановна, — для нее можно и подождать с удовольствием! Ну если бы вы, матушка, когда-нибудь опоздали к обеду, возвращаясь из Неклюдова, так досталось бы и вам и всем нам...» Не успела она кончить свое злобное шептанье, сидя с матерью в соседней комнате, как подлетела уже карета к крыльцу, фыркали усталые кони и целовал свою невестку свекор, хваля молодых, что они не опоздали, и звучно раздавался его голос: «Мазан, Танайченок, кушанье подавать!»

День пошел прежним порядком. После вечернего чая Степан Михайлыч, благоволение к невестке которого час от часу увеличивалось, приказал пригнать со степи табун

лошадей, чтоб показать его Софье Николавне, которая как-то между слов сказала, что не имеет понятия о табуне и желала бы его видеть. Табун пригнали на двор, и старик сам водил невестку по двору, показывая ей лучших маток с жеребятами-сосунками, стриганов, лонщаков[1] и молодых меринов, которые в продолжение лета все ходили в табуне на сытном и здоровом подножном корму. Он подарил ей двух отличных бережых кобыл, говоря, что поведет от них завод на ее счастье. Маленькие жеребята очень понравились Софье Николавне, она с удовольствием смотрела на их прыжки и ласки к матерям; за подарок же, разумеется, очень благодарила. «Смотри же, Спирька, — строго наказывал Степан Михайлыч своему главному конюху, — чтоб кобылы Софьи Николавны были сбережены сохранно, а на жеребят положим особые приметы; ушко распорем пониже, а со временем и тавро сделаем с именем молодой барыни. Хоть бы ты была охотница до лошадей, невестынька, — продолжал он, обращаясь к Софье Николавне, — а вот Алексей — вовсе не охотник!» Старик очень любил лошадей и неусыпными трудами, при небольших его денежных средствах, имел уже многочисленный завод и вывел такую породу доброезжих коней, которой удивлялись охотники и знатоки. Степан Михайлыч обрадовался участию Софьи Николавны к конному его заводу, изъявленному ею, конечно, из одного желания угодить свекру, принял ее слова за чистые деньги и повел ее смотреть, как кормят езжалых лошадей, и своих, и гостиных, которых иногда скоплялось немало.

Боясь наскучить моим читателям таким подробным описанием пребывания молодых Багровых у свекра, я скажу только, что следующий, то есть пятый, день был проведен так же, как и предыдущий. По старшинству следовало бы теперь молодым сделать свадебный визит к Ерлыкиным; но деревушка их находилась в ста семидесяти верстах от Багрова, гораздо ближе к Уфе, и так положено было, чтоб молодые заехали к ним на возврат-

---

[1] Стриганами называют годовалых жеребят, потому что им подстригают гривы, чтоб они ровнее и лучше росли. Лонщак — двухлетний жеребенок, третьяк.

ном пути в Уфу. К тому же супруг Елизаветы Степановны, мрачный и молчаливый генерал Ерлыкин, напившись пьян в Нагаткине, запил запоем, который обыкновенно продолжался не менее недели, так что жена принуждена была оставить его в Бугуруслане, под видом болезни, у каких-то своих знакомых. Итак, через день назначено было ехать к Александре Степановне, и она с своим башкиролюбивым супругом отправилась накануне в свою Каратаевку и пригласила, с позволенья отца, старшую и младшую сестру; а Елизавета Степановна осталась дома под предлогом, что у ней больной муж лежит в Бугуруслане, а собственно для назидательных бесед со стариками. Дорога к Каратаевым, которые жили почти в таком же расстоянии от Багрова, как и Нагаткина, то есть немного более пятидесяти верст, шла совершенно в противоположную сторону, прямо на север. С половины пути местность делалась гористою и лесною. — Молодые отправились после раннего завтрака, и как дорога была не ездовита и тяжела, то на полдороге, между Новой и Старой Мертовщины [1] (куда на возвратном пути им надо было заехать), они покормили в поле часа два и к вечернему чаю приехали в Каратаевку. Домишко у любителя башкирцев был несравненно хуже нагаткинского дома: маленькие, темные окна прежде всего бросались в глаза, полы были неровны, с какими-то уступами, с множеством дыр, проеденных крысами, и так грязны, что их и домыться не могли. С каким-то страхом и отвращением вступила Софья Николавна в это негостеприимное и противное жилье. Александра Степановна вела себя надменно, беспрестанно оговариваясь и отпуская разные колкости, как, например: «Мы рады, рады дорогим гостям, милости просим; братец, конечно, не осудит, да только я уж и не знаю, как сестрице Софье Николавне и войти в нашу лачужку после городских палат у своего батюшки. Мы ведь люди бедные, не чиновные и живем по своему состоянию; ведь у нас жалованья и доходов нет». Софья Николавна не оставалась в долгу и отвечала, что всякий живет не столько по своему состоянию, сколько по своему вкусу и что,

[1] Названье деревень.

впрочем, для нее все равно, где бы ни жили и как бы ни жили родные Алексея Степаныча. После ужина молодым отвели для спальни так называемую гостиную, где, как только погасили свечку, началась возня, стук, прыганье, и они были атакованы крысами с такою наглостью, что бедная Софья Николавна не спала всю ночь, дрожа от страха и отвращенья. Алексей Степаныч принужден был зажечь свечу и, вооружась подоконной подставкой, защищать свою кровать, на которую даже вспрыгивали крысы, покуда не была зажжена свеча [1]. Впрочем, Алексей Степаныч не чувствовал ни страху, ни отвращения; для него это была не новость, и сначала его даже забавляли и стук, и возня, и дерзкие прыжки этих противных животных, а потом он даже заснул, с подставкой в руках, лежа поперек кровати; но Софья Николавна беспрестанно его будила, и только по восхождении солнца, когда неприятель скрылся в свои траншеи, заснула бедная женщина. Она встала с головной болью, а хозяйка только подсмеивалась тому, «как негодные крысы напугали Софью Николавну», прибавляя, что они нападают только на новеньких и что хозяева к ним уже привыкли. Аксинья Степановна и Танюша, которая также боялась крыс, не могли, однако, без сожаления смотреть на жалкое и больное лицо своей невестки и изъявляли ей свое участие. Нагаткина даже пеняла Александре Степановне, зачем она не приказала взять обыкновенных предосторожностей, то есть поставить кровать посередине горницы, привязать полог и подтыкать кругом под пуховик; но хозяйка злобно смеялась и говорила: «Жаль, что крысы дорогой гостье носа не откусили». — «Смотри, — отвечала ей Аксинья Степановна, — чтоб не дошло до батюшки и чтоб тебе не досталось».

Деревня Каратаевка была поселена вдоль по скату, на небольшой, из родников состоящей, речке, запруженной в конце селенья и поднимавшей мельницу на один постав. Местоположение было бы недурно, но хозяева и весь быт их были так противны, что и самая местность

---

[1] Невероятное множество крыс продолжало водиться в Каратаевке лет сорок. Я сам испытал их наглые ночные нападения.

никому не нравилась. Каратаев, который в Багрове боялся Степана Михайлыча, а дома боялся жены, иногда и хотел бы полюбезничать с Софьей Николавной, да не смел и только, пользуясь отсутствием супруги, просил иногда у молодой позволения поцеловать ее ручку, прибавляя, по обыкновению, что такой писаной красавицы нигде не отыщешь. При повторении такой просьбы позволения он уже не получил. — Каратаев вел жизнь самобытную: большую часть лета проводил он, разъезжая в гости по башкирским кочевьям и каждый день напиваясь допьяна кумысом; по-башкирски говорил, как башкирец; сидел верхом на лошади и не слезал с нее по целым дням, как башкирец, даже ноги у него были колесом, как у башкирца; стрелял из лука, разбивая стрелой яйцо на дальнем расстоянии, как истинный башкирец; остальное время года жил он в каком-то чулане с печью, прямо из сеней, целый день глядел, высунувшись, в поднятое окошко, даже зимой в жестокие морозы, прикрытый ергаком, насвистывая башкирские песни и попивая, от времени до времени, целительный травник или ставленый башкирский мед. Зачем смотрел Каратаев в окошко, перед которым лежало пустое пространство двора, пересекаемое вкось неторной тропинкой, что видел, что замечал, о чем думала эта голова на богатырском туловище, — не разгадает никакой психолог. Нарушалось, правда, иногда созерцание философа: проходила козырем по дорожке из людской в скотную избу полногрудая баба или девка, кивал и мигал ей Каратаев и получал в ответ коротко знакомые киванья и миганья... но женский образ исчезал на повороте как призрак, и снова глядел Каратаев в пустую даль.

Софья Николавна не знала, как вырваться из этой берлоги, и после раннего обеда, в продолжение которого стояли уже лошади у крыльца, молодые сейчас распростились и уехали. На прощанье хозяйка, целуясь с золовкой в обе щеки и в плечи, выразительно благодарила за приятнейшее посещение, и не менее выразительно благодарила невестка за приятнейшее угощение.

Оставшись в карете с мужем, Софья Николавна дала волю своей досаде. Простодушная Аксинья Степановна без намеренья выболтала ей, что хозяйка с умыслом не

взяла предосторожностей от крыс, и молодая женщина, удержавшись от вспышки в доме своей недоброхотки, не совладела с своей вспыльчивой природой: она позабыла, что в карете сидит Параша, позабыла, что Александра Степановна родная сестра Алексею Степанычу, и не поскупилась на оскорбительные выражения. Алексей Степаныч, по доброте своего сердца и прямодушию, не мог поверить умыслу со стороны своей сестры, видел в этом одну недогадливость и обиделся выражениями Софьи Николавны, которых, сказать по правде, нельзя было извинить ни в каком случае. Молодой муж в первый раз осердился на свою молодую жену, сказал, что ей стыдно так говорить, отвернулся и замолчал. В таком расположении духа приехали они в Старую Мертовщину, где жила в то время замечательно умная старуха Марья Михайловна Мертвая,[1] дочь которой, Катерина Борисовна (большая приятельница Софьи Николавны), недавно вышедшая замуж за сосланного в Уфу правительством и овдовевшего там П. И. Чичагова, совершенно неожиданно для молодых Багровых находилась тут же с своим мужем. Софья Николавна, которая любила Чичагова не меньше, чем свою приятельницу, была так обрадована этой нечаянностью, что позабыла всю свою досаду и сделалась очень жива и весела; но Алексей Степаныч остался печален и молчалив, что было замечено всеми.

История и вторичная женитьба Чичагова — целый роман, и я расскажу его как можно короче; расскажу потому, что мы впоследствии будем встречаться с этим семейством и особенно потому, что оно имело некоторое влияние на жизнь молодых Багровых. П. И. Чичагов был необыкновенно умный, или, справедливее сказать, необыкновенно остроумный, человек; он получил по-тогдашнему блестящее и многостороннее образование, знал несколько языков, рисовал, чертил (т. е. знал архитектуру), писал и прозой и стихами. В поре пылкой молодости влюбился он в Москве в девицу Римско-Корсакову и для получения ее руки решился на какой-то непростительный обман, который открылся уже после

---

[1] Впоследствии правительство позволило изменить это страшное слово, и сыновья ее стали называться Мертваго.

брака, за что и был Чичагов сослан на жительство в Уфу. Жена его скоро умерла; он через год утешился, влюбился в Катерину Борисовну и увлек ее своей любезностью, веселостью, образованностью и умом; наружность же его была очень некрасива, влюбиться в нее было невозможно. Катерина Борисовна была девушка взрослая и с твердым характером; мать и братья не могли с ней сладить и выдали за Чичагова, который впоследствии был прощен, но не имел права выезжать из Уфимской губернии. Софья Николавна любила его вдвойне: за то, что он был мужем, страстно любимым, ее приятельницы, и, вероятно, еще более за то, что он был умен и образован. Старуха Марья Михайловна задумала переехать на житье в деревню, и Чичагов с женой приехали именно затем, чтобы помогать ей строить дом и церковь. Софья Николавна, уже с неделю прогостившая в семействе своего мужа и сестер, обрадовалась Чичаговым, как светлому празднику; пахнуло на нее свежим воздухом, отдохнули ее душа и живой ум, и она проговорила с друзьями чуть не до полночи. Алексей Степаныч просидел бы в безмолвном уединении, если б разумная старуха хозяйка не смекнула делом и не заняла гостя приличными разговорами; после ужина он простился, однако, с хозяевами и ушел спать в отведенную для гостей комнату. Софья Николавна нашла его уже крепко спящим, а на другой день рано поутру, не беспокоя хозяев, они уехали в Багрово.

Дорогой Алексей Степаныч продолжал дуться и молчать; даже на все прямые вопросы Софьи Николавны он отвечал так холодно и односложно, что она перестала говорить с ним. По ее живому и нетерпеливому нраву это ей было очень тяжело; а как она не хотела заводить объяснений при Параше и решилась отложить их до послеобеденного отдыха, когда она останется одна с мужем, то и завела она разговоры с своей горничной, вспоминая про уфимское житье. Алексей Степаныч забился в угол кареты и заснул или притворился спящим. Так приехали они в Багрово часа за два до обеда. Степан Михайлыч видимо обрадовался невестке и даже сказал, что соскучился по ней. «Нет, — прибавил он, — не надо вам с Алешей долго здесь оставаться, а то я привыкну

к тебе, невестынька, да, пожалуй, еще и скучать стану». Степан Михайлыч заставил Софью Николавну рассказать все подробно об ее поездке. Он знал Марью Михайловну, очень хвалил ее и сказал, что завтра пошлет звать ее с зятем и дочерью откушать хлеба и соли у молодых, для чего и назначил следующее воскресенье, до которого оставалось четыре дня. «Послезавтра съездите вы к Кальпинским и Лупеневским, — говорил старик, — и также позовете их в воскресенье, а там, дня через три, и бог с вами! поезжайте в Уфу, к своим местам. Сват Николай Федорыч никогда не расставался с тобой (тут он обратился к невестке) и, чай, больно по тебе соскучился, а ты, чай, и подавно стосковалась по больном старике».

Степан Михайлыч скоро догадался, что в эту поездку произошло что-нибудь неприятное. Продолжая разговаривать, он спросил: «Ну что, рады ли вам были хозяева в Каратаевке?» Разумеется, отвечали, что были очень рады, но Софья Николавна между слов упомянула, что она не спала там всю ночь от крыс. Старик удивился. Он всего один раз, и то очень давно, был в Каратаевке и ничего подобного не слыхал. «Так, так, батюшка Степан Михайлыч», — простодушно воскликнула Арина Васильевна. Напрасны были запретительные знаки Елизаветы Степановны: старуха не успела заметить их, за что ей потом крепко досталось от дочек. «Там такие крысы, — продолжала она, — что ужасть; без полога и спать нельзя». — «А вы спали без полога?» — спросил старик изменившимся и каким-то зловещим голосом. Должны были отвечать, что спали без полога. «Хороша хозяйка!» — сказал он и так поглядел на жену и на дочь-генеральшу, что у них мороз пробежал по коже.

Каратаевы и Нагаткина с Танюшей еще не воротились: они должны были приехать к вечернему чаю. Обед прошел невесело. Все были смущены, и всякий имел свои причины. Арина Васильевна с Елизаветой Степановной чуяли приближающуюся грозу и боялись, что гром упадет и на них. Давно не гневался Степан Михайлыч: тем страшнее казался ожидаемый гнев, от которого они поотвыкли. Софья Николавна заметила, что свекор нахмурился. Она была бы не прочь, если бы он припугнул

свою дочку, которую она терпеть не могла как явного своего врага, но опасалась, чтоб ей самой тут же как-нибудь не досталось. Она, конечно, проговорилась о крысах, не имея никакого дурного намеренья; она не думала, чтоб свекор обратил на это обстоятельство особенное вниманье и придал ему такую важность. Впрочем, у Софьи Николавны лежал свой камень на сердце: она еще не решилась и не знала, как поступить с мужем, который осердился в первый раз за обидные слова об Александре Степановне: дожидаться ли, чтоб он сам обратился к ней, или прекратить тягостное положение, испросив у него прощенья и своей любовью, нежностью, ласками заставить его позабыть ее проклятую вспыльчивость? И, конечно, она точно бы так поступила, потому что любила горячо, пламенно своего молодого, доброго, кроткого, любящего мужа. Она строго осуждала себя. Она должна была все предвидеть, ко всему быть готовой. Она знала, что Алексей Степаныч не задумается умереть за нее, но что нежного, постоянного вниманья, полного пониманья всего, что может огорчить ее, всех мелочей жизни от него не должно требовать и нельзя ожидать. Но что же ей делать с своей кипучею кровью, с своими тонкими, блажными нервами, с своей живой, увлекающейся головой, с своей чувствительной, восприимчивой душою?.. Так думала, так чувствовала бедная женщина, ходя из угла в угол по своей спальне, куда ушла она после обеда и где дожидалась мужа, которого на дороге задержала мать, позвав к себе в комнату. Минуты казались ей часами. Мысль, что Алексей Степаныч нарочно медлит, не желая остаться с ней наедине, избегая объяснений; мысль, что она, не облегчив своего сердца, переполненного разными мучительными ощущениями, не примирившись с мужем, увидится с ним в присутствии враждебной семьи и должна будет притворяться целый вечер, эта мысль сжимала ее сердце, бросала ее в озноб и жар... Вдруг растворилась дверь, и Алексей Степаныч, уже не робкий и печальный, а смелый и даже раздраженный, входит решительными шагами и сам начинает укорять свою жену, зачем она нажаловалась батюшке и прогневала его на сестрицу Александру Степановну!.. «Теперь все дрожат и плачут, и

богу только одному известно, что из этого выйдет», — говорил Алексей Степаныч, полный тем, что сейчас надули ему в уши мать и Елизавета Степановна. «Перемутить да перессорить семью своего мужа не хорошо, грешно. Ведь я рассказывал тебе, каков бывает батюшка в гневе, а ты, все это зная и видя, что он тебя полюбил, воспользовалась...» Терпенье Софьи Николавны лопнуло, голова вспыхнула, любовь замолчала, сожаленья, раскаянья как будто никогда не бывало, и увидел бедный муж, что не один Степан Михайлыч может приходить в гнев... Неотразимый поток жалоб, обвинений, упреков хлынул на него... И Алексей Степаныч был смят, уничтожен, виноват без оправданья, чуть не злодей в его собственных глазах... И стоя на коленях, обливаясь слезами, вымаливал он прощенья у ног Софьи Николавны... И не Алексей Степаныч не устоял бы против этого пламенного взрыва ума, чувства, огня сердечного убежденья и чудного дара говорить! И совершенно правый человек, гораздо потверже Алексея Степаныча, на ту минуту признал бы себя виноватым перед молодой, прекрасной, любимой женщиной... Алексей же Степаныч, конечно, был неправ.

В спальне молодых утихала гроза, а на другом конце дома, в небольшой горнице Степана Михайлыча, только что начиналась. Старик проснулся. Сон не умирил его духа, не разгладил морщин на крутом его лбе; мрачен сидел он несколько времени поперек своей кровати и вдруг крикнул: «Мазан!..» Мазан давно лежал на двери, смотрел в щелку и, по обыкновению, сопел без милосердия. Он поставлен был дозором, а вся семья в страхе ожиданья сидела в зале. Мазан, закричав во все горло: «Чего изволите?» точно вломился в дверь. «Приехала Александра Степановна?» — «Изволили приехать». — «Позвать ко мне!» И в ту же минуту вошла Александра Степановна, потому что мешкать в таких случаях было всего опаснее. «А как это ты, сударыня, — начал старик знакомым и страшным ей голосом, — брата и невестку крысами стравила?» — «Виновата, батюшка, — смиренно отвечала Александра Степановна, у которой подогнулись колена и страх подавил ее собственный бешеный нрав,— нарочно положила их в гостиной, да не догадалась по-

лога повесить. В хлопотах да в радости из ума вон...» — «Ты с радости не догадалась! да разве я тебя не знаю? да как ты осмелилась сделать это супротив брата, супротив меня? Как осмелилась осрамить отца на старости?..» Может быть, дело бы тем и кончилось, то есть криком, бранью и угрозами или каким-нибудь тычком, но Александра Степановна не могла перенесть, что ей достается за Софью Николавну, понадеялась, что гроза пройдет благополучно, забыла, что всякое возраженье — новая беда, не вытерпела и промолвила: «Понапрасну терплю за нее». Новый, страшнейший припадок гнева овладел Степаном Михайлычем, того гнева, который не проходил даром и оканчивался страшными, отвратительными последствиями... Уже готово было сорваться с языка страшное слово... Но Арина Васильевна, вдова Нагаткина и Танюша, стоявшие за дверью, видя беду, отважились войти в горницу к Степану Михайлычу. Они бросились в ноги старику и завопили голосом. Каратаев, с ними же стоявший, убежал в рощу и, схватив палку, обивал, ломал невинные березовые сучья, вымещая на них за свою жену. Елизавета Степановна не осмелилась даже войти, чувствуя, что у самой совесть не чиста, и зная, что отец хорошо это понимает. «Батюшка, Степан Михайлыч! — голосила Арина Васильевна, — воля твоя святая, делай что тебе угодно, мы все в твоей власти, только не позорь нас, не срами своего рода перед невесткой; она человек новый, ты ее до смерти перепугаешь...» Вероятно, эти слова образумили старика. Помолчав с минуту, он оттолкнул ногой Александру Степановну и закричал: «Вон! и не смей показываться на глаза, покуда не позову!» Никто не дожидался дальнейших приказаний; в одну минуту горница опустела, и все стало тихо вокруг Степана Михайлыча, у которого еще долго темны и мутны были голубые зрачки глаз, долго тяжело он дышал и грудь его высоко подымалась, потому что он сдержал свое бешенство, не удовлетворил своему разгоревшемуся гневу.

Давно кипел самовар на столе в гостиной, но не в тени у крылечка, потому что на дворе было сыро; дождь только что перестал лить как из ведра. Природа точно сочувствовала происходившему в доме Багровых.

С самого обеда две тучи, одна другой чернее, сошлись посередине неба и долго стояли на одном месте, перебрасываясь огнями молний и потрясая воздух громовыми ударами. Наконец, все это разрешилось дождевым ливнем, тучи провалили на восток, и яркое солнце открылось на западе. Свежее, ароматнее стали луга и леса, громче, веселее запели птицы... Но не так бывает после грозы страстей человеческих!

Арина Васильевна с дочерьми, кроме Александры Степановны, которая сказалась больною, и зятем Каратаевым (Ерлыкин еще не возвращался под предлогом болезни) собрались в гостиную. Степан Михайлыч спросил чаю к себе в горницу и приказал сказать, чтоб никто не ходил к нему. У молодых была заперта дверь; но, подождав их несколько времени, решились постучаться; они сейчас вышли, и хотя Софья Николавна была, повидимому, весела, а Алексей Степаныч в самом деле был веселее, чем прежде, но не трудно было догадаться по их лицам, что между ними произошло что-нибудь необыкновенное. О совершившихся событиях в горнице Степана Михайлыча они ничего не знали. Что же касается до Арины Васильевны с дочерьми, то они похожи были на людей, которых только что вытащили из воды или выхватили из огня. Жаль, что некому было наблюдать, а то все эти лица, без сомнения, представляли богатую и разнообразную мимическую картину. Разговоры не клеились и шли очень вяло. Отсутствие Степана Михайлыча и Александры Степановны было слишком подозрительно, и Софья Николавна под каким-то предлогом ушла в свою спальню, позвала Парашу — и загадка объяснилась. В девичьей знали всю подноготную: во-первых, Мазан и Танайченок слышали всю историю, а во-вторых, и старая барыня и молодая барышня привыкли все сообщать своим прислужницам; следовательно Параша могла сделать своей барыне точное и подробное донесенье. Софья Николавна очень перетревожилась. Она никак не ожидала таких страшных последствий, очень раскаивалась в том, что сказала свекру о проклятых крысах, и очень искренне сожалела об Александре Степановне. Воротясь в гостиную, она просила позволенья у свекрови навестить больную сестрицу, но ей отвечали,

что она спит. Покуда уходила Софья Николавна, успели рассказать Алексею Степанычу обо всем. В девять часов кое-как поужинали и сейчас разошлись по своим углам. Оставшись наедине с мужем, Софья Николавна в волнении и слезах бросилась к нему на шею и с глубоким чувством раскаянья вновь просила у него прощенья, обвиняя себя гораздо более, чем была в самом деле виновата. Алексей Степаныч не понял прекрасного источника этой сердечной муки, этих искренних слез своей молодой жены. Ему только жалко было смотреть, как она убивалась понапрасну, и он старался ее утешить, говоря, что, слава богу, все кончилось благополучно, что они к этому привыкли, что завтра батюшка проснется весел, простит сестрицу Александру Степановну, что все пойдет по-прежнему прекрасно. Он только упрашивал Софью Николавну, чтоб она ни с кем не объяснялась и не просила прощенья в своей невольной вине, что она хотела сделать, и советовал не ходить к батюшке завтра поутру до тех пор, покуда он сам не позовет. Яснее чем когда-нибудь поняла Софья Николавна своего мужа и огорчилась до глубины души... Он проспал всю ночь преспокойно, — она всю ночь не спала.

Степан Михайлыч тяжело перенес припадок гнева, да и совестно ему было против невестки, которая могла узнать о случившемся. Прямому его сердцу противен был всякий низкий и злонамеренный поступок, а тут в поступке дочери он еще видел нарушение своих прав и власти. Он чуть не захворал: не ужинал, не сидел на своем крылечке, даже старосты не видал, а передал ему приказания через слуг. Благодатный мрак ночи, уясняющий наше внутреннее зрение, тишина, а потом сон, раздаватель благ и умиритель тревог, произвели, однако, свое благотворное действие. На следующий день, рано поутру, Степан Михайлыч призвал Арину Васильевну и велел ей передать его приказание дочерям, — разумеется, оно непосредственно относилось к Александре и отчасти к Елизавете Степановне, — «чтоб и виду не было никакого неудовольствия и чтоб невестка ничего заметить не могла». Через несколько времени подали самовар, позвали всю семью и молодых; Арина Васильевна, по счастью, успела через сына попросить свою

невестку, чтоб она развеселила свекра, который, дескать, не совсем здоров и как-то невесел, и невестка, несмотря на проведенную ночь без сна, несмотря на то, что на сердце у ней было нерадостно, исполнила как нельзя лучше желание свекрови, которому, конечно, сочувствовали все и всех больше сама Софья Николавна.

Софья Николавна была удивительная женщина! Ее живая, восприимчивая, легко волнуемая природа могла мгновенно увлекаться порывами ума или сердца и мгновенно превращаться из одного существа в другое, совершенно непохожее на первое. Впоследствии называли это свойство притворством — и грубо ошибались. Это была какая-то артистическая способность вдруг переселяться в другую сферу, в другое положение, поддаваться безусловно своей мысли и желанью, вполне искреннему и потому всех увлекающему. Мысль и желание успокоить встревоженного свекра, которого она горячо полюбила, который за нее вступился, за нее встревожился, за нее расстроился в здоровье; мысль успокоить мужа и его семью, напуганную и обиженную за нее, по милости ее невоздержного языка, так безгранично овладела живым воображением и чувствами Софьи Николавны, что она явилась каким-то чудным, волшебным существом, и скоро покорилось неотразимому обаянью все ее окружавшее. Она сама разливала чай; сама успевала подавать чашки сначала свекру, а потом свекрови и даже другим. Со всеми успевала говорить, и так ловко, так кстати, так весело, что свекор совершенно поверил, что она ничего вчерашнего не знала, поверил — и сам развеселился. Его веселость также имела сообщительное свойство, и через час не было уже заметно следов вчерашней бури.

Прямо из-за обеда молодые отправились с свадебными визитами в Неклюдово к Кальпинским и в Лупеневку (в двух верстах от Неклюдова) к знакомой нам Ф. И. Лупеневской. В Неклюдове жил Илларион Николаевич Кальпинский с женою своею Катериной Ивановной. Это был человек в своем роде очень замечательный, не получивший никакого научного образования, но очень умный и начитанный, вышедший из простолюдинов (говорили, что он из мордвы), дослужившийся до чина на-

дворного советника и женившийся по расчету на дочери деревенского помещика и старинного дворянина. В настоящее время он предался хозяйству и жадно копил деньги. Кальпинский имел претензию быть вольнодумцем и философом; его звали вольтерьянцем, разумеется те, которые слыхали о Вольтере. В семействе своем он жил уединенно и отдельно, предоставляя себе полную свободу к удовлетворению своих нестрогих наклонностей и вкусов. Софья Николавна слыхала о нем, но никогда его не видала, потому что он служил в Петербурге и недавно был переведен прямо в Оренбург. Она очень удивилась, найдя в нем умного, по-тогдашнему образованного человека и щеголевато одетого по городской моде. Сначала такая неожиданность была для нее приятна, но скоро кощунство и нравственный цинизм в семейных отношениях, которыми хозяин не замедлил пощеголять перед городской красавицей, поселили в ней отвращение к нему, сохранившееся навсегда. Супруга его в нравственных качествах ничем не отличалась от своей сестрицы Лупеневской, но была несравненно ее умнее. Посидев с час времени у Кальпинских, молодые отправились к Лупеневской, где также пробыли с час. В обоих домах кушали чай и домашнее варенье, приправляемые такими разговорами, которые приводили в ужас Софью Николавну. Оба семейства были приглашены на обед в воскресенье. По необъяснимой странности некоторых духовных явлений, иногда поразительных по своей непоследовательности, Ф. И. Лупеневская с первого взгляда чрезвычайно полюбила Софью Николавну и, провожая ее, наговорила уже таких любезностей, от которых надобно было или краснеть, или хохотать; но тем не менее они выражали горячее сочувствие и даже увлеченье. За час до ужина воротились молодые домой и были встречены Степаном Михайлычем, на известном крылечке, с необыкновенным радушием и удовольствием. Особенно забавляло Степана Михайлыча, что Флена Ивановна горячо полюбила его невестку, беспрестанно ее целовала и говорила, что она ей родная по *душеньке*, распрелюбезная сестрица. Даже после ужина, вопреки обыкновенью, опять всей семьей перешли на крылечко, посидели и весело поболтали с стариком в

ночной прохладе, под звездным небом, при слабом беловатом свете потухающей зари, что любил Степан Михайлыч, сам не зная почему.

Остальные два дня до воскресенья, то есть до дня торжественного свадебного обеда, какого никогда еще не бывало в Багрове, прошли без замечательных событий. Ерлыкин воротился из Бугуруслана желтый и больной, каким всегда бывал после запоя. Степан Михайлыч знал несчастную слабость, или болезнь, своего зятя и лечил его какими-то отвратительными настойками, но безуспешно. В трезвенном состоянии Ерлыкин имел сильное отвращение от хмельного и не мог поднести ко рту рюмки вина без содроганья; но раза четыре в год вдруг получал непреодолимое влеченье ко всему спиртному; пробовали ему не давать, но он делался самым жалким, несчастным и без умолку говорливым существом, плакал, кланялся в ноги и просил вина; если же и это не помогало, то приходил в неистовство, в бешенство, даже посягал на свою жизнь. Софье Николавне все это рассказали, она чрезвычайно сожалела о нем, ласково заговаривала, стараясь как-нибудь втянуть его в дружескую беседу, но напрасно: суровый, мрачный и гордый генерал непреклонно молчал. Елизавета Степановна, вместо благодарности, обижалась участьем невестки к деверю и с колкостью давала ей это почувствовать. Степан Михайлыч заметил и сделал строгий выговор умной своей дочери, которая за то еще более невзлюбила свою невестку.

Два раза возил Степан Михайлыч Софью Николавну для прогулки в ржаные и яровые поля, в заповедный лес, называемый *потаенным колком*, и на свои любимые горные родники. Старику казалось, что все это очень занимало и очень нравилось его дорогой невестке, но ей положительно все не нравилось. Одно только поддерживало духовные силы Софьи Николавны: мысль, что она скоро уедет и постарается никогда не заглянуть в Багрово. Если бы кто-нибудь сказал ей, что она будет жить в нем постоянно, до старости, и даже кончит жизнь, она бы не поверила и отвечала бы искренне, что лучше согласна умереть... Но только к тому человек не привыкнет и того не перенесет, чего бог не пошлет!

Наступило воскресенье. Начали к обеду съезжаться гости: приехала из Старой Мертовщины Марья Михайловна, и приехали из Неклюдовщины и Лупеневки Кальпинские и Лупеневские, приехали из Бугуруслана старый холостяк судья и старый же холостяк городничий. Приехала и соседка, маленькая, худенькая, говорливая старушонка Афросинья Андревна (фамилии не помню, да никто и не называл ее по фамилии) из своей деревушки. Это была знаменитая лгунья, которую любил по временам слушать Степан Михайлыч, как слушает иногда с удовольствием детские волшебные сказки и взрослый человек...

Но Афросинья Андревна стоит того, чтоб с нею хоть немного познакомиться. Афросинья Андревна жила некогда по тяжебному делу десять лет в Петербурге; наконец, выиграла тяжбу и переехала в свою деревушку. Она вывезла из Питера множество таких диковинных рассказов, что, слушая их, Степан Михайлыч смеялся до слез. Между прочим, она рассказывала, что была знакома на короткой ноге с императрицей Екатериной Алексевной, и прибавляла в пояснение, что, живя десять лет в одном городе, нельзя же было не познакомиться. «Стою я один раз в церкви, — говорила вдохновенная рассказчица, — обедня отошла. Государыня проходит мимо меня, я низко поклонилась и осмелилась поздравить с праздником, а она, матушка, ее величество, и изволила проговорить: «Здравствуй, Афросинья Андревна! что твое дело? Что ты не ходишь ко мне по вечерам с чулком? Мы бы с тобой от скуки поговорили». С тех пор я и ну ходить всякий день. Познакомилась с придворными. Все во дворце до единого человека меня знали и любили. Куда, бывало, ни пошлют, за какими-нибудь покупками, что ли, придворный лакей уж непременно ко мне заедет и обо всем расскажет. Ну, разумеется, уж всегда поднесешь ему рюмку вина: нарочно для этого всегда штофик держала. Один раз сижу я у окошка, эдак под вечер, вижу, скачет верхом придворный лакей, весь в красном с гербами; немного погодя другой, а там и третий, — я уж не вытерпела, подняла окошко, да и кричу: «Филипп Петрович, Филипп Петрович! Что это вы расскакались, да и ко мне не

заедете?» — «Некогда, матушка Афросинья Андревна, — отвечает лакей, — такая беда случилась, свеч во дворце недостало, а скоро понадобятся». — «Постойте, кричу, да заезжайте ко мне, у меня есть в запасе пять фунтиков, возьмите...» Обрадовался мой Филипп Петрович... Сама ему и свечки вынесла и выручила их из беды. Ну так как же было, батюшка Степан Михайлыч, им не любить меня?»

Степан Михайлыч ко многим особенностям своего нрава присоединял и эту странность, что, будучи заклятым врагом, ненавидя всякую намеренную ложь, даже малейший обман, утайку, очень простительную при некоторых обстоятельствах, — любил слушать безвредное лганье и хвастанье (как он выражался) людей простодушных, предающихся с каким-то увлеченьем, с какой-то наивностью, даже с верою, небылицам своего воображения. Не только в веселом обществе, но даже наедине, если был в хорошем расположении духа, Степан Михайлыч охотно беседовал с Афросиньей Андревной, которая целые часы с жаром рассказывала историю десятилетнего своего пребывания в Петербурге, всю составленную в том же духе, как и приведенный мною маленький образчик.

Теперь обратимся к съехавшимся гостям в Багрово. Что за кафтан был на судье, что за мундир на городничем, и вдобавок ко всему, между двух деревенских чучел в женском платье, то есть между женой и свояченицей, — Кальпинский во французском шитом кафтане, с двумя часовыми цепочками, с перстнями на пальцах, в шелковых чулках и башмаках с золотыми пряжками. Нечего делать, и Степан Михайлыч приоделся, и все родные принарядились. Острый, сатирический ум Чичагова потешался над этой смесью костюмов и особенно над своим приятелем Кальпинским. Ему ловко было это делать, потому что его жена и Софья Николавна, которым он все это говорил, были неразлучны и сидели поодаль. Софье Николавне большого труда стоило не смеяться; она старалась не слушать и убедительно просила Чичагова замолчать, а всего лучше заняться разговорами с достопочтенным Степаном Михайлычем, что он исполнил и в короткое время очень полюбил старика, а старик

полюбил его. Кальпинского хозяин не жаловал и за то, что он *происшедший*, и за то, что он еретик и развратник.

Можно себе представить, что обед был приготовлен на славу. На этот раз Степан Михайлыч отказался от всех исключительно любимых блюд: сычуга, жареного свиного хребта (красная часть) и зеленой ржаной каши. Достали где-то другого повара, поискуснее. О столовых припасах нечего и говорить: поеный шестинедельный теленок, до уродства откормленная свинья и всякая домашняя птица, жареные бараны — всего было припасено вдоволь. Стол ломился под кушаньями, и блюда не умещались на нем, а тогда было обыкновенье все блюда ставить на стол предварительно. История началась с холодных кушаний: с окорока ветчины и с буженины, прошпигованной чесноком; затем следовали горячие: зеленые щи и раковый суп, сопровождаемые по́довыми пирожками и слоеным паштетом; непосредственно затем подавалась ботвинья со льдом, с свежепросольной осетриной, с уральским балыком и целою горою чищеных раковых шеек на блюде; соусов было только два: с солеными перепелками на капусте и с фаршированными утками под какой-то красной слизью с изюмом, черносливом, шепталой и урюком. Соусы были уступка моде. Степан Михайлыч их не любил и называл болтушками. Потом показались чудовищной величины жирнейший индюк и задняя телячья нога, напутствуемые солеными арбузами, дынями, мочеными яблоками, солеными груздями и опенками в уксусе; обед заключился кольцами с вареньем и битым или дутым яблочным пирогом с густыми сливками. Все это запивалось наливками, домашним мартовским пивом, квасом со льдом и кипучим медом. И всё это кушали, не пропуская ни одного блюда, и всё благополучно переносили гомерические желудки наших дедов и бабок! Кушали не торопясь, и потому обед продолжался долго. Кроме того, что блюд было много, и блюд, как мы видели, основательных, капитальных, лакеи, как свои, так и гостиные (то есть приехавшие с гостями), служить не умели, только суетились и толкались друг о друга, угрожая беспрестанно облить кого-нибудь соусом или соком из-под буженины.

Обед был вполне веселый; по правую сторону хозяина сидела Марья Михайловна, а по левую Чичагов, который час от часу более и более нравился Степану Михайлычу и который один в состоянии был оживить самое скучное общество. Подле Марьи Михайловны сидели молодые, подле Софьи Николавны — ее приятельница Катерина Борисовна, возле которой поместился Калыпинский и целый обед любезничал с обеими молодыми дамами, успевая в то же время перекидываться иногда забавным словцом с Алексеем Степанычем и — есть за двоих, вознаграждая себя тем за строгий пост, который добровольно держал дома по своей необыкновенной скупости. Соседом Чичагова был Ерлыкин, который один в целой компании ел мало, пил одну холодную воду, молчал, смотрел мрачно, значительно. Около хозяйки сидели родные племянницы, дочери и прочие гости. После обеда перешли в гостиную, где два стола были уставлены сластями. На одном столе стоял круглый, китайского фарфора, *конфетный прибор* на круглом же железном подносе, раззолоченном и раскрашенном яркими цветами; прибор состоял из каких-то продолговатых ящичков с крышками, плотно вставляющихся в фарфоровые же перегородки; в каждом ящичке было варенье: малинное, клубничное, вишенное, смородинное трех сортов и костяничное, а в середине прибора, в круглом, как бы небольшом соуснике, помещался сухой розовый цвет. Этот конфетный сервиз, который теперь считался бы драгоценной редкостью, прислал в подарок свояку Николай Федорыч Зубин. Другой стол был уставлен тарелочками с белым и черным кишмишем, урюком, шепталой, финиками, винными ягодами и с разными орехами: кедровыми, грецкими, рогатыми, фисташками и миндалем в скорлупе. Встав из-за стола, Степан Михайлыч был так весел, что даже не хотел ложиться спать. Все видели, да он и хотел это показать, как он любит и доволен своей невесткой и как она любит и уважает свекра. Он часто обращался к ней во время обеда, требуя разных мелких услуг: «то-то мне подай, того-то мне налей, выбери мне кусочек по своему вкусу, потому что, дескать, у нас с невесткой один вкус; напомни мне, что бишь я намедни тебе сказал; расскажи-ка нам, что ты

мне тогда-то говорила, я как-то запамятовал...» Наконец, и после обеда: «то поди прикажи, то поди принеси...» и множество тому подобных мелочей, тонких вниманий, ласковых обращений, которые, несмотря на их простую, незатейливую отделку и грубоватую иногда форму, были произносимы таким голосом, сопровождались таким выражением внутреннего чувства, что ни в ком не осталось сомнения, что свекор *души не слышит* в невестке. Не нужно и говорить, с какою любовью и благодарностью отвечала Софья Николавна на все малейшие, для многих неуловимые, разнообразные проявления любви к ней непреклонно строгого свекра. В порыве веселости Степан Михайлыч вытащил было на сцену Лупеневскую и, будто ничего не зная, громко ее спросил: «Что, Флена Ивановна, приглянулась ли тебе моя невестка?» Флена Ивановна с восторгом, удвоенным пивом и наливками, начала уверять, божиться и креститься, что она свою дочь Лизыньку так не любит, как полюбила Софью Николавну с первого взгляда, и что какое счастье послал бог братцу Алексею Степанычу! «То-то же, — сказал ей значительно Степан Михайлыч, — теперь ты другим голосом поешь: так не сбивайся же...» Но в эту минуту Софья Николавна, может быть, не желавшая, чтоб такого рода разговор продолжал развиваться, приступила с убедительными просьбами к свекру, чтоб он прилег отдохнуть хоть на короткое время, на что он согласился. Невестка проводила его, даже сама опустила полог и, получив почетное и лестное ей приказанье, чтоб все гости были заняты и веселы, поспешила к гостям. Кое-кто легли отдохнуть, а все остальные пошли на остров и расселись там в древесной тени, над светлою рекою. Вспомнила Софья Николавна происходившую тут недавно неразумную свою вспышку, вспомнила свои несправедливые упреки мужу, вспомнила, что они надолго его огорчили, — и закипело у нее сердце, и хотя видела она Алексея Степаныча теперь совершенно счастливым и радостным, громко смеющимся какому-то двусмысленному анекдоту Кальпинского, но она увлекла его в сторону, бросилась к нему на шею и со слезами на глазах сказала: «Прости меня, мой друг, и забудь навсегда все, что здесь происходило в день нашего приезда!» Алексей

Степаныч очень был не рад слезам, но поцеловал свою жену, поцеловал обе ее ручки и, добродушно сказав: «Как это ты, душа моя, вспомнила такие пустяки? что тебе за охота себя тревожить?..» — поспешил дослушать любопытный анекдот, очень забавно рассказываемый Кальпинским. Конечно, в сущности нечем было огорчаться, а стало на ту минуту грустно Софье Николавне.

Старик скоро проснулся и приказал всех звать к себе перед крылечко в широкую густую тень своего дома, где кипел самовар; для всех были расставлены кресла, стулья и столы. Невестка разливала чай; явились самые густые сливки с подрумянившимися толстыми пенками, сдобные булки и крендели, и всему этому опять нашлось место в желудках некоторых посетителей. После чая Кальпинские и Лупеневская уехали, потому что им ехать было недалеко, всего пятнадцать верст, и потому что ночевать в доме решительно было негде. Бугурусланские гости также отправились домой.

На другой день поутру уехала Марья Михайловна с Чичаговыми, а после обеда отправились Ерлыкины, чтоб ожидать посещения молодых на возвратном пути в Уфу. В этот же день вечером без церемонии сказал Степан Михайлыч, что пора и *остальным гостям ко дворам* и что он хочет последние дни провести с сыном и невесткой и потолковать с ними без помехи. Разумеется, на другой же день гости разъехались. Александра Степановна простилась так ласково с невесткой, как смогла, а невестка простилась с золовкой с непритворным чувством удовольствия. Свекор точно отгадал ее тайное желание пожить с ним несколько дней без золовок. Она благословляла мысленно догадливого старика. С Аксиньей же Степановной, которую старик звал *добрухой*, и *простухой*, и *майоршей*, когда бывал весел, Софья Николавна простилась с искренним чувством благодарности и родственной любви. Все это видел старик насквозь. Свекровь и Танюша были не помеха, во-первых, потому, что от природы были добрее и лучше расположены к невестке, а во-вторых, потому, что они часто удалялись и оставляли их наедине между собою.

Три дня еще прожили молодые в Багрове в совершенном спокойствии духа, не наблюдаемые беспрестанно

зорким недоброхотством, не смущаемые ни притворными ласками, ни ядовитыми намеками. Утихли легко раздражаемые нервы Софьи Николавны, и она могла с бо́льшим беспристрастием обглядеться вокруг себя, признать и понять особый мир, в котором она находилась. Разумнее, снисходительнее смотрела она на чуждых ей во всех отношениях свекровь и меньшую золовку; с меньшим увлеченьем взглянула на свекра и поняла, из какой среды вышел ее муж; поняла отчасти, что он не мог быть другим человеком и что долго, часто, а может быть и всегда, станут они подчас не понимать друг друга. Последняя мысль слишком легко пролетела у нее в голове, и прежние обольстительные мечты перевоспитанья, перерожденья Алексея Степаныча овладели ее пылким умом. То, что беспрестанно случается в жизни с большею частью молодых женщин, то же происходило и с Софьей Николавной: сознание в неравенстве с собою, сознание в некоторой ограниченности чувств и понятий своего мужа нисколько не мешало ей пламенно и страстно к нему привязываться — и уже начинала мелькать у нее неясная мысль, что он не так ее любит, как может любить, потому что не безгранично предан он любви своей, потому что не ею одною он занят, потому что любит и пруд, и остров, и степь, населенную куликами, и воду с противной ей рыбою. Чувство ревности, еще без имени, без предмета, уже таилось в ее горячем сердце, и темно, смутно предчувствовала она что-то недоброе в будущем. Степан Михайлыч, также до того времени несколько смущаемый собственными постоянными наблюдениями над чувствами и поступками своих дочерей, с бо́льшим спокойствием разглядел свою невестку и даже своего сына. Он был так умен, несмотря на то, что не получил никакого образованья, так тонко понимал, несмотря на то, что выражался грубо, по-топорному, — что почувствовал все неравенство природы этих двух существ и крепко призадумался. Нельзя сказать, чтоб он не радостно смотрел на их теперешнюю взаимную любовь, на эту нежную предупредительность, на это ничем не отвлекаемое, страстное внимание Софьи Николавны к своему мужу, — нет, он веселился, глядя на них, но с примесью какого-то опасенья, с какою-то неполнотою веры в прочность

и продолжительность этого прекрасного явления. Он много, подолгу беседовал с ними, и с обоими вместе, и с каждым порознь. Хотелось бы ему что-то им высказать, на что-то указать, дать какие-то полезные советы; но когда он начинал говорить, то неясно понимаемые им чувства и мысли не облекались в приличное слово, и ограничивался он обыкновенными пошлыми выражениями, тем не менее исполненными вечных нравоучительных истин, завещанных нам опытною мудростью давно живущего человечества и подтверждаемых собственным нашим опытом. Ему было досадно, и он откровенно говорил о том своей умной невестке, которая, однако, не могла понять, что вертелось на уме и таилось в душе у старика. Он говорил своему сыну: «Жена у тебя больно умна и горяча, может, иногда скажет тебе и лишнее; не балуй ее, сейчас останови и вразуми, что это не годится; пожури, но сейчас же прости, не дуйся, не таи на душе досады, если чем недоволен; выскажи ей все на прямые денежки; но верь ей во всем; она тебя ни на кого не променяет». Он говорил также наедине Софье Николавне: «Дорогая невестушка, всем тебя бог не обидел, одно скажу тебе: не давай воли своему горячему сердцу; муж у тебя добрый и честный человек; нрав у него тихий, и ты от него никогда терпеть не будешь никакой обиды; не обижай же его сама. Чти его и поступай с уваженьем. Не станешь почитать мужа, — пути не будет. Что он скажет или сделает не так, не по-твоему, — промолчи, не всяко лыко в строку, не всяка вина виновата. Больно я тебя полюбил, вижу я тебя всю! Ради бога, не переливай через край; все хорошо в меру, даже ласки и угожденья...»

Сын принимал отцовские наставления с привычным благоговеньем, невестка — с пылким и благодарным чувством дочери. Много было и всяких других разговоров: о будущем житье-бытье в Уфе, о дальнейшей службе Алексея Степаныча, о средствах для городской жизни. Обо всем условились обстоятельно, и все были довольны.

Наконец, наступил последний день отъезда. Сняли штофные гардины и занавес, сняли с подушек атласные и кисейные наволочки с широкими кружевами, все это уложили и отправили в Уфу; напекли и нажарили раз-

ных подорожников; привезли того же отца Василья и отслужили молебен «о путешествующих». Послали заготовить лошадей уже не в Нойкино, а в Коровино, за сорок верст, потому что туда должны были довезти их домашние кони: тот же славный шестерик, на котором катались молодые с свадебными визитами. В последний раз отобедали вместе; в последний раз попотчевал Степан Михайлыч свою дорогую невестку любимыми блюдами. Карета стояла уже у крыльца. Встав из-за стола, перешли в гостиную, сели, замолчали. Степан Михайлыч перекрестился и встал; все перекрестились и встали, помолились богу и начали прощаться. Все, кроме Степана Михайлыча, плакали, но и он едва крепился. Благословляя и обнимая невестку, он шепнул ей на ухо: «Порадуй же меня внучком». Софья Николавна покраснела до ушей и молча целовала у старика руки, которых он уже не отнимал. У крыльца стояла вся дворня и почти все крестьяне. Некоторые было вздумали прощаться с молодыми, но Степан Михайлыч не любил прощаний и проводов и закричал: «Куда вы лезете! поклонитесь, да и будет». Только и успела Софья Николавна поцеловаться с Федосьей да с Петром. Проворно сели молодые в свою карету, и, как перышко, подхватили ее с места крепкие кони. Степан Михайлыч, накрыв рукою глаза от солнца, несколько мгновений следил за облаком пыли, стараясь разглядеть в нем улетающий экипаж, и, когда карета выбралась к господскому гумну на крутую гору, воротился в свою горницу и лег почивать.

ПЯТЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ»

ЖИЗНЬ В УФЕ

В первые минуты Софье Николавне было жаль свекра, грустно, что она рассталась с ним: образ старика, полюбившего ее, огорченного теперь разлукою с невесткой, так и стоял перед нею; но скоро мерное покачиванье кареты и мелькающие в окна поля, небольшие перелески, горный хребет, подле которого шла дорога,

произвели свое успокоительное действие, и Софья Николавна почувствовала живую радость, что уехала из Багрова. Радость эта была так сильна, что она не умела скрыть ее, хотя понимала, что для мужа будет это неприятно. Алексей Степаныч был грустен более, казалось ей, чем должно. Может быть, и последовали бы какие-нибудь объяснения, но, слава богу, их не было: мешало присутствие Параши. Быстро прокатилась карета через Нойкино, приветствуемая дружелюбными и веселыми восклицаниями попадавшейся навстречу мордвы; по плохому мосту переехала Насягай, при впадении в него речки Боклы, промелькнула через Полибино и, опять переехав Насягай, наконец достигла Коровина, где ждали наших молодых приготовленные обывательские лошади. Багровские кони должны были несколько часов отдохнуть и выкормиться, чтоб на заре отправиться домой. Софья Николавна запаслась бумагой и чернилицей с пером и написала свекру и свекрови благодарное, горячее письмо, которое, конечно, относилось к одному Степану Михайлычу: он все понял и спрятал письмо в секретный ящик своего небольшого шкафа, где никто его не видал и где через восемь лет, уже после его кончины, нечаянно нашла свое письмо сама Софья Николавна. Лошадей заложили, и молодые, простившись с кучером и форейтором, которым был на этот раз долгоногий Танайченок, отправились в дальнейший путь. Судьба захотела побаловать Софью Николавну: заехать в деревню Ерлыкиных было невозможно. Мост на какой-то глубокой реке, которую, своротив в сторону на Ерлыкино, необходимо следовало переехать, подгнил и развалился; починки его надобно было ожидать очень долго, и молодые Багровы отправились прямо в Уфу. От какого скучного и тягостного посещения избавило это обстоятельство молодую женщину! Подъезжая к Уфе, Софья Николавна предалась исключительно чувству горячей дочерней любви. Больной отец, уже с лишком две недели ее не видавший, тоскующий по ней в одиночестве, на руках нерадивой прислуги, беспрестанно представлялся ее пылкому воображению. Перевоз через реку Белую на дрянном пароме, задержавший путешественников с лишком час, подъем на крутую гору, также очень

медленный, — все это вместе взволновало нервы Софьи Николавны, раздражило ее нетерпеливую природу, и она, приехав, наконец, домой, с лихорадочным волнением подбежала к спальне своего отца и тихо отворила дверь... Старик лежал в обыкновенном своем положении, подле него на самых тех креслах, на которых всегда сидела Софья Николавна, сидел лакей Калмык.

Но об этом Калмыке надобно рассказать подробно. В те времена в Уфимском наместничестве было самым обыкновенным делом покупать киргизят и калмычат обоего пола у их родителей или родственников; покупаемые дети делались крепостными слугами покупателя. Лет за тридцать до рассказываемого мною случая Николай Федорович Зубин купил двух калмычонков, окрестил их, очень полюбил, баловал и, когда они подросли, выучил грамоте и приставил ходить за собою. Оба были умны, ловки и, казалось, очень усердны; но когда поднялась пугачевщина, оба бежали к бунтовщикам. Один вскоре погиб, а другой, особенно любимый господином, по имени Николай, сделался любимцем знаменитого бунтовщика Чики, бывшего в свою очередь любимцем Пугачева. Известно, что шайка бунтующей сволочи долго стояла под Уфою, на другом берегу реки Белой. В ней находился Николай Калмык, уже в каком-то значительном чине. Рассказывали, что он свирепствовал больше всех и особенно грозился на своего господина и воспитателя Зубина. Есть предание, что всякий раз, когда бунтовщики намеревались переправиться через Белую, чтоб завладеть беззащитным городом, им казалось, что множество войска выступало на крутой противуположный берег реки и что какой-то седой старик, с копьем и крестом в руке, на белой, как снег, лошади предводительствовал войском. Всякий раз трусливые шайки бродяг со страхом оставляли свое намерение и, мешкая таким образом, дождались известия, что Пугачев разбит. Разумеется, бунтовщики разбежались во все стороны. Дело пугачевское кончилось. Рассыпавшуюся сволочь перехватали и предали суду. Николай Калмык также был схвачен и приговорен к виселице. Нисколько не ручаюсь за достоверность рассказа, но меня уверяли, что на Калмыка, которого судили в Уфе, была надета уже

петля, но что, по дарованному помещикам праву, Зубин простил своего прежнего любимца и взял его к себе на свое поручительство и ответственность. Калмык, повидимому, раскаялся и старался усердною угодливостью загладить свое преступление. Мало-помалу он вкрался в доверенность своего господина, и когда Софья Николавна, после смерти своей мачехи, вступила в управление домом, она нашла уже Калмыка дворецким и любимцем своего отца, особенно потому, что он был любимцем покойной ее мачехи. Николай Калмык, как человек очень хитрый, сделавший много оскорблений затоптанной в грязь барышне, понимал свое положение и прикинулся кающимся грешником, сваливая все вины на покойницу и обвиняя себя только в рабском исполнении ее приказаний. Великодушная четырнадцатилетняя госпожа, для которой тогда ничего не стоило навсегда удалить Калмыка, поверила его раскаянью, простила и сама упросила отца оставить Николая в прежней должности. Впоследствии она не всегда была им довольна за самовольство его распоряжений и двусмысленную трату денег; она даже замечала, что он втайне был ближе к ее отцу, чем бы она желала; но, видя, как он усердно ходит за больным господином (у которого в комнате всегда спал), как успевает в то же время отлично исполнять должность дворецкого, она довольствовалась легкими выговорами и оставляла Калмыка спокойно укореняться во всех его должностях. Сделавшись невестою, Софья Николавна сама должна была позаботиться о своем приданом, должна была много времени проводить с женихом и, следовательно, менее быть с отцом и менее заниматься хозяйством. Николай Калмык воспользовался благоприятными обстоятельствами и с каждым днем более овладевал больным стариком. Надеясь вскоре избавиться от госпожи и сам сделаться господином в доме, он стал наглее и менее скрывал свою силу. Софья Николавна иногда резко его осаживала и, к сожалению, замечала, что старик постоянно привыкал к своему любимцу и подчинял себя его власти. Последние дни перед свадьбой, первые дни после свадьбы и, наконец, с лишком двухнедельный отъезд в Багрово дали возможность Калмыку вполне овладеть своим почти умирающим

барином, и первый взгляд на сидящего в креслах лакея, чего прежде никогда не бывало, открыл Софье Николавне настоящее положение дел. Она так взглянула на любимца, что он смешался и сейчас ушел. Старик далеко не так обрадовался дочери, как она могла ожидать, и поспешил объяснить, что он сам насильно заставляет иногда Калмыка сидеть возле него на креслах. Софья Николавна, сказав: «Напрасно вы это делаете, батюшка, вы его избалуете и принуждены будете прогнать. Я лучше вас его знаю...» — не вошла в дальнейшие объяснения и поспешила выразить свою сердечную радость, что нашла больного не в худшем положении. Пришел Алексей Степаныч, и старик, растроганный искреннею нежностью своей дочери, искреннею ласковостью своего зятя, взаимною любовью обоих, слушал все их рассказы с умилением и благодарил бога со слезами за их счастие. Софья Николавна с живостью занялась устройством своего житья, взяла себе в доме три совершенно отдельные комнаты и в несколько дней так распорядилась своим помещением, что могла принимать к себе гостей, нисколько не беспокоя больного. Она принялась было попрежнему распоряжаться хозяйством своего отца и уходом за ним, отодвинув Калмыка на второстепенное место главного исполнителя ее приказаний, но всегда ненавидевший ее Калмык уже чувствовал себя довольно сильным, чтоб не побояться открытой борьбы с молодою своею барыней. Удвоив заботливость около старика Зубина, он с неимоверною хитростью умел оскорблять его дочь на каждом шагу, особенно ее смиренного мужа; с ним он был так дерзок, что, несмотря на кроткий и тихий нрав, Алексей Степаныч терял терпенье и говорил своей жене, что оставаться им в таком положении невозможно. Несколько времени Софья Николавна щадила больного старика и думала своими внушениями остановить Николая в пределах сносного приличия; она надеялась на его ум, надеялась на то, что он должен знать ее твердый характер и не решится довести ее до крайности; но злобный азиятец (как его все в доме называли) был заранее уверен в победе и старался вызвать Софью Николавну на горячую вспышку. Он давно уже успел внушить старику, что прежняя барышня,

а теперешняя молодая барыня терпеть не может его, верного Калмыка, и что непременно захочет его прогнать; от таких слов больной приходил в ужас, клялся и божился, что лучше согласится умереть, чем отпустить его. Софья Николавна пробовала в самых ласковых и нежных словах намекнуть отцу, что Калмык забывается перед ней и перед ее мужем и так дурно исполняет ее приказания, что она видит в этом умысел — вывесть ее из терпения. Николай Федорыч приходил в волнение, не хотел ничего слушать, говорил, что он Калмыком совершенно доволен, просил оставить Калмыка в покое и употреблять вместо него другого человека для исполнения ее приказаний. Много, дорого стоило вспыльчивой молодой женщине, привыкшей к полновластному господству в доме своего отца, переносить дерзкие оскорбления от «подлого холопа!» Но она так любила отца, находила такое счастие в том, чтобы ходить за ним, покоить его, облегчать, по возможности, его страдальческое положение, что мысль оставить умирающего старика в полную зависимость негодяя Калмыка и других слуг долго не входила ей в голову. Она укротила свою вспыльчивость и оскорбленную гордость; распоряжалась в доме через другого человека, зная в то же время, что Калмык изменял и переменял все ее распоряжения по своему произволу. Она выпросила у отца приказание, чтоб Калмык не входил в его спальню, покуда она сидит там; но это приказание было вскоре нарушено: под разными предлогами Николай беспрестанно входил в комнату к старику, да и сам больной беспрестанно его спрашивал. Такое мучительное положение тянулось несколько месяцев.

Жизнь свою в уфимском обществе устроила Софья Николавна согласно своему желанию; с приятными для нее людьми она видалась часто, то у себя, то у них; с остальными видалась изредка или считалась церемонными визитами. Алексея Степаныча и прежде все знали, но издали, а теперь люди, близкие с Софьей Николавной, сблизились с ним, полюбили его, и он очень хорошо улаживался в новом своем положении, то есть в избранном обществе Софьи Николавны.

Между тем вскоре по возвращении в Уфу Софья Николавна почувствовала особенного рода нездоровье, изве-

стие о котором привело Степана Михайлыча в великую радость. Продолжение древнего рода Багровых, потомков знаменитого Шимона, было постоянным предметом дум и желаний старика, смущало спокойствие духа, торчало гвоздем у него в голове. Получив вожделенное известие от сына, Степан Михайлыч предался радостной надежде и даже поверил, что у него непременно будет внук. Семья всегда говорила, что он в это время был необыкновенно весел. Он сейчас отслужил молебен за здравие болярыни Софии, простил какие-то долги соседям и своим крестьянам, всех заставлял поздравлять его и поил всякого допьяна. В пылу такой восторженности вдруг вздумалось ему наградить свою чайницу и кофейницу Аксютку, которую он бог знает за что постоянно жаловал. Аксютка была круглая крестьянская сирота, взятая во двор, *на сени*, с семилетнего возраста единственно потому, что ее некому было кормить. Она была очень дурна лицом: рыжая, в веснушках, с глазами неизвестного цвета, и, сверх того, отвратительно неопрятна и зла. За что бы ее любить? А Степан Михайлыч очень ее любил, и не проходило обеда, чтоб он не давал или не посылал со стола подачки своей Аксютке; когда же она стала девкой в возрасте, заставил по утрам наливать себе чай и разговаривал с нею целые часы. В настоящее время Аксютке было уже далеко за тридцать лет. И вот в одно утро, через несколько дней после радостной вести из Уфы, Степан Михайлыч говорит Аксютке: «Что ты, дура, ходишь неряхой? Поди и приоденься хорошенько, по-праздничному; я хочу тебя замуж выдать». Оскалила зубы Аксютка и, считая, что барин балагурит, отвечала: «Ну кто на мне, на сироте, женится? Разве пастух Кирсанка?» Это был известный дурак и урод. Степану Михайлычу стало как будто досадно, и он продолжал: «Уж если я посватаю — женится что ни лучший парень. Пошла оденься и мигом приходи ко мне». В радостном недоумении ушла Аксютка, а Степан Михайлыч велел позвать к себе Ивана Малыша; мы отчасти уже знаем его. Это был двадцатичетырехлетний парень, кровь с молоком, молодец в полном смысле и ростом и дородством, сын старинного усердного слуги, Бориса Петрова Хорева, умершего в пугачевщину от забот, как все думали,

и сухоты при сохранении в порядке вверенных его управлению крестьян Нового Багрова, когда помещик бежал с семьей в Астрахань. Ивана потому звали Малышом, что у него был старший брат также Иван, который прозывался Хорев, по прозвищу своего отца. Иван Малыш вырос перед своим барином как лист перед травой. Степан Михайлыч посмотрел на него, полюбовался и сказал самым милостивым и ласковым голосом, от которого у Малыша жилки задрожали с радости: «Малыш, я хочу тебя женить». — «Ваша господская воля, батюшка Степан Михайлыч», — отвечал душой и телом преданный слуга. «Поди же принарядись и приходи ко мне; да чтоб одна нога там, а другая здесь». Малыш опрометью побежал исполнить барский приказ. Аксютка, однако, пришла первая; она пригладила и примазала свои рыжие волосы коровьим маслом, напялила праздничную кофту с юбкой, обулась в башмаки — и не похорошела! Она не могла удерживаться, и рот ее беспрестанно кривился от радостной улыбки; ей было стыдно оттого, и она закрывала лицо рукою. Степан Михайлыч смеялся. «Что, любо, небось хочется замуж», — говорил он... Соколом влетел Малыш, и мороз подрал его по коже при виде нарядной вороны Аксютки. «Вот тебе невеста, — весело сказал Степан Михайлыч, — она мне хорошо служит, и отец твой мне хорошо служил: я вас не покину. — Ариша, — сказал он, обратясь к только что вошедшей жене, — невесте сшить все приданое из господского добра, и корову ей дать и свадьбу сыграть господским пивом, вином и харчами». Противоречий не было. Свадьбу сыграли. Аксютка без памяти влюбилась в красавца мужа, а Малыш возненавидел свою противную жену, которая была вдобавок старше его десятью годами. Аксютка ревновала с утра до вечера, и не без причины, а Малыш колотил ее с утра до вечера, и также не без причины, потому что одно только полено, и то ненадолго, могло зажимать ей рот, унимать ее злой язык. Жаль, очень жаль! Погрешил Степан Михайлыч и сделал он чужое горе из своей радости.

Я сужу об этой его радости не столько по рассказам, как по его письму к Софье Николавне, которое я сам читал; трудно поверить, чтобы этот грубый человек, хотя

умеющий любить сильно и глубоко, как мы видели, мог быть способен к внешнему выражению самой нежной, утонченной заботливости, какою дышало все письмо, исполненное советов, просьб и приказаний — беречь свое здоровье. К сожалению, я помню только несколько слов из этого письма. «Кабы ты жила со мной, — писал старик между прочим, — я бы не дал на тебя ветру венуть[1] и порошинке сесть».

Софья Николавна умела ценить любовь свекра, хотя понимала в то же время, что половина любви относилась к будущему наследнику, — и обещала свято исполнять его просьбы и приказания. Но трудно было ей сдержать свое обещание. Кроме того, что она принадлежала к числу тех женщин, которые платят за счастие быть матерью постоянно болезненным состоянием, более тягостным и мучительным, чем всякая болезнь, — она страдала душой: отношения к отцу день ото дня становились огорчительнее, а дерзости Калмыка — невыносимее. Алексей же Степаныч, не видя ничего опасного в постоянном нездоровье жены, слыша от других, что это дело обыкновенное, ничего не значит, скоро пройдет, хотя смотрел на нее с сожалением, но не слишком возмущался — и это огорчало Софью Николавну. Что же касается до жизни у тестя, то он попривык к ней: избегал встречи с Калмыком, занимался усердно своею должностью в Верхнем земском суде, где скоро надеялся быть прокурором, и довольно спокойно дожидался перемены в своем положении: это также не нравилось Софье Николавне. Так тянулось время несколько месяцев, как я уже сказал — тянулось невесело для всех.

Но Калмык не довольствовался таким положением дел. Он шел к развязке. Видя, что Софья Николавна побеждает свое справедливое негодование и свою горячность, он решился вывесть ее из терпения; ему было нужно, чтоб она вспылила и пожаловалась отцу, которого он предупреждал не один раз, что ожидает каждую минуту жалобы на себя от Софьи Николавны и требования удалить его из дома. Не дожидаясь никакого особенного случая, никакого повода, Калмык, в присутствии

---

[1] То есть повеять ветру.

слуг, в двух шагах от молодой барыни, стоявшей у растворенных дверей в другой соседней комнате, прямо глядя ей в глаза, начал громко говорить такие дерзкие слова об ней и об ее муже, что Софья Николавна была сначала изумлена, ошеломлена такою наглостью; но скоро опомнившись и не сказав ни одного слова Калмыку, бросилась она к отцу и, задыхаясь от волнения и гнева, передала ему слышанные ею, почти в лицо сказанные его любимцем, дерзости... Следом за нею вошел Калмык и, не дав ей даже кончить, кукся глаза и крестясь на образ, с клятвою начал уверять, что все это клевета, что он никогда ничего подобного не говаривал и что грех Софье Николавне губить невинного человека!.. «Слышишь, Сонечка, что он говорит», — встревоженным голосом произнес больной... Софья Николавна, пораженная до глубины души, забыла свою великодушную решимость, забыла, что может уморить от испуга старика, и так крикнула на его любимца, что он должен был уйти. Сказав отцу: «После такой обиды, батюшка, я с Калмыком не могу жить в одном доме. Выбирайте, кого выгнать: меня или его», — как безумная выбежала она из комнаты больного. Старику сделалось дурно. Калмык поспешил к нему на помощь; когда же, после обыкновенных в таких случаях медицинских средств, Николай Федорыч оправился, он беседовал долго с своим любимцем и, наконец, велел позвать к себе дочь. «Сонечка, — сказал он с возможною для него твердостью и спокойствием, — я не могу, по моей болезни и слабости, расстаться с Николаем; я им живу. Вот деньги, купите себе дом Веселовских». — Софья Николавна упала в обморок и была отнесена в свою комнату.

Так вот какой имела исход эта нежная, взаимная любовь отца и дочери, скрепленная, казалось, неразрывными узами временного охлаждения, произведенного покойною Александрой Петровной, потом раскаянием и благодарностью со стороны виновного отца и пламенною безграничною горячностью невиноватой дочери, забывшей все прежние оскорбления, — дочери, которая посвятила свою жизнь больному старику, которая вышла замуж именно за такого человека и с таким условием, чтоб он не разлучал ее с отцом!.. И когда же она расстается с ним?.. когда доктора не ручались уже и за

месяц его жизни. Доктора ошибались в своем предсказании точно так, как ошибаются они и теперь: больной прожил еще более года.

Когда пришла в себя Софья Николавна и взглянула на испуганное бледное лицо своего Алексея Степаныча, она поняла и почувствовала, что есть существо, ее любящее; она обняла своего сокрушенного горем мужа, и ручьи слез облегчили ее сердце. Она рассказала все происшедшее между ею и отцом; рассказ обновил всю горечь оскорбления, уяснил безвыходность положения, и она, конечно, пришла бы в отчаяние, если б не поддержал ее этот добрый муж, слабый по своему характеру и менее ее дальновидный по своему уму, но зато не впадавший в крайности и не терявший присутствия духа и рассудка в тяжелые минуты жизни. Может быть, покажется странным, что Алексей Степаныч поддержал дух Софьи Николавны; но эта необыкновенная женщина, несмотря на свой необыкновенный ум и, повидимому, твердый нрав, имела несчастное свойство упадать духом и совершенно теряться в тех случаях, где поражалась ее душа нравственными неожиданными ударами. Как беспристрастный передаватель изустных преданий, должен я сказать, что, сверх того, она была слишком чувствительна к суду света, слишком подчинялась ему, как бы ни стояла сама выше того круга, в котором жила. Мысль, что скажет уфимский свет, особенно значительные дамы, в нем живущие, потом мысль, что подумает мужнина семья, а всего более — что скажет свекор, узнав, что Софья Николавна съехала от отца, — эти мысли язвили ее самолюбие и гордость и терзали ее наравне с оскорбленным чувством дочерней любви. Ей одинаково казалось ужасным: обвинение, падавшее на отца в неблагодарности к дочери, и обвинение, падавшее на дочь в недостатке любви к умирающему отцу. Выбора не было: что-нибудь одно должны были подумать люди и когонибудь должны были осудить... Глубокую жалость, смешанную с изумлением, чувствовал Алексей Степаныч, глядя на такое терзание! Трудно, мудрено было приступиться к Софье Николавне с утешительными или успокоительными речами. Пылкое ее воображение рисовало ужасные картины, и живописно передавало их ее

одушевленное, увлекательное слово. Она заранее уничтожала всякие попытки к исходу из своего положения, устраняла всякую надежду на примирение с ним. Но любовь и душевная простота, которой недоставало Софье Николавне, научили Алексея Степаныча, — и, переждав первый неудержимый порыв, вопль взволнованной души, он начал говорить слова весьма обыкновенные, но прямо выходившие из доброго и простого его сердца, и они мало-помалу если не успокоили Софью Николавну, то по крайней мере привели к сознанию, к пониманию того, что она слышит. Он говорил, что она до сих пор исполняла долг свой как дочь, горячо любящая отца, и что теперь надобно также исполнить свой долг, не противореча и поступая согласно с волею больного; что, вероятно, Николай Федорыч давно желал и давно решился, чтоб они жили в особом доме; что, конечно, трудно, невозможно ему, больному и умирающему, расстаться с Калмыком, к которому привык и который ходит за ним усердно; что батюшке Степану Михайлычу надо открыть всю правду, а знакомым можно сказать, что Николай Федорыч всегда имел намерение, чтобы при его жизни дочь и зять зажили своим домом и своим хозяйством; что Софья Николавна будет всякий день раза по два навещать старика и ходить за ним почти так же, как и прежде; что в городе, конечно, все узнают со временем настоящую причину, потому что и теперь, вероятно, кое-что знают, будут бранить Калмыка и сожалеть о Софье Николавне. «Впрочем, — прибавил он, — может быть, батюшка сказать-то сказал, а расстаться с тобой не решится. Поговори с ним и представь ему все резоны». Ничего не отвечала Софья Николавна и долго молчала, устремив вопросительный, изумленный взгляд на мужа; правда простых слов и простоты душевной повеяла на нее так успокоительно и отрадно, что они показались ей и новыми и мудрыми. Дивилась она, как прежде ей самой не пришло все это в голову, и с благодарною любовью обняла Алексея Степаныча. Итак, было решено, что Софья Николавна попытается убедить Николая Федорыча, чтобы он отменил свое решение, чтоб позволил им оставаться в доме, при совершенно отдельном хозяйстве, без всякого соприкосновения с Калмы-

ком, оставаться по крайней мере до тех пор, когда Софья Николавна, после разрешения от беременности, бог даст, совершенно оправится. Все это основывалось на самой убедительной причине, то есть что Софье Николавне, по ее положению, вредно трястись в экипаже по непроездным уфимским улицам и что в то же время никакая опасность не помешает ей всякий день ездить к больному. Объяснение с отцом не имело успеха; старик спокойно и твердо сказал ей, что его решение не было минутным порывом, а давно обдуманным делом. «Я наперед знал, милая моя Сонечка, — так говорил Николай Федорыч, — что, вышедши замуж, ты не можешь оставаться в одном доме с Николаем. Ты против него раздражена, и я не обвиняю тебя: он прежде был много виноват перед тобою; ты простила ему, но забыть его оскорблений не могла. Я знаю, что и теперь он бывает перед тобою виноват, но тебе все уже кажется в преувеличенном виде...» — «Батюшка», — прервала было его Софья Николавна, но старик не дал ей продолжать, сказав: «Погоди, выслушай все, что я хочу сказать тебе. Положим, что Калмык точно так виноват, как ты думаешь; но в таком случае тебе еще более невозможно жить с ним под одною кровлею, а мне — невозможно с ним расстаться. Сжалься на мое бедное, беспомощное состояние. Я уже труп недвижимый, а не человек; ты знаешь, что Калмык двадцать раз в сутки должен меня ворочать с боку на бок; заменить его никто не может. Мне одно только нужно — спокойствие духа. Смерть стоит у меня в головах. Каждую минуту я должен готовиться к переходу в вечность. Мысль, что Калмык делает тебе неприятности, возмущала мой дух беспрестанно. Нечего делать, расстанемся, мой друг, живите своим домом. Когда ты будешь приезжать ко мне, ты не увидишь противного тебе человека: он охотно будет прятаться. Он добился, чего хотел, выжил тебя из дому и теперь может обворовывать меня, сколько ему угодно... Я все это знаю и вижу, и все ему прощаю за его неусыпное обо мне попечение и денно и нощно; он то выносит, ходя за мною, чего никакие человеческие силы вынести не могут. Не огорчай же меня, возьми деньги и купи дом в Голубиной слободке на свое имя».

Не стану описывать разных сомнений, колебаний, борений с собою, слез, мучений, уступок, охлаждений и новых воспламенений Софьи Николавны. Довольно того, что деньги были взяты, дом куплен, и через две недели поселился в нем Алексей Степаныч с своею молодою женой. Домик был новенький, чистенький, никто в нем еще не жил. Софья Николавна сгоряча принялась с свойственною ей ретивостью за устройство нового своего жилья и житья-бытья; но здоровье ее, сильно страдавшее от болезненного положения и еще сильнее пострадавшее от душевных потрясений, изменило ей; она сделалась очень больна, пролежала недели две в постели и почти целый месяц не видела отца.

Первое свидание Софьи Николавны после болезни с Николаем Федорычем, который стал еще слабее, было жалко и умилительно. Старик стосковался по дочери, считал себя причиною ее болезни и мучился невозможностью ее увидеть. Наконец, они свиделись, обрадовались и оба поплакали. Николай Федорыч особенно огорчался тем, что Софья Николавна ужасно похудела и подурнела, чему причиною было не столько огорчение и болезнь, сколько особенность ее положения. У некоторых женщин в эту пору изменяется и даже искажается лицо: с Софьей Николавной было точно то же. Через несколько времени дело обошлось, уладилось, и отношения с отцом приняли благоприятный вид. Калмык не показывался на глаза Софье Николавне. Один Степан Михайлыч не мог примириться с переездом дочери от умирающего отца в свой собственный дом. Софья Николавна это предчувствовала и еще до болезни успела написать к свекру самое откровенное письмо, в котором старалась объяснить и оправдать по возможности поступок своего отца; но Софья Николавна хлопотала понапрасну: Степан Михайлыч обвинял не Николая Федорыча, а его дочь и говорил, что «она должна была все перетерпеть и виду неприятного не показывать, что бы шельма Калмык ни делал». Он написал выговор Алексею Степанычу, зачем он позволил своей жене «бросить отца на рабьи руки». Необходимости разлучиться для сохранения спокойствия умирающего Степан Михайлыч не понимал, а равно и того, что

можно жене действовать без позволения мужа. Впрочем, в этом случае муж и жена были совершенно согласны.

Для окончательного устройства своего новенького домика и маленького хозяйства Софья Николавна пригласила к себе на помощь одну свою знакомую вдову, уфимскую мещанку Катерину Алексевну Чепрунову, женщину самую простую и предобрую, жившую где-то в слободе, в собственном домишке, с большим, однако плодовитым садом, с которого получала небольшой доход. Сверх того, она содержала себя и единственного, обожаемого кривого сынка своего Андрюшу переторжкою разным мелким товаром и даже продавала калачи на базаре. Главный ее доход состоял в продаже бухарской выбойки, для покупки которой ежегодно ездила она на мену в Оренбург. Катерина Алексевна Чепрунова была с матерней стороны родственница Софье Николавне; но Софья Николавна имела слабость скрывать это родство, хотя все в городе о нем знали. Катерина Алексевна души не чаяла в своей знаменитой и блистательной родственнице, которую навещала, потихоньку от ее мачехи, в тяжкое время унижения и гонений и которая сделалась явно благодетельницей Катерины Алексевны во время торжества и власти. Наедине Софья Николавна осыпала ласками бескорыстную, постоянно и горячо ее любившую родственницу и даже обходилась с нею почтительно; при свидетелях же одна была покровительствуемая калачница, а другая — дочь товарища наместника. Но добрейшая Катерина Алексевна не только не оскорблялась тем, а даже требовала, чтоб с нею так обходились; она безгранично любила свою ненаглядную и родную ей красавицу и смотрела на нее, как на высшее благодетельное существо; она бы себя невзлюбила, если б как-нибудь помрачила блестящее положение Софьи Николавны. Разумеется, тайна была открыта Алексею Степанычу, и он, несмотря на свое древнее дворянство, о котором довольно напевала ему семья, принял мещанку-торговку как добрую родственницу своей жены и во всю свою жизнь обходился с ней с ласкою и уважением; он хотел даже поцеловать грубую руку калачницы, но та сама ни за что на это никогда

не соглашалась. Только убедительные просьбы Софьи Николавны принудили Алексея Степаныча не рассказывать об этом родстве в своей семье и в кругу знакомых. Зато как любила его простодушная Катерина Алексевна и какою горячей была заступницей за него впоследствии, во всяких домашних неудовольствиях! С помощью этой-то Катерины Алексевны, которая умела все найти и все купить дешево, устроилась Софья Николавна и скоро и хорошо.

В городе довольно поговорили, порядили и посудили о том, что молодые Багровы купили себе дом и живут сами по себе. Много было преувеличенных и выдуманных рассказов; но Алексей Степаныч угадал: скоро узнали настоящую причину, отчего молодые оставили дом отца; этому, конечно, помог более всего сам Калмык, который хвастался в своем кругу, что выгнал капризную молодую госпожу, раскрашивая ее при сей верной оказии самыми яркими красками. Итак, в городе поговорили, порядили, посудили и — успокоились.

И вот, наконец, остались совершенно вдвоем молодые Багровы. По утрам уезжал Алексей Степаныч к своей должности в Верхний земский суд. Отправляясь туда, он завозил жену к ее отцу, а возвращаясь из присутствия, заезжал сам к тестю и, пробыв у него несколько времени, увозил свою жену домой. Умеренный обед ожидал их. Обед с глазу на глаз в *собственном* доме, на собственные деньги, имел свою прелесть для молодых хозяев, которая, конечно, не могла продолжаться слишком долго: к чему не привыкает человек? Софья Николавна, несмотря на свое болезненное состояние и самые скудные средства, умела убрать свой домик, как игрушечку. Вкус и забота заменяют деньги, и многим из приезжавших в гости к молодым Багровым показался их дом убранным богато. Всего труднее было устроить прислугу: приданого лакея Софьи Николавны Федора Михеева женили на приданой же горничной, черномазой Параше; а молодого слугу из Багрова Ефрема Евсеева, честного, добродушного и очень полюбившего молодую барыню (чего нельзя было сказать про других слуг), обвенчали с молоденькою прачкой Софьи Николавны, Аннушкой. Честного Ефрема также очень полюбила мо-

лодая барыня, и недаром. Этот редкий человек целою жизнью доказал ей свою преданность[1].

Между тем уфимская жизнь приняла весьма правильное и однообразное течение. По нездоровью и неприятному расположению духа Софья Николавна выезжала редко, и то к самым коротким знакомым, из немногого числа которых самых коротких, то есть Чичаговых, долго не было в городе: они воротились с матерью уже в глубокую осень. Неприятное расположение духа Софьи Николавны, так тесно связанное с расстройством нерв, сначала очень огорчало и беспокоило Алексея Степаныча. Он ничего не понимал в этом деле: больных без болезни, огорченных без горя или, наоборот, заболевающих от беспричинной грусти и грустных от небывалой или незаметной болезни, — он не встречал во всю свою жизнь. Видя, однако, что ничего важного или опасного нет, он начал привыкать мало-помалу — и успокоился. Он убедился в той мысли, что все это одно воображение. Этою мыслью он и прежде объяснял себе разные волнения и огорчения Софьи Николавны в тех случаях, когда не мог доискаться видимой, понятной для него причины. Он перестал беспокоиться, но зато начинал

---

[1] Евсеич (его звали всегда только по отчеству) впоследствии был дядькой ее старшего сына, за которым ходил с отцовскою горячностью. Я знал коротко этого почтенного старика. Лет пятнадцать тому назад я видел его уже слепого, доживавшего свой век в Пензенской губернии у одного из внуков Степана Михайлыча Багрова. Мне случилось прогостить там целый летний месяц. Каждый день, рано поутру, приходил я удить в проточном пруде на речке Какарме, при впадении ее в прекрасную реку Инзу; на самом берегу пруда стояла изба, в которой жил Евсеич. Каждый день, подходя к пруду, видел я этого, уже дряхлого, сгорбленного, седого как лунь старика, стоявшего, прислонясь к углу своей избы, прямо против восходящего солнца; костлявыми пальцами обеих рук опирался он на длинную палку, прижав ее к своей груди и устремив слепые глаза навстречу солнечным лучам. Он не видел света, но чувствовал теплоту его, столь приятную в свежести утреннего воздуха, и грустно-радостно было выражение его лица. Слух его был так чуток, что он издали узнавал мою походку, и весело, как старый рыбак приветствует молодого, приветствовал меня, хотя мне самому было уже пятьдесят лет. «А, это ты, соколик! (Так привык он звать меня в молодости.) Пора! Дай бог клев на рыбу!» — Года через два он скончался на руках дочери и жены, которая пережила его несколькими годами.

иногда понемногу скучать. Дело было совершенно естественно. Как ни любил Алексей Степаныч жену, как ни жалко было ему смотреть, что она беспрестанно огорчается, но слушать ежедневно, по целым часам, постоянные жалобы на свое положение, весьма обыкновенное, слушать печальные предчувствия и даже предсказания о будущих несчастных последствиях своей беременности, небывалые признаки которых Софья Николавна умела отыскивать, при помощи своих медицинских книжных сведений, с необыкновенным искусством и остроумием, слушать упреки тончайшей требовательности, к удовлетворению которой редко бывают способны мужья, конечно, было скучновато. Софья Николавна это видела и огорчалась до глубины души. Если б она находила в своем муже вообще недостаток чувств, неспособность любить безгранично, она бы скорее примирилась с своим положением. «Чего бог не дал, того негде взять», — часто говаривала она сама, и, признавая разумность такой мысли, она покорилась бы своей судьбе; но, к несчастью, страстная, восторженная любовь Алексея Степаныча, когда он был женихом, убедила ее, что он способен пламенно любить и вечно любил бы ее точно так же, если б не охладел почему-то в своих чувствах... Несчастная эта мысль овладела постепенно воображением Софьи Николавны. Изобретательный ее ум всему находил множество причин и множество доказательств; причинами она считала: неблагоприятные внушения семьи, свое болезненное состояние, а всего более — потерю красоты, потому что зеркало безжалостно показывало ей, как она изменилась, как подурнела. Доказательства находила она в том, что Алексей Степаныч равнодушен к ее опасениям: не обращает полного внимания на ее положение, не старается ее утешить и развлечь, а главное, что он веселее, охотнее говорит с другими женщинами, — и вспыхнуло, как порох, таившееся в глубине души, несознаваемое до сих пор, мучительное, зоркое и слепое в то же время чувство ревности! Начались ежедневные объяснения, упреки, слезы, ссоры и примирения!.. И ни в чем еще не был виноват Алексей Степаныч: внушениям семьи он совершенно не верил, да и самый сильный авторитет в его глазах был, конечно, отец, который своею благосклон-

ностью к невестке возвысил ее в глазах мужа; об ее болезненном состоянии сожалел он искренне, хотя, конечно, не сильно, а на потерю красоты смотрел как на временную потерю и заранее веселился мыслию, как опять расцветет и похорошеет его молодая жена; он не мог быть весел, видя, что она страдает; но не мог сочувствовать всем ее предчувствиям и страхам, думая, что это одно пустое воображение; к тонкому вниманию он был, как и бо́льшая часть мужчин, не способен; утешать и развлекать Софью Николавну в дурном состоянии духа было дело поистине мудреное: как раз не угодишь и попадешь впросак, не поправишь, а испортишь дело; к этому требовалось много искусства и ловкости, которых он не имел. Может быть, точно он говорил веселее и охотнее с другими женщинами, потому что не боялся их как-нибудь огорчить или раздражить пустыми словами, сказанными невпопад. Но не так смотрела Софья Николавна на это дело, да и не могла смотреть иначе по своей природе, в которой все прекрасное легко переходило в излишество, в крайность. Как тут быть, если у одного нервы толсты, крепки и здоровы, а у другого тонки, нежны и болезненны? если приходили они в сотрясение у Софьи Николавны от того, что не дотрогивалось до нервов Алексея Степаныча? — Одни только Чичаговы понимали нравственные причины печального положения молодых Багровых, и хотя Софья Николавна и еще менее Алексей Степаныч ничего им не открывали, но они приняли в них живое участие и своим дружеским вниманием, а всего более частыми посещениями, присутствием своим, умными и дельными разговорами много успокаивали пылкую голову Софьи Николавны и много сделали добра на то время и ей и ее мужу.

В таком положении находились молодые Багровы до того времени, когда Софья Николавна сделалась матерью. Несмотря на частые душевные огорчения, она в последние два месяца поправилась в своих физических силах и благополучно родила дочь. Конечно, Софья Николавна и еще более Алексей Степаныч желали иметь сына; но когда мать прижала к сердцу свое дитя, для нее уже не существовало разницы между сыном и дочерью. Страстное чувство материнской любви овладело ее

душой, умом, всем нравственным существом ее. Алексей Степаныч благодарил только бога, что Софья Николавна осталась жива, радовался, что она чувствует себя хорошо, и сейчас помирился с мыслью, зачем не родился у него сын.

Но в Багрове было совсем не то! Степан Михайлыч так уверил себя, что у него родится внук, наследник рода Багровых, что не вдруг поверил появлению на свет внучки. Наконец, прочитав собственными глазами письмо сына и убедясь, что дело не подлежит сомнению, огорчился не на шутку; отменил приготовленное крестьянам угощение, не захотел сам писать к невестке и сыну, а велел только поздравить *роженицу с животом и дочерью* да приказал назвать новорожденную Прасковьей в честь любимой своей сестры Прасковьи Ивановны Куролесовой. Угадывая наперед его желание, малютке еще на молитве дали имя Прасковьи. — И жалко и забавно было смотреть на досаду Степана Михайлыча! Даже семья посмеивалась промеж себя потихоньку. По разумности своей старик очень хорошо знал, что гневаться было не на кого; но в первые дни он не мог овладеть собою, так трудно ему было расстаться с сладкою надеждой, или, лучше сказать, с уверенностью, что у него родится внук и что авось не погибнет знаменитый род Шимона. Он велел убрать с глаз, спрятать подальше родословную, которая уже лежала у него на столе, в ожидании радостного известия, и в которую он всякий день собирался внести имя внука. Он запретил своей дочери Аксинье Степановне ехать в Уфу, чтоб быть крестною матерью новорожденной Багровой, и с досадой сказал: «Вот еще! семь верст киселя есть! ехать крестить девчонку! Каждый год пойдет родить дочерей, так не наездишься!» Впрочем, время взяло свое, и через несколько дней разгладились морщины (которые на сей раз никого не пугали) на лбу Степана Михайлыча, и мысль, что, может быть, через год невестка родит ему внука, успокоила старика. Он написал ласковое письмо невестке, шутя ее побранил и шутя приказал, чтоб через год был у ней сын.

Софья Николавна так предалась новому своему чувству, так была охвачена новым миром материнской любви, что даже не заметила признаков неудовольствия

свекра и не обратила внимания на то, что Аксинья Степановна не приехала крестить ее дочь. С трудом удержали Софью Николавну девять дней в постели. Она чувствовала себя так хорошо, что на четвертый день могла, пожалуй, хоть танцевать... Но не танцевать хотелось ей, а ходить, нянчиться, не спать и день и ночь с своею Парашенькой, которая родилась худенькою и слабенькою, вероятно вследствие того, что мать носила ее, будучи беспрестанно больна и душой и телом. Кормить своего ребенка не позволили ей доктора, или, лучше сказать, доктор Андрей Юрьевич Авенариус, человек очень умный, образованный и любезный, который был коротким приятелем и ежедневным гостем у молодых Багровых. При первой возможности Софья Николавна повезла свою малютку к дедушке, то есть к своему отцу Николаю Федорычу. Она думала, что вид этой крошки обрадует больного старика, что он найдет в ней сходство с покойною, первою женой своею Верой Ивановной. Сходства этого, вероятно, не бывало, потому что младенцы, по моему мнению, не могут походить на взрослых; но Софья Николавна во всю свою жизнь утверждала, что первая дочь как две капли воды была похожа на бабушку. Старик Зубин уже приближался к концу земного своего поприща, разрушался телесно и духовно. Он равнодушно взглянул на младенца, едва мог перекрестить его и сказал только: «Поздравляю тебя, Сонечка». Софья Николавна была очень огорчена и трудным положением своего отца, которого более месяца не видала, и его равнодушием к ее ангелу Парашеньке.

Но скоро над люлькой своей дочери забыла молодая мать весь окружающий ее мир! Все интересы, все другие привязанности побледнели перед материнскою любовью, и Софья Николавна предалась новому своему чувству с безумием страсти. Ничьи руки, кроме ее собственных рук, не прикасались к малютке. Она сама подавала свою Парашеньку кормилице, сама поддерживала ее у груди и не без зависти, не без огорчения смотрела, как другая, чужая женщина кормила ее дочь... Трудно поверить, но действительно было так! Софья Николавна впоследствии сама признавалась в том, что она не могла выносить,

если Парашенька долго оставалась у груди кормилицы, отнимала ее голодную и закачивала на своих руках или в люльке, напевая колыбельные песни. Софья Николавна перестала видаться с своими знакомыми и даже с другом своим Катериной Борисовной Чичаговой. Разумеется, всем это казалось или странно, или смешно, а людям близким и досадно. На самое короткое время приезжала она каждый день к отцу и каждый раз возвращалась в страхе: не больна ли ее дочь? Она предоставила своему мужу полную свободу заниматься чем ему угодно, и Алексей Степаныч, посидев сначала несколько дней дома и увидев, что Софья Николавна не обращает на него внимания, даже выгоняет из маленькой детской для того, чтобы передышанный воздух не был вреден дитяти, а сама от малютки не отходит, — стал один выезжать в гости, сначала изредка, потом чаще, наконец каждый день, и принялся играть от скуки в рокамболь и бостон. Некоторые уфимские дамы подшучивали над молодым, оставленным мужем, любезничали с ним и говорили, что они обязаны занимать и утешать сироту, за что Софья Николавна, конечно, им будет благодарна, когда опомнится от страсти к дочери и воротится в свет. Только впоследствии эти любезности дошли до Софьи Николавны и возмутили ее душу. Катерина Алексевна Чепрунова, постоянно навещавшая свою родственницу, смотрела на нее с изумлением, сожалением и досадой. Она сама была нежная мать, любившая горячо своего единственного кривого сынка, но такая привязанность и забвение всего окружающего, как у Софьи Николавны, казались ей чем-то похожим на сумасбродство. Она охала, вздыхала, била себя кулаками в грудь и живот (это была ее привычка), говорила, что такая любовь смертный грех перед богом и что бог за нее накажет. Софья Николавна рассердилась и перестала пускать ее в детскую. Один Андрей Юрьевич Авенариус принимался довольно часто в комнате Парашеньки. Софья Николавна беспрестанно находила разные признаки разных болезней у своей дочери, лечила по Бухану и, не видя пользы, призывала доктора Авенариуса; не зная, что и делать с бедною матерью, которую ни в чем нельзя было разуверить, он прописывал разные, иногда невинные, а иногда и дей-

ствительные лекарства, потому что малютка в самом деле имела очень слабое здоровье.

Мудрено сказать, что бы вышло из всего этого в будущем, если б по неведомым нам судьбам провидения не разразился внезапно громовой удар над несчастною Софьею Николавной, если бы не умерла скоропостижно ее ангел Парашенька. Излишество ли ухода, излишество ли леченья, природная ли слабость телосложения младенца были причиною его смерти — неизвестно; оказалось только, что он на четвертом месяце своей жизни не вынес самого легкого детского припадка — *младенской*, или *родимца*, которому редкий из грудных детей не бывает подвержен. Сидя у колыбели и заметив, что Парашенька вздрогнула и что личико ее искривилось, Софья Николавна торопливо взяла на руки свою дочь: она была уже мертвая...

Крепкое, богатырское надобно было иметь здоровье Софье Николавне, чтоб вынесть этот удар! Доктора, попеременно, от нее не отходили. Занден, Авенариус и Клоус, которые все очень ее любили, несколько дней опасались за ее рассудок, потому что она никого не узнавала. Но, благодарение богу, молодости и крепкому сложению, страшное время прошло. Несчастная мать опомнилась, и любовь к мужу, который сам страдал всею душою, любовь, мгновенно вступившая в права свои, спасла ее. Когда Софья Николавна в четвертую ночь пришла в себя, взглянула сознательно на окружающие ее предметы, узнала Алексея Степаныча, которого узнать было трудно, так он переменился, узнала неизменного друга своего, Катерину Алексевну, — страшный крик вырвался из ее груди, и спасительные потоки слез хлынули из глаз: она еще ни разу не плакала. Она обняла Алексея Степаныча и долго, молча рыдала на его груди; он сам рыдал, как дитя. Прошла опасность помешательства в уме, но наступила другая опасность: истощение сил телесных. Четверо суток не пила и не ела бедная страдалица и, очнувшись, не могла проглотить не только пищи, но и лекарства, даже воды. Положение было так опасно, что доктора не противились желанию больной исповедаться и причаститься. Исполнение христианского долга благотворно подействовало на Софью Николавну:

она заснула, тоже в первый раз, и, проснувшись часа через два с радостным и просветленным лицом, сказала мужу, что видела во сне образ Иверской божьей матери точно в таком виде, в каком написана она на местной иконе в их приходской церкви; она прибавила, что если б она могла помолиться и приложиться к этой иконе, то, конечно, матерь божия ее бы помиловала. Местную икону принесли из церкви, священник отслужил молебен «о спасении и здравии больной». При пении слов: «Призри благосердием, всепетая богородице, на мое лютое телесе озлобление» — все присутствующие упали на колени, повторяя слова божественной молитвы; Алексей Степаныч плакал навзрыд. Больная также плакала умиленными слезами во все время службы, приложилась к местной иконе и почувствовала такое облегчение, что могла выпить воды, а потом стала принимать лекарства и пищу. Катерина Борисовна Чичагова и Катерина Алексевна Чепрунова не оставляли своей приятельницы ни на минуту. Больная скоро вышла из опасности. Отдохнуло настрадавшееся сердце Алексея Степаныча. С новым усердием принялись доктора за леченье, которое представляло своего рода опасность, потому что медики слишком любили свою пациентку: один предвидел чахотку, другой сухотку, а третий боялся аневризма. По счастью, все согласились в одном, чтобы немедленно отправить больную в деревню, на чистый, именно лесной, воздух и на пользование кумысом. В начале июня растительность трав находилась еще в полной свежести, и питье кобыльего молока было еще не опоздано.

Степан Михайлыч принял известие о смерти внучки весьма равнодушно, даже сказал: «Вот есть об чем убиваться, об девчонке, этого добра еще будет!» Но когда вслед за первым известием было получено другое, что здоровье Софьи Николавны находится в опасности, — старик сильно перетревожился. Когда же пришло третье извещение, что невестка вышла из близкой опасности, но что очень больна, что доктора не могут ей помочь и отправляют ее на кумыс, Степан Михайлыч весьма прогневался на докторов, говоря, что они людоморы, ничего не смыслят и поганят душу человеческую басурманским питьем. «Если конину есть православному человеку за-

прещено, — продолжал он, — то как же пить молоко нечистого животного? Вижу беду, — прибавил он с глубоким вздохом и махнув рукой, — жива-то, может быть, невестка останется, да захилеет, и детей не будет». Степан Михайлыч сильно огорчился и надолго остался постоянно грустным.

В двадцати девяти верстах от Уфы по казанскому тракту, на юго-запад, на небольшой речке Узе, впадающей в чудную реку Дему, окруженная богатым чернолесьем, лежала татарская деревушка Узы-тамак, называемая русскими Алкино, по фамилии помещика [1]; в роскошной долине в живописном беспорядке теснилась эта деревушка на подошве горы Байрам-тау, защищавшей ее от севера; на запад возвышалась другая гора, Зеин-тау, а на юго-восток текла речка Уза, покрытая мелким лесом [2]; цветущие поляны дышали благовонием трав и цветов, а леса из дуба, липы, ильмы, клену и всяких других пород чернолесья, разрежая воздух, сообщали ему живительную силу. В этот-то прелестный уголок повез Алексей Степаныч слабую, желтую, худую, одним словом

---

[1] Деревня Узы-тамак состоит теперь, по последней ревизии, из девяноста восьми ревизских душ мужеского пола крепостных крестьян, принадлежащих потомку прежних владельцев помещику г-ну Алкину; она носит прежнее имя, но выстроена уже правильною улицею на прежнем месте.

[2] Тау значит гора, Байрам — праздник. Это имя, как говорит предание, дано горе потому, что на ней будто бы башкирцы совершали торжественное молебствие после уразы, то есть поста. Зеин-тау — значит гора собрания; зеином называется пир или собрание народа для борьбы, беганья и конской скачки. Гора эта получила название Зеина со времени приобретения от башкирцев земли, лежащей по речке Узе, помещиком Алкиным, что случилось именно в 1791 году. Г-н Алкин, после заключения условия с башкирцами, дал для них на этой горе пир с разными увеселениями. Тамак значит устье, а потому и деревня на устье Узы, при впадении ее в Дему, называется Узы-тамак. Имена же реки Узы, а равно и речки Куркул-даук, которая сейчас встретится, значения не имеют.

Я говорю все это, основываясь на самых точных новых сведениях, благосклонно доставленных мне Е. И. Барановским и полученных им от теперешнего владельца деревни Узы-тамак г-на Алкина. Я видел сам прекрасную местность этой деревни; но этому прошло уже так много лет, что я не мог бы верно описать ее без пособия сведений, доставленных мне обязательными людьми.

сказать, тень прежней Софьи Николавны; с ними поехал друг — доктор Авенариус. С трудом довезли больную до места. Гостеприимный хозяин и помещик этой деревни принял их с радушием: он имел порядочный дом с флигелями; Софья Николавна не захотела поместиться в доме, и для нее очистили флигель. Семейство хозяина было слишком любезно и внимательно к ней, так что доктор принужден был отдалить на время этих добрых людей, которые хотя были мусульмане по вере, но говорили довольно хорошо по-русски. Одежда и образ жизни их представляли тогда пеструю смесь татарских и русских нравов, но кумыс был у них обычным питьем от утра до вечера. Для Софьи Николавны приготовляли этот благодатный напиток уже цивилизованным способом, то есть кобылье молоко заквашивали не в турсуке, а в чистой, новой, липовой кадушечке. Хозяева утверждали, что такой кумыс менее вкусен и менее полезен; но больная чувствовала непреодолимое отвращение от мешка из сырой лошадиной кожи, и целебное питье готовилось для нее самым опрятным образом. Доктор устроил курс лечения и уехал в Уфу; Алексей же Степаныч с Парашей и Аннушкой оставались безотлучно при больной. Воздух, кумыс, сначала в малом количестве, ежедневные прогулки в карете вместе с Алексеем Степанычем в чудные леса, окружавшие деревню, куда возил их Ефрем, сделавшийся любимцем Софьи Николавны и исправлявший на это время должность кучера, — леса, где лежала больная целые часы в прохладной тени на кожаном тюфяке и подушках, вдыхая в себя ароматный воздух, слушая иногда чтение какой-нибудь забавной книги и нередко засыпая укрепляющим сном, все вместе благотворно подействовало на здоровье Софьи Николавны и через две, три недели она встала и могла уже прохаживаться сама. Доктор опять приехал, порадовался действию кумыса, усилил его употребление, а как больная не могла выносить его в больших приемах, то Авенариус счел необходимым предписать сильное телодвижение, то есть верховую езду. Дело тогда неслыханное и дикое в дворянском быту, которое не нравилось Алексею Степанычу и которое Софья Николавна также находила неприличным. Напрасно хозяйские дочери по-

давали поучительный пример, пробегая на башкирских иноходцах целые десятки верст по живописным окрестностям, — Софья Николавна долго противилась всем убеждениям и в том числе просьбам мужа, которого доктор положительно и скоро уверил в необходимости верховой езды. Приехали Чичаговы в гости к Багровым в Алкино, и, наконец, кое-как общими силами победили упрямство Софьи Николавны; самою сильною побудительною причиною к согласию был пример Катерины Борисовны Чичаговой, которая, как истинный друг, пожертвовала собственным предубеждением и стала ездить верхом сначала одна, а потом вместе с больною. При сильном телодвижении была предписана и другая пища, а именно: жирное баранье мясо, от которого Софья Николавна также имела отвращение. Вероятно, доктор Авенариус в назначении диеты руководствовался пищеупотреблением башкир и кочующих летом татар, которые во время питья кумыса почти ничего не едят, кроме жирной баранины, даже хлеба не употребляют, а ездят верхом с утра до вечера по своим раздольным степям, ездят до тех пор, покуда зеленый ковыль, состарившись, не поседеет и не покроется шелковистым серебряным пухом. Леченье пошло отлично-хорошо, прогулки производились целым обществом вместе с дочерьми и сыновьями хозяина. Нередко заезжали на поташный завод, находившийся в двух верстах от Алкина, в глубине леса, на берегу прекрасной речки Куркул-даук [1]. С любопытством смотрела Софья Николавна, как кипели чугунные котлы с золою, как в деревянных чанах садился *шадрик*, как в калильных печах очищался он огнем и превращался в белые ноздреватые куски растительной соли, называемой поташом. Она любовалась живостью, с которою производилась работа, и проворством татар, которые в своих тюбетейках и длинных рубахах, не мешавших их

[1] Этот завод уничтожен в 1848 году; в 1791-м только что начиналась в Уфимском крае выварка поташа, истребившая впоследствии множество лучших пород чернолесья: липы, ильмы, вяза и клена. Изобилие этих пород было так велико, что сначала только их и употребляли на поташ, потому что зола их несравненно выгоднее других. Продажа поташа представляла тогда огромные выгоды сравнительно с прочими отраслями доходов.

телодвижениям, представляли для нее странное зрелище. Вообще хозяева были так любезны, что забавляли свою гостью песнями, плясками, конными скачками (зеинами) и борьбою своих мусульманских подданных.

Во всех этих прогулках и увеселениях сначала постоянно участвовал Алексей Степаныч; но успокоенный состоянием здоровья своей больной, видя ее окруженною обществом и общим вниманием, он начал понемногу пользоваться свободными часами: деревенская жизнь, воздух, чудная природа разбудили в нем прежние его охоты; он устроил себе удочки и в прозрачных родниковых речках, которых было довольно около Алкина, принялся удить осторожную пеструшку и кутему; даже хаживал иногда с сеткою за перепелами, ловить которых Федор Михеев, молодой муж Параши, был большой мастер и умел делать перепелиные дудки. Эта охота находится в презрении у охотников до другого рода охот, но, право, не знаю, за что ее так презирают? Лежать в душистых полевых лугах, развесив перед собою сетку по верхушкам высокой травы, слышать вблизи и вдали звонкий бой перепелов, искусно подражать на дудочке тихому, мелодическому голосу перепелки, замечать, как на него откликаются задорные перепела, как бегут и даже летят они со всех сторон к человеку, наблюдать разные их горячие выходки и забавные проделки, наконец самому горячиться от удачной или неудачной ловли — признаюсь, все это в свое время было очень весело и даже теперь вспоминается не равнодушно... Софье Николавне растолковать этого веселья было невозможно. — Слава богу, через два месяца она поздоровела, пополнела, и яркий румянец заиграл на ее щеках.

Авенариус приехал в третий раз и был вполне утешен состоянием здоровья Софьи Николавны. Он имел полное право торжествовать и радоваться: он первый предложил питье кумыса и управлял ходом лечения. Он и прежде очень любил свою пациентку, а теперь, так счастливо возвратя ей здоровье, привязался к ней, как к дочери.

Каждую неделю доносил Алексей Степаныч о состоянии здоровья жены своей Степану Михайлычу. Он радовался, что невестка его поправляется, но, разумеется, не

верил целебной силе кумыса и очень сердился за верховую езду, о которой имели неосторожность написать к нему. Домашние воспользовались удобным случаем и несколькими едкими словцами, мимоходом, но впопад сказанными, так усилили досаду старика, что он написал грубоватое письмо к сыну, которое огорчило Софью Николавну. Когда же Степан Михайлыч удостоверился, что невестка его совершенно выздоровела и даже пополнела, сладкие надежды зашевелились у него в голове, и примирился он отчасти с кумысом и верховою ездой.

К осени воротились молодые Багровы в Уфу. Старик Зубин был уже очень плох, и чудесное восстановление здоровья дочери не произвело на него никакого впечатления. Все было кончено для него на земле, все связи расторгнуты, все жизненные нити оборваны, и едва только держалась душа в разрушенном теле.

Дальнейший ход внутренней жизни молодых Багровых был как будто приостановлен разными обстоятельствами: сначала рождением дочери и страстною, безумною любовию к ней матери; потом смертию малютки, от которой едва не помешалась мать, едва не умерла, и наконец — продолжительным леченьем и житьем в татарской деревне. В тяжкое время душевных мук и телесных страданий Софья Николавна постоянно видела искреннюю любовь и самоотвержение со стороны Алексея Степаныча. Столкновений, случающихся беспрестанно в обыкновенном порядке жизни между неравными природами, тогда не было, а если и были поводы к ним, то они не могли быть замечены. При обращении крупной монеты мелочь не видна. В обстоятельствах исключительных, в событиях важных идет одна крупная монета, а ежедневные расходы жизни спокойной по большей части уплачиваются мелочью. Алексей Степаныч был не беден крупною монетой, а в мелочи часто встречался у него недостаток. Когда человек при виде нравственного страдания или опасности, угрожающей здоровью и жизни любимого существа, страдает сам всеми силами своей души, забывая сон, покой и пищу, забывая всего себя, когда напрягаются нервы, возвышается его духовная природа — тогда нет места требованиям и нет места мелочным вниманиям, заботам и угождениям. Проходит

пора потрясающих событий, все успокаивается, опускаются нервы, мельчает дух; кровь и тело, вещественная жизнь с ее пошлостью вступают в права свои, привычки возвращают утраченную власть, и наступает пора тех самых требований, о которых мы сейчас говорили, пора вниманий, угождений, предупреждений и всяких мелочных безделок, из которых соткана действительная, обыкновенная жизнь. Когда-то еще придет время трудных опытов, надобности в самоотвержении и жертвах, а между тем жизнь постоянно бежит по колее своей, и мелочи составляют ее спокойствие, украшение, услаждение, одним словом то, что мы называем счастьем. По таким-то причинам, когда Софья Николавна стала поправляться, а Алексей Степаныч перестал тревожиться за ее жизнь и здоровье, мало-помалу начали вновь появляться с одной стороны — прежняя требовательность, а с другой стороны — прежняя неспособность удовлетворять тонкости требований. Тихие объяснения и упреки стали надоедать мужу, а горячих вспышек стал он бояться; страх сейчас исключил полную искренность, а потеря искренности в супружестве, особенно в лице второстепенном, всегда несколько зависящем от главного лица, ведет прямою дорогою к нарушению семейного счастия. С возвращением в Уфу к обыденной, праздной, городской жизни, вероятно, все бы это усилилось; но тяжкое, страдальческое положение уже действительно умирающего отца поглотило все тревоги, наполнило собою ум и чувства Софьи Николавны, и она предалась вся безраздельно, согласно закону своей нравственной природы, чувству дочерней любви. Ход, раскрытие всех сторон домашней жизни опять приостановились. Софья Николавна проводила дни и ночи в доме отца. Калмык продолжал с большим усердием, с напряженным вниманием и с изумительною неутомимостью ходить за больным господином. Он продолжал также избегать присутствия его дочери, хотя имел право и возможность безнаказанно появляться ей на глаза. Софья Николавна была тронута таким поведением. Она сама призвала к себе Калмыка, примирилась с ним и позволила ему ходить вместе с нею за умирающим. Николай Федорыч, несмотря на видимое бесчувствие и равнодушие ко всему

его окружающему, заметил эту перемену, слабо пожал руку дочери и тихим шепотом, который едва можно было расслышать, сказал ей: «Благодарю тебя». Софья Николавна безвыходно оставалась при отце.

Я сказал, что сладкие надежды зашевелились в голове Степана Михайлыча при получении добрых известий о восстановлении здоровья невестки. Они зашевелились недаром: в скором времени Софья Николавна сама уведомила свекра, что надеется на милость божью — на рождение ему внука, во утешение его старости. В первую минуту Степан Михайлыч чрезвычайно обрадовался, но скоро овладел собою, скрыл свою радость от семьи. Может быть, ему пришло на ум, что, пожалуй, и опять родится дочь, опять залюбит и залечит ее вместе с докторами до смерти Софья Николавна, и опять пойдет хворать; а может быть, что Степан Михайлыч, по примеру многих людей, которые нарочно пророчат себе неудачу, надеясь втайне, что судьба именно сделает вопреки их пророчеству, притворился нисколько не обрадованным и холодно сказал: «Нет, брат, не надуешь! тогда поверю и порадуюсь, когда дело воочью совершится». Подивились домашние таким словам и ничего на них не отвечали. В самом же деле старик, не знаю почему, во глубине души своей опять предался уверенности, что у него родится внук, опять приказал отцу Василью отслужить молебен о здравии плодоносящей рабы Софьи; опять вытащил сосланную с глаз долой, спрятанную родословную и положил ее поближе к себе.

Между тем тихо наступал последний час для Николая Федорыча. После многолетних, мучительных страданий прекращение жизни столь бедной, столь жалкой, как-то неестественно задержанной так долго в теле, уже совершенно расслабленном и недвижимом, не могло никого возмущать. Сама Софья Николавна молилась только о том, чтоб мирно, спокойно отлетела душа ее отца... и мирно, даже радостно отлетела она. В минуту кончины лицо умирающего просветлело, и долго сохранилось это просветление во всех его чертах, несмотря на сомкнутые глаза уже охладевшего трупа. Похороны были великолепны и торжественны. Старика Зубина некогда очень любили; любовь эта забывалась понемногу,

сострадание к его несчастному положению ослабевало с каждым днем; но когда весть о смерти Николая Федорыча облетела город, все точно вспомнили и вновь почувствовали и любовь к нему и жалость к его страдальческому состоянию. Опустели дома, и все народонаселение Уфы, в день похорон, составило одну тесную улицу от Успения божией матери до кладбища. Мир твоему праху, добрый человек, добрый и слабый, как человек!

После кончины Николая Федорыча учредились две опеки над детьми его от двух браков. Алексея Степаныча назначили опекуном братьев Софьи Николавны от одной с ней матери, которые, не кончив курса учения в Московском благородном пансионе, были вытребованы в Петербург для поступления в гвардию. Я забыл сказать, что по ходатайству умиравшего старика Зубина, незадолго до его смерти, Алексея Степаныча определили прокурором Нижнего земского суда.

Долго плакала и молилась Софья Николавна; плакал и молился с ней Алексей Степаныч, но это были тихие слезы и тихая молитва, которые не расстроивали только что восстановившегося здоровья Софьи Николавны. Просьбы мужа, советы друзей, увещания докторов, особенно Авенариуса, разумно принимались ею, и она стала беречь себя и с должным вниманием смотреть на свое положение. Ей убедительно доказывали, что здоровье и самая жизнь будущего ее дитяти зависит от состояния ее здоровья и духа в настоящем ее положении. Горький опыт подтверждал убеждения друзей и врачей, и молодая женщина с твердостию покорилась всему, чего от нее требовали. Получив письмо от свекра, в котором он простыми словами высказывал искреннее сочувствие к горести невестки и опасение, чтобы она опять не расстроила собственного своего здоровья, — Софья Николавна отвечала старику самым успокоительным образом; и точно, она обратила полное внимание на сохранение спокойствия своего духа и здоровья своего тела. Жизнь была расположена правильно и разнообразно. Авенариус и Клоус, который начал очень сближаться с домом Багровых, назначили Софье Николавне ежедневные прогулки перед обедом не только в экипажах, но и пешком; ежедневно или собирались к Софье Николавне и к Але-

ксею Степанычу несколько человек бесцеремонных и приятных гостей, или сами Багровы отправлялись в гости к кому-нибудь, по большей части к Чичаговым. Братья Катерины Борисовны Чичаговой были очень дружны с молодыми хозяевами, особенно меньшой, Д. Б. Мертваго; он заранее напросился к ним в кумовья. Оба брата часто бывали в Голубиной слободке и приятно проводили время у Багровых: это были люди благородные и образованные по тогдашнему времени. Чтение книг было одним из главных удовольствий у Багровых; но как нельзя было беспрестанно читать или слушать чтение, то выучили Софью Николавну играть в карты; преподаванием этой науки преимущественно занимался Клоус, и когда только Багровы проводили вечер дома, то он непременно составлял их партию. Авенариус не мог участвовать в этом занятии, потому что во всю свою жизнь не умел различить пятерки от туза.

Наступила ранняя и в то же время роскошная весна; взломала и пронесла свои льды и разлила свои воды, верст на семь в ширину, река Белая! Весь разлив виден был как на ладонке из окон домика Голубиной слободки; расцвел плодовитый сад у Багровых, и запах черемух и яблонь напоил воздух благовонием; сад сделался гостиной хозяев, и благодатное тепло еще более укрепило силы Софьи Николавны.

В это время случилось в Уфе происшествие, которое сильно заняло умы ее обитателей и особенно молодых Багровых, потому что герой происшествия был им очень знакомый человек и даже, как мне помнится, дальний родственник Алексею Степанычу. Софья Николавна, по живости своей, приняла самое горячее участие в этом романическом событии. Молодой человек, один из первых и богатых дворян Уфимского или Оренбургского края, И. И. Тимашев, влюбился в прекрасную татарку Тевкелеву, дочь богатого татарского дворянина. Это семейство точно так же, как и семейство Алкиных, уже приняло тогда некоторую внешнюю образованность в образе жизни и говорило хорошо по-русски, но строго соблюдало во всей чистоте мусульманскую веру. Прекрасная татарка Сальме в свою очередь влюбилась в красивого русского офицера, служившего капитаном

в полку, который стоял в окрестностях Уфы. Ожидать добровольного согласия родителей и взрослых братьев на законный брак не было никакой надежды, потому что невесте надобно было сделаться христианкой. Долго боролась Сальме с своею любовью, которая жарче горит в сердцах азиатских женщин. Наконец, как это всегда бывает, Магомет был побежден, и Сальме решилась бежать с своим возлюбленным капитаном, окреститься и потом обвенчаться. Командир полка, в котором служил Тимашев, добрейший и любезнейший из людей, любимый всеми без исключения, генерал-майор Мансуров, прославившийся потом с Суворовым на Альпийских горах при переправе через Чертов мост, сам недавно женившийся по любви, знал приключения своего капитана, сочувствовал им и принял влюбленных под свое покровительство. В одну сумрачную и дождливую ночь Сальме ушла из родительского дома; в ближней роще дожидался ее Тимашев с верховыми лошадьми; надобно было проскакать около ста верст до Уфы. Сальме была искусная наездница, через каждые десять или пятнадцать верст стояли, заранее приготовленные, переменные кони, охраняемые солдатами, очень любившими своего доброго капитана, и беглецы полетели «на крыльях любви», как непременно сказал бы поэт того времени. Между тем в доме Тевкелевых, где давно подозревали Сальме в склонности к Тимашеву и строго за ней присматривали, отсутствие ее было скоро замечено. В одну минуту собралась толпа вооруженных татар и, пылая гневом, под предводительством раздраженного отца[1] и братьев, понеслась в погоню с воплями и угрозами мести; дорогу угадали, и, конечно, не уйти бы нашим беглецам или по крайней мере не обошлось бы без кровавой схватки, потому что солдат и офицеров, принимавших горячее участие в деле, по дороге расставлено было много, — если бы позади бегущих не догадались разломать мост через глубокую, лесную, неприступную реку, затруднительная переправа через которую вплавь задержала преследователей часа на два; но со всем тем косная лодка, на ко-

---

[1] Другой вариант этого предания говорит, что мать с сыновьями преследовала убежавшую дочь.

торой переправлялся молодой Тимашев с своею Сальме через реку Белую под самою Уфою, не достигла еще середины реки, как прискакал к берегу старик Тевкелев с сыновьями и с одною половиною верной своей дружины, потому что другая половина передушила на дороге лошадей. На берегу, как будто случайно, явилась целая рота солдат, приготовлявшаяся к перевозу и занявшая все паромы и завозни. Несчастный отец заскрежетал зубами, проклял дочь и воротился домой. Полумертвую от страха и усталости Сальме посадили в карету и привезли в дом к матери Тимашева. Дело приняло характер законный и официальный: явилась магометанка, добровольно желающая принять христианскую веру; начальство города взяло ее под свою защиту, уведомило муфтия, жившего в Уфе и всеми называемого «татарским архиереем», обо всем происшедшем и требовало от него, чтоб он воспретил семейству Тевкелевых и вообще всем магометанам прибегать к каким-нибудь насильственным и враждебным покушениям для освобождения девицы Сальме, *добровольно* принимающей христианскую веру. В несколько дней духовенство приготовило новообращаемую к принятию таинства крещения и миропомазания. Обряд был совершен великолепно и торжественно в городском соборе; Сальме назвали Серафимой, по имени крестного отца — Ивановной и вслед за тем, не выходя из церкви, обвенчали молодых влюбленных. Весь город принимал участие в этом событии. Разумеется, вся молодежь и все мужчины были за прекрасную Сальме; но зато женщины строго осуждали ее, может быть иные и не бескорыстно. Весьма не много нашлось таких, которые искренне и дружелюбно протянули руку юной христианке, вступившей, по положению своего мужа, в высший круг уфимского общества. Софья Николавна с Алексеем Степанычем были в числе людей самых близких и горячо сочувствующих молодым новобрачным. При деятельном пособии также молодой и любезной генеральши А. Н. Мансуровой (урожденной Булгаковой) друзья Тимашевых скоро помогли им стать твердою ногою на новом для них пути общественной городской жизни. Приняли деятельные меры к приличному образованию молодой капитанши, и при помощи

природных ее способностей и живости ума в непродолжительное время она сделалась светскою, интересною дамою, возбуждавшею невольное участие и невольную зависть, чему, конечно, много содействовала ее красота и необыкновенность положения. Софья Николавна навсегда осталась искреннею приятельницей Серафимы Ивановны Тимашевой, которая, к общему сожалению, жила недолго: через три года она умерла чахоткой, оставя двух сыновей и сокрушенного горестью мужа. Тимашев едва не сошел с ума, бросил службу, посвятил себя детям и навсегда остался вдовцом. Носились слухи, за верность которых никак нельзя ручаться, что причиною болезни и смерти молодой женщины была тайная тоска о покинутом семействе и раскаяние в измене своей природной вере.

Между тем время быстро шло, не останавливаясь никакими событиями. Наступила пора, когда Софье Николавне не позволяли уже выезжать в гости, не позволяли даже прогуливаться в экипаже за городом. В хорошую погоду она прохаживалась по саду, два раза в день по получасу; в дурное время то же делала в комнатах, растворив все двери своего небольшого домика. Вероятно, все это затворничество, точность и принуждение были не только бесполезны, но скорее вредны, хотя очевидность противоречила моему мнению: Софья Николавна была совершенно здорова. Алексей Степаныч находился в необходимости соглашаться на такую строгую докторскую опеку, потому что получал частые приказания от своего отца беречь жену паче зеницы своего ока; притом друзья ее, Чичаговы и Мертваго, а всего более доктора, любившие ее искренне и даже с увлечением, так наблюдали за Софьей Николавной, что она не могла шагу ступить, не могла ничего ни испить, ни съесть без их позволения. По каким-то служебным делам Авенариус должен был отлучиться, и Клоус, который также служил в Уфе городовым акушером, получил под непосредственное свое наблюдение здоровье Софьи Николавны. Клоус был предобрейший, умный, образованный и в то же время по наружности пресмешной немец. Будучи еще не старым человеком, он носил совершенно желтый парик. Все дивились, откуда он доставал такого

цвета человеческие волосы, каких ни у кого на голове не бывает; брови и белки маленьких карих глаз были тоже желтоваты, небольшое же круглое лицо красно, как уголь[1]. В дружеском своем обращении он был большой оригинал; очень любил целовать ручки у знакомых дам, но никогда не позволял целовать себя в щеку, доказывая, что со стороны мужчин это большая неучтивость. Он также очень любил маленьких детей; выражение этой любви состояло в том, что он сажал к себе на колени любимое дитя, клал его ручку на ладонь своей левой руки, а правою гладил ручку ребенка целые часы. Самым сильным выражением его дружеского расположения было слово *варвар* или *варварка*, и потому Софья Николавна, которой он был предан душевно, беспрестанно называлась варваркой. Сделавшись коротким другом в доме Багровых, Клоус знал все подробности о Степане Михайлыче, знал его горячее желание иметь внука, знал его нетерпеливое ожидание. Клоус хорошо писал по-русски и четким почерком написал для старика свое предположение, за верность которого ручался, что у Софьи Николавны, между 15 и 22 сентября, родится сын. Предсказание послали к Степану Михайлычу, который хотя и сказал: «Врет немец!», но втайне ему поверил; радостное и тревожное ожидание выражалось на его лице и слышалось во всех его речах. В это время известная нам Афросинья Андревна, от которой он менее скрывал свое беспокойство, состоявшее существенно в том, что невестка опять родит дочь, рассказала как-то ему, что, проезжая через Москву, ездила она помолиться богу к Троице, к великому угоднику Сергию, и слышала там, что какая-то одна знатная госпожа, у которой все родились дочери, дала обещание назвать первого своего ребенка, если он будет мальчик, Сергием, и что точно, через год, у нее родился сын Сергий. Степан Михайлыч промолчал, но на первой же почте собственноручно

---

[1] Андрей Михайлыч Клоус в том же 1791 году переехал в Москву и поступил в Воспитательный дом преподавателем повивального искусства. Он добросовестно исправлял эту должность тридцать лет и скончался в 1821 году. Желтый парик остался неизменною его принадлежностью. Он был страстный и многим известный нумизмат.

написал к своему сыну и невестке, чтоб они отслужили молебен Сергию, Радонежскому чудотворцу, и дали обет, если родится у них сын, назвать его Сергием; в объяснение же таковой своей воли прибавил: «Потому что в роде Багровых Сергея еще не бывало». Приказание исполнили в точности. Софья Николавна неусыпно занималась приготовлением всего, что только может придумать заботливая мать для будущего своего дитяти; но всего важнее было то, что нашлась для него чудесная кормилица в одной из деревушек покойного ее отца, в Касимовке. Крестьянка Марфа Васильева соединяла в себе все качества для этой должности, каких только можно было желать; сверх того, она охотою шла в кормилицы и заранее переехала в Уфу с грудным своим ребенком.

Дело приближалось к развязке. Уже и ходить Софье Николавне запрещали. Катерина Борисовна Чичагова сделалась нездорова и не выезжала из дома, а других никого уже Багровы не принимали. Катерина Алексевна Чепрунова гостила почти безвыходно у своей родственницы и только отлучалась для свидания с своим ненаглядным Андрюшей. Клоус являлся каждый день поутру позавтракать и каждый же день в шесть часов вечера приезжал пить чай с ромом и играть в карты с хозяевами, а как игра была почти безденежная, то расчетливый немец доставал где-то играные карты и привозил с собой. Иногда карты сменялись чтением, при котором присутствовал и Клоус. Читал всегда Алексей Степаныч, получивший в этом деле навык и некоторое уменье. Иногда случалось, что немец привозил немецкую книгу и переводил ее словесно; слушали с удовольствием, особенно Софья Николавна, потому что она желала иметь хотя некоторое понятие о немецкой литературе.

Испытав всю безграничность, все увлечение, все могущество материнской любви, с которою, конечно, никакое другое чувство равняться не может, Софья Николавна сама смотрела на свое настоящее положение с уважением; она приняла за святой долг сохранением душевного спокойствия сохранить здоровье носимого ею младенца и упрочить тем его существование,—существование, в котором заключались все ее надежды, вся будущ-

ность, вся жизнь. Мы уже довольно знаем Софью Николавну, знаем, как она способна увлекаться, и потому не будем удивлены, узнав, что она вся предалась чувству матери, чувству любви, еще к неродившемуся ребенку. Все дни и часы дней и ночей были посвящены сбережению себя во всех отношениях. Так устремился ее ум, ее страстное вниманье на один этот предмет, что она ничего другого не замечала и была, повидимому, совершенно довольна Алексеем Степанычем, хотя, вероятно, встречались случаи быть недовольной. Алексей Степаныч чем более узнавал жену свою, тем с бо́льшим изумлением смотрел на нее. Он был человек, всего менее способный ценить восторг и сочувствовать восторгу, от чего бы он ни происходил. Восторженность любви в Софье Николавне его пугала; он боялся ее, как привык бояться припадков бешеного гнева в своем отце... Восторженность на людей тихих, кротких и спокойных всегда производит неприятное впечатление; они не могут признать естественным такого состояния духа; они считают восторженных людей больными на то время, людьми, на которых *находит* иногда... Они не верят в прочность их душевного спокойствия, потому что оно сейчас может нарушиться, и чувствуют страх к таким людям... Страх — самое опасное чувство для любви, даже к отцу и к матери... Говоря вообще, внутренняя, домашняя жизнь и супружеские семейные отношения между молодыми Багровыми не только не подвинулись вперед, как должно было ожидать, а, напротив, как будто отступили назад. Это странно, но так бывает иногда в жизни.

В самое это время Клоус был переведен на службу в Москву. Он уже распрощался с своим начальством и со всем городом и дожидался только благополучного разрешения Софьи Николавны, надеясь быть полезным ей в случае надобности. Предполагая, что после пятнадцатого сентября, на другой или третий день, он может уехать, Клоус нанял себе лошадей именно к этому числу. Наемные лошади были ему нужны для того, что он хотел заехать куда-то в сторону от большой дороги к какому-то немцу-помещику. Пятнадцатое сентября пришло и прошло без ожидаемого события; Софья Николавна

чувствовала себя лучше и бодрее, чем прежде, и только нелепые докторские приказания заставляли ее сидеть и большею частью лежать на канапе. Прошло шестнадцатое, семнадцатое и восемнадцатое сентября, и как ни любил немец Софью Николавну, но начинал очень сердиться, потому что принужден был платить нанятому извозчику с лошадьми ежедневно по рублю меди, что казалось тогда неслыханною дороговизною и большим расходом. Хозяева дружески подшучивали над ним и каждый вечер продолжали читать, слушать или играть в карты; если друг немец выигрывал у них гривен шесть медью, то бывал очень доволен, говоря, что сегодня недорого заплатит извозчику. Так прошло и девятнадцатое сентября. Двадцатого приехал поутру Клоус, и Софья Николавна встретила его в дверях своей спальни, дружески приветствуя книксенами... Немец рассердился. «Да что же это ты, варварка, делаешь со мной», — говорил он, целуя по обычаю протянутую ручку хозяйки, *попольску*, как он выражался. «Помилуй, Алексей Степаныч, — продолжал он, обращаясь к мужу, — жена твоя меня разорит. Ей следовало родить пятнадцатого, а двадцатого она книксены делает». — «Ничего, Андрей Михайлыч, — отвечал, трепля его по плечу, Алексей Степаныч, — ты нас сегодня в карты обыграешь, только карты уж стали плохи». Клоус обещал привезти новые карты, позавтракал и, просидев до двух часов, уехал. Ровно в шесть часов вечера приехал добродушный немец в Голубиную слободку, к знакомому домику; не встретив никого в передней, в зале и гостиной, он хотел войти в спальню, но дверь была заперта; он постучался, дверь отперла Катерина Алексевна; Андрей Михайлыч вошел и остановился от изумления: пол был устлан коврами; окна завешены зелеными шелковыми гардинами; над двуспальною кроватью висел парадный штофный занавес; в углу горела свечка, заставленная книгою; Софья Николавна лежала в постели, на подушках в парадных же наволочках, одетая в щегольской, утренний широкий капот; лицо ее было свежо, глаза блистали удовольствием. «Поздравьте меня, друг наш, — сказала она крепким и звучным голосом, — я мать, у меня родился сын!» Немец, взглянув в лицо Софьи Николавны,

услыша ее здоровый голос, счел всю обстановку за шутку, за комедию. «Полно, варварка, проказничать со мной; я старый воробей, меня не обманешь, — сказал он смеясь, — вставай-ка, я новые карточки привез, — и подойдя к постели и подсунув карты под подушку, он прибавил: — вот на зубок новорожденному!» — «Друг мой, Андрей Михайлыч, — говорила Софья Николавна, — ей-богу, я родила: вот мой сын...» На большой пуховой подушке, тоже в щегольской наволочке, под кисейным, на розовом атласе, одеяльцем в самом деле лежал новорожденный, крепкий мальчик; возле кровати стояла бабушка-повитушка, Алена Максимовна... Клоус вышел из себя, взбесился, отскочил от постели, как будто обжегся, и закричал: «Как? без меня? я живу здесь неделю и плачу всякий день деньги, и меня не позвали!..» Красное его лицо побагровело, парик сдвинулся на сторону, вся его толстая фигурка так была смешна, что родильница принялась хохотать. «Батюшка, Андрей Михайлыч, — говорила бабушка-повитушка, — бог дал час, не успели и опомниться; а как только убрались, то хотели было послать, да Софья Николавна изволила сказать, что ваше здоровье сейчас приедете». Опомнился искренний друг Софьи Николавны и ее мужа. Прошла его досада; радостные слезы выступили на глазах; схватил он новорожденного младенца своими опытными руками, начал его осматривать у свечки, вертеть и щупать, отчего ребенок громко закричал; сунул он ему палец в рот, и когда новорожденный крепко сжал его и засосал, немец радостно вскрикнул: «А, варвар! какой славный и здоровенный». Софья Николавна перепугалась, что так небережно поступают с ее бесценным сокровищем, а повивальная бабка испугалась, чтоб новорожденного не сглазил немец; она хотела было его отнять, но Клоус буянил; он бегал с ребенком по комнате, потребовал корыто, губку, мыло, пеленок, теплой воды, засучил рукава, подпоясался передником, сбросил парик и принялся мыть новорожденного, приговаривая: «А, варваренок, теперь не кричишь: тебе хорошо в тепленькой-то водице...» Наконец, прибежал не помнивший себя от восхищения Алексей Степаныч; он отправлял нарочного с радостным известием к Степану Михайлычу, написал письмо к старикам

и к сестре Аксинье Степановне, прося ее приехать как можно скорее крестить его сына. Алексей Степаныч чуть не задушил в своих объятиях еще мокрого немца; домашних же своих он давно уже всех перецеловал и со всеми поплакал. Софья Николавна... но я не смею и подумать выразить словами ее чувства. Это было упоение, блаженство, которое не всем дается на земле и ненадолго.

Рождение сына произвело необыкновенное веселье в доме; даже соседи отчего-то повеселели. Вся прислуга Багровых, опьянев сначала от радости, а потом от вина, пела и плясала на дворе; напились даже те, которые никогда ничего не пивали, в числе последних был Ефрем Евсеев, с которым не могли сладить, потому что он все просился в комнату к барыне, чтоб посмотреть на ее сынка; наконец, жена, с помощью Параши, плотно привязала Евсеича к огромной скамейке, но он, и связанный, продолжал подергивать ногами, щелкать пальцами и припевать, едва шевеля языком: «Ай, люли, ай, люли!..»

Андрей Михайлыч Клоус, устав от трудов и радостного волнения, сел, наконец, в кресла и с великим наслаждением напился чаю, а как в этот вечер он как-то усерднее подливал рому, то и почувствовал после третьей чашки, что у него зашумело в голове. Приказав, чтобы новорожденному до утра не давали груди кормилицы, а поили одним ревенным сыропом, он простился с своими счастливыми хозяевами, поцеловал ручонку новорожденного и поехал спать с тем, чтобы поранее навестить родильницу. Проходя через двор, он увидел пляску и услышал песни, которые неслись из всех окон кухни и людских. Он остановился, и хоть жаль было ему помешать веселью добрых людей, но принялся он всех уговаривать, чтоб перестали они петь и плясать, потому что барыне их нужен покой. К удивлению его, все послушались и при нем же полегли спать. Выходя из ворот, немец бормотал про себя: «Какой счастливый мальчишка! как все ему рады!»

И в самом деле, при благоприятных обстоятельствах родился этот младенец! Мать, страдавшая беспрестанно

в первую беременность, — нося его, была совершенно здорова; никакие домашние неудовольствия не возмущали в это время жизни его родителей; кормилица нашлась такая, каких матерей бывает немного, что, разумеется, оказалось впоследствии; желанный, прошеный и моленый, он не только отца и мать, но и всех обрадовал своим появлением на белый свет; даже осенний день был тепел, как летний!..

Но что же происходило в Багрове, когда пришла радостная весть, что бог даровал Алексею Степанычу сына и наследника? В Багрове происходило следующее: с пятнадцатого сентября Степан Михайлыч считал дни и часы и ждал каждую минуту нарочного из Уфы, которому велено было скакать день и ночь *на переменных*; это дело было тогда внове, и Степан Михайлыч его не одобрял, как пустую трату денег и ненужную тревогу для обывателей; он предпочитал езду на своих; но важность и торжественность события заставила его отступить от обычного порядка. Судьба не наказала его слишком долгим ожиданием: двадцать второго сентября, когда он почивал после обеда, приехал нарочный с письмами и доброю вестью. Просыпаясь от крепкого сна, едва старик потянулся и крякнул, как ворвался Мазан и, запинаясь от радости, пробормотал: «Проздравляю, батюшка Степан Михайлыч, с внучком!» — Первым движением Степана Михайлыча было перекреститься. Потом он проворно вскочил с постели, босиком подошел к шкафу, торопливо вытащил известную нам родословную, взял из чернилицы перо, провел черту от кружка с именем «Алексей», сделал кружок на конце своей черты и в середине его написал: «Сергей».

Прощайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, в которых есть и светлые и темные стороны, люди, в которых есть и доброе и худое! Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили: но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для

нас, как мы и наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков. Вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания. Могучею силою письма и печати познакомлено теперь с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!

ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА,

СЛУЖАЩИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕМ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

Внучке моей

ОЛЬГЕ ГРИГОРЬЕВНЕ

АКСАКОВОЙ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Я написал отрывки из «Семейной хроники» по рассказам семейства гг. Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно: внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов; я записал его рассказы с возможною точностью, а как они служат продолжением «Семейной хроники», так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, — то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая, по возможности, передать живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица «Хроники» выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжение рассказа оставляют ее навсегда... Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей.

С. Аксаков

ВСТУПЛЕНИЕ

Я сам не знаю, можно ли вполне верить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню действительно случившиеся события, то это можно назвать воспоминаниями не только детства, но даже младенчества. Разумеется, я ничего не помню в связи, в непрерывной последовательности; но многие случаи живут в моей памяти до сих пор со всею яркостью красок, со всею живостью вчерашнего события. Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню, как отнимали меня от кормилицы... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Я спорил и в доказательство приводил иногда такие обстоятельства, которые не могли мне быть рассказаны и которые могли знать только я да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и что рассказать мне о нем никто не мог. Но не все, казавшееся мне виденным, видел я в самом деле; те же справки иногда доказывали, что многого я не мог видеть, а мог только слышать.

Итак, я стану рассказывать из доисторической, так сказать, эпохи моего детства только то, в действительности чего не могу сомневаться.

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесятых годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, — кормилица, маленькая сестрица и мать; тогда они не имели для меня никакого определенного значенья и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим: с рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то, и кто-то являлся в сумраке слабоосвещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди... и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой.

Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желаньем ее видеть и чувством жалости: мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать; я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем; разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал.

Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованьем, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них.

Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего, и я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась с лишком полтора года, не в конце ее (когда я уже оправлялся), нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз, рано утром, я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне: высокая, большая комната, голые стены из претолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах; яркое, кажется летнее, солнце только что всходит и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мною опущен, ярко отражается на противоположной стене... Подле меня тревожно спит, без подушек и нераздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня; мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко! как хорошо пахнет!» Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь! — Полог подняли; я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить полрюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым, широким, круглым дном и длинною узенькою шейкою. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом, по просьбе

моей, достали мне кусочки или висюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла понемножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которою курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоляными сосульками; они растаяли у меня в руках и склеили мои худые, длинные пальцы; мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать... Предметы начали мешаться в моих глазах; мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство и я не хочу принимать его, что вместо матери стоит подле меня нянька Агафья или кормилица... Как заснул я и что было после — ничего не помню.

Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряженной лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор; что я хнычу, повторяя слабым голосом: «Супу, супу», которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращеньем от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы; а может быть, что мнительность, излишние опасения страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиною отчаянного положения, в котором я находился.

Я иногда лежал в забытьи, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком; пульс почти переставал биться, дыханье было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я; но я помню многое, что делали со мной в то время и что гово-

рили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, — что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть: доктора — по несомненным медицинским признакам, а окружающие — по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно, но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка Софья Николавна, — не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова, — перестань ты мучить свое дитя; ведь уж и доктора и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле божией: положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь...» Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все что может для моего спасенья, — и снова клала меня бесчувственного в крепительную ванну, вливала в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханьем — и я, после глубокого вздоха, начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике; разумеется, все это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с нею против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице.

Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно: то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам; один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие; отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал

я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться — и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду; я слышал, как толковали об этом; развели огонь, пили чай, а мне дали выпить отвратительной римской ромашки с рейнвейном, приготовили кушанье, обедали, и все отдыхали, даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слезы, положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче, и сообразя, что я уже с неделю не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась богу и решилась оставить уфимских докторов, а принялась лечить меня по домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров: но все это время, от кормежки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно изгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно: оно случилось, по уверению меня окружающих, в самой средине моего выздоровления...

Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать

ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести ее в другую комнату; но я, заметив это, пришел в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лежа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял ее разными игрушками или показываньем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала мое вниманье и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая все свободное время от посещенья гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно» — мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и не твердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или *скучал*, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой; его назвали Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Выздоровленье мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титло моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана, и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа.

Я приписываю мое спасение, кроме первой вышеприведенной причины, без которой ничто совершиться не могло, — неусыпному уходу, неослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороге, то есть движению и воздуху. Вниманье и попеченье было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый рейнвейн в Казани, почти за пятьсот верст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется доктора Рейслейна, за вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов — и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера; точно то же соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыханья. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге, или сказал доктор — не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

После моего выздоровления я начинаю помнить себя уже дитятей, не крепким и резвым, каким я сделался впоследствии, но тихим, кротким, необыкновенно жалостливым, большим трусом и в то же время беспрестанно, хотя медленно, уже читающим детскую книжку с картинками, под названием «Зеркало добродетели». Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе — решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальной, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища — маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но не красив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние, величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она

слушала с любопытством, устремив на меня, полные напряженного внимания, свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного: рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице — третий.

Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости. Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она собственно ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем, слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы — вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей рас-

сказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.

Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика! Наконец, «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде; тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за «Домашний лечебник Бухана», но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо.

Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня силь-

нейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый, богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал взаймы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастие!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть — и позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку,

несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громе», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращеньями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку — овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!

С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она не лежала в постели, но худела, бледнела и теряла силы с каждым днем. Нездоровье началось давно, но я этого сперва не видел и не понимал причины, от чего оно происходило. Только впоследствии узнал я из разговоров меня окружавших людей, что мать сделалась больна от телесного истощения и душевных страданий во время моей болезни. Ежеминутная опасность потерять страстно любимое дитя и усилия сохранить его напрягали ее нервы и придавали ей неестественные силы и как бы искусственную бодрость; но когда опасность миновалась — общая энергия упала и мать начала чувствовать ослабление: у нее заболела грудь,

бок, и, наконец, появилось лихорадочное состояние; те же самые доктора, которые так безуспешно лечили меня и которых она бросила, принялись лечить ее. Я услыхал, как она говорила моему отцу, что у нее начинается чахотка. Я не знаю, до какой степени это было справедливо, потому что больная была, как все утверждали, очень мнительна, и не знаю, притворно или искренне, но мой отец и доктора уверяли ее, что это неправда. Я имел уже смутное понятие, что чахотка какая-то ужасная болезнь. Сердце у меня замерло от страха, и мысль, что я причиною болезни матери, мучила меня беспрестанно. Я стал плакать и тосковать, но мать умела както меня разуверить и успокоить, что было и не трудно при ее беспредельной нравственной власти надо мною.

Не имея полной доверенности к искусству уфимских докторов, мать решилась ехать в Оренбург, чтоб посоветоваться там с доктором Деобольтом, который славился во всем крае чудесными излечениями отчаянно больных. Она сама сказала мне об этом с веселым видом и уверила, что возвратится здоровою. Я совершенно поверил, успокоился, даже повеселел и начал приставать к матери, чтоб она ехала поскорее. Но для этой поездки надобно было иметь деньги, а притом куда девать, на кого оставить двух маленьких детей? Я вслушивался в беспрестанные разговоры об этом между отцом и матерью и, наконец, узнал, что дело уладилось: денег дал тот же мой книжный благодетель С. И. Аничков, а детей, то есть нас с сестрой, решились завезти в Багрово и оставить у бабушки с дедушкой. Я был очень доволен, узнав, что мы поедем на своих лошадях и что будем в поле кормить. У меня сохранилось неясное, но самое приятное воспоминание о дороге, которую мой отец очень любил; его рассказы о ней и еще более о Багрове, обещавшие множество новых, еще неизвестных мне удовольствий, воспламенили мое ребячье воображение. Дедушку с бабушкой мне также хотелось видеть, потому что я хотя и видел их, но помнить не мог: в первый мой приезд в Багрово мне было восемь месяцев; но мать рассказывала, что дедушка был нам очень рад и что он давно зовет нас к себе и даже сердится, что мы в четыре

года ни разу у него не побывали. Моя продолжительная болезнь, медленное выздоровление и потом нездоровье матери были тому причиной. Впрочем, мой отец ездил прошлого года в Багрово, однако на самое короткое время. По обыкновению, вследствие природного моего свойства делиться моими впечатлениями с другими, все мои мечты и приятные надежды я рассказал и старался растолковать маленькой моей сестрице, а потом объяснять и всем меня окружавшим. Начались сборы. Я собрался прежде всех: уложил свои книжки, то есть «Детское чтение» и «Зеркало добродетели», в которое, однако, я уже давно не заглядывал; не забыл также и чурочки, чтоб играть ими с сестрицей; две книжки «Детского чтения», которые я перечитывал уже в третий раз, оставил на дорогу и с радостным лицом прибежал сказать матери, что я готов ехать и что мне жаль только оставить Сурку. Мать сидела в креслах, печальная и утомленная сборами, хотя она распоряжалась ими, не вставая с места. Она улыбнулась моим словам и так взглянула на меня, что я хотя не мог понять выражения этого взгляда, но был поражен им. Сердце у меня опять замерло, и я готов был заплакать; но мать приласкала меня, успокоила, ободрила и приказала мне идти в детскую — читать свою книжку и занимать сестрицу, прибавя, что ей теперь некогда с нами быть и что она поручает мне смотреть за сестрою; я повиновался и медленно пошел назад: какая-то грусть вдруг отравила мою веселость, и даже мысль, что мне поручают мою сестрицу, что в другое время было бы мне очень приятно и лестно, теперь не утешила меня. Сборы продолжались еще несколько дней, наконец все было готово.

ДОРОГА ДО ПАРАШИНА

В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного; напоили чаем за маленьким нашим столиком; подали карету к крыльцу, и, помолившись богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать; рядом

с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей, я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком.

Здесь начинается ряд еще не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую, но, по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту, ничего этого не заметил и не почувствовал; теперь же я был поражен широкою и быстрою рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленою уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую косную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки; перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей; вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку, а отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал: «Призывай бога на помочь», и лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся «стремя». Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся, но это было не совсем справедливо: я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и, по мелкому месту, пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился, и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые, чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расти-

лались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу; другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки, мы разостлали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них, меня же отец повел набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришел в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой; в этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью; это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившаяся в камень. Переправа кареты, кибитки и девяти лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков; но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только десятка полтора, сказав, что все остальные дрянь; я доказывал противное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Мать как будто освежилась на открытом воздухе, и я с жаром начал ей показывать и рассказывать о найденных мною драгоценностях, которыми были набиты мои карманы; камешки очень понравились моей сестрице, и некоторые из них я подарил ей. В нашей карете было много дорожных ящиков, один из них мать опростала и отдала в мое распоряжение, и я с большим старанием уложил в него свои сокровища.

Сначала дорога шла лесистой уремой; огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своею громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству; дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком; они срывали мне листья и ветки с разных дерев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст пятнадцать, остановились покормить лошадей собственно для того, чтоб мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню; но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Дёме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лесы; я сам держал связанные волоса, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лесою. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лесы для крупной рыбы; грузила и крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны, и все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их названия! — Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле; итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости; но место было необыкновенно сухо, никаких болот, и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь; даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для

меня опять готовилось новое зрелище; отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь: один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленья, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки, другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю (ее возили нарочно с собой для таких случаев), взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула; тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучиной — и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар; на разостланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай; она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели, и когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу; я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец — в кибитке. Мать скоро легла и положила с собой мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки; но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением; но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав, речка журчала в овраге, костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашицей, хлебали ее и весело разговаривали между собою;

лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосою света... «Не пора ли спать тебе, Сережа?» — сказал мой отец после долгого молчания; поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтоб не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся предо мною. А что же будет завтра, на чудесной Дёме... Наконец, сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении.

С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас; потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать сорок верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись, даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились и все вышли из кареты, чтоб переладить в ней ночное устройство на денное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина, окружала нас со всех сторон; кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдали; отец мой сказал, что там течет Дёма и что это синеется ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какою описывал ее мне отец и какою я после сам узнал ее: по долочкам трава была скошена и сметана в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела, и уже сизый ковыль, еще не совсем распустившийся, еще не побелевший, расстилался, как волны, по необозримой равнине; степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины; отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись

в карете попрежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтал о вчерашнем дне; она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть «Детского чтения» и стал читать, но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием и, читая громко вслух: «Канарейки, хорошие канарейки, так кричал мужик под Машиным окошком» и проч., я думал о другом и всего более о текущей там, вдалеке, Дёме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющею в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу; дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх вы, милые, пошевеливайтесь! Недалеко до Дёмы!..» И добрые кони наши побежали крупною рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урему. «А вон, Сережа, — сказал отец, выглянув в окно, — видишь, как прямо к Дёме идет тоже зеленая полоса и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши? Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам, это башкирские «кочи». Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну, да когда-нибудь после». Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слыхал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась и река, и множество озер, и прежнее русло Дёмы, по которому она текла некогда, которое тянулось длинным рукавом и называлось *Старицей*. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист; надобно было тормозить карету и спускаться осторожно; это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели

сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя угомониться. Но вот мы, наконец, на берегу Дёмы, у самого перевоза; карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я — и так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том и на мои просьбы идти поскорее удить сказал мне, чтоб я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. «А ты погуляй покуда с Ефремом, посмотри на перевоз да червячков приготовьте». Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дёма, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенною красотою, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерих выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко был привязан мокрый канат, толщиною в руку; по канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утвержденный на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комягами». Скоро я увидел, что один человек мог легко перегонять этот плот с одного берега на другой. Двое перевозчиков были башкирцы, в остроконечных своих войлочных шапках, говорившие ломаным русским языком. Ефрем, или Евсеич, как я его звал, держа меня крепко за руку, вошел со мною на плот и сказал одному башкирцу: «Айда знако́м, гуляй на другой сторона». И башкирец очень охотно, отвязав плот от причала, засучив свои жилистые руки, став лицом к противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки; через несколько минут мы были на том берегу, и Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для уженья, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше; не-

милосердо коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он: где бы отыскать нам червяков для уженья. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал: «Екши, екши, бачка, ладно! Айда» — и повел нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца: там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено: мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне, не забыли и овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались; даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец; но, признаюся, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтоб он показал мне уженье. Наконец, мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут «ай-ай, больно хороша берет рыба». Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец: ту же минуту наплавок привстал и погрузился в воду, Евсеич закричал: «Тащи, тащи...», и я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери; Евсеич

провожал меня. Мать не хотела верить, чтоб я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку; Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к уженью, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость; а к большому горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар; слезы так и брызнули из моих глаз, но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что, отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок, и мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца! Я не знаю, что бы сделалось со мной, если б меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как уженье было всего шагах в пятидесяти, то отпустили и ее с няней посмотреть на наше рыболовство. Когда мы пришли, отец показал мне несколько крупных окуней и плотиц, которых он выудил без меня: другая рыба в это время не брала, потому что было уже поздно и жарко, как объяснял мне Евсеич. Я выудил еще несколько плотичек, и всякий раз почти с таким же восхищением, как и первую. Но как мать отпустила меня на короткое время, то мы скоро воротились. Отец приказал повару Макею сварить и зажарить несколько крупных окуней, а всю остальную рыбу отдал людям, чтоб они сварили себе уху.

Уженье просто свело меня с ума! Я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать; но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз и что горячность моя пройдет; я же был уверен, что никогда не пройдет, и слушал с замирающим сердцем, как решается моя

участь. Удочка, дрожащий и ныряющий наплавок, согнутое от тяжести удилище, рыба, трепещущая на лесе, — приводили меня при одном воспоминании в восторг, в самозабвение. Все остальное время на кормежке я был невесел и не смел разговаривать о рыбках ни с отцом, ни с сестрицей, да и все были как будто чем-то недовольны. В таком расположении духа отправились мы в дальнейший путь. Мать дорогой принялась мне растолковывать, почему не хорошо так безумно предаваться какой-нибудь забаве, как это вредно для здоровья, даже опасно; она говорила, что, забывая все другие занятия для какой-нибудь охоты, и умненький мальчик может поглупеть, и что вот теперь, вместо того чтоб весело смотреть в окошко, или читать книжку, или разговаривать с отцом и матерью, я сижу молча, как будто опущенный в воду. Все это она говорила и нежно и ласково, и я как будто почувствовал правду ее слов, успокоился несколько и начал вслух читать свою книжку. Между тем к вечеру пошел дождь, дорога сделалась грязна и тяжела; высунувшись из окошка, я видел, как налипала земля к колесам и потом отваливалась от них толстыми пластами; мне это было любопытно и весело, а лошадкам нашим накладно, и они начинали приставать. Кучер Трофим, наклонясь к переднему окну, сказал моему отцу, что дорога стала тяжела, что нам не доехать засветло до Парашина, что мы больно запоздаем и лошадей *перегоним,* и что не прикажет ли он заехать для ночевки в чувашскую деревню, мимо околицы которой мы будем проезжать. Отец мой и сам уже говорил об этом; мы поутру проехали сорок верст да после обеда надо было проехать сорок пять — это было уже слишком много, а потому он согласился на предложение Трофима. Хотя матери моей и не хотелось бы ночевать в Чувашах, которые по неопрятности своей были ей противны, но делать было нечего, и последовало приказание: завернуть в чувашскую деревню для ночевки. Мы не доехали до Парашина пятнадцати верст. Через несколько минут своротили с дороги и въехали в селение без улиц; избы были разбросаны в беспорядке; всякий хозяин поселился там, где ему угодно, и к каждому двору был свой проезд. Солнце, закрытое облаками, уже садилось, дождь

продолжался, и наступали ранние сумерки; мы были встречены страшным лаем собак, которых чуваши держат еще больше, чем татары. Лай этот, неумолкаемо продолжавшийся и во всю ночь, сливался тогда с резким бормотаньем визгливых чувашек, с звяканьем их медных и серебряных подвесок и бранью наших людей, потому что хозяева прятались, чтоб избавиться от постояльцев. Долго звенела в ушах у нас эта пронзительная музыка. Наконец, отыскали выборного, как он ни прятался, должность которого на этот раз за отсутствием мужа исправляла его жена чувашка; она отвела нам квартиру у богатого чувашенина, который имел несколько изб, так что одну из них очистили совершенно для нас. В карете оставаться было сыро, и мы немедленно вошли в избу, уже освещенную горящей лучиной. Тут опять явились для меня новые, невиданные предметы: прежде всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин: они ходят в белых рубашках, вышитых красной шерстью, носят какие-то черные хвосты, а головы их и грудь увешаны серебряными, и крупными и самыми мелкими, деньгами: все это звенит и брякает на них при каждом движении. Потом изумили меня огромная изба, закопченная дымом и покрытая лоснящейся сажей с потолка до самых лавок, — широкие, устланные поперек досками лавки, называющиеся «на́рами», печь без трубы и, наконец, горящая лучина вместо свечи, ущемленная в так называемый светец, который есть не что иное, как железная полоска, разрубленная сверху натрое и воткнутая в деревянную палку с подножкой, так что она может стоять где угодно. В избе не было никакой нечистоты, но только пахло дымом, и непротивно. Мы расположились очень удобно на широких нарах. Отец доказывал матери моей, что она напрасно не любит чувашских деревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких широких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в мордовских и особенно русских; но мать возражала, что чуваши сами очень неопрятны и гадки; против этого отец не спорил, но говорил, что они предобрые и пречестные люди. Светец, с ущемленной в него горящей лучиной, которую надобно было беспрестанно заменять новою, обратил на себя мое особенное внимание; иные лучины го-

рели как-то очень прихотливо: иногда пламя пылало ярко, иногда чуть-чуть перебиралось и вдруг опять сильно вспыхивало; обгоревший, обуглившийся конец лучины то загибался крючком в сторону, то падал, треща, и звеня, и ломаясь; иногда вдруг лучина начинала шипеть, и струйка серого дыма начинала бить, как струйка воды из фонтанчика, вправо или влево. Отец растолковал мне, что это была струйка не дыма, а пара от сырости, находившейся в лучине. Все это меня очень занимало, и мне было досадно, когда принесли дорожную свечу и погасили лучину. Мы все провели ночь очень спокойно под своими пологами, без которых мы никуда не ездили. Ночью дождь прошел; хотя утро было прекрасное, но мы выехали не так рано, потому что нам надобно было переехать всего пятнадцать верст до Парашина, где отец хотел пробыть целый день. Слыша часто слово Парашино, я спросил, что это такое? и мне объяснили, что это было большое и богатое село, принадлежавшее тетке моего отца, Прасковье Ивановне Куролесовой, и что мой отец должен был осмотреть в нем все хозяйство и написать своей тетушке, все ли там хорошо, все ли в порядке. — Верст за восемь до села пошли парашинские поля, покрытые спелою, высокою и густою рожью, которую уже начали жать. Поля казались так обширны, как будто им и конца не было. Отец мой говорил, что он и не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный. Молодые крестьяне и крестьянки, работавшие в одних рубахах, узнали наших людей и моего отца; воткнув серпы свои в сжатые снопы, они начали выбегать к карете. Отец велел остановиться. По загорелым лицам жнецов и жниц текли ручьи пота, но лица были веселы; человек двадцать окружили нашу карету. Все были так рады. «Здравствуй, батюшка Алексей Степаныч! — заговорил один крестьянин постарше других, который был десятником, как я после узнал, — давно мы тебя не видали. Матушка Прасковья Ивановна отписала к нам, что ты у нас побываешь. Насилу мы тебя дождались». Отец мой, не выходя из кареты, ласково поздоровался со всеми и сказал, что вот он и приехал к ним и привез свою хозяйку и детей. Мать выглянула из окна и сказала: «Здравствуйте, мои

друзья!» Все поклонились ей, и тот же крестьянин сказал: «Здравствуй, матушка Софья Николавна, милости просим. А это сынок, что ли, твой?» — продолжал он, указав на меня. «Да, это мой сын, Сережа, а дочка спит», — отвечал отец. Меня высунули из окошка. Мне также все поклонились и назвали меня Сергеем Алексеичем, чего я до тех пор не слыхивал. «Всем вам мы рады, батюшка Алексей Степаныч», — сказал тот же крестьянин. Радость была непритворная, выражалась на всех лицах и слышна была во всех голосах. Я был изумлен, я чувствовал какое-то непонятное волнение и очень полюбил этих добрых людей, которые всех нас так любят. Отец мой продолжал разговаривать и расспрашивать о многом, чего я и не понимал; слышал только, как ему отвечали, что, слава богу, все живут помаленьку, что с хлебом не знай, как и совладать, потому что много народу хворает. Когда же мой отец спросил, отчего в праздник они на барщине (это был первый Спас, то есть первое августа), ему отвечали, что так приказал староста Мироныч; что в этот праздник точно прежде не работали, но вот уже года четыре как начали работать; что все мужики постарше и бабы ребятницы уехали ночевать в село, но после обедни все приедут, и что в поле остался только народ молодой, всего серпов с сотню, под присмотром десятника. Отец и мать простились с крестьянами и крестьянками. Я отвечал на их поклоны множеством поклонов, хотя карета тронулась уже с места, и, высунувшись из окна, кричал: «Прощайте, прощайте!» Отец и мать улыбались, глядя на меня, а я, весь в движении и волнении, принялся расспрашивать: отчего эти люди знают, как нас зовут? Отчего они нам рады и за что они нас любят? Что такое барщина? Кто такой Мироныч? и проч. и проч. Отец как-то затруднялся удовлетворить всем моим вопросам, мать помогла ему, и мне отвечали, что в Парашине половина крестьян родовых багровских, и что им хорошо известно, что когда-нибудь они будут опять наши; что его они знают потому, что он езжал в Парашино с тетушкой, что любят его за то, что он им ничего худого не делал, и что по нем любят мою мать и меня, а потому и знают, как нас зовут. Что такое староста Мироныч — я хорошо понял,

а что такое барщина — по моим летам понять мне было трудно.

В этот раз, как и во многих других случаях, не поняв некоторых ответов на мои вопросы, я не оставлял их для себя темными и нерешенными, а всегда объяснял по-своему: так обыкновенно поступают дети. Такие объяснения надолго остаются в их умах, и мне часто случалось потом, называя предмет настоящим его именем, заключающим в себе полный смысл, — совершенно его не понимать. Жизнь, конечно, объяснит все, и узнание ошибки бывает часто очень забавно, но зато бывает иногда очень огорчительно.

После ржаных хлебов пошли яровые, начинающие уже поспевать. Отец мой, глядя на них, часто говорил с сожалением: «Не успеют нынче убраться с хлебом до ненастья; рожь поспела поздно, а вот уже и яровые поспевают. А какие хлеба, в жизнь мою не видывал таких!» Я заметил, что мать моя совершенно равнодушно слушала слова отца. Не понимая, как и почему, но и мне было жалко, что не успеют убраться с хлебом.

ПАРАШИНО

С плоской возвышенности пошла дорога под изволок, и вот, наконец, открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашино, с каменной церковью и небольшим прудом в овраге. Господское гумно стояло, как город, построенный из хлебных кладей, даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне, так крестьяне! Сердце радуется!» Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец, мы въехали в село. В самое это время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом с кадилом, образами и хоругвями и сопровождаемый огромною толпою народа, шел из церкви для совершения водосвящения на иордани. Пение дьячков заглушалось колокольным звоном и только в промежутках

врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище; мне же хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но тем не менее я смотрел на него с восхищением.

После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленные святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесною толпою, и все были так же веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве; многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково; между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась, а мужик с страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степаныч и матушка Софья Николавна!» Мы вошли во флигель; там было как будто все приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался, наезжавший иногда, главный управитель и поверенный бабушки Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой, а все прочие с благоговением величали Михайлом Максимовичем, и вот причина, почему флигель всегда был прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мироныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отец мой осведомлялся у него обо всем, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовет его, когда будет нужно, и приказав, чтоб некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я ни был мал, но заметил, что Мироныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал «слушаю-с», что я как теперь слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете». Когда он ушел, я услышал такой разговор между отцом и матерью, кото-

рый привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мироныч должен быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то; что он и прежде слыхал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит; что он велел послать к себе таких стариков из багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Миронычу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы, и приглашал с собою мою мать; но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них и что если он хочет, то может взять с собой Сережу. Я обрадовался, стал проситься; отец охотно согласился. «Да, вот мы с Сережей, — сказал мой отец, — после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу». Разумеется, я тоже очень обрадовался и этому предложению, и мать тоже на него согласилась. После чаю мы отправились на конный двор, находившийся на заднем конце господского двора, поросшего травою. У входа в конюшни ожидал нас, вместе с другими конюхами, главный конюх Григорий Ковляга, который с первого взгляда очень мне понравился; он был особенно ласков со мною. Не успели мы войти в конюшни, как явился противный Мироныч, который потом целый день уже не отставал от отца. Мы вошли широкими воротами в какое-то длинное строение; на обе стороны тянулись коридоры, где направо и налево, в особых отгородках, стояли старые большие и толстые лошади, а в некоторых и молодые, еще тоненькие. Тут я узнал, что их комнатки назывались стойлами. Против самых ворот, на стене, висел образ Николая Чудотворца, как сказал мне Ковляга. Осмотрев обе стороны конюшни и похвалив в них чистоту, отец вышел опять на двор и приказал вывести некоторых лошадей. Ковляга сам выводил их с помощью другого конюха. Гордые животные, раскормленные и застоявшиеся, ржали, подымались на дыбы и поднимали на воздух обоих конюхов, так что они висели у них на шеях, крепко держась правою рукою за узду. Я робел и прижимался к отцу; но когда пускали некоторых из этих

славных коней бегать и прыгать на длинной веревке вокруг державших ее конюхов, которые, упершись ногами и пригнувшись к земле, едва могли с ними ладить — я очень ими любовался. Мироныч во все совался, и мне было очень досадно, что он называл Ковлягу Гришка Ковляжонок, тогда как мой отец называл его Григорий. «А где пасутся табуны?» — спросил мой отец у Ковляги. Мироныч отвечал, что один пасется у «Кошелги», а другой у «Каменного врага», и прибавил: «Коли вам угодно будет, батюшка Алексей Степаныч, поглядеть господские ржаные и яровые хлеба и паровое поле (мы завтра отслужим молебен и начнем сев), то не прикажете ли подогнать туда табуны? Там будет уж недалеко». Отец отвечал: «Хорошо». С конного двора отправились мы на родники. Отец мой очень любил всякие воды, особенно ключевые; а я не мог без восхищения видеть даже бегущей по улицам воды, и потому великолепные парашинские родники, которых было больше двадцати, привели меня в восторг. Некоторые родники были очень сильны и вырывались из середины горы, другие били и кипели у ее подошвы, некоторые находились на косогорах и были обделаны деревянными срубами с крышей; в срубы были вдолблены широкие липовые колоды, наполненные такой прозрачной водою, что казались пустыми; вода по всей колоде переливалась через край, падая по бокам стеклянною бахромой. Я видел, как приходили крестьянки с ведрами, оттыкали деревянный гвоздь, находившийся в конце колоды, подставляли ведро под струю воды, которая била дугой, потому что нижний конец колоды лежал высоко от земли, на больших каменных плитах (бока оврага состояли все из дикого плитняка). В одну минуту наполнялось одно ведро, а потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам; между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки: эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз, они мне очень понравились; я набил ими свои карманы, только название их никак не мог объяснить мне отец, и я долго надоедал ему вопросами: что за зверь

черт, имеющий такие крепкие пальцы? — Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям: отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок; овраг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина; посредине ее стояла мельничная амбарушка; в ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полую воду, впрочем, не оттого, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а оттого, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, все в брызгах и пене; шум воды смешивался с каким-то другим гуденьем и шипеньем. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидал после, в который всыпают хлебные зерна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зерна, попадавшие под камень; вертясь и раздавливая зерна, жернов, окруженный лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утвержденный на ней камень; амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках; долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям; он был весь белый от мучной пыли; я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу:

противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтоб больного старичка положили в постель и напоили чаем; отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал: «Засыпка, Василий Терентьев, больно стар и хвор; кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится; его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки». — «Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч, — отвечал Мироныч, — да не будет ли другим обидно? Его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?» Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. «Ведь ты и сам скоро состаришься, — сказал мой отец, — тоже будешь дармоедом и тогда захочешь покою». Мироныч отвечал: «Слушаю-с; по приказанию вашему будет исполнено; а этого-то Василья Терентьева и не надо бы миловать: у него внук буян и намнясь чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал, и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал: «Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виноватого». Мироныч проворно подхватил: «Будьте покойны, батюшка Алексей Степаныч, будет исполнено по вашему приказанию». — Не знаю отчего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрел было к нам, услыхав такие речи, сам остановился, трясясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взошли на гору, я оглянулся — старик все стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ: сейчас хотела призвать и разбранить Мироныча, сейчас отставить его от должности, сейчас написать об этом к тетушке Прасковье Ивановне... и отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков.

Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова: «Не вмешивайся не в свое дело, ты все дело испортишь, ты все семейство погубишь, теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться, чтоб я не написал к тетушке, а если пойдет дело на то, чтоб Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего, пользы не будет, да, пожалуй, и тетушка еще прогневается». Мать поспорила, но уступила. Боже мой! Какое смешение понятий произошло в моей ребячьей голове! За что страдает больной старичок, что такое злой Мироныч, какая это сила Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится? Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей, и я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка недобрые люди и что мой отец их боится.

Чертовы пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям — к чуркам и камешкам с реки Белой, которые я всегда называл «штуфами» (это слово я перенял у старика Аничкова). Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел. Я постоянно сообщал ей обо всем, что происходило со мной без нее. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не все понимает, и потому, перенимая речи у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти.

После обеда на длинных крестьянских роспусках отправились мы с отцом в поле; противный Мироныч также присел с нами. Я ехал на роспусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда; сидя в сложенной вчетверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги роспуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко потому, что они

должны были не опускать своих ног, а вытягивать и держать их на воздухе, чтоб не задевать за землю; я же сидел на роспусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жестких, как крупный горох; отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислы, потому что не поспели; бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый карман; я хотел и ягоды положить в другой карман и отвезти маменьке, но отец сказал, что «мать на такую дрянь и смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье и что их надо кинуть». Мне жаль было вдруг расстаться с ними, и я долго держал их в своей руке, но, наконец, принужден был бросить, сам не знаю как и когда.

В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с роспусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали межами; и вот начал слышаться издалека какой-то странный шум и говор людей; чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее, и, наконец, сквозь несжатую рожь стали мелькать блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе; вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с десять, говор прекратился, но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло все поле необыкновенными и неслыханными мною звуками. Мы остановились, сошли с роспусков, подошли близко к жнецам и жницам, и отец мой сказал каким-то добрым голосом: «Бог на помощь!» Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне, постарше, поздоровались с отцом и со мной. На загорелых лицах была написана радость, некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах, но все были

бодры. Отец мой спросил: сколько людей на десятине? не тяжело ли им? и, получив в ответ, что «тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера...» сказал: «Так жните с богом...» — и в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум от резки жесткой соломы еще звучнее, сильнее разнесся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении. Вдруг плач ребенка обратил на себя мое внимание, и я увидел, что в разных местах, между трех палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, висели люльки; молодая женщина воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего пятка снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя. Ребенок скоро успокоился, заснул, мать положила его в люльку, взяла серп и принялась жать с особенным усилием, чтобы догнать своих подруг, чтоб не отстать от других. Отец разговаривал с Миронычем, и я имел время всмотреться во все меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряженьем сил, на солнечном зное, обхватило мою душу, и, много раз потом бывая на жнитве, я всегда вспоминал это первое впечатление... С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с роспусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним; останавливались, отец мой говорил: «Бог на помощь». Везде было одно и то же: те же поклоны, те же добрые обрадованные лица и те же простые слова: «Благодарствуем, батюшка Алексей Степаныч». Останавливаться везде было невозможно, недостало бы времени. Мы объехали яровые хлеба, которые тоже начинали поспевать, о чем отец мой и Мироныч говорили с беспокойством, не зная, где взять рук и как убраться с жнитвом. «Вот она страда-то, настоящая-то страда, батюшка Алексей Степаныч, — говорил главный староста. — Ржи поспели поздно, яровые, почитай, поспевают, уже и поздние овсы стали мешаться, а пришла пора сеять. Вчера бог дал такого дождика, что борозду пробил; теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять; так извольте рассудить:

с одними бабами не много нажнешь, а ржи-то осталось половина не сжатой. Не позволите ли, батюшка, сделать лишний сгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь также надо убираться и что отнять у них день в такую страдную пору дело нехорошее, и что лучше сделать помочь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помочам непривычные; но в самое это время подъехали мы к горохам и макам, которые привлекли мое вниманье. Отец приказал Миронычу сломить несколько еще зеленых головок мака и выдрать с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками; все это он отдал в мое распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок, плоские горошинки которого показались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее, но в настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жницами наполняло мое воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десяток маковых головок и охапку зеленого гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, довольно заросшее зеленым осотом и козлецом, за что отец мой сделал замечание Миронычу; но тот оправдывался дальностью полей, невозможностью гонять туда господские и крестьянские стада для толоки, и уверял, что вся эта трава подрежется сохами и больше *не отрыгнет*, то есть не вырастет. Несмотря на все это, отец мой остался не совсем доволен паровым полем, сказал, что пашня местами мелка и борозды редки — отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанные близко к пару. В одном находилось множество молодых лошадок всяких возрастов и матерей с жеребятками, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, к которому, как говорили, и приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец, и то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей. Уже стало темно, когда мы воро-

тились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле, я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю.

Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя большие суеты, хлопоты и сборы. К отцу пришли многие крестьяне с разными просьбами, которых исполнить Мироныч не смел, как он говорил, или, всего вернее, не хотел. Это узнал я после, из разговоров моего отца с матерью. Отец, однако, не брал на себя никакой власти и все отвечал, что тетушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всем донести ей, но входить в распоряжения старосты не приказывала. Впрочем, наедине с Миронычем, я сам слышал, как он говорил, что для одного крестьянина можно бы сделать то-то, а для другого то-то. На такие речи староста обыкновенно отвечал: «Слушаю, будет исполнено», хотя мой отец несколько раз повторял: «Я, братец, тебе ничего не приказываю, а говорю только, не рассудишь ли ты сам так поступить? Я и тетушке донесу, что никаких приказаний тебе не давал, а ты на меня не ссылайся». К матери моей пришло еще более крестьянских баб, чем к отцу крестьян: одни тоже с разными просьбами об оброках, а другие с разными болезнями. Здоровых мать и слушать не стала, а больным давала советы и даже лекарства из своей дорожной аптечки. Накануне вечером, когда я уже спал, отец мой виделся с теми стариками, которых он приказал прислать к себе; видно, они ничего особенно дурного об Мироныче не сказали, потому что отец был с ним ласковее вчерашнего и даже похвалил его за усердие. Священник с попадьей приходили прощаться с нами и отозвались об Мироныче одобрительно. Священник сказал между прочим, что староста — человек подвластный, исполняет, что ему прикажут, и прибавил с улыбкой, что «един бог без греха и что жаль только, что у Мироныча много родни на селе и он до нее ласков». Я не понял этих слов и думал, что чем больше родни у него и чем он ласковее к ней — тем лучше. Не знаю отчего, сборы продолжались очень долго, и мы выехали около полдён. Мироныч и несколько стариков, с толпою

крестьянских мальчиков и девочек, проводили нас до околицы. Нам надобно было проехать сорок пять верст и ночевать на реке Ик, о которой отец говорил, что она не хуже Дёмы и очень рыбна; приятные надежды опять зашевелились в моей голове.

ДОРОГА ИЗ ПАРАШИНА В БАГРОВО

Дорога удивительное дело! Ее могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, все равно, любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминание прошедшего и, наконец, на мечты и надежды — в будущем; и все это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанною толпою новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове: Дёма, ночевка в Чувашах, родники, мельница, дряхлый старичок-засыпка и ржаное поле со жницами и жнецами, потом каждый предмет отделился и уяснился, явились темные, непонимаемые мной места или пятна в этих картинах; я обратился к отцу и матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и толкования показались мне неудовлетворительными, вероятно потому, что со мной говорили, как с ребенком, не замечая того, что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец, я обратился к самому свежему предмету моих недоумений: отчего сначала говорили об Мироныче, как о человеке злом, а простились с ним, как с человеком добрым? Отец с матерью старались растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч начальник умный и распорядительный, заботливый о господ-

ском и о крестьянском деле; они говорили, что, конечно, он потакает и потворствует своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости у главного управителя, Михайлы Максимыча, но что как же быть? свой своему поневоле друг, и что нельзя не уважить Михайле Максимычу; что Мироныч хотя гуляет, но на работах всегда бывает в трезвом виде и не дерется без толку; что он не поживился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а наживает большие деньги от дегтя и кожевенных заводов, потому что он в части у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, промышляющих в башкирских лесах сидкою дегтя и покупкою у башкирцев кож разного мелкого и крупного скота; что хотя хозяевам маленько и обидно, ну, да они богаты и получают большие барыши. В заключение старики просили, чтоб Мироныча не трогать и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое объяснение, на которое понадобилось еще много новых объяснений, очень меня озадачило. Житейская мудрость не может быть понимаема дитятей; добровольные уступки несовместны с чистотой его души, и я никак не мог примириться с мыслью, что Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. Наконец, я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать книжку, или играть с сестрицей. Книжка не шла мне в голову, и я принялся разбирать свои камешки и чертовы пальцы, показывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре.

Переезд опять был огромный, с лишком сорок верст. Сначала, верстах в десяти от Парашина, мы проехали через какую-то вновь селившуюся русскую деревню, а потом тридцать верст не было никакого селения и дорога шла по ровному редколесью; кругом виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высоких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совершенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, надобно было проезжать мимо чувашско-мордовской и частью татарской деревни, называющейся Ик-Кармала, потому что она раскинулась по пригоркам речки Кармалки, впадающей в Ик, в полуторе версте от деревни. Мы остановились возле околицы, чтоб послать

в Кармалу для закупки овса и съестных припасов, которые люди наши должны были привезти нам на ночевку, назначенную на берегу реки Ик. Солнце стояло еще очень высоко; было так жарко, как среди лета. Вдруг мать начала говорить, что не лучше ли ночевать в Кармале, где воздух так сух, и что около Ика ночью непременно будет сыро. Я так и обмер. Отцу моему также было это неприятно, но он отвечал: «Как тебе угодно, матушка». Мать высунулась из окна, посмотрела на рассеянные чувашские избы и, указав рукою на один двор, стоявший отдельно от прочих и заключавший внутри себя небольшой холм, сказала: «Вот где я желала бы остановиться». Препятствий никаких не было. Богатый чувашенин охотно пустил нас на ночлег, потому что мы не требовали себе избы, и мы спокойно въехали на огромный, еще зеленый двор и поставили карету, по желанию матери, на самом верху холма или пригорка. Вид оттуда был очень хорош на всю живописную окрестность речки Кармалки и зеленую урему Ика, текущего в долине. Но мне было не до прекрасных видов! Все мои мечты поудить вечером, когда, по словам отца, так хорошо клюет рыба на такой реке, которая не хуже Дёмы, разлетелись как дым, и я стоял, точно приговоренный к какому-нибудь наказанию. Вдруг голос отца вывел меня из отчаянного положения. «Сережа, — сказал он, — я попрошу у хозяина лошадь и роспуски, и он довезет нас с тобой до Ика. Мы там поудим. Как только солнце станет садиться, я пришлю тебя с Ефремом. А сам я ворочусь, когда уж будет темно. Просись у матери», — прибавил он, смотря с улыбкою в глаза моей матери. Я не говорил ни слова, но когда мать взглянула на меня, то прочла все на моем лице. Она почувствовала невозможность лишить меня этого счастия и с досадой сказала отцу: «Как тебе не стыдно взманить ребенка? Ведь он опять так же взволнуется, как на Дёме!» Тут я получил употребление языка и принялся горячо уверять, что буду совершенно спокоен; мать с большим неудовольствием сказала: «Ступай, но чтоб до заката солнца ты был здесь». Так неохотно данное позволение облило меня холодной водой. Я хотел было сказать, что не хочу ехать, но язык не поворотился. Через несколько минут

все было готово: лошадь, удочки и червяки, и мы отправились на Ик. Впоследствии я нашел, что Ик ничем не хуже Дёмы; но тогда я не в состоянии был им восхищаться: мысль, что мать отпустила меня против своего желания, что она недовольна, беспокоится обо мне, что я отпущен на короткое время, что сейчас надо возвращаться — совершенно закрыла мою душу от сладких впечатлений великолепной природы и уже зародившейся во мне охоты, но место, куда мы приехали, было поистине очаровательно! Сажен за двести повыше Ик разделялся на два рукава, или протока, которые текли в весьма близком расстоянии друг от друга. Разделенная вода была уже не так глубока, и на обоих протоках находились высокие мосты на сваях; один проток был глубже и тише, а другой — мельче и быстрее. Такая же чудесная урема, как и на Дёме, росла по берегам Ика. Протоки устремлялись вглубь ее и исчезали в густой чаще деревьев и кустов. Далее, по обеим сторонам Ика, протекавшего до сих пор по широкой и открытой долине, подступали горы, то лесистые, то голые и каменистые, как будто готовые принять реку в свое владенье.

Отец мой выбрал место для уженья, и они оба с Евсеичем скоро принялись за дело. Мне также дали удочку и насадили крючок уже не хлебом, а червяком, и я немедленно поймал небольшого окуня; удочку оправили, закинули и дали мне держать удилище, но мне сделалось так грустно, что я положил его и стал просить отца, чтоб он отправил меня с Евсеичем к матери. Отец удивился, говорил, что еще рано, что солнышко еще целый час не сядет, но я продолжал проситься и начинал уже плакать. Отец мой очень не любил и даже боялся слез, и потому приказал Евсеичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы вечер поудить вместе.

Мое скорое возвращение удивило, даже испугало мать. «Что с тобой, — вскрикнула она, — здоров ли ты?» Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось удить. По нетвердому моему голосу, по глазам, полным слез, она прочла все, что происходило в моем сердце. Она обняла меня, и мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить удить к отцу, но я

стал горячо просить не посылать меня, потому что желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что послать меня было бы таким же насилием, как и непозволенье ехать, когда я просился. Евсеич бегом побежал к отцу, а я остался с матерью и сестрой; мне вдруг сделалось так легко, так весело, что, кажется, я еще и не испытывал такого удовольствия. После многих нежных слов, ласк и разговоров, позаботившись, чтоб хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказала мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обежали вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там такую диковинку, что я, запыхавшись, с радостным криком прибежал рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с задней стороны, из средины пригорка, бил родник; чувашенин подставил колоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он провел воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное корыто, или выдолбленную колоду, для мытья белья, и в-третьих, в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади. Все это привело меня в восхищенье, и обо всем я с жаром рассказал матери. Мать улыбалась и хвалила догадливость чувашенина, особенно выгодную потому, что речка была довольно далеко. В дополнение моего удовольствия мать позволила мне развести маленький костер огня у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Великолепно опускалось солнце за темные Икские горы. Мы напились чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец еще не возвращался. Несколько раз мелькала у меня в голове мысль: что-то делается на берегу Ика? Как-то клюет там рыба? Но эти мысли не смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был вечер! Каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая заря! Как темнела понемногу вся окрестность! Вот уже и урема Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: «Видишь, Сережа, как там сыро, — хорошо, что мы не там ночуем». Отец все еще не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, но только что мы улеглись в карете, как подошел отец к окну и тихо сказал: «Вы еще не спите?» Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы пой-

мали мало, но отец выудил большого жериха, которого мне очень захотелось посмотреть. Евсеич принес пук горящей лучины, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. Отец перекрестил меня и сел ужинать. Еще несколько слов, несколько ласк от матери — и крепкий сон овладел мною.

Мы никогда еще не поднимались так рано с ночлега, потому что рано остановились. Я впросонках слышал, как спустили карету с пригорка, и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, что я сейчас опять увижу Ик, разгуляла меня, и я уже не спал до солнечного восхода. При блеске как будто пылающей зари подъехали мы к первому мосту через Ик; вся урема и особенно река точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез и первый луч солнца проник почти сзади в карету и осветил лицо спящей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы все уже крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано приехали мы и на кормежку в большое мордовское селение Коровино. Там негде было кормить в поле, но как мать моя не любила останавливаться в деревнях, то мы расположились между последним двором и околицей. Славного жериха, довезенного в мокрой траве совершенно свежим, сварили на обед. Мать только что отведала и то по просьбе отца: она считала рыбу вредною для себя пищей. Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашел его необыкновенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, мы вскоре после полдён, часу во втором, пустились в путь. Это был последний переезд до Багрова, всего тридцать пять верст. Мы торопились, чтоб приехать поранее, потому что в Коровине, где все знали и моего дедушку и отца, мы услыхали, что дедушка нездоров. В продолжение дороги мы два раза переехали через реку

Насягай по весьма плохим мостам. Первый мост был так дурен, что мы должны были все выйти из кареты, даже лошадей уносных отложили и на одной паре коренных, кое-как, перетащили нашу тяжелую и нагруженную карету. Тут Насягай был еще невелик, но когда, верст через десять, мы переехали его в другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубокую; но все он был по крайней мере вдвое меньше Ика и урема его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень высоко, «дерева в два», как говорил Евсеич, когда мы с крутой горы увидели Багрово, лежащее в долине между двух больших прудов, до половины заросших камышами, и с одной стороны окруженное высокими березовыми рощами. Я все это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было подтормозить и отец пошел со мною пешком. Не знаю отчего, сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и увидала Багрово, я заметил, что глаза ее наполнились слезами и на лице выразилась грусть; хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать, но я оставлял эти слова без понимания и даже без внимания и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец также сделался невесел. Мне стало грустно, и я с большим смущеньем сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом.

БАГРОВО

Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая

точно в такой шушун и так же повязанная платком, как наша нянька Агафья, а тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гостьи.

К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтоб мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание, вместе с недостаточно ласковым приемом, так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец, вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотанье и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки; он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», — сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтоб мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь, — продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою, — на кого похож Сережа: когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежа, кажется, похожа на мать. Завтра, бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети, чать, с дороги кушать хотят; покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».

Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба. «Ну, так ты нам скажи, невестушка, — говорила бабушка, — что твои детки едят и чего не едят: а то ведь я не знаю, чем их потчевать; мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем». Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть

повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно; что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещенья одну из двух комнат: или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтоб не было беспокойно сестрице от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, — и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю, из какой материи, кажется, кисейный занавес; знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я, много лет спустя, находил большое удовольствие их рассматривать; на окошки повесили такие же гардины — и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать; я сказал одни потому, что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне невесело в Багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу, и много тому подобного; но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец, сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготов-

лено было местечко; отцу же постлали на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившейся перед образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет.

Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски; никакой доктор мне не поможет», а также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь, ты непременно завтра сляжешь в постель...» — слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новою для меня, но как будто до сих пор не понимаемою; она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец, мать, по усильным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим; но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать.

Оправдалось предсказание моего отца! Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала: у ней разлилась желчь и была лихорадка; она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною... страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это будет ей вредно — и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса, за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать; я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную.

Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай, няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни

на шаг от матери, и отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова; мы с сестрой (да и все) очень их любили, но теперь крендель не пошел мне в горло, и, чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие исполнилось ту же минуту: тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой», и глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти! Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страдания и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа! Дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям унизанных медными шишечками... Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красны? Ты никак плакал, да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку?» — «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтоб не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пядь и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде; но дедушка как будто не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел

на меня, что робость моя стала проходить. «Знаете ли, на кого похож Сережа? — громко и весело сказал он. — Он весь в дядю, Григорья Петровича». С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал: «Не плачь, Сережа. Мать выздоровеет. Ведь это не смертное», — и начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней, только не шуми, не беспокой ее и не плачь». Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полог, когда захочется плакать; поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услыхав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты; отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава богу, — сказала мать, — я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его...» Я отвечал, что люблю и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему; но мать возразила, что этого не нужно, и просила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него: ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, повидимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас — а потому он и неласков.

Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа», — сказала мать как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что «клюквы у них много: им каждый год, по первому зимнему пути, по

целому возу привозят ее из Старого Багрова». Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его к себе в рот; потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за «Детское чтение», и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду, между разросшимися, старыми, необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал; я заметил, как выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка — и мне очень захотелось туда.

Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой; мать позволила, приказав не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем любезном Бугуруслане и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большею частию померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками; все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и проч. Вдобавок ко всему везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли «копром», наконец на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты... Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река, или речка, которая вдруг поворачивала налево, и таким образом, составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели

его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад, — как прибежал Евсеич и позвал нас обедать; в это время, то есть часу в двенадцатом, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в третьем; но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя, а как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел не много пониже. Я вспомнил, что, воротившись из саду, не был у матери, и стал проситься сходить к ней; но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтоб я перестал проситься и что я схожу после обеда; он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал, — и я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николавна ничего такого детям не дает и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: «Ну, так пусть отец кормит их как знает». Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то что первый день как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет!» Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить, но дедушка слышал мои слова и сказал: «Эге, брат, какой ты неженка». Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почивать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть: отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему,

как мне рассказывали, что теперешняя ее болезнь дело случайное, что она скоро пройдет и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться; но слова, слышанные мною в прошедшую ночь: «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровою. Все это я объяснял ей и отцу как умел, сопровождая свои объяснения слезами; но для матери моей не трудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить, и я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного: скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня долее обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем; даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время и как горячо полюбил я их впоследствии.

Через несколько дней мать встала с постели; ее лихорадка и желчь прошли, но она еще больше похудела и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно сбираться в Оренбург и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми; боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас не благонадежна и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал: «Ну что же, хорошо; Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку

ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами; она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил: «Ну, как хочешь; я ведь с своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и, в случае нездоровья, не лечить обыкновенными их лекарствами: гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и стариков и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже не скрывали этого, обещали, покорясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тетушке Татьяне Степановне, которая все-таки была подобрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми.

Все это время, до отъезда матери, я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледною, худою и слабою, я желал только одного, чтоб она ехала поскорее к доктору; но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной, и мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался: книжки, камешки, оставлял даже гулянье по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтоб она не ездила или взяла нас с собою; но больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желанье, чтоб она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно

так же могли бы поместиться в ней; но мать никогда не имела этого намерения и еще в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом; это намеренье ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его.

Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощанье я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали; мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в исступленье, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком: «Маменька, воротись!» Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить; я успел перебежать через двор и выбежать на улицу; Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа; он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу; она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слушал, кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он, взошед на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь. О чем плачешь? мать воротится, не останется жить в Оренбурге». И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь. Много будет нам хлопот: дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную и я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич и нянька Агафья употребляли все усилия, чтоб успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами: Евсеич пробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о Дёме, об уженье и рыбках, но все было напрасно; только утомившись от слез и рыданья, я, наконец, сам не знаю как, заснул.

ПРЕБЫВАНИЕ В БАГРОВЕ БЕЗ ОТЦА И МАТЕРИ

И с лишком месяц прожили мы с сестрицей, без отца и матери, в негостеприимном тогда для нас Багрове, большую часть времени заключенные в своей комнате, потому что скоро наступила сырая погода и гулянье наше по саду прекратилось. Вот как текла эта однообразная и невеселая жизнь: как скоро мы просыпались, что бывало всегда часу в восьмом, нянька водила нас к дедушке и бабушке; с нами здоровались, говорили несколько слов, а иногда почти и не говорили, потом отсылали нас в нашу комнату; около двенадцати часов мы выходили в залу обедать; хотя от нас была дверь прямо в залу, но она была заперта на ключ и даже завешана ковром, и мы проходили через коридор, из которого тогда еще была дверь в гостиную. За обедом нас всегда сажали на другом конце стола, прямо против дедушки, всегда на высоких подушках; иногда он бывал весел и говорил с нами, особенно с сестрицей, которую называл козулькой; а иногда он был такой сердитый, что ни с кем не говорил; бабушка и тетушка также молчали, и мы с сестрицей, соскучившись, начинали перешептываться между собой; но Евсеич, который всегда стоял за моим стулом, сейчас останавливал меня, шепнув мне на ухо, чтобы я молчал; то же делала нянька Агафья с моей сестрицей. После они сказали нам, чтобы мы не смели говорить, когда старый барин, то есть дедушка, невесел. После обеда мы сейчас уходили в свою комнату, куда в шесть часов приносили нам чай; часов в восемь обыкновенно ужинали, и нас точно так же, как к обеду, вводили в залу и сажали против дедушки; сейчас после ужина мы прощались и уходили спать. Первые дни заглядывала к нам в комнату тетушка и как будто заботилась о нас, а потом стала ходить реже и, наконец, совсем перестала. Мы только и видались с нею и со всеми за обедом, ужином, при утреннем здорованье и вечернем прощанье. Сначала заглядывали к нам, под разными предлогами, горничные девчонки и девушки, даже дворовые женщины, просили у нас «поцеловать ручку», к чему мы не были приучены и

потому не соглашались, кое о чем спрашивали и уходили; потом все совершенно нас оставили, и, кажется, по приказанью бабушки или тетушки, которая (я сам слышал) говорила, что «Софья Николавна не любит, чтоб лакеи и девки разговаривали с ее детьми». Нянька Агафья от утреннего чая до обеда и от обеда до вечернего чая также куда-то уходила, но зато Евсеич целый день не отлучался от нас и даже спал всегда в коридоре у наших дверей. Он или забавлял нас рассказами, или играл с нами, или слушал мое чтение. Тут-то мы еще больше сжились с милой моей сестрицей, хотя она была так еще мала, что я не мог вполне разделять с ней всех моих мыслей, чувств и желаний. Она, например, не понимала, что нас мало любят, а я понимал это совершенно; оттого она была смелее и веселее меня и часто сама заговаривала с дедушкой, бабушкой и теткой; ее и любили за то гораздо больше, чем меня, особенно дедушка; он даже иногда присылал за ней и подолгу держал у себя в горнице. Я очень это видел, но не завидовал милой сестрице, во-первых, потому, что очень любил ее, и во-вторых, потому, что у меня не было расположенья к дедушке и я чувствовал всегда невольный страх в его присутствии. Должно сказать, что была особенная причина, почему я не любил и боялся дедушки: я своими глазами видел один раз, как он сердился и топал ногами; я слышал потом из своей комнаты какие-то страшные и жалобные крики. Нянька Агафья не замедлила мне все объяснить, хотя добрый Евсеич пенял, зачем она рассказывает дитяти то, о чем ему и знать не надо.

И так неприметно устроился у нас особый мир в тесном углу нашем, в нашей гостиной комнате. Первые дни после отъезда отца и матери я провел в беспрестанной тоске и слезах, но мало-помалу успокоился, осмотрелся вокруг себя и устроился. Всякий день я принимался учить читать маленькую сестрицу, и совершенно без пользы, потому что во все время пребывания нашего в Багрове она не выучила даже азбуки. Всякий день заставлял ее слушать «Детское чтение», читая сряду все статьи без исключения, хотя многих сам не понимал. Бедная слушательница моя часто зевала, на-

пряженно устремив на меня свои прекрасные глазки, и засыпала иногда под мое чтение; тогда я принимался с ней играть, строя городки и церкви из чурочек или дома, в которых хозяевами были ее куклы; самая любимая ее игра была игра «в гости»: мы садились по разным углам, я брал к себе одну или две из ее кукол, с которыми приезжал в гости к сестрице, то есть переходил из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались ее дочками или племянницами; тут было много разговоров и угощений, полное передразниванье больших людей. Я очень помню, что пускался в разные выдумки и рассказывал разные небывалые со мной приключения, некоторым основанием или образцом которых были прочитанные мною в книжках или слышанные происшествия. Так, например, я рассказывал, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка (то есть с двумя куклами, которых держал в руках); или что на меня напали разбойники и я всех их победил; наконец, что в багровском саду есть пещера, в которой живет Змей Горыныч о семи головах, и что я намерен их отрубить. Мне очень было приятно, что мои рассказы производили впечатление на мою сестрицу и что мне иногда удавалось даже напугать ее; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала и все видела во сне то разбойников, то Змея Горыныча и прибавляла, что это братец ее напугал. Няня погрозила мне, что пожалуется дедушке, и я укротил пламенные порывы моей детской фантазии. — Во время отсутствия отца и матери три тетушки перебывали в гостях в Багрове. Первая была Александра Степановна; она произвела на меня самое неприятное впечатление, а также и муж ее, который, однако, нас с сестрой очень любил, часто сажал на колени и беспрестанно целовал. Новая тетушка совсем нас не любила, все насмехалась над нами, называла нас городскими неженками и, сколько я мог понять, очень нехорошо говорила о моей матери и смеялась над моим отцом. Ее муж бывал иногда как-то странен и даже страшен: шумел, бранился, пел песни и, должно быть, говорил очень дурные слова, потому что обе тетушки зажимали ему рот руками и пугали,

что дедушка идет, чего он очень боялся и тотчас уходил от нас. Вторая приехавшая тетушка была Аксинья Степановна, крестная моя мать; эта была предобрая, нас очень любила и очень ласкала, особенно без других; она даже привезла нам гостинца, изюма и черносливу, но отдала тихонько от всех и велела так есть, чтоб никто не видал; она пожурила няньку нашу за неопрятность в комнате и платье, приказала переменять чаще белье и погрозила, что скажет Софье Николавне, в каком виде нашла детей; мы очень обрадовались ее ласковым речам и очень ее полюбили. Одно смутило меня: приказанье есть потихоньку подаренные ею лакомства. Мать и отец приучали меня ничего тихонько не делать, и я решился спрятать изюм и чернослив до приезда матери. Третья тетушка, Елизавета Степановна, которую все называли генеральшей, приезжала на короткое время; эта тетушка была прегордая и ничего с нами не говорила. Она привезла с собою двух дочерей, которые были постарше меня; она оставила их погостить у дедушки с бабушкой и сама дня через три уехала. Повидимому, пребывание двух двоюродных сестриц могло бы развеселить нас и сделать нашу жизнь более приятною, но вышло совсем не так, и положение наше стало еще грустнее, по крайней мере мое. Я очень видел, что с ними поступают совсем не так, как с нами; их и любили, и ласкали, и веселили, и угощали разными лакомствами; им даже чай наливали слаще, чем нам: я узнал это нечаянно, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры. Девочки эти, разумеется, ни в чем не были виноваты: они чуждались нас, но, как их научали и как им приказывали, так они и обходились с нами. Я пробовал им читать, но они не хотели слушать и называли меня дьячком. Они были в доме *свои:* вся девичья и вся дворня их знала и любила, и им было очень весело, а на нас никто и не смотрел. Я часто слышал сквозь дверь в коридоре шепот и сдержанный смех, а иногда и хохот и возню; Евсеич сказывал мне, что это горничные девушки играли с барышнями и прятались за сундуками в перинах и подушках, которыми был завален, по обеим сторонам, широкий коридор. Евсеич предлагал и мне поиграть, и мне самому иногда хотелось; но у меня не-

доставало для этого смелости, да и мать, уезжая, запретила нам входить в какие-нибудь игры или разговоры с багровской прислугой. Евсеич в продолжение этих тяжелых пяти недель сделался совершенно моим дядькой, и я очень полюбил его. Я даже читывал ему иногда «Детское чтение». Однажды я прочел ему «Повесть о несчастной семье, жившей под снегом» [1]. Выслушав ее, он сказал: «Не знаю, соколик мой (так он звал меня всегда), все ли правда тут написано; а вот здесь в деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик Арефий Никитин поехал за дровами в лес, в общий колок, всего версты четыре, да и запоздал; поднялся буран, лошаденка была плохая, да и сам он был плох; показалось ему, что он не по той дороге едет, он и пошел отыскивать дорогу, снег был глубокий, он выбился из сил, завяз в долочке — так его снегом там и занесло. Лошадь постояла, отдохнула, видно, прозябла и пошла шажком, да и пришла домой с возом. Дома Арефья ждали; увидали, что лошадь пришла одна, дали знать старосте, подняли тревогу, и мужиков с десяток поехали отыскивать Арефья. Буран был страшный, зги не видать! поездили, поискали, да так ни с чем и воротились. На другой день вся барщина ездила отыскивать и также ничего не нашла. Уж на третий день, совсем по другой дороге, ехал мужик из Кудрина; ехал он с зверовой собакой, собака и причуяла что-то недалеко от дороги и начала лапами снег разгребать; мужик был охотник, остановил лошадь и подошел посмотреть, что тут такое есть; и видит, что собака выкопала нору, что оттуда пар идет; вот и принялся он разгребать, и видит, что внутри пустое место, ровно медвежья берлога, и видит, что в ней человек лежит, спит, и что кругом его все обтаяло; он знал про Арефья и догадался, что это он. Мужик поскорее прикрыл дыру снежком, пал на лошадь, да и прискакал к нам в деревню. Народ мигом собрался. Поскакали с лопатами, откопали Арефья, взвалили на сани, прикрыли шубой и привезли домой. Дома его в избу не вдруг внесли, а сначала долго оттирали снегом, а он весь был талый. Арефий от

[1] «Детское чтение», часть 1-я.

стужи и снегу ровно проснулся: тогда внесли его в избу, но он все был без памяти. Уж на другой день пришел в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. — Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе покажу его, когда он придет на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева» [1]. Рассказ об Арефье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его, потому что он приходил к дедушке чего-то просить. Арефья все называли дурачком, и в самом деле он ничего не умел рассказать мне, как его занесло снегом и что с ним потом было.

Я попросил один раз у тетушки каких-нибудь книжек почитать. Оказалось, что ее библиотека состояла из трех книг: из «Песенника», «Сонника» и какого-то театрального сочинения вроде водевиля. Песенника почему-то она не рассудила дать мне, а Сонник и театральную пиеску отдала. Обе книжки сделали на меня сильное впечатление. Я выучил наизусть, что́ какой сон значит, и долго любил толковать сны свои и чужие, долго верил правде этих толкований, и только в университете совершенно истребилось во мне это суеверие. Толкования снов в Соннике были крайне нелепы, не имели даже никаких, самых пустых, известных в народе, оснований и применений. Я помню некоторые даже теперь. Вот несколько примеров: «Ловить рыбу значит несчастие. Ехать на телеге означает смерть. Видеть себя во сне в навозе предвещает богатство». — Театральная пиеска имела двойное название; первого не помню, а второе было: «Драматическая пустельга». И точно,

[1] Замечательно, что этот несчастный Арефий, не замерзший в продолжение трех дней под снегом, в жестокие зимние морозы, замерз лет через двадцать пять в сентябре месяце, при самом легком морозе, последовавшем после сильного дождя! Он точно так же ездил в лес за дровами, в тот же общий колок, так же потерял лошадь, которая пришла домой, и так же, вероятно, бродил, отыскивая дорогу. Разумеется, он измок, иззяб и до того, как видно, выбился из сил, что, наконец, найдя дорогу, у самой околицы упал в маленький овражек и не имел сил вылезть из него. Осенняя ночь длинна, и потому неизвестно, когда он попал в овражек; но на другой день, часов в восемь утра, поехав на охоту, молодой Багров нашел его уже мертвым и совершенно окоченевшим.

это была пустельга... но как она мне понравилась! Начиналась она так: пастушка или крестьянская девушка гнала домой стадо гусей и пела куплет, который начинался и оканчивался припевом:

Тига, тига домой,
Тига, тига за мной.

Помню еще два стишка из другого куплета:

Вот василек,
Милый цветок.

Больше ничего не помню; знаю только, что содержание состояло из любви пастушки к пастуху, что бабушка сначала не соглашалась на их свадьбу, а потом согласилась. С этого времени глубоко запала в мой ум склонность к театральным сочинениям и росла с каждым годом.

Дедушка получил только одно письмо из Оренбурга с приложением маленькой записочки ко мне от матери, написанной крупными буквами, чтоб я лучше мог разобрать; эта записочка доставила мне великую радость. Тут примешивалась новость впечатления особого рода: в первый раз услышал я речь, обращенную ко мне из-за нескольких сот верст, и от кого же? От матери, которую я так горячо любил, о которой беспрестанно думал и часто тосковал. До сих пор еще никто ко мне не писал ни одного слова, да я не умел и разбирать писаного, хотя хорошо читал печатное.

Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и, наконец, такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти выражалось не только на моем лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеича. Часто, разогнув «Детское чтение», я задумывался, и мое ребячье воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец и что мы остаемся жить в Багрове, что нас будут наказывать, оденут в крестьянское платье, сошлют в кухню (я слыхал о наказаниях такого рода) и что, наконец, и мы с сестрицей оба умрем. Воображаемые

картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании молодых господ (так называли в доме моего отца и мать) начала долее оставаться с нами, — не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговариванья и утешенья не имели успеха. На вопросы, о чем мы плачем, я отвечал, что «верно, маменька больна или умирает»; а сестрица отвечала, что «ей жалко, когда братец плачет». Сказали о наших слезах тетушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тетушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменька здорова, что она скоро воротится и что ее ждут каждый день; но я был так убежден в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тетушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ: «Вы нарочно так говорите». Тетушка с досадою ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, он довольно сурово сказал мне: «Я слышу, что ты все хнычешь, ты плакса, а глядя на тебя, и козулька плачет. Чтоб я не слыхал о твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали, и точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь. Дедушки я стал бояться еще более.

В подражание тетушкиным словам и Евсеич и нянька беспрестанно повторяли: «Маменька здорова, маменька сейчас приедет, вот уж она подъезжает к околице, и мы пойдем их встречать...» Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло еще два дня; тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг: часто она просила меня поиграть с ней, или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, и мы молча, печально смотрели друг

на друга, и глаза наши наполнялись слезами. В один из таких скучных, тяжелых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: «Молодые господа едут!» Странно, что я не вдруг и не совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеича и няньки, но все странно, что я так недоверчиво обрадовался; впрочем, слава богу, что так случилось: если б я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал; сестрица моя начала прыгать и кричать: «Маменька приехала, маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, встревоженным голосом спросила: «Взаправду, что ли?» — «Взаправду, взаправду, уж близко, — отвечала Феклуша, — Ефрем Евсеич побежал встречать», — и сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую; двери были растворены настежь, в сенях уже стояли бабушка, тетушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти; подъехала карета, в окошке мелькнул образ моей матери — и с этой минуты я ничего не помню... Я очнулся или очувствовался уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость, вот было счастье!

Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она еще не успела поздороваться: испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали Евсеичу сказать, чтоб он меня привел к старому барину. На этот раз я пошел без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тетушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел или, лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать. «А, так ты так же и отца любишь, как мать, — весело сказал дедушка, — а я думал, что ты только по ней соскучился. Ну, Софья Николавна, — продолжал он, — сынок твой плакса, на всех

тоску нагнал, и козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся». Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удивлением смотрел на нее: когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: «Маменька приехала, тятенька приехал!» — а потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим; даже вскарабкалась на колени к дедушке.

Отец с матерью приехали перед обедом часа за два. После обеда все разошлись, по обыкновению, отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно все время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвесть мой рассказ над сердцем горячей матери; не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если б я и понимал, я бы все рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать перерывала мой рассказ; глаза ее блестели, бледное ее лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова; но отец всякий раз останавливал ее знаком и успокаивал словами: «Побереги себя, ради бога, пожалей Сережу. Что он должен подумать?..» И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в залу, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть; но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. Я даже слышал сквозь запертую и завешанную дверь сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор вполголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только вполовину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку и что мой отец за них заступается; из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся.

Я в свою очередь расспросил также отца и мать

о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Деобольт не нашел никакой чахотки у моей матери, но зато нашел другие важные болезни, от которых и начал было лечить ее; что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях и доктор принужден был ее отпустить; что он дал ей лекарств на всю зиму, а весною приказал пить кумыс, и что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и Евсеичем будем там удить рыбку. Все это меня успокоило и обрадовало, особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменька стала здоровее и крепче. Робость моя вдруг прошла, и печальное Багрово как будто повеселело. Мне показалось даже, а может быть оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласковее, внимательнее и больше заботились о нас. По ребячеству моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня, и полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сынком, который отца своего не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове «брезгует»; очевидно, что это было ему насказано, а моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошел мой страх и тоска по матери, когда на сердце у меня повеселело и я сам стал к нему ласкаться, весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился; стал жив, даже резов; к дедушке стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину и сейчас попотчевал его чтением «Детского чтения», и все это дедушка принимал благосклонно; угрюмый старик также как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у него на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала и потом

возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени; на вопрос же его: «Что ты, козулька, вскочила?» — она отвечала: «Захотелось братца поцеловать». Одним словом, у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь, такие прямые сношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати; видя, что он не обращает на них никакого вниманья, а занимается нами, генеральские дочки (как их называли), соскучась молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее.

Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или, просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи; мы к твоим детям и приступиться не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бранила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень ее жаль, а в то же время она все говорила неправду; клялась и божилась, что от нас и денно и нощно не отходила и ссылалась на меня и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплакала навзрыд. Я стал втупик; мне приходило даже в голову: уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью; но Евсеич, который в глаза уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит.

Начали поспешно сбираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушке и очень к ней ласкались. Моя мать, при дедушке и при всех, очень горячо ее благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры сво-

ими ласками и вниманием, и уверяла ее, что, покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я ни был мал, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксинью Степановну, и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила свое неудовольствие и матушке и сестре; зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки.

Наконец, мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уж время позднее, а то бы еще с недельку надо вам погостить. Невестыньке с детьми было беспокойно жить; ну, да я пристрою ей особую горницу». Все прочие прощались не один раз; долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку.

Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная, останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили; у татар еще было лучше, потому что у них избы были *белые*, то есть с трубами, а в курных избах чуваш и мордвы кормежки были нестерпимы: мы так рано выезжали с ночевок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда еще топились печи; надо было лежать на лавках, чтоб не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтоб мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые теплым одеялом; у матери от дыму с непривычки заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу.

ЗИМА В УФЕ

После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, Сурке, который мне также очень обрадовался, и свободе — бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась: это были ее родные братья, Сергей Николаич и Александр Николаич; они служили в военной службе, в каком-то драгунском полку, и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей; оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые, особенно Александр Николаич: он шутил и смеялся с утра и до вечера и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи; это была для меня совершенная новость: я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему дядя Сергей Николаич очень любил рисовать и хорошо рисовал; с ним был ящичек с соковыми красками и кисточками... одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а рисованье их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным: я смотрел на дядю Сергея Николаича как на высшее существо.

Хотя печальное и тягостное впечатление житья в Багрове было ослаблено последнею неделею нашего там пребывания, хотя длинная дорога также приготовила меня к той жизни, которая ждала нас в Уфе, но, несмотря на то, я почувствовал необъяснимую радость и потом спокойную уверенность, когда увидел себя перенесенным совсем к другим людям, увидел другие лица, услышал другие речи и голоса, когда увидел любовь к себе от дядей и от близких друзей моего отца и матери, увидел ласку и привет от всех наших знакомых. Это произвело на меня такое действие, что я вдруг, как говорили, развернулся, то есть стал смелее прежнего, тверже и бойчее. Все говорили, что я переменился, что я вырос и поумнел. Должно признаться, что, слыша такие отзывы, я стал самолюбивее и самонадеяннее.

Дяди мои поместились в отдельной столовой, из которой, кроме двери в залу, был ход через общую, или проходную, комнату в большую столярную; прежде это была горница, в которой у покойного дедушки Зубина помещалась канцелярия, а теперь в ней жил и работал столяр Михей, муж нашей няньки Агафьи, очень сердитый и грубый человек. Я прежде о нем почти не знал; но мои дяди любили иногда заходить в столярную подразнить Михея и забавлялись тем, что он сердился, гонялся за ними с деревянным молотком, бранил их и даже иногда бивал, что доставляло им большое удовольствие и чему они от души хохотали. Мне тоже казалось это забавным, и не подозревал я тогда, что сам буду много терпеть от подобной забавы.

Здоровье моей матери видимо укреплялось, и я заметил, что к нам стало ездить гораздо больше гостей, чем прежде; впрочем, это могло мне показаться: прошлого года я был еще мал, не совсем поправился в здоровье и менее обращал внимания на все происходившее у нас в доме. Всех знакомых ездило очень много, но я их мало знал. Мне хорошо известны и памятны только те, которые бывали у нас почти ежедневно и которые, как видно, очень любили моего отца и мать и нас с сестрицей. Это были: старушка Мертваго и двое ее сыновей Дмитрий Борисович и Степан Борисович Мертваго, Чичаговы, Княжевичи, у которых двое сыновей были почти одних лет со мною, Воецкая, которую я особенно любил за то, что ее звали, так же как и мою мать, Софьей Николавной, и сестрица ее, девушка Пекарская; из военных всех чаще бывали у нас генерал Мансуров с женою и двумя дочерьми, генерал граф Ланжерон и полковник Л. Н. Энгельгардт; полковой же адъютант Волков и другой офицер Христофович, которые были дружны с моими дядями, бывали у нас каждый день; доктор Авенариус — также: это был давнишний друг нашего дома. С детьми Княжевичей и Мансуровых мы были дружны и часто вместе игрывали. Дети Княжевичей были молодцы, потому что отец и мать воспитывали их без всякой неги; они не знали простуды и ели все, что им вздумается, а я, напротив, кроме ежедневных диетных кушаний, не смел ничего съесть

без позволения матери; в сырую же погоду меня не выпускали из комнаты. Надо вспомнить, что я года полтора был болен при смерти, и потому не удивительно, что меня берегли и нежили; но милая моя сестрица даром попала на такую же диету и береженье от воздуха. Иногда гости приезжали обедать, и боже мой! как хлопотала моя мать с поваром Макеем, весьма плохо разумевшим свое дело. Миндальное пирожное всегда приготовляла она сама, и смотреть на это приготовленье было одним из любимых моих удовольствий. Я внимательно наблюдал, как она обдавала миндаль кипятком, как счищала с него разбухшую кожицу, как выбирала миндалины только самые чистые и белые, как заставляла толочь их, если пирожное приготовлялось из миндального теста, или как сама резала их ножницами и, замесив эти обрезки на яичных белках, сбитых с сахаром, делала из них чудные фигурки: то венки, то короны, то какие-то цветочные шапки или звезды; все это сажалось на железный лист, усыпанный мукою, и посылалось в кухонную печь, откуда приносилось уже перед самым обедом, совершенно готовым и поджарившимся. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком чудное пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к своим гостям. Сидя за столом, я всегда нетерпеливо ожидал миндального блюда не столько для того, чтоб им полакомиться, сколько для того, чтоб порадоваться, как гости будут хвалить прекрасное пирожное, брать по другой фигурке и говорить, что «ни у кого нет такого миндального блюда, как у Софьи Николавны». Я торжествовал и не мог спокойно сидеть на моих высоких креселецах и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что все это маменька делала сама. Я помню, что гости у нас тогда бывали так веселы, как после никогда уже не бывали во все остальное время нашего житья в Уфе, а между тем я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах и что все у нас в доме было беднее и хуже, чем у других. — Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николае-

вича Энгельгардта: по своему росту и дородству он казался богатырем между другими и к тому же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округленными концами и с надписью: «Очаков взят 1788 года 6 декабря». Я сказал, что любил его сначала; это потому, что впоследствии я его боялся, — он напугал меня, сказав однажды: «Хочешь, Сережа, в военную службу?» Я отвечал: «Не хочу». — «Как тебе не стыдно, — продолжал он, — ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадеры? Я привезу тебе гренадерскую шапку и тесак...» Я перепугался и убежал от него. Энгельгардт вздумал продолжать шутку и на другой день, видя, что я не подхожу к нему, сказал мне: «А, трусишка! ты боишься военной службы, так вот я тебя насильно возьму...» С этих пор я уж не подходил к полковнику без особенного приказания матери, и то со слезами. В этом страхе утверждал меня мальчик-товарищ, часто к нам ходивший, кривой Андрюша, сын очень доброй женщины, преданной душевно нашему дому. Он был старше меня, и я ему верил. Потом мне казалось, что он нарочно пугал меня.

После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаич. Он не так любил ездить по гостям, как другой мой дядя, меньшой его брат, которого все называли ветреником, и рисовал не только для меня маленькие картинки, но и для себя довольно большие картины. Я не мог, бывало, дождаться того времени, когда дядя сядет за стол у себя в комнате, на котором стоял уже стакан с водой и чистая фаянсовая тарелка, заранее мною приготовленная. За несколько времени до назначенного часа я уже не отходил от дяди и все смотрел ему в глаза; а если и это не помогало, то дергал его за рукав, говоря самым просительным голосом: «Дяденька, пойдемте рисовать». Наконец, он садился за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан — и глаза мои уже не отрывались

от его руки, и каждое появление нового листка на дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Видя такую мою охоту, дядя вздумал учить меня рисовать; он весьма тщательно приготовил мне *оригиналы*, то есть мелкие и большие полукружочки и полные круги, без тушевки и оттушеванные, помещенные в квадратиках, заранее расчерченных, потом глазки, брови и проч. Дядя, как скоро садился сам за свою картину, усаживал и меня рисовать на другом столе; но учение сначала не имело никакого успеха, потому что я беспрестанно вскакивал, чтоб посмотреть, как рисует дядя; а когда он запретил мне сходить с места, то я таращил свои глаза на него или влезал на стул, надеясь хоть что-нибудь увидеть. Дядя догадался, что прока не будет, и начал заставлять меня рисовать в другие часы; он не ошибся: в короткое время я сделал блистательные успехи для своего возраста. Дядя был в восторге и пророчил, что из меня выйдет необыкновенный рисовальщик. Но не все пророчества сбываются, и я в зрелых годах не умел нарисовать того кружочка, который рисовал в ребячестве.

По книжной части библиотека моя, состоявшая из двенадцати частей «Детского чтения» и «Зеркала добродетели», была умножена двумя новыми книжками: «Детской библиотекой» Шишкова и «Историей о Младшем Кире и возвратном походе десяти тысяч Греков, сочинения Ксенофонта». Книги эти подарил мне тот же добрый человек, С. И. Аничков; к ним прибавил он еще толстый рукописный том, который я теперь и назвать не умею. Я помню только, что в нем было множество чертежей и планов, очень тщательно сделанных и разрисованных красками. Ничего не понимая, я с великим наслаждением перелистывал эту книгу вместе с моей сестрицей и растолковывал ей, что какая фигура представляет и значит. Я должен был все сочинять и выдумывать, потому что не имел ни малейшего понятия о настоящем деле. Как бы я желал теперь услышать мою тогдашнюю болтовню! «Детская библиотека», сочинение г. Кампе, переведенная с немецкого А. С. Шишковым, особенно детские песни, которые скоро выучил я наизусть, привели меня

в восхищение[1]: это и не мудрено; но удивительно, что Ксенофонт нравился мне не менее, а в последующие годы сделался моим любимым чтением. Я и теперь так помню эту книгу, как будто она не сходила с моего стола; даже наружность ее так врезалась в моей памяти, что я точно гляжу на нее и вижу чернильные пятна на многих страницах, протертые пальцем места и завернувшиеся уголки некоторых листов. Сражение младшего Кира с братом своим Артарксерксом, его смерть в этой битве, возвращение десяти тысяч греков под враждебным наблюдением многочисленного персидского воинства, греческая фаланга, дорийские пляски, беспрестанные битвы с варварами и, наконец, море — путь возвращения в Грецию — которое с таким восторгом увидело храброе воинство,

---

[1] Александр Семеныч Шишков, без сомнения, оказал великую услугу переводом этой книжки, которая, несмотря на устарелость языка и нравоучительных приемов, до сих пор остается лучшею детскою книгою. Она имела много изданий; кажется, первое было сделано в 1792 году. В изданиях, которые мне случалось видеть и сличать, текст оставался без поправки, без перемен. Некоторые стихотворения, как, например: «Дитя, рассуждающее здраво», «Детские забавы», «Фиалка и Терновый куст», «Бабочка», «Счастье благодетельства», «Николашина похвала зимним утехам» (лучше всех написанное), можно назвать истинными сокровищами для маленьких детей. Я имею теперь под руками три издания «Детской библиотеки»: 1806 (четвертое издание), 1820 и 1846 годов (вероятно, их было более десяти); но, к удивлению моему, не нахожу в двух последних небольшой драматической пиески, в которой бедный крестьянский мальчик поет следующую песню, сложенную для его отца каким-то грамотеем. Вот она:

Не в неге я родился,
Не в роскоши я жил;
Работал, и трудился,
И хлад и зной сносил.
Терпя различны муки,
Боролся я с судьбой;
Мои суровы руки
Не знали, что́ покой.

Я солнечного всходу
Ни разу не проспал,
В суровую погоду
Укрыться не искал.

восклицая: «Фалатта! фалатта!» — все это так сжилось со мною, что я и теперь помню все с совершенной ясностью.

Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня: сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки, но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать — и успели напугать меня. Я всего более поверил кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить гру-

---

Но, плугом раздирая
Утробу я земли,
То дрогнул, промокая,
То весь горел в пыли.

За разными трудами
Меня зрел солнца бег;
Здесь твердыми стенами
Одел я дикий брег;
Там каменные домы
Воздвигнул для других,
Чуть крышу из соломы
Имея для своих.

Земную жилу роя,
В пещерах погребен,
Я солнечного зноя
И света был лишен.
В количестве премногом
Я злато находил —
И в рубище убогом
Весь век мой проводил.

Однакож в это время,
Быв молод и здоров,
Не чувствовал я бремя
Сих тягостных трудов;

бости, к чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех; общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бранили и заставляли просить извинения; а как я, по ребячеству, находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили, наконец, до того, что я просил прощения. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же; но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать границ между шуткою и правдою. Иногда долго я не верил словам моих преследователей и отвечал на них смехом, но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Всего более доставалось от меня Волкову; впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, да я и привык к тому и не так уже раздражался,

---

Без всякого излишку
Довольно собирал,
Кормил свою семьишку,
Был сыт и сладко спал.

Но младость промелькнула,
Ее уж боле нет;
Скорбь лютая согнула
Упругий мой хребет...
Мой одр, где я, страдая,
Убог лежу и сир,
Злой смерти ожидая, —
Стал ныне весь мой мир.

Почему и кем была исключена драматическая пиеса и песня в изданиях 1820 и 1846 годов, не понимаю. Какая надобность была перепечатывать текст старых изданий 1790 годов, когда было издание 1806 года, исправленное и значительно пополненное самим Шишковым?

А сколько силы и теплоты в приведенной мною песне, несмотря на неприличную для крестьянина книжность некоторых слов и выражений, хотя это извиняется тем, что песню написал какой-то грамотей! Как слышна горячая любовь Шишкова к простолюдину!

отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, к какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде неподлюбливал. Волков на другой день, чтоб поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй: я приходил в бешенство, бранился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я, по глупости моей, очень радовался и говорил: «Вот бог его наказал за то, что он хочет увезти мою сестрицу». Происшествие состояло в следующем: в какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков, от нечего делать, зашел в столярную к Михею и начал, по обыкновению, дразнить его и мешать работать. Михей был особенно не в духе; сначала он довольствовался бранными словами, но, выведенный из терпения, схватил деревянный молоток и так ловко ударил им Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам; на целый месяц я был избавлен от несносного дразненья.

Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю, в настоящее же время

эта покупка совершилась законным порядком. Превосходная земля, с лишком семь тысяч десятин, в тридцати верстах от Уфы, по реке Белой, со множеством озер, из которых одно было длиною около трех верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой с жаром и подробно рассказал мне, сколько там водится птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новою прекрасною землею! Вдобавок ко всему в судебном акте ей дали имя «Сергеевской пустоши», а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали «Сергеевкой». Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие (по крайней мере так было со мной), а потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка — *моя;* без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтоб пить кумыс, предписанный ей Деобольтом. Я считал дни и часы в ожидании этого счастливого события и без устали говорил о Сергеевке со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее, Парашей. Я забыл сказать, что Агафья уже была давно отставлена. Вместо Параши мать взяла к себе для услуг горбушку Катерину, *княжну,* — так всегда ее называли без всякой причины, вероятно в шутку. Это была калмычка, купленная некогда моим покойным дедушкой Зубиным и после его смерти отпущенная на волю. Мать держала ее у себя в девичьей, одевала и кормила так, из сожаленья; но теперь, приставив свою горничную ходить за сестрицей, она попробовала взять к себе княжну и сначала была ею довольна; но впоследствии не было никакой возможности ужиться с калмычкой: лукавая азиатская природа, льстивая и злая, скучливая и непостоянная, скоро до того надоела матери, что она отослала горбушку опять в девичью и запретила нам говорить с нею, потому что точно разговоры с нею могли быть вредны для детей. Катерина имела привычку хвалить в

глаза и осыпать самыми униженными ласками всех господ, и больших и маленьких, а за глаза говорила совсем другое; моему отцу и матери она жаловалась и ябедничала на всех наших слуг, а с ними очень нехорошо говорила про моего отца и мать и чуть было не поссорила ее с Парашей. Даже нам с сестрицей мимоходом хотела внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего мною слышанного, даже ни одной собственной моей мысли; разумеется, все ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо. Впрочем, горбушка, под именем княжны, прожила в нашем доме до глубокой старости.

Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтоб я подарил ему Сергеевку, потом принимался торговать ее у моего отца; разумеется, я сердился и говорил разные глупости; наконец, повторили прежнее средство, еще с большим успехом: вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор, или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать, с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей в вечное владение П. Н. Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки; вместо же меня, за неуменьем грамоте, расписался дядя мой, Сергей Николаич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку! Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня и сестры и Сергеевки; кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал; назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником, а Волкова, как главного виновника и преступника, хотел непременно застрелить, как только достану ружье, или затравить Суркой (дворовой соба-

чонкой, известной читателям); а чтоб не откладывать своего мщения надолго, я выбежал, как исступленный, из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова... Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками! По счастию, удар был незначителен; но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мною: меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеича. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельницею происшествия! Дело происходило поутру; до самого обеда я рвался и плакал; напрасно Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бранить дяденьку и драться с Петром Николаичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку? Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощенья — я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват; что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надобно за то наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощенья. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтоб слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель; она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец, она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтоб убедить меня в моей вине. Долго говорила она; ее слова, нежные и грозные, ласковые и строгие и всегда убедительные, ее слезы о моем упрямстве поколебали меня: я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил, особенно за рисованье, но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым; я готов был просить прощенья у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце и, сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, покуда не почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить

меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали.— Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твердость материнскому сердцу; но душевная польза своего милого дитяти, может быть иногда неверно понимаемая, всегда была для нее выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для ее здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то наработало мое воображение! Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество: вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости; начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виноватыми, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать... Дверь не отворялась, никто не входил, только Евсеич начинал всхрапывать, сидя в другой комнате; фантазии мои разлетались как дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но воображение мое снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам: никто не пускает меня к себе в дом; на меня нападают злые, бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать; вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери; я прощаю Волкова и чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слова «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол,— в комнате никого не было; но мне приказано, чтоб я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьич (Авенариус). Он также уговаривал меня попросить прощенья у Волкова — я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу — я отказался, говоря, что «если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу». Вскоре после Авенариуса пришла мать; я видел, что она

очень встревожена; она приказала мне есть, и я с покорностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. Мать спросила меня: «Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаичем, не раскаиваешься в своем поступке, не хочешь просить у него прощенья?» Я отвечал, что я перед Петром Николаичем не виноват, а если маменька прикажет, то прощения просить буду. «Ты упрямишься, — сказала мать. — Когда ты одумаешься, то пришли за мной Евсеича: тогда и я прощу тебя». Евсеич подал свечку и поставил ее на окошко. Мать ушла, приказав ему остаться со мной, сесть у дверей и ничего не говорить. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым: голова разболелась, и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались, наконец усталость одолела меня, я сам не помню, как сползли мои ноги, я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нашел нас обоих спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авенариус щупал мою голову и пульс; он приказал отнести меня в детскую и положить в постель; у меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или, лучше сказать, очувствовавшись на другой день поутру, очень не рано, в слабости и все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец, все стало мне ясно: я захворал от волнения и усталости, моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины: дядя Сергей Николаич сидел возле меня и плакал; Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтоб не раздражить больного; отец очень грустно смотрел на меня, а мать — довольно было взглянуть на ее лицо, чтоб понять, какую ночь она провела! Вошел Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. — Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает, — вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощенье и так примириться с ними, чтоб никто на

меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальной мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости (как она мне сказала), что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если б вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду».

Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резов. Я скоро забыл печальную историю, но не мог забыть, что меня назвали не умеющим грамоте и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимой «рядной», или купчей. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею; но теперь я захотел поправить этот недостаток и упросил отца и мать, чтоб меня начали учить писать. Дядя Сергей Николаич вызвался удовлетворить моему желанью. Он начал меня учить чистописанию, или каллиграфии, как он называл, и заставил выписывать «палочки», чем я был очень недоволен, потому что мне хотелось прямо писать буквы; но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию, что наперед надобно пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи. Делать нечего, я должен был повиноваться, но между тем потихоньку я выучился писать всю азбуку, срисовывая слова с печатных книг. Чистописание затянулось; срок отпуска моих дядей кончался, и они уехали в полк, с твердым, однако, намерением выйти немедленно в отставку, потому что жизнь в Уфе очень им понравилась. Уезжая, дядя Сергей Николаич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца, особенно желавшего, чтоб я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильич (фамилии его я никогда не слыхивал); это был человек очень тихий и добрый; он писал прописи не хуже печатных и принялся учить меня точно так же, как учил дядя. Не видя конца палочкам с усами и без усов, кривым

чертам и оникам, я скучал и ленился, а потому, чтоб мне было охотнее заниматься, посадили Андрюшу писать вместе со мной. Андрюша начал учиться чистописанию гораздо прежде меня у того же Матвея Васильича в народном училище. Это средство несколько помогло: мне стыдно стало, что Андрюша пишет лучше меня, а как успехи его были весьма незначительны, то я постарался догнать его и в самом деле догнал довольно скоро. Учитель наш имел обыкновение по окончании урока, продолжавшегося два часа, подписывать на наших тетрадках какое-нибудь из следующих слов: «посредственно, не худо, изрядно, хорошо, похвально». Скоро стал я замечать, что Матвей Васильич поступает несправедливо и что если мы с Андрюшей оба писали неудачно, то мне он ставил «не худо», а ему «посредственно», а если мы писали оба удовлетворительно, то у меня стояло «очень хорошо» или «похвально», а у Андрюши «хорошо»; в тех же случаях, впрочем довольно редких, когда товарищ мой писал лучше меня — у нас стояли одинаковые одобрительные слова. Заметив это, я стал рассуждать: отчего так поступает наш добрый учитель? «Верно, он меня больше любит, — подумал я,— и, конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпятился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу». В этой мысли вскоре убедило меня то, что Матвей Васильич был со мною ласковее, чем с моим товарищем, чего я прежде не замечал. Все мои наблюдения и рассуждения я не замедлил сообщить матери и отцу. Они как-то переглянулись и улыбнулись, и мне ничего не сказали. Но в подписях Матвея Васильича вскоре произошла перемена: на тетрадках наших с Андрюшей появились одни и те же слова, у обоих или «не худо», или «изрядно», или «хорошо», и я понял, что отец мой, верно, что-нибудь говорил нашему учителю; но обращался Матвей Васильич всегда лучше со мной, чем с Андрюшей.

Я и теперь не могу понять, какие причины заставили мою мать послать меня один раз в народное училище, вместе с Андрюшей. Вероятно, это был чей-нибудь совет, и всего скорее М. Д. Княжевича, но, кажется, его дети в училище не ходили. Как ни была умна моя мать,

но, по ее недостаточному образованию, не могла ей войти в голову дикая тогда мысль спосылать сына в народное училище, — мысль, которая теперь могла бы быть для всех понятною и служить объяснением такого поступка. Как бы то ни было, только в один очень памятный для меня день отвезли нас с Андрюшей в санях, под надзором Евсеича, в народное училище, находившееся на другом краю города и помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеич отдал нас с рук на руки Матвею Васильичу, который взял меня за руку и ввел в большую неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении, — комнату, всю установленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видывал; перед первым столом стояла, утвержденная на каких-то подставках, большая черная четвероугольная доска; у доски стоял мальчик с обвостренным мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчиками разных возрастов; перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски; ученики были пребольшие, превысокие и очень маленькие, многие в одних рубашках, а многие одетые, как нищие. Матвей Васильич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с края, а сам сел на стул перед небольшим столиком, недалеко от черной доски; все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. При входе в класс Андрюша пропал. Вдруг Матвей Васильич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом: «Не знаешь? На колени!» — и мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и стал на колени позади доски, где уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил и которые были очень веселы; когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Класс был арифметический. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим; это была в то же время перекличка: оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: «В третий раз нет, в четвертый нет — так

розги!» Я оцепенел от страха. Вызываемые мальчики подходили к доске и должны были писать мелом требуемые цифры и считать их как-то от правой руки к левой, повторяя: «единицы, десятки, сотни». При этом счете многие сбивались, и мне самому казался он непонятным и мудреным, хотя я давно уже выучился самоучкой писать цифры. Некоторые ученики оказались знающими; учитель хвалил их; но и самые похвалы сопровождались бранными словами, по большей части неизвестными мне. Иногда бранное слово возбуждало общий смех, который вдруг вырывался и вдруг утихал. Перекликав всех по списку и испытав в степени знания, Матвей Васильич задал урок на следующий раз: дело шло тоже о цифрах, об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив ни мертв, пораженный всем, мною виденным. Задав урок, Матвей Васильич позвал сторожей; пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую и шумную около меня суматоху; забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса и вместе с ними наказанные, так же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильич подошел ко мне с обыкновенным ласковым видом, взял меня за руку и прежним тихим голосом просил «засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке». Он вывел меня из опустевшего класса и отдал Евсеичу, который проворно укутал меня в шубу и посадил в сани, где уже сидел Андрюша. «Что, понравилось ли вам училище? — спросил он, заглядывая мне в лицо. И, не получая от меня ответа, прибавил: — Никак напугались? У нас это всякий день». Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать сначала безмолвным волнением и слезами, а потом исступленным гневом на злодейские поступки Матвея Васильича. Мать

ничего не знала о том, что обыкновенно происходит в народных училищах, и, конечно, ни за что на свете не подвергла бы моего сердца такому жестокому потрясению. Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности; в эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец, рассказав все до малейшей подробности мною виденное и слышанное, излив мое негодованье в самых сильных выражениях, какие только знал из книг и разговоров, и осудив Матвея Васильича на все известные мне казни, я поутих и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной и для моего успокоения должна была коснуться многого, еще мне не известного и не вполне мною тогда понятого. Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслию, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильича как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него как исполнение его должности; что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем; что Матвей Васильич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок! Он возмутил ясную тишину моей души. Я долго не мог успокоиться, а от Матвея Васильича получил такое непреодолимое отвращение, что через месяц должны были ему отказать. Чистописанье продолжал я один, а иногда вместе с Андрюшей. Учителя другого в городе не было, а потому мать и отец сами исправляли его должность; всего больше они смотрели за тем, чтоб я писал как можно похожее на прописи. Матери моей как-то не совсем нравилось товарищество Андрюши, и он начинал реже ходить ко мне. Итак, все мое детское общество, кроме приезжавших иногда маленьких гостей Княжевичей и Мансуровых, с которыми мы очень много играли и резвились, ограничивалось обществом моей милой сестрицы, которая, становясь ум-

нее с каждым днем, могла уже более разделять все мои наклонности, впечатления и забавы.

Здоровье матери было лучше прежнего, но не совсем хорошо, а потому, чтоб нам можно было воспользоваться летним временем, в Сергеевке делались приготовления к нашему переезду: купили несколько изб и амбаров; в продолжение великого поста перевезли и поставили их на новом месте, которое выбирать ездил отец мой сам; сколько я ни просился, чтоб он взял меня с собою, мать не отпустила. Сергеевка исключительно овладела моим воображением, которое отец ежедневно воспламенял своими рассказами. Дорога в Багрово, природа, со всеми чудными ее красотами, не были забыты мной, а только несколько подавлены новостью других впечатлений: жизнью в Багрове и жизнью в Уфе; но с наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе; мне так захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы, так захотелось побегать с Суркой по полям, так захотелось закинуть удочку, что все окружающее потеряло для меня свою занимательность и я каждый день просыпался и засыпал с мыслию о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать ее высокого значенья, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей: радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и проч. и проч. Приходская церковь наша стояла на возвышении, и снег около нее давно уже обтаял. Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще бо́льшим наслаждением, которое мне не часто дозволялось, — прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскроется. На все мои вопросы отцу и Евсеичу: «Когда же мы поедем в Сергеевку?» — обыкновенно отвечали: «А вот как река пройдет».

И, наконец, пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: «Белая тронулась!» Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял

на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней, как безумная, от одного берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утес — и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова. Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег. Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: «Пойдем, соколик, в горницу; река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться». Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе как через час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные глыбы; вода всплескивалась между ними; они набегали одна на другую, большая и крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших ушей. Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери и долго, с жаром рассказывал ей все, что видел. Приехал отец из присутствия, и я принялся с новым жаром описывать ему, как про-

шла Белая, и рассказывал ему еще долее, еще горячее, чем матери, потому что он слушал меня как-то охотнее. С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась, и, наконец, разлив воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда вполне обозначилась; они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. — Долго не сбывала полая вода, и эта медленность раздражала мое нетерпение. Напрасно мать уверяла меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, покуда не вырастет трава: я все думал, что нам мешает река и что мы оттого не едем, что она не вошла в берега. Вот уже наступила теплая, даже жаркая погода. Белая вошла в межень, улеглась в своих песках; давно уже зеленели поля и зазеленела урема за рекою — а мы все еще не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем местам, которые были залиты весеннею водою, что грязно, топко и что в долочках или размыло дорогу, или нанесло на нее илу; но мне все такие препятствия казались совершенно не стоящими внимания. Желание скорее переехать в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету; я уже не мог ничем заниматься, скучал и привередничал. Можно было предвидеть и должно было принять действительные меры, чтоб укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок.

Я думал, что мы уж никогда не поедем, как вдруг, о счастливый день! мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Милая моя сестрица разделяла ее со мной, радуясь, кажется, более моей радости. Плохо я спал ночь. Никто еще не вставал,

когда я уже был готов совсем. Но вот проснулись в доме, начался шум, беготня, укладыванье, заложили лошадей, подали карету, и, наконец, часов в десять утра мы спустились на перевоз через реку Белую. Вдобавок ко всему Сурка был с нами.

СЕРГЕЕВКА

Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во время поездки в Багрово, но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойною радостью, без волнения, без замирания сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке в этом году, представляется мне веселым праздником.

Мы, так же как и прошлого года, переправились через Белую в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки, но я уже мало обратил на них внимания, — у меня впереди рисовалась Сергеевка, *моя* Сергеевка, с ее озером, рекою Белою и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки, с нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Наконец, мы въехали в урему, в зеленую, цветущую и душистую урему. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету вились и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Следы недавно сбывшей воды везде были приметны: сухие прутья, солома, облепленная илом и землей, уже высохшая от солнца, висели клочьями на зеленых кустах; стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно как будто обмазаны также высохшею тиной и песком, который светился от солнечных лучей. «Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода, — говорил мне отец, — смотри-ка, вон этот вяз точно в шапке от разного наноса;

видно, он почти весь стоял под водою». Многое в таком роде объяснял мне отец, а я в свою очередь объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала отца. Скоро, и не один раз, подтвердилась справедливость его опасений; даже и теперь во многих местах дорога была размыта, испорчена вешней водою, а в некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с трудом вытаскивали карету. Наконец, мы выбрались в чистое поле, побежали шибкою рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая к ней, мы опять попали в урему, то есть в поемное место, поросшее редкими кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озер, уже обраставших зелеными камышами: это была пойма той же реки Белой, протекавшей в версте от Сергеевки и заливавшей весною эту низменную полосу земли. Потом мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого стояло несколько новых и старых недостроенных изб; налево виднелись длинная полоса воды, озеро Киишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня так называемых «мещеряков». Направо зеленела и сверкала, как стеклами, своими озерами пойма реки Белой, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым плетнем. Усадьба состояла из двух изб: новой и старой, соединенных сенями; недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая; остальную часть двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей; вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой; в новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей покуда советовал повесить ковер. Стали раскладываться и устроиваться: стулья, кровати и столы были привезены

заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания; Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки; мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слыхал: не шел, а бежал вприпрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно, наконец, мое давно желанное и жданное великолепное озеро, в самом деле великолепное! Озеро Киишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три; ширина его была очень неровная: иногда сажен семьдесят, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом; налево озеро оканчивалось очень близко узким рукавом, посредством которого весною, в полую воду, заливалась в него река Белая; направо за изгибом не видно было конца озера, по которому, в полуверсте от нашей усадьбы, была поселена очень большая мещеряцкая деревня, о которой я уже говорил, называвшаяся по озеру также Киишки. Разумеется, русские звали ее, и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто «Кишки» — и к озеру очень шло это названье, вполне обозначавшее его длинное, искривленное протяжение. Чистая, прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде как в зеркале и обросшее зелеными береговыми травами, все вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой и Евсеич пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен *наш* берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами, то есть часть берега, не заселенная и потому ничем не загаженная; по берегу росло десятка два дубов необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку: новые причины к новому удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была мелка

и без мостков удить было бы невозможно; да и для мытья белья оказались они очень пригодны, лодка же назначалась для ловли рыбы сетьми и неводом. Сзади мостков стоял огромнейший дуб в несколько обхватов толщиною; возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба; из любопытства мы влезли на этот громадный пень все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек двадцать. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые сто лет кладут такие заметки на больших дубах, в чем многие старики его уверяли; таких зарубок на пне было только две, а на растущем дубу пять, а как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще и что на нем находилось двенадцать заметок, следовательно ему было 1200 лет. Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, не подверженной сомнению.

Озеро было полно всякой рыбы и очень крупной; в половодье она заходила из реки Белой, а когда вода начинала убывать, то мещеряки перегораживали плетнем узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекою, и вся рыба оставалась до будущей весны в озере. Огромные щуки и жерихи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкой рыбою, которая металась и плавилась беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мель и даже выскакивали на береговую траву: мне сказали, что это рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней и особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить. Отец взял самую большую, с крепкою лесою, насадил какого-то необыкновенно толстого червяка и закинул как можно дальше: ему хотелось поймать крупную рыбу; мы же с Евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клев начался ту ж минуту; беспрестанно брали средние

окуни и подлещики, которых я еще и не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскиванья рыбы и закидыванья удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений и удерживанья моих детских порывов, а потому отец, сказав: «Нет, здесь с вами ничего не выудишь хорошего», сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна, — сказал он мне, — и станем насаживать червяков побольше, а я закину третью удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился: наплавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде, червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже десяток на свой крючок, на третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба, почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно, для подтвержденья слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, у него взяла какая-то большая рыба; он долго возился с нею, и мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» — и вытащил из воды пустую удочку; крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать», — с досадою сказал он; снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Экой грех, — говорил он, — теперь уж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет!» Я же, вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилища в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы, — я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине, рыба не трогала. Мне стало скучно, и я попросил Евсеича перела-

дить мою удочку попрежнему; он исполнил мою просьбу; наплавок мой встал, и клев начался немедленно; но свои удочки Евсеич не переправлял, и его наплавки спокойно лежали на воде. Я выудил уже более двадцати рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича; правду сказать, он только и делал что снимал рыбу с моей удочки, сажал ее в ведро с водой или насаживал червяков на мой крючок: своими удочками ему некогда было заниматься, а потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его от нас сажен на двадцать. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня; Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтоб он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу: поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеичево удилище, вытащил очень большого окуня, не отцепляя положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие; крики и тревога Евсеича привели меня в волнение: я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движеньем подъезжавшей лодки: клев прекратился, и мы долго сидели, напрасно ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уже садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтоб не распугать, как видно, подходившую рыбу; держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня начали опять брать подлещики, как вдруг отец заметил, что от воды стал подыматься туман, закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвести меня домой. Очень не хотелось мне идти, но я уже столько натешился рыбною ловлею, что не смел попросить позволенья остаться и, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было и я скорее мешал ему, — весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу, или наблюдая за движением наплавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев — я чувствовал только

волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности; настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участник моей ловли, следовательно знал все так же хорошо, как и я, но который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли и оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами, даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание: как тронуло наплавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба; потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или, лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое, недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать, Евсеич тоже. Хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мои горячие описания рыбной ловли, — в эту минуту я все забыл. В подтверждение наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, а как это было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю; но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Угомонившись от рассказов, я заметил, что перед матерью был разведен небольшой огонь и курились две-три головешки, дым от которых прямо шел на нее. Я спросил, что это значит? Мать отвечала, что она не знала, куда деваться от комаров, и только тут, вглядевшись в мое лицо, она вскрикнула: «Посмотри-ка, что сделали с тобою комары! У тебя все лицо распухло и в крови». В самом деле, я был до того искусан комарами, что лицо, шея и руки у меня распухли. И всего этого я даже не заметил — так уже страстно полюбил я уженье. Что же касается до комаров, то я никогда и нигде, во всю мою жизнь, не встречал их в таком множестве, да еще в соединении с мушкарою, которая, по-моему, еще несноснее, потому что забивается человеку в рот, нос и глаза. Причиною множества кома-

ров и мушкары было изобилие стоячей воды и леса. Наконец, комары буквально одолели нас, и мы с матерью ушли в свою комнату без дверей и окон, а как она не представляла никакой защиты, то сели на кровать под рединный полог, и хотя душно было сидеть под ним, но зато спокойно. Полог — единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. — Отец воротился, когда уже стало темно; он поймал еще двух очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался и что он просидел бы всю ночь на лодке, если б не боялся встревожить нас. «Боже мой, — подумал я, — когда я буду большой, чтоб проводить целые ночи с удочкой и Суркой на берегу реки или озера?..» — потому что лодки я прибаивался.

На другой день поутру, хорошенько выспавшись под одним пологом с милой моей сестрицей, мы встали бодры и веселы. Мать с удовольствием заметила, что следы вчерашних уязвлений, нанесенных мне злыми комарами, почти прошли; с вечера натерли мне лицо, шею и руки каким-то составом; опухоль опала, краснота и жар уменьшились. Сестрицу же комары мало искусали, потому что она рано улеглась под наш полог.

Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни, а главное — устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной Мавлютом Исеичем (так звали его в глаза, а за глаза — Мавлюткой), который был один из вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил если не в деревне Киишки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к себе, и посланный воротился очень скоро с ответом, что Мавлютка сейчас будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала ее к плетню и ввалилась к нам на двор. Мы сидели на своем крыльце; отец пошел навстречу гостю, протянул ему руку и сказал: «Салям маликум, Мавлют Исеич». Я разинул рот от изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины; в нем было двенадцать вершков роста и

двенадцать пуд веса, как я после узнал; он был одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары; на макушке толстой головы чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка; шеи у него не было; голова с подзобком плотно лежала на широких плечах; огромная саблища тащилась по земле — и я почувствовал невольный страх: мне сейчас представилось, что таков должен быть коварный Тиссаферн, предводитель персидских войск, сражавшихся против младшего Кира. Я не замедлил сообщить свою догадку на ухо своей сестрице и потом матери, и она очень смеялась, отчего и страх мой прошел. Мавлютке принесли скамейку, на которой он с трудом уселся; ему подали чаю, и он выпил множество чашек. Дело о приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма удобно и легко. Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назначена в эту должность: она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой кобылу, чтоб, надоив нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде, на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте и неопрятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед сколько-то денег Мавлютке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменька старалась подражать Мавлютке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с кантонным старшиной, обративший на себя все мое внимание: из этого разговора я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы, а не те, у которых мы ее купили, называли своею, что с этой земли надобно было согнать две деревни, что когда будет межеванье, то все объявят спор и что надобно поскорее переселить на нее несколько наших крестьян. «Землимир, землимир скоро тащи, бачка Алексей Степаныч, — говорил визгливым голосом Мавлютка, — землимир вся кончал; белым столбам надо; я сам гуляет на мижа». Мавлют Исеич ушел, отвязал свою лошадь, про которую между прочим сказал, что она «в целый табун одна его таскай», надел свой войлочный вострый колпак, очень легко сел верхом, махнул своей страшной плетью и поехал домой. Я недаром обратил внимание на разговор башкирского

старшины с моим отцом. Оставшись наедине с матерью, он говорил об этом с невеселым лицом и с озабоченным видом; тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам во владение: она была заселена двумя деревнями припущенников, «Киишками» и «Старым Тимкиным», которые жили, правда, по просроченным договорам, но которых свести на другие, казенные земли было очень трудно; всего же более не нравилось моей матери то, что сами продавцы башкирцы ссорились между собою и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого обманщиком. Теперь я рассказал об этом так, как узнал впоследствии; тогда же я не мог понять настоящего дела, а только испугался, что тут будут спорить, ссориться, а может быть, и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка не крепкая, и я не ошибся [1].

С каждым днем все более и более устроивалась наша полукочевая жизнь. Оконные рамы привезли и, за неимением косяков, приколотили их снаружи довольно плотно; но дверей не было, и их продолжали заменять коврами, что мне казалось нисколько не хуже дверей. На дворе поставили большую новую белую калмыцкую кибитку; боковые войлочные стенки можно было поднять, и решетчатая кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием вверху. Мы обыкновенно там обедали, чтоб в наших комнатах было меньше мух, и обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени. — Кумыс приготовлялся отлично хорошо, и мать находила его уже не так противным, как прежде, но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение, по крайней мере уверял в том и себя и других, и хотя матери моей очень хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был худ и все думали, что от него потолстею, но я отбился. Сестрица тоже не могла его переносить; он решительно был ей вреден. По

---

[1] Вся Сергеевская земля до сих пор находится в споре, и тридцать душ крестьян, на ней поселенных, имеют землю в общем владении с деревнями Киишки и Старым Тимкиным. Права настоящих вотчинников-башкирцев так спутаны, что разобрать их не только трудно, — даже невозможно.

совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к кумысу, но я боялся, чтоб его употребление и утренние прогулки, неразлучные с ним, не отняли у меня лучшего времени для уженья. Охота удить рыбу час от часу более овладевала мной; я только из боязни, чтоб мать не запретила мне сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением, письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец. Я помню, что притворялся довольно искусно и часто пускался в длинные рассуждения с матерью, тогда как на уме моем только и было, как бы поскорее убежать с удочкой на мостки, когда каждая минута промедления была для меня тяжким испытанием. Рыба клевала чудесно; неудач не было или они состояли только в том, что иногда крупной рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда с своей Парашей на уженье, не находила в этом никакого удовольствия, и комары скоро прогоняли ее домой.

Наконец, стали приезжать к нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли: добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой, и Иван Николаич Булгаков, также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом; достали невод, кажется, у башкирцев, а также еще несколько лодок; две из них побольше связали вместе, покрыли поперек досками, приколотили доски гвоздями и таким образом сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы. В одну чудную, тихую, месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на тоню. Я сидел с дамами на пароме. Без всякого шуму, осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружа один большой загон, или плесо, продолговатым полукругом вдавшееся в берег. Туда ночью на отмель собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули клячи [1] невода к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы; мы следовали на пароме за мотней [2]

[1] Клячами называются боковые концы, или края, невода, пришитые к деревянным палкам.

[2] Мотня — середина невода, имеющая фигуру длинного и к концу узкого мешка.

и видели в ней такое движение и возню, что наши дамы, а вместе с ними я, испускали радостные крики; многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом; это были щуки и жерихи. Хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик и хлопанье клячевыми веревками по воде, чтоб заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтоб видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех; отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал: «Выравнивай клячи! нижние подборы веди плотнее! смотри, чтоб мотня шла посередке!» Мансуров же не довольствовался одними словами: он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад; он представлял таким образом пресмешную фигуру; жена его, родная сестра Ивана Николаича Булгакова, и жена самого Булгакова, несмотря на свое рыбачье увлеченье, принялись громко хохотать. Наконец, выбрали и накидали целые груды мокрой сети, то есть стен или крыльев невода, показалась мотня, из длинной и узкой сделавшаяся широкою и круглою от множества попавшейся рыбы; наконец, стало так трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться, из опасения, чтоб не лопнула мотня; подняв высоко верхние подборы, чтоб рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу, битком набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею; облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телегой; по большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете; попалось также довольно крупной плотвы,

язей и окуней; щуки, жерихи и головли повыскакали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицания Евсеича: «Вот лещ-то! Ровно заслон!» Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеичу: «Вот если б на удочку вытащить такого леща!» Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас; мне было жалко, что так опустошили озеро, и я печально говорил Евсеичу, что теперь уж не будет такого клеву, как прежде; но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма-тьмущая рыбы, что озеро так велико, и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клев будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь, соколик», — прибавил он, и я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле. Мало-помалу все пришло в порядок: крупной рыбой нагрузили телегу, а остальную понесли в ведрах и ушате. Все общество весело пошло домой за телегой, нагруженною рыбой. Генерал Мансуров был довольнее всех, несмотря на то, что весь запачкался и вымочился чуть ли не по пояс. Мать ожидала нас на дворе, сидя, при дымном костре от комаров, за самоваром и чайным прибором. Шумно и живо рассказывали ей все о наших подвигах, она дивилась общему увлечению, не понимала его, смеялась над нами, а всего более над довольно толстым и мокрым генералом, который ни за что не хотел переодеться. Мать, удостоверившись, что мои ноги и платье сухи, напоила меня чаем и уложила спать под один полог с сестрицей, которая давно уже спала, а сама воротилась к гостям. Как было весело мне засыпать под нашим пологом, вспоминая недавнюю тоню, слыша сквозь дверь, завешанную ковром, громкий смех и веселые речи, мечтая о завтрашнем утре, когда мы с Евсеичем с удочками сядем на мостках! Проснувшись на другой день поутру ранее обыкновенного, я увидел, что мать уже встала, и узнал, что она начала пить свой кумыс и гулять по двору и по дороге, ведущей в Уфу; отец также встал, а гости наши еще спали: женщины занимали единственную комнату

подле нас, отделенную перегородкой, а мужчины спали на подволоке, на толстом слое сена, покрытом кожами и простынями. Я проворно оделся, побежал к матери поздороваться и попросился удить. Мать отпустила меня без малейшего затруднения, и я без чаю поспешил с Евсеичем на озеро. Прав был Евсеич! Никогда так еще не клевала рыба, как в это утро. «Вот видишь, соколик, — говорил Евсеич, — рыбы-то стало больше. Ее вечор напугали неводом, она и привалила сюда». Справедливо ли было заключение Евсеича, или нет, только рыба брала отлично. Странно, что моя охотничья жадность слишком скоро удовлетворилась от мысли: «Да куда же нам деваться с этой рыбой, которой и вчера наловлено такое множество?» Впоследствии развилось во мне это чувство в бо́льших размерах и всегда охлаждало мою охотничью горячность. Я сообщил мое сомнение Евсеичу, но он говорил, что это ничего, что всю рыбу сегодня же пересушим или прокоптим. Хотя такое объяснение меня несколько успокоило, но я захотел воротиться домой гораздо ранее обыкновенного.

Гости прогостили у нас еще два дня. Мансуров не мог оставаться без какого-нибудь охотничьего занятия; в этот же день вечером он ходил с отцом и с мужем Параши, Федором, ловить сетью на дудки перепелов. Очень мне хотелось посмотреть этой ловли, но мать не пустила. Федор принес мне живого перепела, которого посадил я в какое-то лукошечко, сплетенное Евсеичем из зеленых прутьев. На другой день Мансуров ходил на охоту с ружьем также вместе с моим отцом; с ними было две лягавых собаки, привезенных Мансуровым. Охотники принесли несколько уток и десятка два разных куликов; все это было рассмотрено мною с величайшим вниманием. На охоту с ружьем я не смел уже и попроситься, хотя думал, что почему бы и мне с Суркой не поохотиться? Впрочем, где же было мне ходить за охотниками по кочкам, болотам и камышам? Но зато обе гостьи каждый вечер ходили удить со мной на озеро; удить они не умели, а потому и рыбы выуживали мало; к тому же комары так нападали на них, особенно на солнечном закате, что они бросали удочки и убегали домой; весьма неохотно, но и я, совершенно свыкшийся

с комарами, должен был возвращаться также домой.

Наконец, гости уехали, взяв обещание с отца и матери, что мы через несколько дней приедем к Ивану Николаичу Булгакову в его деревню Алмантаево, верстах в двадцати от Сергеевки, где гостил Мансуров с женою и детьми. — Я был рад, что уехали гости, и понятно, что очень не радовался намерению ехать в Алмантаево; а сестрица моя, напротив, очень обрадовалась, что увидит маленьких своих городских подруг и знакомых: с девочками Мансуровыми она была дружна, а с Булгаковыми только знакома.

Во все время моего детства и в первые года отрочества заметно было во мне странное свойство: я не дружился с своими сверстниками и тяготился их присутствием даже тогда, когда оно не мешало моим охотничьим увлечениям, которым и в ребячестве я страстно предавался. Это свойство называли во мне нелюдимством, дикостью и робостью; говорили, что я *боюсь* чужих. Мне всегда были очень досадны такие обвиненья, и, конечно, они умножали мою природную застенчивость. Это свойство не могло происходить из моей природы, весьма сообщительной и слишком откровенной, как оказалось в юношеских годах; это происходило, вероятно, от долговременной болезни, с которою неразлучно отчужденье и уединенье, заставляющие сосредоточиваться и малое дитя, заставляющие его уходить в глубину внутреннего своего мира, которым трудно делиться с посторонними людьми. Еще более оно происходило от постоянного, часто исключительного, сообщества матери и постоянного чтения книг. Голова моя была старше моих лет, и общество однолетних со мною детей не удовлетворяло меня, а для старших я был сам молод.

Здоровье матери видимо укреплялось. Кроме обыкновенных прогулок пешком ежедневно поутру и к вечеру, мать очень часто ездила в поле прокатываться, особенно в серенькие дни, вместе с отцом, со мною и сестрицей на длинных крестьянских дрогах, с которыми я познакомился еще в Парашине. Мать скучала этими поездками, но считала их полезными для своего здоровья, да они и были предписаны докторами при употреблении кумыса;

отцу моему прогулки также были скучноваты, но всех более ими скучал я, потому что они мешали моему уженью, отнимая иногда самое лучшее время. Редко случалось, чтобы мать отпускала меня с отцом или Евсеичем до окончания своей прогулки; точно то же было и вечером; но почти всякий день я находил время поудить.

В половине июня начались уже сильные жары; они составляли новое препятствие к моей охоте: мать боялась действия летних солнечных лучей, увидев же однажды, что шея у меня покраснела и покрылась маленькими пузыриками, как будто от шпанской мушки, что, конечно, произошло от солнца, она приказала, чтобы всегда в десять часов утра я уже был дома. Как я просил у бога сереньких дней, в которые мать позволяла мне удить до самого обеда и в которые рыба клевала жаднее. Какое счастие сидеть спокойно с Евсеичем на мостках, насаживать, закидывать удочки, следить за наплавками, не опасаясь, что пора идти домой, а весело поглядывая на Сурку, который всегда или сидел, или спал на берегу, развалясь на солнце! Но зато чтение, письмо и арифметика очень туго подвигались вперед, и детские игры с сестрицей начинали терять для меня свою занимательность и приятность.

Через неделю поехали мы к Булгаковым в Алмантаево, которое мне очень не понравилось, чего и ожидать было должно по моему нежеланью туда ехать; но и в самом деле никому не могло понравиться его ровное местоположенье и дом на пустоплесье, без сада и тени, на солнечном припеке. Правда, недалеко от дому протекала очень рыбная и довольно сильная река Уршак, на которой пониже деревни находилась большая мельница с широким прудом, но и река мне не понравилась, во-первых, потому, что вся от берегов проросла камышами, так что и воды было не видно, а во-вторых, потому, что вода в ней была горька и не только люди ее не употребляли, но даже и скот пил неохотно. Впрочем, горьковатость воды не имела дурного влияния на рыбу, которой водилось в Уршаке множество и которую находили все очень вкусною. Удить около дома было невозможно по причине отлогих берегов, заросших густыми камышами, а на мельнице удили только с плотины около

кауза и вешняка, особенно в глубокой яме, или водоемине, выбитой под ним водою. Мы ездили туда один раз целым обществом, разумеется около завтрака, то есть совсем не во-время, и ловля была очень неудачна; но мельник уверял, что рано утром до солнышка, особенно с весны и к осени, рыба берет очень крупная и всего лучше в яме под вешняком.

Хозяин, Иван Николаич Булгаков, был большой охотник до лошадей, борзых собак и верховой езды. У них в доме все ездили верхом — и дамы и дети. Булгаков, как-то особенно меня полюбивший, захотел непременно и меня посадить на лошадь. Мне стыдно было сказать, что я боюсь, и я согласился. У меня была мысль, что маменька не позволит; но, как нарочно, мать отвечала, что если я не трушу, то она очень рада. Такие слова укололи мое самолюбие, и я скрепя сердце сказал, что не трушу. Привели детскую маленькую лошадку; все вышли на крыльцо, меня посадили и дали мне в руки повод. Покуда Евсеич вел моего коня, я превозмогал свой страх; но как скоро он выпустил узду — я совершенно растерялся; поводья выпали у меня из рук, и никем не управляемая моя лошадка побежала рысью к конюшне. Страх превозмог самолюбие, и я принялся кричать; потеряв равновесие, я, конечно, бы упал, если б выбежавший навстречу конюх не остановил смирную лошадь. Общий хохот на крыльце терзал мое ребячье самолюбие, и я, смутившись окончательно, как только сняли меня с лошади, убежал через заднее крыльцо в занимаемую нами комнату. Я долго и неутешно плакал и целый день не мог ни на кого смотреть. Это обстоятельство мне особенно памятно потому, что я в первый раз сознательно подосадовал на отца и мать: зачем и они смеются надо мною? «Разве они не видят, как мне больно и стыдно? — думал я. — Отчего же сестрица не смеется, а жалеет обо мне и даже плачет?» Тут только я с горестью убедился в моей трусости, и эта мысль долго возмущала мое спокойствие. — По счастию, на другой день мы уехали из Алмантаева. Мать хотела пробыть два дня, но кумыс, которого целый бочонок был привезен с нами во льду, окреп, и мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергеевку!

Сергеевка понравилась мне еще более прежнего, хотя, правду сказать, кроме озера и старых дубов, ничего в ней хорошего не было. Опять попрежнему спокойно и весело потекла наша жизнь, я начинал понемногу забывать несчастное происшествие с верховой лошадкой, обнаружившее мою трусость и покрывшее меня, как я тогда думал, вечным стыдом. Мать и отец и не поминали об этом, а моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, неугомонный Евсеич корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколик, — говорил он, — ну чего оробел? Лошадка пресмирная, а ты давай кричать. Ведь это ты не лошади испугался, а чужих людей. Я ведь говорил, что ты чужих боишься. Ну, какой ты будешь кавалер? А про войну читать и рассказывать любишь. Послушать тебя, так ты один на целый полк пойдешь!» Эти простые речи, сказанные без всякого умысла, казались мне самыми язвительными укоризнами. Я доказывал Евсеичу, что это совсем другое, что на войне я не испугаюсь, что с греками я бы на всех варваров пошел. Но мысленно я уже давал обещание себе: во-первых, не говорить с Евсеичем о «походе младшего Кира», о котором любил ему рассказывать, и во-вторых, преодолеть мой страх и выучиться ездить верхом. Я стал просить об этом отца и мать и получил в ответ: «Ну, куда еще тебе верхом ездить!» — и ответ мне очень не понравился. Между тем укоризны Евсеича продолжались и так оскорбляли меня, что я иногда сердился на него, а иногда плакал потихоньку. Я решился попросить, чтоб он не говорил более об этом, и добрый Евсеич, наконец, перестал поминать про алмантаевское приключение. Я успокоился и стал забывать о нем. Вдруг приехали Булгаковы со старшими детьми. Точно что-нибудь укололо меня в сердце! Я подумал, что как увидят меня, так и начнут смеяться, и хотя этого не случилось при первой встрече, но ежеминутное ожидание насмешек так смущало меня, что я краснел беспрестанно без всякой причины. Слава богу, все, кроме меня, забыли мой позор!.. Гости прожили у нас несколько дней. Без А. П. Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей, охоты не клеились, хотя была и тоня, только днем, а не ночью и, разумеется, не так изобильная, хотя

ходили на охоту с ружьями и удили целым обществом на озере. Однако всем было весело, кроме меня, и с тайной радостью проводил я больших и маленьких гостей, впрочем, очень милых и добрых детей.

Проводя гостей, отец вздумал потянуть неводом известное рыбное плесо на реке Белой, которая текла всего в полуверсте от нашего жилья: ему очень хотелось поймать стерлядей, и он даже говорил мне: «Что, Сережа, кабы попалась белорыбица или осетр?» Я уверял, что непременно попадет! Мы поехали после обеда с целым обозом: повезли две лодки, невод и взяли с собой всех людей. Белая тут была не широка, потому что речка Уршак и довольно многоводная река Уфа в нее еще не впадали; она понравилась мне более, чем под городом: песков было менее, русло сжатее, а берега гораздо живописнее. Отец взял с собою ружье, и, как нарочно, на дороге попалась нам целая стая куропаток; отец выстрелил и двух убил. Это был первый охотничий выстрел, произведенный при мне и очень близко от меня. Он произвел на меня сильное впечатление, и не страха, а чувства какого-то приятного волнения; когда же я увидал застреленную куропатку, особенно же когда, увлеченный примером окружающих, я бросился ловить другую подстреленную, — я чувствовал уже какую-то жадность, какую-то неизвестную мне радость. И куда девалась моя жалостливость: окровавленные, бьющиеся красивые эти птички не возбудили во мне никакого сострадания.

Только что мы успели запустить невод, как вдруг прискакала целая толпа мещеряков: они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в Белой, потому что воды ее сняты рыбаками; отец мой не захотел ссориться с близкими соседями, приказал вытащить невод, и мы ни с чем должны были отправиться домой. Все люди наши были так недовольны, так не хотелось им уступить, что даже не вдруг послушались приказания моего отца. Если бы не он, вышла бы непременно драка. Мне тоже это было очень досадно, хотя я чувствовал немножко, что мещеряки правы, и только две застреленные куропатки, которых я держал в своих руках, меня утешали.

Давно уже поспела полевая клубника, лакомиться которою позволяли нам вдоволь. Мать сама была большая охотница до этих ягод, но употреблять их при кумысе доктора запрещали. Вместо прежних бесцельных прогулок мать стала ездить в поле по ягоды, предпочтительно на залежи. Это удовольствие было для меня совершенно неизвестно и сначала очень мне нравилось, но скоро наскучило; все же окружающие меня, и мужчины и женщины, постоянно занимались этим делом очень горячо. Мы ездили за клубникой целым домом, так что только повар Макей оставался в своей кухне, но и его отпускали после обеда, и он всегда возвращался уже к вечеру с огромным кузовом чудесной клубники. У всякого была своя посуда: у кого ведро, у кого лукошко, у кого бурак, у кого кузов. Мать обыкновенно скоро утомлялась собираньем ягод и потому садилась на дроги, выезжала на дорогу и каталась по ней час и более, а потом заезжала за нами; сначала мать каталась одна или с отцом, но через несколько дней я стал проситься, чтоб она брала меня с собою, и потом я уже всегда ездил прогуливаться с нею. У нас с сестрицей были прекрасные с крышечками берестовые бурачки, испещренные вытисненными на них узорами. Милая моя сестрица не умела брать ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой. Я слышал, как ее нянька Параша, всегда очень ласковая и добрая женщина, вытряхивая бурачок, говорила: «Ну, барышня, опять набрала зеленухи!» — и потом наполняла ее бурачок ягодами из своего кузова; у меня же оказалась претензия, что я умею брать ягоды и что моя клубника лучше Евсеичевой: это, конечно, было несправедливо. Вследствие той же претензии я всегда заявлял, что сестрица не сама брала и что я видел, как Параша насыпала ее бурачок своей клубникой. По возвращении домой начиналась новая возня с ягодами: в тени от нашего домика рассыпали их на широкий чистый липовый лубок, самые крупные отбирали на варенье, потом для кушанья, потом для сушки; из остальных делали русские и татарские пастилы; русскими назывались пастилы толстые, сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими — тонкие, как кожа, со всеми ягодными семечками, довольно

кислые на вкус. Эти приготовления занимали меня сначала едва ли не более собирания ягод; но, наконец, и они мне наскучили. Более всего любил я смотреть, как мать варила варенье в медных блестящих тазах на тагане, под которым разводился огонь, — может быть, потому, что снимаемые с кипящего таза сахарные пенки большею частью отдавались нам с сестрицей; мы с ней обыкновенно сидели на земле, поджав под себя ноги, нетерпеливо ожидая, когда масса ягод и сахара начнет вздуваться, пузыриться и покрываться беловатою пеленою.

Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Федором посмотреть на эту охоту. Она мне очень понравилась: когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разостланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадалась в сетку, я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. *Бить* в дудки заранее учил меня Федор, считавшийся в этом деле великим мастером, и я тотчас подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Федору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили, но опыт доказал, что я вовсе не умею манить: на мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту.

Время для питья кумыса как лекарства проходило: травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть; кобылье молоко теряло свое целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с ее чудесным озером, мостками, с которых удил, к которым привык и которых вид до сих пор живет в моей благодарной памяти; простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался. Простился — очень надолго.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УФУ К ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Двухмесячное пребывание в деревне, или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, уженье, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок, — все это так разнилось с нашей городской жизнью, что Уфа мне опостылела. Я загорел, как арап, и одичал, по общему выражению всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда милая моя сестрица весело гуляла в нем; напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми попрежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после сергеевских дубов, озера и полей гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтоб погладить, приласкать Сурку и поиграть с ним; житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид Сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятное впечатление. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него; это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам, я считал уже себя устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы; к чтению также меня не тянуло, потому что все было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию, а читать старое — уже по охоте. С. И. Аничков не переставал осведомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести; это была уж маленькая библиотека. В числе книг находились: «Древняя Вивлиофика», «Россиада» Хераскова и полное собрание в двенадцати томах сочинений Сумарокова. Заглянув в «Вивлиофику», я оставил ее в покое, а «Россиаду» и сочинения Сумарокова читал с жадностью и с восторженным

увлечением. Зараженный примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему. Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме уже гораздо менее, чем в прошедшую зиму: дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего, менее развлечена обществом, более имела досуга, и потому более времени я проводил вместе с ней. Самое любимое мое дело было читать ей вслух «Россиаду» и получать от нее разные объяснения на не понимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием, воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев: Мстиславского, князя Курбского и Палецкого, что я как будто видел и знал их давно; я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность; я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги, и прочая и прочая. Мать смеялась, а отец удивлялся и один раз сказал: «Откуда это все у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой». А мать отвечала: «Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палецкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского!

Сей муж в сражениях не дерзок был, не злобен;
Но твердому кремню являлся он подобен,
Который сильный огнь в то время издает,
Когда поверхность кто его железом бьет.

Гидромир и Асталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидромир не был убит в единоборстве с Палецким. Я восхищался и казанскими рыцарями, которые

В уста вложив кинжал и в руки взяв мечи,
Которые у них сверкали как лучи...
. . . .
. . . .

И войска нашего ударили в ограду,
Как стадо лебедей скрывается от граду,
Так войски по холмам от их мечей текли;
Злодеи скоро бы вломиться в стан могли,
Когда б не прекратил сию кроваву сечу
Князь Курбский с Палецким, врагам текущи встречу.

Последние два стиха произносил я с гордостью и наслаждением. Я должен признаться, что последний стих я и теперь произношу с удовольствием и слышу в нем что-то крепкое и стремительное. Я не преминул похвастаться чтением наизусть стихов из «Россиады» пред моим покровителем С. И. Аничковым: он, выслушав меня, похвалил и обещал подарить Ломоносова.

Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме, как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенному им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения божией матери, и лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви; всем встречающимся по дороге верховой кричал: «Ступайте назад в церковь, присягать новому императору!» Народ, шедший врассыпную, приостановился, собрался в кучки, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известия от кого-то из бегущих мимо, что «государыня скончалась», как раздался в соборе колокольный звон и, подхваченный другими десятью приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать, тоже со слезами на глазах, перекрестилась и сказала: «Царство ей небесное». Я был глубоко поражен, сам не зная отчего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть; идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из Верхнего земского суда и сказал отцу, чтоб он ехал присягать в

собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была также чем-то изумлена, вошли в спальную. Мать помолилась богу, села на кресла и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против нее на стуле и молча, пристально на нее смотрели. Наконец, мать обратила на нас внимание и стала говорить с нами, то есть собственно со мною, потому что сестра была еще мала и не могла понимать ее слов, даже скоро ушла в детскую к своей няне. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствование соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше, и мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто ж будет теперь у нас государыней?» — спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее Павел Петрович». — «А будет ли он такой же умный и добрый?» — «Как угодно богу, и мы будем молиться о том», — отвечала мать. Я возразил, что «бог, вероятно, захочет, чтоб Павел Петрович был умный и добрый». Мать ничего не отвечала и велела мне идти в детскую читать или играть с сестрицей, но я попросил ее, чтоб она растолковала мне, что значит присягать. Она объяснила, и я решительно объявил, что сам хочу присягнуть. «Детей не приводят к присяге, — сказала мать, — ступай к сестре». Я обиделся. Скоро приехал отец и вслед за ним несколько знакомых. Все были в негодовании на В. **, нашего, кажется, военного губернатора или корпусного командира — хорошенько не знаю, — который публично показывал свою радость, что скончалась государыня, целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин. Я сейчас подумал, что губернатор В. ** должен быть недобрый человек; тут же я услышал, что он имел особенную причину радоваться: новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком. Я прогневался на В.** еще больше: зачем он радуется, когда все огорчены. Сначала я слышал, как

говорила моя мать, что не надо ехать на бал к губернатору, и как соглашались с нею другие, и потом вдруг все решили, что нельзя не ехать. Мать не спорила, но сказала, что останется дома. Поехал и мой отец, но сейчас воротился и сказал, что бал похож на похороны и что весел только В.**, двое его адъютантов и старый депутат, мой книжный благодетель, С. И. Аничков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что «пора мужской руке взять скипетр власти...»

И этот день принес мне новые, неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину: мертвую императрицу, огромного роста, лежащую под черным балдахином, в черной церкви (я наслушался толков об этом), и подле нее, на коленях, нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такою толпою, что край ее мог достать от Уфы до Зубовки, то есть за десять верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву Параше и сестрице, как будто я сам все видел или читал об этом описание.

Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Толковали в спальной у матери, толковали в гостиной, толковали даже в нашей детской, куда заглядывала иногда из девичьей то Аннушка, Ефремова жена, то горбатая княжна калмычка. В спальной и гостиной говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно; о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражение, тогда совершенно не понимаемое мною: «Теперь-то гатчинские пойдут в гору». В нашей детской говорили, или, лучше сказать, в нашу детскую доходили слухи о том, о чем толковали в девичьей и лакейской, а толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкновенно смутили; я побежал за

объяснениями к отцу и матери, и только твердые и горячие уверения их, что все эти слухи совершенный вздор и нелепость, могли меня успокоить. Тогда я побежал в детскую и старался из всех сил убедить Парашу и других, заходивших в нашу комнату, в нелепости их рассказов, но — без всякого успеха! Мне отвечали, что я «еще маленький и ничего не смыслю». Я обижался и очень сердился. После я узнал, что Параше и другим с этих пор строго запретили сообщать мне нелепые толки, ходившие в народе.

Всякий день ожидали новых событий, но по отдаленности Уфы медленно доходили туда известия из столиц. Губернатор В. ** скоро уехал, вызванный будто бы секретно императором, как говорили потихоньку.

Скоро наступила жестокая зима, и мы окончательно заключились в своих детских комнатках, из которых занимали только одну. Чтение книг, писанье прописей и занятия арифметикой, которую я понимал как-то тупо и которой учился неохотно, — все это увеличилось само собою, потому что прибавилось времени: гостей стало приезжать менее, а гулять стало невозможно. Доходило дело даже до «Древней Вивлиофики».

Раз как-то вслушался я между слов, что дедушка нездоров; но, кажется, никто об его болезни не беспокоился, и я почти забыл о ней. Вдруг, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное с нарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили; когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то сбирался ехать, а мать, очень огорченная, сказала мне: «Ну, Сережа, мы все поедем в Багрово: дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней и подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала

меня также мысль, что маменька от этого захворает. «Да как же мы поедем зимой, — думал я, — ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем?» Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный и огорченный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. Кроме страха, что дедушка при мне умрет, Багрово само по себе не привлекало меня. Я не забыл нашего печального в нем житья без отца и матери, и мне не хотелось туда ехать, особенно зимой. Приехал отец, вошел в спальню торопливо и сказал как будто весело, что меня очень удивило: «Слава богу, все нашел! Возок дает нам С. И. Аничков, а кибитку — Мисайловы. Ну, матушка, теперь собирайся поскорее. Мне завтра же дадут отпуск, и мы завтра же поедем на переменных». Мать, очень огорченная, печально отвечала: «У меня все будет готово, лишь бы твой отпуск не задержал». В тот же вечер начались у нас сборы, укладыванье и приготовленье кушанья на дорогу. Мне позволили взять с собою только несколько книжек. Я высказал все свои сомнения и страхи матери; иных она не могла уничтожить, над опасением же, что «мы замерзнем», рассмеялась и сказала, что нам будет жарко в возке.

На другой день к обеду действительно все сборы были кончены, возок и кибитка уложены, дожидались только отцова отпуска. Его принесли часу в третьем. Мы должны были проехать несколько станций по большой Казанской дороге, а потому нам привели почтовых лошадей, и вечером мы выехали.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА В БАГРОВО

Эта дорога, продолжавшася почти двое суток, оставила во мне самое тягостное и неприятное воспоминание. Как только мы вышли садиться, я пришел в ужас от низенького кожаного возка с маленькою дверью, в которую трудно было пролезть, — а в возке следовало поместиться мне с сестрицей, Параше и Аннушке.

Я просился в кибитку к матери, но мороз был страшный и мне строго приказали лезть в возок. Я повиновался с раздражением и слезами. Мать не могла зимой ездить в закрытом экипаже: ей делалось тошно и дурно; даже в кибитке она сидела каким-то особенным образом, вся наружи, так что воздух обхватывал ее со всех сторон. Скоро в возке сделалось тепло и надобно было развязать платок, которым я, сверх шубы и шапочки, был окутан. Мы быстро скакали по гладкой дороге, и я почувствовал, неизвестное мне до сих пор, удовольствие скорой езды. В обеих дверях возка находилось по маленькому четвероугольному окошечку со стеклом, заделанным наглухо. Я кое-как подполз к окошку и с удовольствием смотрел в него; ночь была месячная, светлая; толстые вехи, а иногда деревья быстро мелькали, но, увы! скоро и это удовольствие исчезло: стекла затуманились, разрисовались снежными узорами и, наконец, покрылись густым слоем непроницаемого инея. Невеселая будущность представлялась мне впереди: печальный багровский дом, весь в сугробах, и умирающий дедушка. Сестрица моя давно уже спала, а наконец, и меня посетил благодетельный сон. Проснувшись на другой день поутру, я подумал, что еще рано; в возке у нас был рассвет или сумерки, потому что стеклышки еще больше запушило. Все уже, как видно, давно проснулись, и милая моя сестрица что-то кушала; она приползла ко мне и принялась меня обнимать и целовать. В возке действительно было жарко. Скоро поразил мой слух пронзительный скрип полозьев, и я почувствовал, что мы едва ползем. Тут мне объяснили, что, проехав две с половиной станции, мы своротили с большой дороги и едем теперь уже не на тройке почтовых лошадей в ряд, а тащимся гусем по проселку на обывательских подводах. Это все меня очень огорчило, и милая сестрица не могла развеселить меня. Она знала, до чего я был охотник, и сейчас стала просить, чтоб я почитал ей книжку, которая лежала в боковой сумке; но я не стал даже и читать, так мне было грустно. Наконец, доплелись мы до какой-то татарской деревушки, где надобно было переменить лошадей, для заготовления которых ехал впереди кучер Степан. Мы вышли в избу, заранее приготовлен-

ную, чтоб напиться чаю и позавтракать. У матери было совершенно больное и расстроенное лицо; она всю ночь не спала и чувствовала тошноту и головокруженье: это встревожило и огорчило меня еще больше. В белой татарской избе, на широких нарах, лежала груда довольно сальных перин чуть не до потолка, прикрытых с одной стороны ковром; остальная часть нар покрыта была белою кошмою. Мать, разостлав на ней свой дорожный салоп и положа свои же подушки, легла отдохнуть и скоро заснула, приказав, чтобы мы и чай пили без нее. Она проспала целый час, а мы с отцом и сестрицей, говоря шепотом и наблюдая во всем тишину, напились чаю, даже позавтракали разогретым в печке жарким. Сон подкрепил мать, и мы пустились в дальнейший путь. Вечером опять повторилось то же событие, то есть мы остановились переменять лошадей, вышли, только уж не в чистую татарскую, а в гадкую мордовскую избу. Кажется, отвратительнее этой избы я не встречал во всю мою жизнь: нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней дороги; но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать; она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с ногами на лавке (хотя были тепло обуты), потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее; когда отворяли дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу. Тут мы еще поели разогретого супу и пирожков и пустились в дальнейший путь. Возок наш так настыл от непритворенной по неосторожности двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием и дыханием.

Я не могу описать тревоги и волнения, которое я испытывал тогда. У меня было и предчувствие и убежденние, что с нами случится какое-нибудь несчастие, что мы или замерзнем, как воробьи и галки, которые на лету падали мертвыми, по рассказам Параши, или захвораем. Но все мои страхи и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам с сестрицей. У нас в возке опять стало тепло, а мать все сидела даже и не внутри повозки, а вся открытая. Предчувствие беды не давало мне спать.

Вдруг мы остановились, и через несколько минут эта остановка привела меня в беспокойство: я разбудил Парашу, просил и молил ее постучать в дверь, позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка; но Параша, обыкновенно всегда добрая и ласковая, недовольная тем, что я ее разбудил, с некоторою грубостью отвечала мне: «Никого не достучишься теперь. Известно, зачем остановились». Если б она знала, какое мучение испытывал я от неизвестности, то, конечно, сжалилась бы надо мной. Благодарение богу, возок скоро двинулся. Поутру, когда мы опять остановились пить чай, я узнал, что мои страхи были не совсем неосновательны: у нас точно замерз было чувашенин, ехавший форейтором в нашем возке. Будучи плохо одет, он так озяб, что упал без чувств с лошади; его оттерли и довезли благополучно до ближайшей деревни. Тогда же поселились во мне, до сих пор сохраняемые мною, ужас и отвращение к зимней езде на переменных обывательских лошадях по проселочным дорогам: мочальная сбруя, непривычные малосильные лошаденки, которых никогда не кормят овсом, и, наконец, возчики, не довольно тепло одетые для переезда и десяти верст в жестокую стужу... все это поистине ужасно. Дорога наша была совсем не та, по которой мы ездили в первый раз в Багрово, о чем я узнал после. Той летней степной дороги не было теперь и следочка. Зимой, по дальности расстояний, и не прокладывали прямых путей, а кое-какие тропинки шли от деревни до деревни.

Поутру, когда я выполз из тюрьмы на свет божий, я несколько ободрился и успокоился; к тому же и мать почувствовала себя покрепче, попривыкла к дороге, и мороз стал полегче. Скоро прошел короткий зимний день, и ночная темнота, ранее обыкновенного наступавшая в возке, опять нагнала страхи и печальные предчувствия на мою робкую душу, и, к сожалению, опять недаром. Я говорю: к сожалению, потому что именно с этих пор у меня укоренилась вера в предчувствия, и я во всю мою жизнь страдал от них более, чем от действительных несчастий, хотя в то же время предчувствия мои почти никогда не сбывались. Подъезжая к Багрову уже вечером, возок наш наехал на пенек и опрокинулся.

Я, сонный, ударился бровью об круглую медную шляпку гвоздя, на котором висела сумка, и, сверх того, едва не задохся, потому что Параша, сестрица и множество подушек упали мне на лицо, и особенно потому, что не скоро подняли опрокинутый возок. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал, кроме радости, что не задохся; даже не заметил, что ушибся; но, к досаде моей, Параша, Аннушка и даже сестрица, которая не понимала, что я мог задохнуться и умереть, — смеялись и моему страху и моей радости. Слава богу, мать не знала, что мы опрокинулись.

БАГРОВО ЗИМОЙ

Наконец, послышался лай собак, замелькали бледные дрожащие огоньки из крестьянских изб; слабый свет их пробивался в наши окошечки, менее прежнего запушенные снегом, — и мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем двенадцативерстном переезде. Мы остановились у первого крестьянского двора, и после я узнал, что отец посылал спрашивать о дедушке; отвечали, что он еще жив. Мы ехали с колокольчиками и очень медленно; нас ожидали, догадались, что это мы едем, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце: обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью пошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Нам опять отдали гостиную, потому что особая горница, которую обещал нам дедушка, хотя была срублена и покрыта, но еще не отделана. Дом был весь занят, — съехались все тетушки с своими мужьями; в комнате Татьяны Степановны жила Ерлыкина с двумя дочерьми; Иван Петрович Каратаев и Ерлыкин спали где-то в столярной, а остальные три тетушки помещались в комнате бабушки, рядом с горницей больного дедушки. В зале

была стужа, да и в гостиной холодно. Едва нашли кровать для матери; нам с сестрицей постлали на канапе, а отцу приготовили перину на полу. Подали самовар и стали нас поить чаем; тут пришла мать; она вся была мокрая от духоты в дедушкиной горнице, в которой было жарко, как в бане. В гостиной ей показалось холодно, и она сейчас принялась ее ухичивать; заперли двери в залу, завесили ковром, устлали пол кошмами — и гостиная, в которой были две печки, скоро нагрелась и во все время нашего пребывания была очень тепла.

В голове моей происходила совершенная путаница разных впечатлений, воспоминаний, страха и предчувствий; а сверх того, действительно у меня начинала сильно болеть голова от ушиба. Мать скоро заметила, что я нездоров, что у меня запухает глаз, и мы должны были рассказать ей все происшествие. Мне сделали какую-то примочку и глаз завязали. Но мать была больнее меня от бессонницы, усталости и тошноты в продолжение всей дороги. Она не легла, а упала в изнеможении на свою постель; разумеется, и нас сейчас уложили. Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать, а как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась с мучительной болью и страданьем, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери; голова болела, глаз закрывался, я чувствовал жар и даже готовность бредить, и боялся, что захвораю... но все уступило благотворному, целебному сну. Проснувшись еще до света, я взглянул на мать: она спала, и это меня очень обрадовало. Голова и глаз перестали болеть, но зато глаз совершенно закрылся, запух, и все ушибенное место посинело. Видно, отец еще не приходил: постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или, лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это дума-

лось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то и бабушка, верно, умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и будет она жить у нас в пустой детской; а если бабушка не умрет, то и ее увезем, перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой... Но все эти мечтанья исчезали при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надобно признаться, что это неизбежное свиданье наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они *окоченеют*, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю... Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов, но все странно противоречит оно моим тогдашним, здравым уже понятиям об иных предметах. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли! Дыханье останавливалось, холодный пот выступал на лице, я не мог улежать на своем месте, вскочил и сел поперек своей постельки, даже стал было будить сестрицу, и если не закричал, то, вероятно, от того, что у меня не было голоса... В самое это время проснулась мать и ахнула, взглянув на мое лицо: перевязка давно свалилась и синяя, даже черная шишка над моим глазом испугала мою мать. Мнимые страхи мои исчезли перед действительным испугом матери, и я прибежал к ней на постель, уверяя, что совершенно здоров и что у меня ничего не болит. Мать успокоилась и сказала мне, что это пройдет. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Уже стало светло; сестрица моя также проснулась и также сначала испугалась, взглянув на мой глаз, но его завязали, и она успокоилась. Она нисколько не боялась дедушки, очень сожалела о нем и сама желала идти к нему. Ее бодрость и привязанность к дедушке пристыдили и ободрили меня. Мать скоро воротилась и сказала, что дедушка уже очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить. Как я ни старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха

и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря: «Можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает?» Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза; лицо его было бледно и так изменилось, что я не узнал бы его; у изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли и покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал: «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащею рукой перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам; мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали; все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать, и тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь и жалость к умирающему дедушке. В комнате были нестерпимый жар и духота; мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтоб рассеять нас, мать позвала к нам двоюродных наших сестриц. Они были гораздо спокойнее и встретили нас ласково; мы сами несколько успокоились и разговорились с ними. Мы проговорили так до обеда, который происходил обыкновенным порядком в зале; кушаний было множество, и, кроме моей матери и отца, который и за стол не садился, все кушали охотно и разговаривали довольно спокойно, только вполголоса. После обеда сестрицы зашли к нам в гостиную, и я принялся очень живо болтать и рассказывать им всякую всячину. Бессознательно я хотел подавить в себе пустыми разговорами постоянное присутствие мысли о дедушкиной смерти. Мать беспрестанно уходила к больному и позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить к ним надобно было через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных девушек и девчонок; их одежда поразила меня: одни были одеты в полосущатые платья, другие в телогрейки с юбками, а иные были просто в одних рубашках и юбках; все сидели за гребнями и пряли. Это была для меня

совершенная новость, и я, остановясь, с любопытством рассматривал, как пряхи, одною рукою подергивая льняные мочки, другою вертели веретена с намотанной на них пряжей; все это делалось очень проворно и красиво, а как все молчали, то жужжанье веретен и подергиванье мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушивался и всматривался внимательно, в комнате дедушки раздался плач; я вздрогнул, в одну минуту вся девичья опустела: пряхи, побросав свои гребни и веретена, бросились толпою в горницу умирающего. Я подумал, что дедушка умер; пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как взлез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее; но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было *томиться,* но опять отдохнул. «Все уж ночью помрет»,— прибавила она очень равнодушно. Мы пробыли у сестер часа два, но я уже не болтал, а сидел как в воду опущенный. Нас позвали пить чай в залу, куда приходили мать, тетушки и бабушка, но поодиночке и на короткое время. Отец не приходил, и мне было очень грустно, что я так давно его не вижу. Я уже понимал, как тяжело было ему смотреть на умирающего своего отца. После чаю двоюродные сестры опять зашли к нам в гостиную, и я опять не принимал никакого участия в их разговорах; часа через два они ушли спать. Как было мне завидно, что они ничего не боялись, и как я желал, чтоб они не уходили! Без них мне стало гораздо страшнее. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила: «Дедушка не будет кушать. Дедушку зароют в снег. Мне его жалко». Она плакала, но также ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Я умолял Парашу, чтоб она не уходила, и она обещала не уходить, пока не придет мать. Вместо ночника, всегда горевшего тускло, я упросил зажечь свечку. Заметя, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил:

«Отчего дедушка не плачет и не кричит? Ведь ему больно умирать?» Параша со смехом отвечала: «Нет, уж когда придется умирать, то тут больно не бывает; тут человек уж ничего и не слышит и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнает; хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит...» Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже не может говорить. Я схватил руку Параши, не выпускал ее и перестал говорить. Светильня нагорела, надо было снять со свечи, но я не решился и на одну минуту расстаться с рукой Параши: она должна была идти вместе со мной и переставить свечу на стол возле меня так близко, чтоб можно было снимать ее щипцами, не вставая с места. Параша принялась дремать, а я беспрестанно ее будить, жалобным голосом повторяя: «Парашенька, не спи». Наконец, пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро, — скоро заснул. — Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате, Параши также; свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык потухающей светильни, кидаясь во все стороны на дне горшочка с выгоревшим салом, изредка озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте. Нет слов для выражения моего страха! Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробегал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло и чувствовал, как холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза — дедушка стоял передо мной, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила Параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах, и слабые эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если б в это время что-нибудь стукнуло или треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали

сначала плач; я подумал, что это мне почудилось... но плач перешел в вопль, стон, визг... я не в силах был более выдерживать, раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог: сестрица проснулась и принялась также кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка; весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание и готов был упасть в обморок или помешаться — как вдруг вбежала Параша, которая преспокойно спала в коридоре у самой нашей двери и которую, наконец, разбудили общие вопли; по счастию, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу у потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец, пришла мать, сама расстроенная и больная, сказала, что дедушка скончался в шесть часов утра и что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что уже не спал две ночи. В самом деле, скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки» — и горько заплакал; заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и ту ж минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная, в окнах появилась белизна, я догадался, что начинает светать; это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою.

Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач и рыданье. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что, верно, молятся богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. «Видно, и Параша с сестрицей ушли молиться богу», — подумал я и стал терпеливо дожидаться чьего-нибудь прихода. Днем, при солнечном свете, я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот как проспали, уж скоро обедать станут», — начала поспешно меня одевать. Я стал умываться и вдруг вслушался в какое-то однооб-

разное, тихое, нараспев, чтенье, выходившее как будто из залы. Я спросил Парашу, что это такое читают? и она, обливая из рукомойника холодною водою мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да как же дедушка в залу пришел, разве он жив?» — «Какое жив, — отвечала Параша, — уж давно остамел; его обмыли, одели в саван, принесли в залу и положили на стол; отслужили панихиду, попы уехали[1], а теперь старик Еким читает псалтырь. Не слушайте сестрицы; ну, чего дедушку глядеть: такой страшный, одним глазом смотрит...» Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом, а последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной и через коридор и девичью прибежал в комнату двоюродных сестер; за мной прибежала Параша и сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон, и я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться и даже пробуя увести насильно, против чего я защищался и руками и ногами; но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Параша пошла за моей матерью, которая, как после я узнал, хлопотала вместе с другими около бабушки: бабушке сделалось дурно после панихиды, потому что она ужасно плакала, рвалась и билась. Мать пришла вместе с тетушкой Елизаветой Степановной. Я бросился к матери на шею и умолял ее не уводить меня в гостиную. Ей было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сестрами, что я хотя мужчина, а такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришел в исступленье, которого мать сама испугалась. Тетушка, видно, сжалилась надо мной и вызвалась перейти в гостиную с своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое время ни за что бы не приняла такого одол-

[1] Про священника с причтом иногда говорят в Оренбургской губернии во множественном числе.

женья — теперь же охотно и с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в эту угольную комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни *вытья*. Выть по мертвому, или причитать, считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые и крестьянские, перебывали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый, на кого ты нас оставил, сирот горемычных», и проч. и проч. Мы перебрались в тетушкину горницу очень скоро; я и не видел этого перетаскиванья, потому что нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные и в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга; оба дяди также были там; общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый» — и еще что-то в этом роде, чего я не помню. Скоро стол уставили множеством кушаний. Не знаю почему, но вся прислуга состояла из горничных девушек. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови: «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степаныч сейчас придет». Но бабушка отвечала, что «Алеша теперь полный хозяин и господин в доме, так его следует подождать». Мать попробовала возразить: «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет, нет, невестынька: по-нашему, не так, а всякий сверчок знай свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери и вошел мой отец. Я его уже давно не видал, видел только мельком ночью; он был бледен, печален и похудел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу, даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах и кем-то поддерживаемая, поплелась к нему, все же четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое. Помню слова: «Ты теперь наш отец, не

оставь нас, сирот». Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет идти попрежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери и хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, *настоящую хозяйку в доме*, не оставить их своим расположением и ласкою. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно: она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что «никогда никакой власти на себя не возьмет и что будет всех уважать и любить, как и прежде». Сели за стол и принялись так кушать (за исключением моей матери), что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала налимью уху из огромной кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, икорки-то и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их...» — и я сам видел, как слезы у ней капали в тарелку. Точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Проходя через девичью в нашу новую комнату, я с робостью поглядывал в растворенный коридор, который выходил прямо в залу, откуда слышалось однообразное, утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шепотом разговаривали. При дневном свете бодрость моя возвратилась, и я даже любовался яркими лучами солнца. Комната мне чрезвычайно нравилась; кроме того, что она отдаляла меня от покойника, она была угольная и одною своей стороною выходила на реку Бугуруслан, который и зимой не замерзал от быстроты теченья и множества родников. Он круто поворачивал против самых окон. Вид в снегах быстро бегущей реки, летняя кухня на острову, высокие к ней переходы, другой остров с большими и стройными деревьями, опушенными инеем, а вдали выпуклоутесистая Челяевская гора — вся эта картина произвела на меня приятное, успокоительное впечатление. В первый раз почувствовал я, что и вид зимней природы может иметь свою красоту.

Мое спокойствие продолжалось до сумерек. Сам того не примечая, с угасающими лучами заходящего солнца терял я свою бодрость. Я боялся даже идти пить чай в бабушкину комнату, потому что надобно было проходить в девичьей мимо известного коридора. Мать строго приказала мне идти. Я имел силу послушаться, но пробежал бегом через девичью, заткнув уши и отворотясь от коридора. После чаю у бабушки в горнице начались разговоры о том, как умирал и что завещал исполнить дедушка, а также о том, что послезавтра будут его хоронить. Мать, заметив, что такие разговоры меня смущают, сейчас увела нас с сестрой в нашу угловую комнату, даже пригласила к нам двоюродных сестриц. Они, посидев и поболтав с нами, ушли, и, когда надобно было ложиться спать, страх опять овладел мною и так выразился на моем лице, что мать поняла, какую ночь проведу я, если не лягу спать вместе с нею. Горячею благодарностью к ней наполнилось мое сердце, когда она сама сказала мне: «Сережа, ты ляжешь со мной». Это все, что я мог желать, о чем, без сомнения, я стал бы и просить и в чем не отказали бы мне; но как тяжело, как стыдно было бы просить об этом! Я, конечно, не вдруг бы решился и прежде не один час провел бы в мучительном положении. О, благо тем, которые щадят, избавляют от унизительного сознания в трусости робкое сердце дитяти! Ночь прошла спокойно. Я проснулся еще до света и услышал много любопытных разговоров между отцом и матерью. Я узнал, что отец мой хочет выйти в отставку и переехать на житье в Багрово. Эта весть очень меня огорчила; Багрово в оба раза представилось мне в неблагоприятном виде и, конечно, не могло меня привлекать к себе; все мои мечты стремились к Сергеевке, где так весело провел я прошедшее лето. Тут же я в первый раз услышал, что у меня будет новая сестрица или братец.

Следующий день прошел точно так же, как и предыдущий: то есть днем я был спокойнее и бодрее, а к ночи опять начинал бояться. Всего больше тревожило меня сомнение, положит ли маменька меня с собою спать. Я с волнением дожидался того времени, когда начнут стлать постели, и почувствовал большую радость, увидя,

что мои подушки кладут на маменькину постель. Нового я узнал, что завтра дедушку повезут хоронить в село Неклюдово, чего он именно не желал, потому что не любил всего неклюдовского. Почему было поступлено против его воли — я до сих пор не знаю, но помню, что говорили о каких-то важных причинах. Я должен признаться, что горячо желал, чтоб поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь; я сам боялся их и никогда не видывал лет до двадцати. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления: вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение; но тогда я положительно боялся и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня.

Наступил этот печальный и торжественный день. Все поднялись рано; началась беготня и беспрестанное хлопанье дверями. Когда мы пришли, ранее обыкновенного, пить чай в бабушкину горницу, то все тетушки и бабушка были уже одеты в дорожные платья; у крыльца стояло несколько повозок и саней, запряженных гусем. Двор и улица были полны народу: не только сошлись свои крестьяне и крестьянки, от старого и до малого, но и окольные деревни собрались проститься с моим дедушкой, который был всеми уважаем и любим, как отец. Много лет спустя я слыхал, что соседняя мордва иначе не называла его, как «отца наша». Когда все было готово и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому; я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были везде настежь, везде сделалась стужа, и мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы только трое остались в бабушкиной теплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой; все это прошло мимо нас... и вскоре я увидел, что с

крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб; потом, когда тесная толпа раздвинулась, я разглядел, что гроб несли мой отец, двое дядей и старик Петр Федоров, которого самого вели под руки; бабушку также вели сначала, но скоро посадили в сани, а тетушки и маменька шли пешком; многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и, наконец, скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать исхудалую его руку.

Мы сидели в бабушкиной горнице и грустно молчали. После шума и движенья в доме наступила мертвая тишина. Вдруг подъехали к крыльцу сани; с них сошла мать и две наши двоюродные сестры. Я вскрикнул от радости; я думал, что все уехали в Неклюдово, за двадцать верст. Вслед за приездом матери повалили толпы возвращающегося народа. Мать проводила дедушку до околицы; там поставили гроб на сани, а все провожавшие сели в повозки. Мы ушли в свою угольную комнату. Мать, расстроенная душевно, потому что очень любила покойного дедушку, и очень утомленная, пролежала почти целый день, не занимаясь нами. Двоюродные сестрицы оставались у нас в комнате, и мы с ними очень разговорились, и очень дружелюбно. Впрочем, говорили почти все они, и я тут узнал много такого, о чем прежде не имел понятия и что даже считал невозможным. Я узнал, например, что они очень мало любят, а только боятся своих родителей, что они беспрестанно лгут и обманывают их; я принялся было осуждать своих сестриц, доказывать, как это дурно, и учить их, как надобно поступать добрым детям. Я говорил все то, что знал из книг, еще более из собственной моей жизни, но сестрицы меня или не понимали, или смеялись надо мной, или утверждали, что у них тятенька и маменька совсем не такие, как у меня.

Поздно вечером воротился отец. Бабушка с тетушками осталась ночевать в Неклюдове у родных своих

племянниц; мой отец прямо с похорон, не заходя в дом, как его о том ни просили, уехал к нам. Он целый день ничего не ел и ужасно устал, потому что много шел пешком за гробом дедушки. Эту ночь я спал уже на особой кроватке, вместе с сестрицей. Я вечером опять почувствовал страх, но скрыл его; мать положила бы меня спать с собою, а для нее это было беспокойно; к тому же она спала, когда я ложился. Долго не мог я заснуть; вид колыхающегося гроба и чего-то в нем лежащего, медленно двигающегося на плечах толпы народа, не отходил от меня и далеко прогонял сон. Наконец, после многих усилий я кое-как заснул, слава богу, и проснулся позже всех.

К обеду приехали бабушка, тетушка и дяди; накануне весь дом был вымыт, печи жарко истоплены, и в доме стало тепло, кроме залы, в которую, впрочем, никто и не входил до девяти дён. Чтение псалтыря продолжалось и день и ночь уже в горнице дедушки, где он жил и скончался. Пили чай, обедали и ужинали у бабушки, потому что это была самая большая комната после залы; там же обыкновенно все сидели и разговаривали. Мать несколько дней не могла оправиться; она по большей части сидела с нами в нашей светлой угольной комнате, которая, впрочем, была холоднее других; но мать захотела остаться в ней до нашего отъезда в Уфу, который был назначен через девять дней.

Как я ни был мал, но заметил, что моего отца все тетушки, особенно Татьяна Степановна, часто обнимали, целовали и говорили, что он один остался у них кормилец и защитник. Мать мою также очень ласкали. Тетушка Татьяна Степановна часто приходила к нам, чтоб «матушке сестрице не было скучно», и звала ее с собою, чтобы вместе поговорить о разных домашних делах. Но мать всегда отвечала, что «не намерена мешаться в их семейные и домашние дела, что ее согласие тут не нужно и что все зависит от матушки», то есть от ее свекрови. Возвращаясь с семейных совещаний, отец рассказывал матери, что покойный дедушка еще до нашего приезда отдал разные приказанья бабушке: назначил каждой дочери, кроме крестной матери моей, доброй Аксиньи Степановны, по одному семейству из дворовых,

а для Татьяны Степановны приказал купить сторгованную землю у башкирцев и перевести туда двадцать пять душ крестьян, которых назвал поименно; сверх того, роздал дочерям много хлеба и всякой домашней рухляди. «Хоть батюшка мне ничего не говорил, а изволил только сказать: *не оставь Танюшу и награди так же, как я наградил других сестер при замужестве,* — но я свято исполню все, что он приказывал матушке». Мать одобрила его намеренье. Когда мой отец изъявил полное согласие на исполненье дедушкиной воли, то все благодарили его и низко кланялись, а Татьяна Степановна поклонилась даже в ноги. Она приходила также обнимать, целовать и благодарить мою мать, которая, однако, никаких благодарностей не принимала и возражала, что это дело до нее вовсе не касается.

Я замечал иногда, что Параша что-то шептала моей матери; иногда она слушала ее, а всего чаще заставляла молчать и прогоняла, и вот что эта Параша, одевая меня, один раз мне сказала: «Да, вы тут сидите, а вас грабят». Я не понял и попросил объясненья. Параша отвечала: «Да вот сколько теперь батюшка-то ваш роздал крестьян, дворовых людей и всякого добра вашим тетушкам-то, а все понапрасну; они всклепали на покойника; они точно просили, да дедушка отвечал: что брат Алеша даст, тем и будьте довольны. Никанорка Танайченок все это своими ушами слышал, и все в доме это знают». Я плохо понимал, о чем шло дело, и это не произвело на меня никакого впечатления; но я, как и всегда, поспешил рассказать об этом матери. Она так рассердилась и так кричала на Парашу, так грозила ей, что я испугался. Параша плакала, просила прощенья, валялась в ногах у моей матери, крестилась и божилась, что никогда вперед этого не будет. Мать сказала ей, что если еще раз что-нибудь такое случится, то она отошлет ее в симбирское Багрово ходить за коровами. Как было мне жаль бедную Парашу, как она жалобно на меня смотрела и как умоляла, чтоб я упросил маменьку простить ее!.. и я с жаром просил за Парашу, обвиняя себя, что подверг ее такому горю. Мать простила, но со всем тем выгнала вон из нашей комнаты свою любимую приданую женщину и не позволила ей показываться на

глаза, пока ее не позовут, а мне она строго подтвердила, чтоб я никогда не слушал рассказов слуг и не верил им и что это все выдумки багровской дворни: разумеется, что тогда никакое сомнение в справедливости слов матери не входило мне в голову. Только впоследствии понял я, за что мать сердилась на Парашу и отчего она хотела, чтоб я не знал печальной истины, которую мать знала очень хорошо. Понял также и то, для чего мать напрасно обвиняла багровскую дворню, понял, что в этом случае дворня была выше некоторых своих господ.

Обрадованный, что со мной и с сестрицей бабушка и тетушка стали ласковы, и уверенный, что все нас любят, я сам сделался очень ласков со всеми, особенно с бабушкой. Я скоро предложил всему обществу послушать моего чтения из «Россиады» и трагедий Сумарокова. Меня слушали с любопытством, и хвалили и говорили, что я умник, грамотей и чтец.

Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз как-то без него я заглянул даже в дедушкину комнату: она была пуста, все вещи куда-то вынесли, стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посредине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочередно который-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое: дряхлый старик Еким Мысеич и очень молодой, рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Мысеич медленно и гнуся, плохо разбирая и в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка; Еким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиленья. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке: я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Екима, и он согласился. Заставив меня наперед помолиться богу, Мысеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волненье стесняло мою

грудь, я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал; но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедши за мной, уже давно стоял и слушал, перервал меня: «Не будет ли, соколик? — сказал он. — А читать горазд». Я оглянулся: Мысеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтенье. Я помолился перед образом, посмотрел на дедушкину кровать, на которой спал рыжий Васька, вспомнил все прошедшее и грустно вышел из комнаты.

Пришел и девятый день, день поминовенья по усопшем дедушке. Накануне все, кроме отца и матери, даже двоюродные сестры, уехали ночевать в Неклюдово. В девятый же день и отец с матерью, рано поутру, чтоб поспеть к обедне, уехали туда же. В целом доме оставались одни мы с сестрицей. Евсеич со мной не расставался, и я упросил его пойти в комнату дедушки, чтоб еще раз почитать по нем псалтырь. В горнице так же читал Мысеич и так же спал рыжий Васька. Хотя я начал читать не без волнения, но голос мой уже не дрожал, и я читал еще с большим внутренним удовольствием, чем в первый раз. Долго и терпеливо слушал Евсеич; наконец, так же сказал: «Не будет ли, соколик? Чай, ножки устали». Мысеич опять дремал, прислонясь к окошку; я опять помолился богу и даже поклонился в землю, опять с грустью посмотрел на дедушкину кровать — и мы вышли. Дедушкиной горницы в этом виде я уже более не видал. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне: «Вот это хорошо вышло! В Неклюдове служили по дедушке панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтырь в его горнице», и я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью.

К обеду, о котором, как я заметил, заранее хлопотали тетушки, все воротились из Неклюдова; даже приехали бабушкины племянницы со старшими детьми. Еще до приезда хозяев и гостей был накрыт большой стол в зале. Мать воротилась очень утомленная и расстроенная, отец с красными глазами от слез, а прочие показались мне довольно спокойными. Как приехали, так сейчас

сели за обед. Кушаний было множество и все такие жирные, что мать нам с сестрицей почти ничего есть не позволяла. В конце обеда явились груды блинов: их кушали со слезами и даже с рыданьями, хотя перед блинами все были спокойны и громко говорили. Мать ничего не ела и очень была печальна; я глаз с нее не сводил. Я слышал, как она, уйдя после обеда в нашу комнату, сказала Параше, с которой опять начала ласково разговаривать, что она «ничего не могла есть, потому что обедали на том самом столе, на котором лежало тело покойного батюшки». Меня так поразили эти слова, что я сам почувствовал какое-то отвращенье к кушаньям, которые ел. Мне даже сделалось тошно. — Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться.

На другой день мы собирались и укладывались, а на третий, рано поутру, уехали. Прощанье было продолжительное, обнимались, целовались и плакали, особенно бабушка, которая не один раз говорила моему отцу: «Ради бога, Алеша, выходи поскорее в отставку и переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством: мое дело вдовье и старушечье; я плоха, а Танюша человек молодой, да мы и не смыслим. Все ведь держалось покойником, а теперь нас с Танюшей никто и слушать не станет. Все разъедутся по своим местам; мы останемся одни, дело наше женское, — ну, что мы станем делать?» Отец обещал исполнить ее волю.

УФА

Надобно признаться, что мне не жаль было покинуть Багрово. Два раза я жил в нем, и оба раза невесело. В первый раз была дождливая осень и тяжелая жизнь в разлуке с матерью и отцом при явном недоброжелательстве родных-хозяев, или хозяек, лучше сказать. Во второй раз стояла жестокая зима, скончался дедушка, и я испытал впечатления мучительного страха, о котором долго не мог забыть. Итак, не за что было полюбить Багрово. Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее: морозы стояли умеренные, око-

шечки в нашем возке не совсем запушались снегом, и возок не опрокидывался.

В Уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших, особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крестный отец мой, Д. Б. Мертваго, который хотя никогда не бывал со мной ласков, но зато никогда и не дразнил меня — давно уже уехал в Петербург. Княжевичи с своими детьми переехали в Казань; Мансуровы также со всеми детьми куда-то уехали.

Обогащенный многими новыми понятиями и чувствами, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего, увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. С лишком год прошел после неудачной моей попытки учить грамоте милую мою сестрицу, и я снова приступил к этому важному и еще неблагодарному для меня делу, неуспех которого меня искренно огорчал. Сестрица моя выучивала три-четыре буквы в одно утро, вечером еще знала их, потому что, ложась спать, я делал ей всегда экзамен; но на другой день поутру она решительно ничего не помнила. Писать прописи я начал уже хорошо, арифметика была давно брошена. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку; но мать сказала мне, что этого не будет. Во-первых, потому, что она, слава богу, здорова, а во-вторых, потому, что в исходе мая она, может быть, подарит мне сестрицу или братца. Хотя это известие очень меня занимало и радовало, но грустно мне было лишиться надежды прожить лето в Сергеевке. Я уже начинал сильно любить природу, охота удить также сильно начинала овладевать мною, и приближение весны волновало сердце мальчика (будущего страстного рыбака), легко поддающегося увлечениям.

С самого возвращения в Уфу я начал вслушиваться и замечать, что у матери с отцом происходили споры, даже неприятные. Дело шло о том, что отец хотел в точности исполнить обещанье, данное им своей матери: выйти немедленно в отставку, переехать в деревню, избавить свою мать от всех забот по хозяйству и успокоить ее старость. Переезд в деревню и занятия хозяйством

он считал необходимым даже и тогда, когда бы бабушка согласилась жить с нами в городе, о чем она и слышать не хотела. Он говорил, что «без хозяина скоро портится порядок и что через несколько лет не узнаешь ни Старого, ни Нового Багрова». На все эти причины, о которых отец мой говаривал много, долго и тихо, мать возражала с горячностью, что «деревенская жизнь ей противна, Багрово особенно не нравится и вредно для ее здоровья, что ее не любят в семействе и что ее ожидают там беспрестанные неудовольствия». Впрочем, была еще важная причина для переезда в деревню: письмо, полученное от Прасковьи Ивановны Куролесовой. Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, Прасковья Ивановна писала к моему отцу, что «нечего ему жить по пустякам в Уфе, служить в каком-то суде из трехсот рублей жалованья, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати, потому что Старое Багрово всего пятьдесят верст от Чурасова, где она постоянно живет». В заключение письма она писала, что «хочет узнать в лицо Софью Николавну, с которою давно бы пора ее познакомить; да и наследников своих она желает видеть». Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего, если не хотим прогневать тетушку и лишиться всего. Против этих слов мать ничего не возражала. Я и прежде составил себе понятие, что Прасковья Ивановна — какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни, а теперь еще больше утвердился в моих мыслях. Споры, однако, продолжались, отец не уступал, и все, чего могла добиться мать, состояло в том, что отец согласился не выходить в отставку немедленно, а отложил это намерение до совершенного выздоровления матери от *будущей болезни*, то есть до лета. *Будущую болезнь* объяснили мне ожидаемым появлением сестрицы или братца. Написали письмо к Прасковье Ивановне и не один раз его перечитывали; заставляли и меня написать по линейкам, что «я очень люблю бабушку и желаю ее видеть». Я не мог любить, да и видеть не желал Прасковью Ивановну, потому что не знал ее, и, пони-

мая, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас, я откровенно спросил: «Для чего меня заставляют говорить неправду?». Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю и что я теперь должен ее любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра. Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать.

В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх; но в чем состояли эти известия, я ничего узнать не мог, потому, что о них всегда говорили потихоньку, а на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я еще дитя и что мне знать об этом не нужно. Мне было досадно; особенно сердил меня один ответ: «Много будешь знать, скоро состареешься». Одного только обстоятельства нельзя было скрыть: государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя, с гербовыми пуговицами (сюртуки назывались *оберроками*), и кроме того — чтоб жены служащих чиновников носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки, с таким же шитьем, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышиванья и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера, или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, к губернаторше и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до лакейской. Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех, кого я знал.

Весна пришла, и вместо радостного чувства я испытывал грусть. Что мне было до того, что с гор бежали ручьи, что показались проталины в саду и около церкви, что опять прошла Белая и опять широко разлились ее воды! Не увижу я Сергеевки и ее чудного озера, ее высоких дубов, не стану удить с мостков вместе с Евсеичем, и не будет лежать на берегу Сурка, растянувшись на солнышке! — Вдруг узнаю я, что отец едет в Сергеевку. Кажется, это было давно решено, и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну ребенка. В Сергеевку приехал землемер, Ярцев, чтоб обмежевать нашу землю. Межеванье обещали покончить в

две недели, потому что моему отцу нужно было воротиться к тому времени, когда у меня будет новая сестрица или братец. Проситься с отцом я не смел. Дороги были еще не проездные, Белая в полном разливе, и мой отец должен был проехать на лодке десять верст, а потом добраться до Сергеевки кое-как в телеге. Мать очень беспокоилась об отце, что и во мне возбудило беспокойство. Мать боялась также, чтоб межеванье не задержало отца, и, чтоб ее успокоить, он дал ей слово, что если в две недели межеванье не будет кончено, то он все бросит, оставит там поверенным кого-нибудь, хотя Федора, мужа Параши, а сам приедет к нам, в Уфу. Мать не могла удержаться от слез, прощаясь с моим отцом, а я разревелся. Мне было грустно расстаться с ним, и страшно за него, и горько, что не увижу Сергеевки и не поужу на озере. Напрасно Евсеич утешал меня тем, что теперь нельзя гулять, потому что грязно; нельзя удить, потому что вода в озере мутная, — я плохо ему верил: я уже не один раз замечал, что для моего успокоенья говорили неправду. Медленно тянулись эти две недели. Хотя я, живя в городе, мало проводил времени с отцом, потому что поутру он обыкновенно уезжал к должности, а вечером — в гости или сам принимал гостей, но мне было скучно и грустно без него. Отец не успел мне рассказать хорошенько, что значит межевать землю, и я для дополнения сведений, расспросив мать, а потом Евсеича, в чем состоит межеванье, и не узнав от них почти ничего нового (они сами ничего не знали), составил себе, однако, кое-какое понятие об этом деле, которое казалось мне важным и торжественным. Впрочем, я знал внешнюю обстановку межеванья: вехи, колья, цепь и понятых. Воображение рисовало мне разные картины, и я бродил мысленно вместе с моим отцом по полям и лесам Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное мною понятие о межеванье довольно близко подходило к действительности: впоследствии я убедился в этом на опыте; даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межеванья всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал за астролябией, благоговейно несомой крестьянином, тогда как другие тащили цепь и втыкали колья через каждые десять сажен; настоящего

же дела, то есть измерения земли и съемки ее на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня окружавшие.

Отец сдержал свое слово: ровно через две недели он воротился в Уфу. Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межеванье. Вода начала сильно сбывать, во многих местах земля оголилась, и все десять верст, которые отец спокойно проехал туда на лодке, надобно было проехать в обратный путь уже верхом. Воды еще много стояло в долочках и ложбинках, и она доставала иногда по брюхо лошади. Отец приехал, весь с ног до головы забрызганный грязью. Мать и мы с сестрицей очень ему обрадовались, но отец был невесел; многие башкирцы и все припущенники, то есть жители «Киишек» и «Тимкина», объявили спор и дачу обошли *черными* (спорными) *столбами:* обмежеванье *белыми столбами* означало бесспорность владения. Рассказав все подробно, отец прибавил: «Ну, Сережа, Сергеевская дача пойдет в долгий ящик и не скоро достанется тебе; напрасно мы поторопились перевести туда крестьян». Я огорчился, потому что мне очень было приятно иметь собственность, и я с тех пор перестал уже говорить с наслаждением при всяком удобном случае: «Моя Сергеевка».

Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали; с нами спала Параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич: он получил приказание не отходить от меня. Такое отлучение от матери, через всю длину огромного дома, несмотря на уверения, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе не нужным; только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления.

В это время, кажется 1 июня, случилась жестокая гроза, которая произвела на меня сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, часу в десятом; мы ложились спать; прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца, и светлая заря, еще не закрытая черною приближающеюся тучею, из которой гремел по временам

глухой гром, озаряла розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую; я стоял возле моей кроватки и молился богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас; я бросился на свою кроватку и очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться; опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет как из ведра и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсеич рассказал мне, что это горит соборная Троицкая колокольня, которую зажгла *молонья*. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни; вдруг вошла княжна-калмычка и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас привели в спальню. Мать лежала в постели, отец хлопотал около нее вместе с бабушкой-повитушкой (как все ее называли), Аленой Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова; она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала, и мне показалось, что она даже плакала. Видя мое беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать; отец также перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шел уже мелкий дождь; мы стали смотреть в окна и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. Сестрица моя скоро задремала, Параша уложила ее спать и сама заснула. Мы с Евсеичем долго смотрели в окно и разговаривали. Испуг мой прошел, и я принялся расспрашивать, что такое молонья, отчего она зажигает, отчего гремит гром? Евсеич отвечал, что «молонья — огненная громовая стрела и во что она ударит, то и загорится». Небо очистилось, замелькали звезды, становилось уже светло от утренней зари, когда я заснул в моей кроватке.

На другой день догадка моя подтвердилась: мать точно была больна; этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авенариус и еще какой-то другой док-

тор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту; она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать, и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери: в комнате было почти темно от опущенных зеленых гардин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце. Я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом: он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтоб мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а только молиться богу и просить, чтоб он ее помиловал, что мать хоть не видит, но материнское сердце знает, что я плачу, и что ей от этого хуже. Я поверил, молился богу и хотя не успокоился, но удерживался от слез. Я даже уговаривал свою сестрицу, которая также тосковала и не раз принималась плакать. Тяжело прошел этот мучительный день. На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьке, потому что нас и здороваться к ней не водили. Доктора приезжали часто. Приносили из церкви большой местный образ иверской божьей матери и служили молебен у маменьки в спальне. Нас же не пустили туда; но мы видели и слышали, как с пеньем пронесли образ через залу, молились в отворенную дверь нашей столовой. В этот день нас даже не водили гулять в сад, а приказали побегать по двору, который был очень велик и зеленелся, как луг; но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно Сурка ласкался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки, — я совершенно не мог им заниматься. Евсеич и Параша печально молчали или потихоньку перешептывались между собой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами: «Молись богу, соколик, чтоб маменька выздоровела». — Мы воротились с печального гулянья, я бросился в свою кроватку, задернулся занавесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам, которые удерживал я так долго, с невероятными усилиями для дитяти. В то же время мелькала у меня мысль, что я спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слез. Видно, Евсеич догадался, что такие слезы нельзя остановить; он долго стоял возле моей кроватки, знал, что

я плачу, и молчал. Наконец, вылились слезы, и я заснул. Спал я довольно долго и проснулся с криком, как будто от испуга. Сестрица первая подбежала ко мне, весело говоря: «Маменьке получше», и Параша сказала то же. Евсеича не было с нами, но он скоро пришел, и Параша встретила его вопросом: «Ну что, ведь барыне получше?» — «Получше», — отвечал Евсеич, но нетвердым голосом. Я это заметил, однако успокоился несколько. Давно прошло время обеда. Сестрица не хотела без меня кушать, но теперь, вместе со мною, охотно села за стол, и мы кое-как пообедали. Я упросил Евсеича узнать об маменьке; он ходил и, поспешно воротясь, сказал: «Барыня почивает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параше и твердо сказал: «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали. Все это я заметил и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошел отец. По его лицу я все угадал. «Пойдемте, — сказал он тихо, — мать хочет вас видеть и благословить». Я зарыдал, а за мной и сестрица. «Послушайте, — сказал отец, — если мать увидит, что вы плачете, то ей сделается хуже и она от того может умереть; а если вы не будете плакать, то ей будет лучше». Слезы высохли у меня на глазах, сестрица тоже перестала плакать. Погодя немного, отец взял нас за руки и привел в спальную. В комнате было так темно, что я видел только образ матери, а лица разглядеть не мог; нас подвели к кровати, поставили на колени, мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала и махнула рукой. Нас поспешно увели. В гостиной встретили мы священника; он также благословил нас, и мы воротились в свою комнату в каком-то душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменька нас благословила, простилась с нами... Я потерял способность не только соображения, но и понимания; одно вертелось у меня в голове, что у маменьки темно и что у ней горячее лицо. Евсеич, Параша и сестрица плакали, а у меня не было ни одной слезинки. Не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчая-

нием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться и что это было началом какого-то помешательства. — Пришло время ложиться спать. Евсеич раздел меня, велел мне молиться богу, и я молился и, по обыкновению, прочитав молитву, проговорил вслух: «Господи, помилуй тятеньку и маменьку». Я лег, Евсеич сел подле меня и начал что-то говорить, но я ничего не слыхал. Не помню, чтоб я спал, но Евсеич уверял после, что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать радостные голоса: «Слава богу, слава богу, бог дал вам братца, маменька теперь будет здорова». Это говорили Евсеич и Параша моей сестрице, которая, с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, влезла ко мне и обняла меня своими ручонками... Я вспомнил все и зарыдал, как исступленный, и рыдал так долго, что смутил общую радость и привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом. Он пришел и, услыша издали мои рыданья, подходя ко мне, закричал: «Что ты, Сережа! Надо радоваться, а не плакать. Слава богу! Мать будет здорова, у тебя родился братец...» Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал. Не скоро унялись судорожные рыданья и всхлипыванья, внутренняя и наружная дрожь. Наконец, все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова, — и чувство невыразимого счастия наполнило мою душу! Это происходило 4 июня, на заре перед восходом солнца, следовательно очень рано. Я все спрашивал, отчего сестрица проснулась, отчего она прежде меня узнала радостное известие? Сестрица уверяла, что она не спала, когда прибежала Параша, но я спорил и не верил. Я долго также спорил, утверждая, что я не засыпал; но, наконец, должен был согласиться, что я действительно спал, что меня разбудили громкие речи Параши, Евсеича и крик сестрицы. Отец поспешил уйти, а дядька и нянька поспешили нас с сестрицей уложить почивать. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках; какой у нас братец? Наконец, нам запретили говорить, и мы сладко заснули.

Поздно последовало наше радостное пробужденье. Я сейчас стал проситься к маменьке, и просился так неотступно, что Евсеич ходил с моей просьбой к отцу; отец приказал мне сказать, чтоб я и не думал об этом, что я несколько дней не увижу матери. Это меня огорчило. Потом я стал просить поглядеть братца, и Параша сходила и выпросила позволенья у бабушки-повитушки, Алены Максимовны, прийти нам с сестрицей потихоньку, через девичью в детскую братца, которая отделялась от спальни матери другою детскою комнатой, где обыкновенно жили мы с сестрицей. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая; в ней качались и я и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца и заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца — и мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сыроп, нарядно одетая, была уже тут; она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим вполголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. На этот раз ласки моего любимца Сурки были приняты мною благосклонно, и я, кажется, бегал, прыгал и валялся по земле больше, чем он; когда же мы пошли в сад, то я сейчас спросил: «Отчего вчера нас не пустили сюда?» Живая Параша, не подумав, отвечала: «Оттого, что вчера матушка очень стонали, и мы в саду услыхали бы их голос». Меня так встревожило и огорчило это известие, что Параша не знала, как поправить дело. Она уверяла и божилась, что теперь все прошло, что она своими глазами видела барыню, говорила с ней, и что они здоровы, а только слабы. Параша просила даже меня не сказывать Евсеичу

и никому, что она проболталась, и уверяла, что ее будут очень бранить; я обещал никому не говорить. Я поверил Параше, успокоился, и у меня опять стало весело на сердце.

До самого вечера ничем не омрачилось светлое состояние моей души. Из последних слов Параши я еще более понял, как ужасно было вчерашнее прошедшее; но в то же время я совершенно поверил, что теперь все прошло благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд докторов, суетливая беготня из девичьей в кухню и людскую, а всего более печальное лицо отца, который приходил проститься с нами и перекрестить нас, когда мы ложились спать, — навели на меня сомненье и беспокойство. На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова; он только сказал мне, что ей лучше и что, бог милостив, она выздоровеет... Бог точно был к нам милостив, и через несколько дней, проведенных мною в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверенья Авенариуса, что маменька точно выздоравливает и что я скоро ее увижу, совершенно меня успокоили. Тут только обратил я все мое вниманье, любопытство и любовь на нового братца. Мы попрежнему ходили к нему всякий день и видели, как его мыли; но сначала я смотрел на все без участья: я мысленно жил в спальной у моей матери, у кровати больной.

Наконец, не видавшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще лежащую в постели; зеленые гардинки были опущены, и потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтобы я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило: одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения я тогда еще не умел; я должен был показаться странным, не тем, чем я был всегда, и мать сказала мне: «Ты, Сережа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива...» Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно приласкала меня и сестрицу (меня особенно) и сказала: «Не бойтесь, мне не будет вредна

ваша любовь». Я обнял мать, плакал на ее груди и шептал: «Я сам бы умер, если б вы умерли». Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свиданье с нами. потому что вдруг и торопливо сказала: «Подите к братцу: его скоро будут крестить». Мы прямо пошли к братцу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце; он, разумеется, плакал; мне стало жалко, но у груди кормилицы он сейчас успокоился. Видя приготовления к крестинам и слыша, что говорят о них, я попросил объяснения этому, неслыханному и невиданному мною, делу. Мне объяснили, и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы, но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал, то есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумою. Крещение, символических таинств которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх: я боялся, что священник порежет ножницами братцыну головку, а погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга... Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына — разумеется, его придерживала бабушка-повитушка, — и я долго оставался в приятном заблуждении, что братец мой крестный сын, и даже, прощаясь, всегда его крестил.

Через несколько дней нас перевели из столовой в прежнюю детскую комнату. Мать поправлялась медленно, домашними делами почти не занималась, никого, кроме доктора, Чичаговых и К. А. Чепруновой, не принимала; я был с нею безотлучно. Я читал матери вслух разные книги для ее развлеченья, а иногда для ее усыпленья, потому что она как-то мало спала по ночам. Книги для развлеченья получала она из библиотеки С. И. Аничкова; для усыпленья же употреблялись мои детские книжки, а также «Херасков» и «Сумароков». В числе первых особенно памятна мне «Жизнь английского философа Клевеланда», кажется, в пятнадцати томах, которую я читал с большим удовольствием. Кроме

чтенья, я очень скоро привык ухаживать за больною матерью и в известные часы подавать ей лекарства, не пропуская ни одной минуты; в горничной своей она не имела уже частой надобности, я призывал ее тогда, когда было нужно. Мать была очень этим довольна, потому что не любила присутствия и сообщества слуг и служанок. Мысль, что я полезен матери, была мне очень приятна, я даже гордился тем. Часто и подолгу разговаривая со мною наедине, она, кажется, увидела, что я могу понимать ее более, чем она предполагала. Она стала говорить со мною о том, о чем прежде не говаривала. Я это заметил потому, что иногда предмет разговора превышал мой возраст и мои понятия. Нередко детские мои вопросы изобличали мое непониманье, и мать вдруг переменяла разговор, сказав: «Об этом мы поговорим после». Мне особенно было неприятно, когда мать, рассуждая со мной, как с большим, вдруг переменяла склад своей речи и начинала говорить, применяясь к моему детскому возрасту. Самолюбие мое всегда оскорблялось такою внезапной переменой, а главное — мыслью матери, что меня так легко обмануть. Впоследствии я стал хитрить, притворяясь, что все понимаю хорошо, и не предлагая вопросов. Между прочим, мать рассказывала мне, как ей не хочется уезжать на житье в деревню. У нее было множество причин; главные состояли в том, что Багрово сыро и вредно ее здоровью, что она в нем будет непременно хворать, а помощи получить неоткуда, потому что лекарей близко нет; что все соседи и родные ей не нравятся, что все это люди грубые и необразованные, с которыми ни о чем ни слова сказать нельзя, что жизнь в деревенской глуши, без общества умных людей, ужасна, что мы сами там поглупеем. «Одна моя надежда, — говорила мать, — Чичаговы; по счастью, они переезжают тоже в деревню и станут жить в тридцати верстах от нас. По крайней мере хотя несколько раз в год можно будет с ними отвести душу». Не понимая всего вполне, я верил матери и разделял ее грустное опасенье. Предполагаемая поездка к бабушке Куролесовой в Чурасово и продолжительное там гощенье матери также не нравилось; она еще не знала Прасковьи Ивановны и думала, что она такая же, как и вся родня моего отца; но

впоследствии оказалось совсем другое. Милая моя сестрица, до сих пор не понимаю отчего, очень грустила, расставаясь с Уфой.

Как только мать стала оправляться, отец подал просьбу в отставку; в самое это время приехали из полка мои дяди Зубины; оба оставили службу и вышли в *чистую*, то есть отставку; старший с чином майора, а младший — капитаном. Все удивлялись этой разнице в чинах; оба брата были в одно число записаны в гвардию, в одно число переведены в армейский полк капитанами и в одно же число уволены в отставку. Я очень обрадовался им, особенно дяде Сергею Николаичу, который, по моему мнению, так чудесно рисовал. Я напомнил ему, как он дразнил меня, когда я был *маленький*, и прибавил, с чувством собственного достоинства, что теперь уже нельзя раздразнить меня какими-нибудь пустяками. Дядя на прощанье нарисовал мне бесподобную картину на стекле: она представляла болото, молодого охотника с ружьем и лягавую собаку, белую с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь, вытянулась над ней и подняла одну ногу. Эта картинка была как бы пророчеством, что я со временем буду страстным ружейным охотником. Сергей Николаич сам был горячий стрелок. Оба дяди очень были огорчены, что мы переезжаем на житье в деревню.

Не дождавшись еще отставки, отец и мать совершенно собрались к переезду в Багрово. Вытребовали оттуда лошадей и отправили вперед большой обоз с разными вещами. Распростились со всеми в городе и, видя, что отставка все еще не приходит, решились ее не дожидаться. Губернатор дал отцу отпуск, в продолжение которого должно было выйти увольнение от службы; дяди остались жить в нашем доме: им поручили продать его.

Мы выехали из Уфы около того же числа, как и два года тому назад. Только помещались уже не так: с матерью вместе сидела кормилица с нашим маленьким братцем, а мы с сестрицей и Парашей ехали в какой-то коляске на пазах, которая вся дребезжала и бренчала, что нас очень забавляло. Мы ехали по той же дороге, останавливались на тех же местах, так же удили на Дёме, так

же пробыли в Парашине полторы суток и так же все осматривали. Я принял в другой раз на свою душу такие же приятные впечатления; хотя они были не так уже новы и свежи и не так меня изумляли, как в первый раз, но зато я понял их яснее и почувствовал глубже. Одно Парашино подействовало на меня грустно и тяжело. В этот год там случился неурожай; ржаные хлеба были редки, а яровые — низки и травны. Работы, казалось бы, меньше, а жницы и жнецы скучали ею больше. Один из них, суровый с виду, грубым голосом сказал моему отцу: «Невесело работать, Алексей Степаныч. Не глядел бы на такое поле: козлец да осот. Ходишь день-деньской по десятине, да собираешь по колосу». Отец возразил: «Как быть, воля божья...» и суровый жнец ласково отвечал: «Вестимо так, батюшка!»

Впоследствии понял я высокий смысл этих простых слов, которые успокоивают всякое волненье, усмиряют всякий человеческий ропот и под благодатною силою которых до сих пор живет православная Русь. Ясно и тихо становится на душе человека, с верою сказавшего и с верою услыхавшего их.

Вообще народ в Парашине был уныл, особенно потому, что к хлебному неурожаю присоединился сильный падеж рогатого скота. Отец говорил об этом долго с Миронычем, и Мироныч между прочим сказал: «Это еще не беда, что хлеба мало господь уродил, у нас на селе старого довольно, а у кого недостанет, так господский-то сусек [1] на что? Вот беда крестьянину семьянному с малыми детьми, когда бог его скотинкой обидит, без молочка ребятам плохо, батюшка Алексей Степаныч. Вот у десятника Архипова было в дому восемь дойных коров, а теперича не осталось ни шерстинки, а ребят куча. Прогневали бога!» — Богатое село Парашино часто подвергалось скотским падежам. Отец знал настоящую их причину и сказал Миронычу: «Надо построже смотреть за кожевниками: они покупают у башкирцев за бесценок кожи с дохлых от чумы коров, и от этого у вас в Парашине так часты падежи». Мироныч почесал за ухом и с недовольным видом отвечал: «Коли от евтого, батюшка

---

[1] Сусек — закром.

Алексей Степаныч, так уж за грехи наши господь посылает свое наслание»[1]. Отец не забыл спросить о хвором старичке Терентье, бывшем засыпкой. Терентий был тогда же отставлен от всех работ и через год умер. На этот раз багровские старики отозвались об Мироныче, что «он стал маненько позашибаться», то есть чаще стал напиваться пьян, но все еще другого начальника не желали.

Мы выехали из Парашина на заре и приехали кормить на быстрый, глубокий, многоводный Ик. Мы расположились у последнего моста, на самом быстром рукаве реки. Тут я вполне рассмотрел и вполне налюбовался этою великолепною и необыкновенно рыбною рекою. Мы кормили с лишком четыре часа и досыта наудились, даже раков наловили. Ночевали в Коровине, а на другой день, около полдён, увидели с горы Багрово. Я в это время сидел в карете с отцом и матерью. В карете было довольно просторно, и когда мать не лежала, тогда нас с сестрицей брали попеременно в карету; но мне доставалось сидеть чаще. День был красный и жаркий. Мать, в самом мрачном расположении духа, сидела в углу кареты; в другом углу сидел отец; он также казался огорченным, но я заметил, что в то же время он не мог без удовольствия смотреть на открывшиеся перед нашими глазами камышистые пруды, зеленые рощи, деревню и дом.

ПРИЕЗД НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЬЕ В БАГРОВО

Когда мы подъехали к дому, бабушка, в полгода очень постаревшая, и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними, радостными слезами обняла моего отца и мать, перекрестилась и сказала: «Ну, слава богу! Приехали настоящие хо-

[1] Снятие кож с чумной скотины воспрещено законом; но башкирцы — плохие законоведцы, а русские кожевники соблазняются дешевизной, и это зло до сих пор не вывелось в Оренбургской губернии.

зяева. Не чаяла дождаться вас. Мы с Танюшей дни и часы считали и глазыньки проглядели, глядя на уфимскую дорогу». Мы вошли прямо к бабушке: она жила в дедушкиной горнице, из которой была прорублена дверь в ее прежнюю комнату, где поселилась Татьяна Степановна. Бабушка с тетушкой обедали, когда мы приехали, за маленьким столиком у бабушкиной кровати; прислуга была женская: всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед. Началась беготня и хлопоты, чтоб накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушанья были так жирны, что мать и я с сестрицей встали из-за стола почти голодные. Бабушка, беспрестанно со слезами вспоминая дедушку, кушала довольно; она после обеда, по обыкновению, легла уснуть, а мать и отец принялись распоряжаться своим помещением в доме. *Новая горница* (так ее всегда звали) для молодой барыни была еще не совсем отделана: в ней работали старый столяр Михей и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где живала прежде тетушка; угольная потеряла всю свою прелесть, потому что окна и вся сторона, выходившая на Бугуруслан, были закрыты пристройкою новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены. Покуда происходила в доме раскладка, размещение привезенных из Уфы вещей и устройство нового порядка, я с Евсеичем ходил гулять, разумеется с позволения матери, и мы успели осмотреть Бугуруслан, быстрый и омутистый, протекавший углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину, и на этот раз все мне так понравилось, что в одну минуту изгладились в моем воспоминании все неприятные впечатления, произведенные на меня двукратным пребыванием в Багрове. Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клеве рыбы, которая берет везде, где ни закинь удочку, привели меня в восхищение, и с этой минуты кончилось мое согласие с матерью в неприязненных чувствах к Багрову.

На первых порах отец был очень озабочен своим вступленьем в должность полного хозяина, чего непременно требовала бабушка и что он сам считал своей необходимой обязанностью. Но мать, сколько ее ни просили, ни за что в свете не согласилась входить в управленье домом и еще менее — в распоряжение оброками, пряжею и тканьем крестьянских и дворовых женщин. Мать очень твердо объявила, что будет жить гостьей и что берет на себя только одно дело: заказывать кушанья для стола нашему городскому повару Макею, и то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушанье, по своему вкусу, своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила резко, несмотря на то, что бабушка и тетушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей: «Маменька, вы чем-то недовольны, вы все сердитесь». Она отвечала: «Я не сержусь, мой друг, но огорчаюсь моим положеньем. Меня здесь никто не понимает. Отец с утра до вечера будет заниматься хозяйством, а ты еще мал и не можешь разделять моего огорченья». Я решительно не понимал, чем может огорчаться мать.

В доме произошло много перемен, прежде чем отделали новую горницу; дверь из гостиной в коридор заделали, а прорубили дверь в угольную; дверь из бывшей бабушкиной горницы в буфет также заделали, а прорубили дверь в девичью. Все это, конечно, было удобнее и покойнее. Все это придумала мать, и все это исполняли с неудовольствием. Недели две продолжалась в доме беспрестанная стукотня от столяров и плотников, не было угла спокойного, а как погода стояла прекрасная, то мы с сестрицей с утра до вечера гуляли по двору, и по саду, и по березовой роще, в которой уже поселились грачи и которая потом была прозвана «Грачовой рощей». Я ничего не читал и не писал в это время, и мать всякий день отпускала меня с Евсеичем удить: она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждым днем я более и более пристращался к уженью и с каждым днем открывал новые красоты в Багрове. По глубоким местам в саду и с плотины на мельнице удили мы окуней и плотву такую крупную, что часто я не мог

вытащить ее без помощи Евсеича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась надвое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыба, как то: язи, головли и лини уже не брали, или, лучше сказать (что, конечно, я узнал гораздо позднее), их не умели удить. Вообще уженье находилось тогда в самом первоначальном, младенческом состоянии. Я всего более любил остров. Там можно было удить и крупную и мелкую рыбу: в старице, тихой и довольно глубокой, брала крупная, а с другой стороны, где Бугуруслан бежал мелко и по чистому дну с песочком и камешками, отлично клевали пескари; да и сидеть под тенью берез и лип, даже без удочки, на покатом зеленом берегу, было так весело, что я и теперь неравнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тетушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку: она была большая охотница удить.

Наконец, кончилась стукотня топоров, строганье настругов и однообразное шипенье пил; это тоже были для меня любопытные предметы: я любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников, мешая им беспрестанными вопросами. — Комната моей матери. застроенная дедушкой, была совершенно отделана. Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил новые стены святою водою, и мы перешли в новое жилье. Под словом: *мы*, я разумею мать, отца и себя. Сестрица и маленький братец поселились в бывшей тетушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. Спальня матери, получившая у прислуги навсегда имя «барыниной горницы», была еще веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом развесистая молодая береза почти касалась ее стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на Бугуруслан: из него виднелась даль уремы Бугуруслана, сходившаяся с уремою речки Кармалки, и между ними крутая и голая вершина Челяевской горы.

Отец точно был занят хозяйством с утра до вечера. Каждый день он ездил в поле; каждый день ходил на конный и скотный двор; каждый день бывал и на

мельнице. Приезжал из города какой-то чиновник, собрал всех крестьян, прочел им указ и ввел моего отца во владение доставшимся ему именьем по наследству от нашего покойного дедушки. Потом всех крестьян и крестьянок угощали пивом и вином; все кланялись в ноги моему отцу, все обнимали, целовали его и его руку. Многие плакали, вспоминая о покойном дедушке, крестясь и говоря: «Царство ему небесное». Я один был с отцом; меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят; я убедился, что это непременно так быть должно: мой отец — сын, а я — внук Степана Михайлыча. Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестьянкам, сколько ни уговаривали ее отец, бабушка и тетушка. Мать постоянно отвечала, что «госпожой и хозяйкой попрежнему остается матушка», то есть моя бабушка, и велела сказать это крестьянам; но отец сказал им, что молодая барыня нездорова. Все были недовольны, как мне показалось; вероятно, все знали, что барыня здорова. Мне было досадно, что мать не вышла к добрым крестьянам, и совестно, что отец сказал неправду. Когда мы воротились, я при всех сказал об этом матери, которая стала горячо выговаривать отцу, зачем он солгал. Отец с досадой отвечал: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть; в чем же они перед тобой виноваты?..» Странно также и неприятно мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение и когда крестьяне поздравляли его шумными криками: «Здравствуй на многие лета, отец наш Алексей Степаныч!» — бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали навзрыд и заголосили.

«О чем плакали бабушка и тетушка?» — спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала: «Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка — я, чужая им женщина, что я только не хочу принять власти, а завтра могу захотеть, что нет на свете твоего дедушки — и оттого стало грустно им». — «А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они

вас так любят». — «А потому, что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее; к тому же я терпеть не могу... ну, да ты еще мал и понять меня не можешь». Сколько я ни просил, сколько ни приставал... мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову: чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят?..

Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна; в ней я никакой перемены не заметил: она была так же к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем, и я сейчас увидел, что она стала совсем другая; она сделалась не только ласкова и почтительна, но бросалась услуживать моей матери, точно Параша; мать, однако, держала себя с ней совсем неласково. Наконец, приехала и Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также переменила свое холодное и надменное обращенье на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменились. Меньшая из них, Катерина, была живого и веселого нрава; она и прежде нравилась нам больше, теперь же хотели мы подружиться с ней покороче; но, переменившись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее, как близкую родню. Все они гостили в Багрове не подолгу.

Наконец, приехали Чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщилась и мне; я бросился на шею к Катерине Борисовне и обнял ее, как родную. Видно, много выражалось удовольствия на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иваныч, как Сережа нам обрадовался!» Петр Иваныч в первый раз обратил на меня свое особенное вниманье и приласкал меня; в Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертваго, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела

славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальную, и у них начались самые одушевленные и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю.

В Багрове каждый год производилась охота с ястребами за перепелками, которых все любили кушать и свежих и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся «садком», два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой — у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то, что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался с своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей. Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец, отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась, и, по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам, мать стала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле *ястребочком,* как говорил Евсеич, и в тот счастливый день, в который получал с утра позволенье ехать на охоту, с живейшим нетерпеньем ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на веревочке (потому что у обоих собаки гонялись за перепелками) и скажет: «Пора, сударь, на охоту». Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, я любил все в охоте: как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле; как, по мере того как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается; как охотник,

высоко подняв на правой руке ястреба, а левою рукою удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней; как вдруг собака, иногда искривясь набок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте; как охотник кричит запальчиво «пиль, пиль» и, наконец, толкает собаку ногой; как, бог знает откуда, из-под самого носа с шумом и чоканьем вырывается перепелка — и уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен, и опускается с добычею в траву или жниву, — на это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклонясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку; как потом полакомит ястреба оторванной головкой и снова пойдет за новой добычей; я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника; как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости и, наконец, набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я ни старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице, — обе говорили, что это жалко и противно.

Я и прежде сам замечал большую перемену в бабушке; но особенное вниманье мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки, — говорила моя мать, — она даже ростом стала как будто меньше; ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое; беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степановне мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет; только и говорит: «Как угодно богу, так и будет...» А отец со вздохом отвечал: «Да, уж совсем не та матушка! видно, ей недолго жить на свете». Мне вдруг стало жалко бабушку, и я сказал: «Надо бабушку утешать, чтоб ей не было скучно». Отец удивился моим неожиданным

словам, улыбнулся и сказал: «А вы бы с сестрой почаще к ней ходили, старались бы ее развеселить». И с того же дня мы с сестрицей по нескольку раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и пряла на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, сидели множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосья из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бранила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутны и тусклы; она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила: «Ну, что уж мне за пряжа, пора к Степану Михайловичу» — и начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступиться к ней сначала и, посидев, уходили; но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жаренные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду, или, лучше сказать, в огороде; тетушка ходила с нами туда, указала их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и, сказав: «Знатные ягоды, эки крупные и какие спелые!» — кушала их с удовольствием; хотела и нас попотчевать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка, или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тетушкиного амбара; вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны; у бабушки называлось это место «золотой ямкой»; ее всякий день поливала водой косая и глухая девка Груша. Также с помощью тетушки мы наковыряли, почти из земли, молоденьких шампиньонов полную тарелку и принесли бабушке; она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попотчевать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала:

«Ну, уж какие вы». Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой, и она становилась ласковее и более нами занималась, как вдруг неожиданный случай так отдалил меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок пуха, уже раз возвращенный назад; бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за волосы, а другою вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку... Я убежал. Это напомнило мне народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, смотреть, как прядет она на самопрялке и как выбирают девчонки козий пух.

После двухнедельного ненастья, или, вернее сказать, сырой погоды, наступило ясное осеннее время. Всякий день по ночам бывали морозы, и, проснувшись поутру, я видел, как все места, не освещенные солнцем, были покрыты белым блестящим инеем. «Вон какой мороз лежит!» — говорил Евсеич, подавая мне одеваться. И точно, широкая и длинная тень нашего дома лежала белая, как скатерть, ярко отличаясь от потемневшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, косилась, и снежный иней скоро исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые и в исходе сентября еще сильно пригревали. Я очень любил наблюдать, как солнышко сгоняло мороз, и радовался, когда совершенно исчезала противная снежная белизна.

Не знаю отчего, еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили; бо́льшую часть ржи уже перевезли в гумно; обмолотили горох, вытрясли мак — и я ничего этого не видал! Наконец, мороз и солнце высушили остальные снопы, и дружно принялись доканчивать возку, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами, к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле, и он согласился,

сказав, что теперь можно, что он только объедет поля и останется на гумне, а меня с Евсеичем отпустит домой. Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже два года, я не бывал в хлебном поле и потому с большою радостью уселся возле отца на роспусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой (что отец иногда делал), и он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда: на грязных и отлогих берегах его еще виднелись ледяные закрайки; стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что «уточки далеко и что никакое ружье не хватит до них». Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле; голые крутые взлобки гор стали еще круче и голее, сурчины как-то выше и краснее, потому что листья чилизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров; но сурков уже не было: они давно попрятались в свои норы, как сказывал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так называемые *сноповые* телеги. Это были короткие дроги с четырьмя столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в два ряда, укрепленные сверху *гнетом* и крепко привязанные веревками спереди и сзади. Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогористым дорогам, что умная лошадь одна, без провожатого, безопасно привезет его в гумно. В самом деле, при сноповых возах были только мальчики или девчонки, которые весело шли каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на десятины, то увидели, что несколько человек крестьян длинными вилами накладывают воза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им: «Бог на помощь». Они поблагодарили; мы спросили, не видали ли тетеревов. Отвечали, что на скирдах была тьма-тьмущая, да все разлетелись: так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил мне, что бо́льшая часть крестьян работает те-

перь на гумне и что мы скоро увидим их работу. «А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молотят дикушу (гречу)?» — спросил отец. Разумеется, я отвечал, что очень хочу, и мы поехали. Еще издали заслышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. «Вишь, орут, — сказал, смеясь, Евсеич, — ровно наследство делят! Вот оно, бабье-то царство!» Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения — и вдруг затих. Евсеич опять рассмеялся, сказав: «А, увидали, сороки!» На одной из десятин был расчищен ток, гладко выметенный; на нем, высокою грядой, лежала гречневая солома, по которой ходили взад и вперед более тридцати цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой, между тем как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым! Чтоб не перерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряда. Подошедший к нам десятник сказал: «Последний проход идут, батюшка Алексей Степаныч. И давеча была, почитай, чиста солома, да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернушка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «бог на помощь!» и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом току двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи; ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие, легкие зерна, а полные и тяжелые косым дождем падали на землю; другой крестьянин сметал метлою ухвостье и всякий сор. Работать было не жарко, в работающих незаметно было никакой усталости, и молотьба не произвела на меня тяжелого впечатления, какое получил я на жнитве в Парашине. Мы отправились, по дороге к дому, прямо на гумно. Я вслушался, что десятник вполголоса говорил Евсеичу: «Скажи старосте, что он? али заснул? — не шлет подвод за обмолоченной дикушей». На гумне стояло уже несколько новых высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну

пшеничную кладь и только заложили другую, полбенную. На каждой клади стояло по четыре человека, они принимали снопы, которые подавались на вилах, а когда кладь становилась высока, — вскидывались по воздуху ловко и проворно; еще с большею ловкостью и проворством ловили снопы на лету стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам. Отец нашел на гумне какие-то упущенья и выговаривал старосте, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна; но староста с усмешкой отвечал: «Вы глядите, батюшка Алексей Степаныч, на оржаные-то клади, — яровые такие не будут; оржаная солома-то длинная, а яровая — коротенькая, снопы-то и ползут». — Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с Евсеичем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною, с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел, уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно, а мое желание выучиться крестьянским работам назвала ребячьими бреднями. Я понасупился и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша. Когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями, Параша вдруг вмешалась и сказала: «Нечего и слушать. Вот нашли какую невидаль! Очень нужно сестрице вашей знать, как крестьяне молотят да клади кладут...» — и захохотала. Я так рассердился, что назвал Парашу дурой. Она погрозила мне, что пожалуется маменьке, — однакож не пожаловалась. — Когда воротился отец, мы с ним досыта наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли.

Уже весьма поздно осенью отправились мы в Старую Мертовщину к Чичаговым. Сестрица с маленьким братцем остались у бабушки; отец только проводил нас и на другой же день воротился в Багрово, к своим хозяйственным делам. Я знал все это наперед и боялся, что мне будет скучно в гостях; даже на всякий случай взял с собой книжки, читанные мною уже не один раз. Но на деле вышло, что мне не было скучно. Когда моя мать уходила в комнату Чичаговой, старушка Мертваго сажала меня подле себя и разговаривала со мной по целым часам. Она умела так расспрашивать и особенно так рассказывать, что мне было очень весело ее слушать. Она в своей жизни много видела, много вытерпела, и ее рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о «пугачевщине», о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Марья Михайловна с своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишилась своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки Мертваго я сидел обыкновенно по утрам, а после обеда брал меня к себе в кабинет Петр Иваныч Чичагов. Он был и живописец и архитектор: сам построил церковь для своей тещи Марьи Михайловны в саду близехонько от дома, и сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое *математический инструмент*, что такое палитра и масляные краски и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черченье, в чем Чичагов был искусен, и я долго бредил циркулем и рейсфедером. Обладание такими сокровищами казалось мне необыкновенным счастием. Вдобавок ко всему Петр Иваныч дал мне почитать «Тысячу и одну ночь» — арабские сказки. Шехеразада свела меня с ума. Я не мог оторваться от книжки, и добрый хозяин подарил мне два тома этих волшебных сказок: у него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чичагову, что у меня и без того слишком горячее воображение и что после волшебных сказок Шехеразады я стану бредить наяву; но Петр Иваныч как-то умел убедить мою мать, что чтение «Тысячи и одной ночи» не будет мне вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется,

еще ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства! Покуда мы жили в Мертовщине, я читал рассказы Шехеразады урывками, но с полным самозабвением. Прибегу, бывало, в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали, разверну Шехеразаду, так, чтоб только прочесть страничку, — и забудусь совершенно. Один раз, заметив, что меня нет, мать отыскала меня, читающего с таким увлечением, что я не слыхал, как она приходила в комнату и как ушла потом. Она привела с собой Чичагова, и я долго не замечал их присутствия и не слышал и не видел ничего; только хохот Петра Иваныча заставил меня опомниться. Мать воспользовалась очевидностью доказательства и сказала: «Вот видите, Петр Иваныч, как он способен увлекаться; и вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок». Петр Иваныч только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно! Я очень перепугался. Я не думал, чтобы после такой улики в способности увлекаться до безумия мать в другой раз уступила Чичагову; слава богу, все обошлось благополучно. Мать оставила у меня книги, но запретила мне и смотреть их, покуда мы будем жить в Мертовщине. Опасаясь худших последствий, я, хотя неохотно, повиновался и в последние дни нашего пребывания у Чичаговых еще с бо́льшим вниманием слушал рассказы старушки Мертваго, еще с бо́льшим любопытством расспрашивал Петра Иваныча, который все на свете знал, читал, видел и сам умел делать; в дополненье к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованьям, росло с каждым днем.

В Мертовщине был еще человек, возбуждавший мое любопытство, смешанное со страхом: это был сын Марьи Михайловны, Иван Борисыч, человек молодой, но уже несколько лет сошедший с ума. Мать ни за что не хотела стеснить его свободу; он жил в особом флигеле, с приставленным к нему слугою, ходил гулять по полям и лесам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна, во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. Я видел его каждый день раза по два и по три, но издали. Один раз, когда мы все сидели в гостиной,

вдруг вошел Иван Борисыч, небритый, нечесаный, очень странно одетый; бормоча себе под нос какие-то русские и французские слова, кусая ногти, беспрестанно кланяясь набок, поцеловал он руку у своей матери, взял ломберный стол, поставил его посереди комнаты, раскрыл, достал карты, мелки, щеточки и начал сам с собою играть в карты. Катерина Борисовна тихо сказала моей матери, что игра в карты с самим собою составляет единственное удовольствие ее несчастного брата и что он играет мастерски; в доказательство же своих слов попросила мужа поиграть с ее братом в пикет. Петр Иваныч охотно согласился, прибавя, что он много раз с ним играл, но выиграть никогда не мог. Я осмелился подойти поближе и стал возле Чичагова. Иван Борисыч все делал с изумительною скоростью и часто, не дожидаясь розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал мелом свой будущий выигрыш или проигрыш. Все говорили, что он никогда не ошибался. В то же время на лице его появлялись беспрестанные гримасы. Он смеялся каким-то диким смехом, беспрестанно что-то говорил, вставал, кланялся и опять садился. Очевидно было, что он с кем-то мысленно разговаривал, но в то же время это не мешало ему играть с большим вниманием и уменьем. Сыграв несколько королей и сказав: «Нет, братец, вас никогда не обыграешь», Петр Иваныч встал, принес из кабинета несколько медных денег и отдал Ивану Борисычу. Тот был чрезвычайно доволен, подсел к матери и очень долго говорил с ней, то громко, то тихо, то печально, то весело, но всегда почтительно; она слушала с вниманием и участием. Иван Борисыч так бормотал, что нельзя было понять ни одного слова; но его мать все понимала и смотрела на него с необыкновенной нежностью. Наконец, она сказала: «Ну, довольно, мой друг Иван Борисович. Я теперь все знаю; подумаю хорошенько о твоем намеренье и дам тебе совет. Ступай с богом в свой флигель». Иван Борисыч сейчас повиновался, с почтеньем поцеловал у нее руку и ушел. Несколько минут все молчали; глаза у старушки были полны слез. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом: «Да будет воля господня! Но мать не может привыкнуть видеть свое дитя

лишенным разума. Бедный мой Иван не верит, что государыня скончалась; а как он воображает, что влюблен в нее, любим ею и что он оклеветан, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке». — Все это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно, как мать любила безумного сына и как сумасшедший сын почтительно повиновался матери. В тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, на которые было очень мудрено отвечать понятным для ребенка образом. Всего более смущала меня возможность сойти с ума, и я несколько дней следил за своими мыслями и надоедал матери расспросами и сомнениями, нет ли во мне чего-нибудь похожего на сумасшествие? Приезд отца и наш отъезд, назначенный на другой день, выгнали у меня из головы мысли о возможности помешательства. Мы уехали. Я думал только уже об одном: о свидании с милой сестрицей и о том, как буду я читать ей арабские сказки и рассказывать об Иване Борисыче. Дорогою мать очень много говорила с моим отцом о Марье Михайловне Мертваго; хвалила ее и удивлялась, как эта тихая старушка, никогда не возвышавшая своего голоса, умела внушать всем ее окружающим такое уважение и такое желание исполнять ее волю. «Из любви и уважения к ней, — продолжала моя мать, — не только никто из семейства и приезжающих гостей, но даже никто из слуг никогда не поскучал, не посмеялся над ее безумным сыном, хотя он бывает и противен и смешон. Даже над ним она сохраняет такую власть, что во время самого сильного бешенства, которое иногда на него находит, — стоит только появиться Марье Михайловне и сказать несколько слов, чтоб беснующийся совершенно успокоился». — Все это понималось и подтверждалось моим собственным чувством, моим детским разуменьем.

Воротясь в Багрово, я не замедлил рассказать подробно обо всем происходившем в Старой Мертовщине сначала милой моей сестрице, а потом и тетушке. По моей живости и непреодолимому, безотчетному желанью передавать другим свои впечатленья с точностию и ясностию очевидности, так, чтобы слушатели получили

такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них, — я стал передразнивать сумасшедшего Ивана Борисыча в его бормотанье, гримасах и поклонах. Видно, я исполнял свою задачу очень удачно, потому что напугал мою сестрицу, и она бегала от меня или зажмуривала глаза и затыкала уши, как скоро я начинал представлять сумасшедшего. Тетушка же моя, напротив, очень смеялась и говорила: «Ах, какой проказник, Сережа! Точь-в-точь Иван Борисыч». Это было мне приятно, и я повторял мои проделки перед Евсеичем, Парашей и другими, заставляя их смеяться и хвалить мое уменье передразнивать.

При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображеньем. Все сказки мне нравились; я не знал, которой отдать преимущество! Они возбуждали мое детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключенные то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращенные в животных, очарованные рыбы, черная собака, которую сечет прекрасная Зобеида и потом со слезами обнимает и целует... сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди! С какою жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки, и в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования? Я думаю, что она заключается в страсти к чудесному, которая более или менее врождена всем детям и которая у меня исключительно не обуздывалась рассудком. Мало того, что я сам читал по обыкновению с увлеченьем и с восторгом, — я потом рассказывал сестрице и тетушке читанное мной с таким горячим одушевлением и, можно сказать, самозабвением, что, сам того не примечая, дополнял рассказы Шехеразады многими подробностями своего изобретенья и говорил обо всем, мною читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел. Возбудив вниманье и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанью, я стал перечитывать им вслух арабские сказки — и добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены

тетушкой и подтверждены сестрицей. Тетушка часто останавливала меня, говоря: «А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? стало быть, ты все это от себя выдумал? Смотри, пожалуй, какой ты хвастун! тебе верить нельзя». — Такой приговор очень меня озадачил и заставил задуматься. Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи; а здесь я сам видел, что точно прилгал много на Шехеразаду. Я сам был удивлен, не находя в книге того, что, казалось мне, я читал в ней и что совершенно утвердилось в моей голове. Я стал осторожнее и наблюдал за собой, покуда не разгорячался; в горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало в безграничные свои права.

Тянулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветреная и морозная. Морозы без снегу доходили до двадцати градусов, грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом, стояла настоящая зима, только без санного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кроватка, лежали мои книжки, удочки, снятые с удилищ, и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты; в одном углу залы стояло домашнее, Акимовой работы, ольховое бюро; отец все сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьич (по прозвищу, никогда не употребляемому, Мягков), знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле; но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как: Михайла Максимыч Куролесов, через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки, заметил у него во дворне круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным; он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять, как поверенного, во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами; дедушка согласился. Пантюшка скоро сделался

Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образованья к одному своему приятелю, обер-секретарю, великому законоведцу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьичем, и он получил известность в касте деловых людей. В Москве он женился на мещанке, красавице и с хорошим приданым, Наталье Сергеевой, которая, по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьева, не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то «судоговоренье» против известного тоже доки по тяжебным делам и сбив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьич, обедая в этот самый день у своего доверителя,— вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтенья рукописных бумаг, письма и бессонницы — и ничто уже не могло возвратить ему зрения. Он полечился в Москве с год и потом переехал с своей женой и дочкой Настенькой в Багрово; но и слепой, он постоянно занимался разными чужими тяжебными делами, с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читались вслух и по которым он диктовал просьбы в сенат, за что получал по-тогдашнему немалую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. Я как теперь гляжу на него: высокий ростом, благообразный лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в длинном сюртуке горохового цвета с огромными медными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками, опирался он на камышовую трость с вызолоченным набалдашником. Это был замечательный представитель старинных слуг, которые уже перевелись и которые очень удачно схвачены Загоскиным в его романах. Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьич сесть не только при моем отце, но даже при мне, и никогда не мог я от него отбиться, чтоб он не поцеловал моей руки. И память и дар слова были у него удивительные: года, числа указов и самые законы

знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые и жили у него в особом флигельке о двух горницах с кухнею, выстроенном им на свой *кошт*. У него с утра до вечера читали и писали, а он обыкновенно сидел на высокой лежанке, согнув ноги, и курил коротенькую трубку; слух у него был так чуток, что он узнавал походку всякого, кто приходил к нему в горницу, даже мою. Я охотно и часто ходил бы к нему послушать его рассказов о Москве, сопровождаемых всегда потчеваньем его дочки и жены, которую обыкновенно звали «Сергеевна»; но старик не хотел сидеть при мне, и это обстоятельство, в соединении с потчеваньем, не нравившимся моей матери, заставило меня редко посещать Пантелея Григорьича.

Наконец, выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми и природой, как выражалась моя мать. Мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтоб отец показал ей *всю свою* семью. Ее требование считалось законом — и мы отправлялись по первому зимнему пути, по *первозимью,* когда дорога бывает гладка как скатерть и можно еще ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадях: я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем, Парашей и кормилицей — в возке, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать нашей дороги: она была точно так же скучна и противна своими кормежками и ночевками, как и прежние; скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежащей той же Прасковье Ивановне Куролесовой. Там был точно такой же удобный и теплый флигель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше. В той половине, где некогда останавливался страшный барин, висели картины в золотых рамах, показавшиеся мне чудесными; особенно одна картина, представлявшая какого-то воина в шлеме, в латах, с копьем в руке, едущего верхом по песчаной пустыне. Мне с улыбкой говорили, что все картины покойный Михайла Максимыч (царство ему небесное!) изволил отнять у своих соседей. Отец мой точно так же, как в Парашине, осматривал все хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что

на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян и особенною охотою их до хороших, породистых лошадей, разведенных покойным мужем Прасковьи Ивановны. Многие старики приходили с разными приносами: с сотовым медом, яйцами и живою птицею. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас как на будущих господ, хотя никого из багровских крестьян там не было. Из Вишенок приехали мы в село Троицкое, Багрово тож, известное под именем Старого, или Симбирского, Багрова. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы (так называл их Евсеич) и увидя, как все постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины, и она сказала: «Как это могли жить в такой мурье и где тут помещались?» В самом деле, трудно было отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе пять дочерей. Видно, небольшие были требования на удобства в жизни. «Это, Сережа, наше родовое именье, — говорил мне отец, — жалованное нам от царей; да теперь половина уж не наша». Эти последние слова произвели на меня какое-то особенное, неприятное впечатление, которого я объяснить себе не умел. Мы приехали поутру, а во время обеда уже полон был двор крестьян и крестьянок. Не знаю отчего, на этот раз, несмотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся крестьянам и вывела меня. Мы были встречены радостными криками, слезами и упреками: «За что покинули вы нас, прирожденных крестьян ваших!» Мать моя, не любившая шумных встреч и громких выражений любви в подвластных людях, была побеждена искренностью чувств наших добрых крестьян — и заплакала; отец заливался слезами, а я принялся реветь. Ничего не было припасенного, и попотчевать крестьян оказалось нечем. Отец обещал приехать через неделю и тогда угостить всех. Все отвечали, что ничего не нужно, и просили только принять от них «хлеб-соль». Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать крестьянских гостинцев.

Кое-как отец после обеда осмотрел свое собственное небольшое хозяйство и все нашел в порядке, как он говорил; мы легли рано спать, и поутру, за несколько часов до света, выехали в Чурасово, до которого оставалось пятьдесят верст.

ЧУРАСОВО

Мы рано выкормили лошадей в слободе упраздненного городка Тагая и еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две каменные церкви с зелеными куполами, одна поменьше, а другая большая, еще новая и неосвященная, красные крыши господского огромного дома, флигелей и всех надворных строений с какими-то колоколенками — бросились мне в глаза и удивили меня. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги, целою толпой, одетые как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и под руки ввели в лакейскую, где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны, по обыкновению, много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий и громкий голос: «Да где же они? давайте их сюда!» Двери из залы растворились, мы вошли, и я увидел высокого роста женщину, в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «Насилу я дождалась тебя!» — Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она ту же минуту всею душою полюбила нашу общую *благодетельницу* и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечною любовью. Прасковья Ивановна долго обнимала и целовала мою, прослезившуюся от внутреннего чувства, мать; ласкала ее, охорашивала, подвела даже к окну, чтобы лучше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, хотел было поцеловать ее руку, говоря: «Здравствуйте, тетушка!», но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю, — прогово-

рила она как-то резко, — успеем поздороваться, а вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену!» Наконец, она сказала: «Ну, кажется, мы друг друга полюбим!» — и обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее вниманья и привета. Пришла и наша очередь. «А, это наши Багровы, — продолжала она так же весело. — Я не охотница целовать ребятишек. Ну, да покажите их мне сюда к свету» (на дворе начинало уже смеркаться). Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Прасковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови, и сказала: «Правду писал покойный брат Степан Михайлович: Сережа похож на дядю Григорья Петровича, девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок какой-то чернушка». Она громко засмеялась, взяла за руку мою мать и повела в гостиную; в дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обниманья и целованья. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестрица замухрышка, а братец чернушка, но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием: стены были расписаны яркими красками, на них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди; на потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в Шехеразаде; к стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками; множество стульев стояло около стен, все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна, в сопровождении моей матери и молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом, воротилась из гостиной и повелительно сказала: «Александра! Отведи же Софью Николавну и детей в комнаты, которые я им назначила, и устрой их». — Рябая девица была Александра Ивановна Ковригина, двоюродная моя сестра,

круглая сирота, с малых лет взятая на воспитанье Прасковьей Ивановной; она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушно и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели бо́льшой кабинет, из которого была одна дверь в столовую, а другая — в спальню; спальню также отдали нам; в обеих комнатах, лучших в целом доме, Прасковья Ивановна не жила после смерти своего мужа: их занимали иногда почетные гости, обыкновенные же посетители жили во флигеле. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах, представлявшая седого старичка в цепях, заключенного в тюрьму, которого кормила грудью молодая прекрасная женщина (его дочь, по словам Александры Ивановны), тогда как в окошко с железной решеткой заглядывали два монаха и улыбались. На других двух стенах также висели картины, но небольшие; на одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. В углу стояло великолепное бюро красного дерева с бронзовою решеткою и бронзовыми полосами и с финифтяными бляхами на замках. Мать захотела жить в кабинете, и сейчас из спальной перенесли большую двойную кровать, также красного дерева с бронзою и также великолепную; вместо кроватки для меня назначили диван, сестрицу же с Парашей и братца с кормилицей поместили в спальной, откуда была дверь прямо в девичью, что мать нашла очень удобным. Распорядясь и поручив исполненье Александре Ивановне, мать принарядилась перед большим, на полу стоящим, зеркалом, какого я сроду еще не видывал, и ушла в гостиную; она воротилась после ужина, когда я уже спал. Видно, за ужином было шумно и весело, потому что часто долетал до меня через столовую громкий говор и смех гостей. Добрая Александра Ивановна долго оставалась с нами, и мы очень ее полюбили. Она с какой-то грустью расспрашивала меня подробно о Багрове, о бабушке и тетушках. Я не поскупился на рассказы, и в

тот же вечер она получила достаточное понятие о нашей уфимской деревенской жизни и обо всех моих любимых наклонностях и забавах.

Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет освещенный яркими лучами солнца: золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и зеркалах — так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок, точно как живая, — смотрела, не спуская глаз. Я не мог вынести этого взгляда и отвернулся; но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидел, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит; я смутился, даже испугался и, завернувшись с головой своим одеяльцем, смирно пролежал до тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню и покуда Евсеич не пришел одеть меня. Умываясь, я взглянул сбоку на швею — она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще более и сообщил мое недоумение Евсеичу; он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон, сам заметил и дивился ее странному свойству, но в заключение равнодушно сказал: «Уж так ее живописец написал, что она всякому человеку в глаза глядит». Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило то, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня.

Гости еще не вставали, да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Прасковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от Параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную, горничную или барскую барыню, спросила: «Можно ли видеть тетушку?» Прасковья Ивановна отвечала: «Можно». Мать вошла к ней и через несколько времени воротилась очень весела. Она сказала: «Тетушка желает вас всех видеть», и мы сейчас пошли к ней в спальню. Прасковья Ивановна встретила нас так просто, ласково и весело, что я простил ей прозвища «замухрышки» и «чернушки», данные ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке, мне с сестрицей дала

поцеловать руку и сказала: «Это так, для первого раза я принимаю вас у себя в спальной. Я до ребят не охотница, особенно до грудных; крику их терпеть не могу, да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его можно и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах; я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать; маленьким с большими нечего мешаться. Ну, милая моя Софья Николавна, живи у меня в доме, как в своем собственном: требуй, приказывай — все будет исполнено. Когда тебе захочется меня видеть — милости прошу; не захочется — целый день сиди у себя: я за это в претензии не буду; я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя, как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я собой никому не скучаю, прошу и мне не скучать». — После такого объясненья Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала потчевать им моего отца и мать, а нам приказала идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволенья еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвал ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала: «А, ты охотник до картинок, так ступай с своим дядькой и осмотри залу, гостиную и диванную: она лучше всех расписана; но руками ничего не трогать и меня бабушкой не звать, а просто Прасковьей Ивановной». — Отчего не любила она называться бабушкой — не знаю; только во всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу, которая показалась мне еще лучше, чем вчера, потому что я мог свободнее и подробнее рассмотреть живопись на стенах. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльных лавочках; но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами картин и богатым убранством этой

комнаты, показавшейся мне в то же время как-то темною и невеселою, вероятно от кисейных и шелковых гардин на окнах. Какие были диваны, сколько было кресел, и все обитые шелковой синею материей! Какая огромная люстра висела посередине потолка! Какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты! Какие столы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов! Какие на них были набраны птицы, звери и даже люди! Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала от потолка до полу, с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, чурасовский дом должен был показаться мне, и показался, дворцом из Шехеразады. Диванная, в которую перешли мы из гостиной, уже не могла поразить меня, хотя была убрана так же роскошно; но зато она понравилась мне больше всех комнат: широкий диван во всю внутреннюю стену и маленькие диванчики по углам, обитые яркой красной материей, казались стоящими в зеленых беседках из цветущих кустов, которые были нарисованы на стенах. Окна, едва завешанные гардинами, и стеклянная дверь в сад пропускали много света и придавали веселый вид комнате. Прасковья Ивановна тоже ее любила и постоянно сидела или лежала в ней на диване, когда общество было не так многочисленно и состояло из коротко знакомых людей.

Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня, всеми диковинками и сокровищами (как я думал тогда), украшавшими чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтоб передать кому-нибудь все мои впечатления. Но у нас в детской [1] сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. Она сказала мне, что *тетушка* занята очень разговорами

---

[1] Так стали называть бывшую некогда спальню Прасковьи Ивановны.

с моим отцом и матерью и выслала ее, прибавя: «Изволь отсюда убираться». Мне показалось, что Александра Ивановна огорчилась такими словами, и, чтоб утешить ее, я поспешил сообщить, что Прасковья Ивановна и нас всех выслала и не позволила мне называть себя бабушкой. Александра Ивановна печально улыбнулась и сказала: «Прасковья Ивановна не любит называться бабушкой и приказала мне называть ее тетушкой, и я уже привыкла ее так звать. Я ей такая же родная, как и вы: только я бедная девка и сирота, а вы ее наследники». — Я ничего не понял; грустно звучали ее слова, и мне как будто стало грустно; но ненадолго! Картины и великолепное убранство дома вдруг представились мне, и я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим все виденные мною чудеса. Александра Ивановна беспрестанно улыбалась и, наконец, тихо промолвила: «Экой ты дитя!» — Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала опять расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрово. Я подумал: «Ну, что говорить о Багрове после Чурасова?» — Но не так, видно, думала Александра Ивановна и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя: как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли; как ее взял было к себе в Багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович, как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово и как живет она у ней вместо приемыша уже шестнадцать лет. Вдруг вошла какая-то толстая, высокая и немолодая женщина, которой я еще не знал, и стала нас ласкать и целовать; ее называли Дарьей Васильевной; ее фамилии я и теперь не знаю. Одета она была как-то странно: платье на ней было господское, а повязана она была платком, как дворовая женщина. После я узнал, что платья обыкновенно дарила ей Прасковья Ивановна *с своего плеча* и требовала, чтобы она носила их, а не прятала. Дарья Васильевна с первого взгляда мне не очень понравилась, да и заметил я, что она с Александрой Ивановной недружелюбно обходилась; но впоследствии я убедился, что она была тоже добрая, хотя и

смешная женщина. Прасковья Ивановна привыкла к ней и жаловала ее особенно за прекрасный голос, который у ней и в старости был хорош. Она пустилась растабарывать не с нами, а с Парашей и кормилицей. Александра Ивановна, шепнув мне тихо: «Пришла все выведывать у слуг», ушла с неудовольствием. Оставшись на свободе, я увел сестрицу в кабинет, где мы спали с отцом и матерью, и, позабыв смутившие меня слова «экой ты дитя», принялся вновь рассказывать и описывать гостиную и диванную, украшая все, по своему обыкновенью. Милая сестрица жалела, что не видала этих комнат и залы, которую она вчера мало разглядела. Мы принялись рассуждать по-своему о Прасковье Ивановне, об Александре Ивановне и о Дарье Васильевне. Сестрица так меня любила, что обо всем думала точно то же, что и я, и мы с ней всегда во всем были согласны.

Между тем дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности — занимать гостей, которых на этот раз было человек пятнадцать. Между прочим тут находились: Александр Михайлыч Карамзин с женой, Никита Никитич Философов с женой, г-н Петин с сестрою, какой-то помещик Бедрин, которого бранила и над которым в глаза смеялась Прасковья Ивановна, М. В. Ленивцев с женой и Павел Иваныч Миницкий, недавно женившийся на Варваре Сергеевне Плещеевой; это была прекрасная пара, как все тогда их называли, и Прасковья Ивановна их очень любила: оба молоды, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. Через несколько дней Миницкие сделались друзьями с моим отцом и матерью. Они жили в двадцати пяти верстах от Чурасова, возле самого упраздненного городка Тагая, и потому езжали к Прасковье Ивановне каждую неделю, даже чаще. Миницкие в этот день, вместе с моим отцом, приходили к нам в комнаты и очень нас обласкали. Мы полюбили их, как родных. Перед самым обедом мать пришла за нами и водила нас обоих с сестрицей в гостиную.

Прасковья Ивановна показывала нас гостям, говоря: «Вот мои Багровы, прошу любить да жаловать. А как Сережа похож на дядю Григория Петровича!» — Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Гости, кроме Миницких, которых я уже знал, мне не очень понравились; особенно не взлюбил я одну молодую даму, которая причиталась в родню моему отцу и которая беспрестанно кривлялась и как-то странно выворачивала глаза. Прасковья Ивановна беспрестанно ее бранила, а та смеялась. Все это показалось мне и странным и неприятным. — Перед самым обедом нас отослали на *нашу* половину: это названье утвердилось за нашими тремя комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью, кроме того времени, когда мать уезжала в Оренбург или когда была больна, и то мы обедали не одни, а с дедушкой, бабушкой и тетушкой, и мне такое отлучение и одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства; она очень хорошо поняла его и разделяла со мной, но сказала, что нельзя не исполнить волю Прасковьи Ивановны, что она добрая и очень нас любит. «Впрочем, — прибавила она, — со временем я надеюсь как-нибудь это устроить». — Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться десять человек. Начался шум и беготня лакеев, которых было множество и которые не только громко разговаривали и смеялись, но даже ссорились и толкались и почти дрались между собою; к ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, и потому столовая служила единственным сообщением в доме; на лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то нагляделись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. Евсеич и Параша, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумленье и даже страх от наглого бесстыдства и своеволья окружавшей нас прислуги.

Я слышал, как Евсеич шепотом говорил Параше: «Что это? Господи! куда мы попали? Хорош господский, богатый дом! Да это разбой денной!» — Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту нарасхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорыч, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтоб не трогали блюд до тех пор, покуда не подадут их господам за стол. Евсеич не знал, что и делать. На все его представленья и требованья, что «надобно же детям кушать», не обращали никакого вниманья, а казначей, человек смирный, но нетрезвый, со вздохом отвечал: «Да что же мне делать, Ефрем Евсеич? Сами видите, какая вольница! Всякий день, ложась спать, благодарю господа моего бога, что голова на плечах осталась. Просите особого стола». — Евсеич пришел в совершенное отчаянье, что дети останутся *не кушамши*; жаловаться было некому: все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро, однако, принял решительные меры. Прежде всего, он перевел нас из столовой в кабинет, затворил дверь и велел Параше запереться изнутри, а сам побежал в кухню, отыскал какого-то поваренка из багровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковороде битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтоб немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтоб донести обо всем происходившем в столовой. Вслед за стуком отодвигаемых стульев и кресел прибежала к нам Александра Ивановна. Узнав, что мы и не начинали обедать, она очень встревожилась, осердилась, призвала к ответу буфетчика, который, боясь лакеев, бессовестно солгал, что никаких блюд не осталось и подать нам было нечего. Хотя Александра Ивановна, представляя в доме некоторым образом лицо хозяйки, очень хорошо знала, что это бессовестная ложь, хотя она вообще хорошо знала чурасовское лакейство и сама от него много терпела, но и она не могла себе вообразить, чтоб могло случиться что-нибудь похожее на случившееся с нами. Она вызвала к себе дворецкого Николая и даже главного управителя Михайлушку, живших в особенном флигеле,

рассказала им обо всем и побожилась, что при первом подобном случае она доложит об этом тетушке. Николай отвечал, что дворня давно у него от рук отбилась и что это давно известно Прасковье Ивановне, а Михайлушка, на которого я смотрел с особенным любопытством, с большою важностью сказал, явно стараясь оправдать лакеев, что это ошибка поваров, что кушанье сейчас подадут и что он не советует тревожить Прасковью Ивановну такими пустяками. — Только что они ушли, пришла мать. Александра Ивановна, очень встревоженная, начала ее обнимать и просить у нее прощенья в том, что случилось с детьми. Она прибавила, что если дело дойдет до тетушки, то весь ее гнев упадет на нее, ни в чем тут не виноватую. Мать очень дружески ее успокоила, говоря, что это безделица, и что дети поедят после (она уже слышала, что нам готовят особое кушанье), и что тетушка об этом никогда не узнает. Успокоенная Александра Ивановна ушла к гостям, а я принялся подробно рассказывать матери все виденное и слышанное мной. Тут моя мать так взволновалась, что вся покраснела и чуть не заплакала. Она очень благодарила Евсеича, что он увел нас из столовой, приказала, чтобы мы всегда обедали в кабинете, и строго подтвердила ему и Параше, чтоб чурасовская прислуга никогда и близко к нам не подходила. Евсеич и Параша ушли, а с ними и сестрица.

Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил предложить множество вопросов обо всем, что видел и слышал. Мать очень смущалась и затруднялась ответами. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые; этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда выросту, буду принадлежать к числу господ и что тогда меня будут слушаться, а что до тех пор я должен всякого *просить* об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Прасковью Ивановну я считал такою великою госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней? Я очень помнил, как она говорила моей матери: «Прика-

зывай — все будет исполняться». Я сначала думал, что лакеи и девки, пожиравшие остатки блюд, просто хотели кушать, что они были голодны; но меня уверили в противном, и я почувствовал к ним большое отвращенье. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Мать утвердила меня в таких мыслях. Но все мои вопросы об Александре Ивановне, об ее положении в доме и об ее отношении к благодетельнице нашей Прасковье Ивановне мать оставила без ответа, прибегнув к обыкновенной отговорке, что я еще мал и понять этого не могу. Между тем смирный буфетчик и Евсеич принесли нам обед; позвали сестрицу, и мы, порядочно проголодавшись, поели очень весело и аппетитно, особенно потому, что маменька сидела с нами. — После нашего позднего обеда мать ушла к гостям, а мы с сестрицей принялись устраивать мое маленькое хозяйство, состоявшее в размещении книжек, бумаги, чернильницы, линейки и проч. Сверх того, у меня был удивительный ларчик, или шкафик, оклеенный резной костью, в котором находилось восемь ящичков, наполненных моими сокровищами, то есть окаменелостями, чертовыми пальцами и другими редкими камешками, всегда называемыми мною штуфами. Крючки с лесами, грузилами и поплавками, снятые с удилищ, также занимали один из ящиков. Все восемь ящиков запирались вдруг, очень хитрым замком, тайну которого я хранил от всех, кроме сестрицы. Для такого диковинного ларца очищалось самое лучшее и видное место. Мы поставили его на бюро и при этом случае пересмотрели вновь, неизвестно в который раз, все мои драгоценности. Потом приходил к нам отец; мать сказала ему о нашем позднем обеде; он пожалел, что мы были долго голодны, и поспешно ушел, сказав, что он играет с тетушкой в пикет. Вскоре после чаю, который привелось нам пить немедленно после обеда, пришла к нам маменька и сказала, что более к гостям не пойдет и что Прасковья Ивановна сама ее отпустила, заметив по лицу, что она устала. Мать в самом деле казалась утомленною и сейчас после нашего детского ужина легла в постель. Я обрадовался случаю поговорить с нею наедине

и порасспросить кое о чем, казавшемся мне непонятным, как вдруг неожиданно явилась Александра Ивановна. Видно было, что она полюбила мою мать, потому что все обнимала ее и говорила с ней очень ласково и даже потихоньку. Я не мог расслушать всех разговоров, но хорошо понял, что Александра Ивановна жаловалась на свое житье, даже плакала, оговариваясь, впрочем, что она не тетушку обвиняет, а свою несчастную судьбу. Хотя мне было жаль ее, но через несколько времени я заснул под шепот ее рассказов.

Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать и было о чем переговорить, потому что в продолжение прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне: хвалила ее простой и здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые, хотя подчас резкие и грубые, речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Прасковье Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить и в которой она видела только капризность и странности. Мать в свою очередь пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться; что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит; что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза; что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили; что Прасковья Ивановна большая странница, терпеть не может попов и монахов, и нищим никому копеечки не подаст; молится богу по капризу, когда ей захочется, — а не захочется, то и середи обедни из церкви уйдет; что священника и причет содержит она очень богато, а никого

из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом, и то в самые большие праздники; что первое ее удовольствие летом — сад, за которым она ходит, как садовник, а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты; что Прасковья Ивановна ее, сироту, не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков все, что Александре Ивановне вздумается; что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтоб она своей внучке-сиротке что-нибудь при жизни назначила, для того чтоб она могла жениха найти, Прасковья Ивановна и слышать не хотела и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней, на рябой кукушке, да после и вымещал бы ей за то. — К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Прасковьи Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. — Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она казалась мне такою умною, ласковою и правдивою. Я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» — Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стала бы всего при тебе говорить, ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку и что тетушка недобрая; а это все пустяки, одни недогадки и кривое толкованье. Прошу же не говорить об этом ни сестре, ни Евсеичу, ни Параше». — Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении: добрая или не совсем добрая Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны.

Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе

изумительное явление. Прасковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страшного злодея, испытав действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже двадцать лет жила вдовою. Пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственною чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой; она беспощадно обвиняла себя в самых тонких иногда уклонениях от тех нравственных начал, которые понимала; этого мало, — она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения, она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием, она не занималась хозяйством, говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека, Михайла Максимова, но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила: «Я знаю, что Михайлушка тонкая штука; он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян и набивает свой карман. Я это знаю, но знаю и то, что он человек умный и незлой. Я хочу одного, чтоб мои крестьяне были богаты, а ссор и жалоб их слышать не хочу. Я могла бы получать доходу вдвое больше, но на мой век станет, да и наследникам моим останется». — В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводила стороною справки о них в соседних деревнях, через верных и преданных людей. Ее крестьяне действительно жили богато, это знали все; но многочисленная дворня, вследствие такой системы управления, дошла до крайней степени тунеядства, своеволья и разврата. Если попадался на глаза Прасковье Ивановне пьяный лакей или какой-нибудь дворовый человек,

она сейчас приказывала Михайлушке отдать виноватого в солдаты; не годится — *спустить в крестьяне.* Замечала ли нескромность поведения в женском поле, она опять приказывала Михайлушке: отослать такую-то в дальнюю деревню ходить за скотиной и потом отдать замуж за крестьянина. Но для того, чтоб могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую; а как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутстве, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтоб говорили ей о чем-нибудь подобном. Прасковья Ивановна была набожна без малейшей примеси ханжества и совершенно свободно относилась ко многим церковным обрядам и к соблюдению постов. Она выстроила новую каменную большую церковь, потому что прежняя слишком напоминала своего строителя, покойного ее мужа, о котором она старалась забыть и о котором никогда не упоминала. Она любила великолепие и пышность в храме божием; знала наизусть весь церковный круг, сама певала со своими певчими, стоя у клироса; иногда подолгу не ходила в церковь, даже большие праздники пропускала, а иногда заставляла служить обедни часто. Всего же страннее было то, что иногда, помолясь усердно, она вдруг уходила в начале или середине обедни, сказав, что больше ей не хочется молиться, о чем Александра Ивановна говорила с особенным удивлением. Не умея почти писать, она любила читать или слушать светские книги, и, выписывая их ежегодно, она составила порядочную библиотеку, заведенную, впрочем, уже ее мужем. Священные книги она читала только тогда, когда говела; впрочем, это не мешало ей во время говенья по вечерам для отдыха играть в пикет с моим отцом, если он был тут, или с Александрой Ивановной. Она говаривала в таких случаях, что гораздо меньше греха думать о том, как бы сделать пик или репик [1], чем слушать пустые разговоры и сплетни насчет ближнего или самой думать о пустяках. Говела она не всегда в

---

[1] То есть *шестьдесят* или *девяносто*, как теперь выражаются технически игроки.

великий пост, а как ей вздумается, раза по два и по три в год, не затрудняясь употребленьем скоромной пищи, если была нездорова; терпеть не могла монахов и монахинь, и никогда черный клобук или черная камилавка не смели показываться ей на глаза. Денег взаймы она давала очень неохотно и также не любила раздачу мелкой милостыни; но, узнав о каком-нибудь несчастном случае с человеком, достойным уваженья, помогала щедро, а как люди, достойные уваженья, встречаются не часто, то и вспоможенья ее были редки и Прасковью Ивановну вообще не считали доброю женщиною. Надобно сказать правду, что доброты, в общественном смысле этого слова, особенно чувствительности, мягкости — в ней было мало, или, лучше сказать, эти свойства были в ней мало развиты, а вдобавок к тому она не любила щеголять ими и скрывала их. Правда, не много было людей, которых она любила, потому что она любила только тех, кого уважала. Из всего круга своих многочисленных знакомых она больше всех любила Миницких, а впоследствии мою мать. Наконец, правда и то, что с гостями своими обходилась она слишком бесцеремонно, а иногда и грубовато: всем говорила «ты» и без всякой пощады высказывала в глаза все дурное, что слышала об них или что сама в них замечала. Все чувствовали, более или менее сознательно, что Прасковья Ивановна мало принимает участия в других, что она живет больше для себя, бережет свой покой и любит веселую беззаботность своей жизни. Это не мешало, однако, беспрестанному приливу и отливу многочисленной толпы гостей и выражению общего глубокого почтения и преданности. Своекорыстных расчетов тут не могло быть, потому что от Прасковьи Ивановны трудно было чем-нибудь поживиться; итак, это необыкновенное стечение гостей можно объяснить тем, что хозяйка была всегда разговорчива, жива, весела, даже очень смешлива: лгунов заставляла лгать, вестовщиков — рассказывать вести, сплетников — сплетни; что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александры Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме: Дарьей Васильевной и двоюродной внучкою-сиротой, то есть с Александрой

Ивановной, Прасковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно — они были не что иное, как приближенные служанки. Дарья Васильевна, старая и глухая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала унизительности своего положения, а очень неглупая и добрая по природе Александра Ивановна, конечно, не понимавшая вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшая поставить себя в лучшее отношение, много испытывала огорчений, и только дружба Миницких и моих родителей облегчала тягость ее положения.

Я описывал Прасковью Ивановну такою, какою знал ее сам впоследствии, будучи еще очень молодым человеком, и какою она долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко ей знакомых и хорошо ее понимавших людей.

Жизнь в Чурасове пошла, как заведенные часы: гости сменялись одни другими, то убывали, то прибывали. Мать с каждым днем приобретала бóльшую благосклонность Прасковьи Ивановны, с каждым днем становилась дружнее с Александрой Ивановной и еще более с Миницкими. Это были поистине прекраснейшие люди, особенно Павел Иваныч Миницкий, который с поэтической природой малоросса соединял энергическую деятельность, благородство души и строгость правил; страстно любя свою красавицу жену, так же любившую своего красавца мужа, он с удивительною настойчивостию перевоспитывал ее, истребляя в ней семена тщеславия и суетности, как-то заронившиеся в детстве в ее прекрасную природу. — Мать устроила свое время очень хорошо благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своем доме Прасковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами, ранее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался веселый и громкий голос хозяйки: «Софья Николавна, ты ничего не ешь!» Потом, когда она как-то узнала, что гостья уже вполовину обедала с детьми, она посмеялась и перестала ее потчевать. Когда Прасковья Ивановна садилась играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с нею наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем поутру: Александра Ивановна

или Миницкий, если не были заняты, приходили к нам в кабинет; дамы ложились на большую двуспальную кровать, Миницкий садился на диван — и начинались одушевленные и откровенные разговоры, так что нас с сестрицей нередко усылали в столовую или детскую. Однако мать не любила этого переселения, потому что столовая продолжала служить постоянным и беспрестанным путем сообщения девичьей с лакейской, в детскую же часто заглядывали горничные. Мы с сестрицей каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались; но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Прасковья Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялась моими ответами, подчас резкими и смелыми, на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для дитяти вопросы; иногда заставляла она меня читать что-нибудь наизусть из «Россиады» или сумароковских трагедий. Я чувствовал, что мною не занимаются, а потешаются; это мне не нравилось и потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. Мать бранила меня за это наедине, я отвечал, что мне досадно, когда поднимают на смех мои слова, да и говорят со мной только для того, чтобы посмеяться. Отец вообще мало был с нами; он проводил время или с Прасковьей Ивановной и ее гостями, всегда играя с ней в карты, или призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелея Григорьича, и читал с ним какие-то бумаги. Тут я узнал, что мой отец недаром беседовал в Багрове с слепым нашим поверенным, что он затевает тяжбу с Богдановыми об именье, следовавшем моей бабушке Арине Васильевне Багровой по наследству. Отец ездил для этого дела в город Лукоянов и подал там просьбу, он проездил гораздо более, чем предполагал, и я с огорчением увидел после его возвращения, что мать ссорилась с ним за то — и не один раз.

Еще прежде отец съездил в Старое Багрово и угощал там добрых наших крестьян, о чем, разумеется, я расспросил его очень подробно, и с удовольствием услышал, как все сожалели, что нас с матерью там не было.

Я сказал уже, что в Чурасове была изрядная библиотека; я не замедлил воспользоваться этим сокровищем и, с позволенья Прасковьи Ивановны, по выбору матери, брал оттуда книги, которые читал с великим наслаждением. Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и Гармония», сочинение Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадма и Гармонии». Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством. Потом прочел я «Арфаксад, халдейская повесть», не помню, чье сочинение, и «Нума, или Процветающий Рим», тоже Хераскова, и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна; они воспламеняли мое участие и любопытство, но мать не позволяла мне читать их, и я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку, в чем, однако, признавался матери и за что она очень снисходительно меня журила. Таким образом мне удалось заглянуть в «Алькивиада», в «Графа Вальмонта, или Заблуждение рассудка» и в «Достопамятную жизнь Клариссы Гарлов». Не скоро потом удалось мне прочесть эти книги вполне, но отрывки из них так глубоко запали в мою душу, что я не переставал о них думать, и только тогда успокоился, когда прочел. Наконец, тут же попались «Мои безделки» Карамзина и его же издание разных стихотворений разных сочинителей под названием «Аониды». Эти стихи уже были совсем не то, что стихи Сумарокова и Хераскова. Я почувствовал эту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребячий возраст.

Чтение всех этих новых книг и слушанье разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задумываться: для думанья же я имел довольно свободного времени. Я рассуждал обо всем с Евсеичем, но он даже не мог понять, о чем я говорю, что желаю узнать и о чем спрашиваю; он частехонько говорил мне: «Да что это тебе, соколик, за охота узнавать: отчего, да почему, да на что? Этого и старики не знают, а ты еще дитя. Так богу угодно — вот и все. Пойдем-ко лучше посмотрим картинки».

В этом роде жизнь, с мелкими изменениями, продолжалась с лишком два месяца, и, несмотря на великолепный дом, каким он мне казался тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картин и на которые я не переставал любоваться; несмотря на старые и новые песни, которые часто и очень хорошо певала вместе с другими Прасковья Ивановна и которые я слушал всегда с наслаждением; несмотря на множество новых книг, читанных мною с увлечением, — эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо желал воротиться из шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом; я даже соскучился по бабушке и тетушке. Но главною причиною скуки, ясно и тогда мною понимаемою, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце, привык поверять свои впечатления ее разумным судом, привык слышать ее живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Миницкие и особенно Александра Ивановна; они даже отвлекали от меня внимание матери, — и много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения: это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее; ее дружба очень утешала меня, но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Несознаваемою мною тогда причиною скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет; мне не позволяли оставаться долго в детской у братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого, бог знает за что, называла Прасковья Ивановна чернушкой. Кроме же кабинета и детской, только на короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в столовой. Прасковьи Ивановны я не понимал; верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен ее обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал; хорошо, что маменька

не послушалась. Итак, весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну, что тебе там делать, в этой мурье? — говорила она. — Свекровь по тебе не стоскуется, а золовки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». — Мать и не спорила; но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей тетушке, что долее оставаться нельзя, что уже три почты нет писем из Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника-батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молотьба и поставка хлеба идет очень плохо и что ему нечем будет жить. Прасковья Ивановна отвечала, что все это «враки», — и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец, мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. «Да, Софья Николавна, — говорила она, — ты еще не видала моего Чурасова; его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои двадцать родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребятишками, хоть я до них и не охотница; а всего бы лучше чернушку, меньшого сынка, оставить у бабушки, пусть он ревет там вволю. Если не приедете — осержусь». — Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания, бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно: «Кадм и Гармония», «Полидор, сын Кадма и Гармонии», «Нума, или Процветающий Рим», «Мои безделки» и «Аониды» — и этим подарком много примирила меня с собой. Мы уехали на другой день рожденья моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять тою же дорогой, через Старое Багрово и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали с лишком восемь дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные и — ежедневный буран; дороги иногда и следочка не было, и в некоторых местах не могли мы

обойтись без проводников. В восьмой день мы приехали ночевать в Неклюдово к Кальпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь, и часа через два я увидел с горы уже милое мне Багрово.

БАГРОВО ПОСЛЕ ЧУРАСОВА

Багрово было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенное в лощине между горами, с трех сторон окруженное тощей, голой уремой, а с четвертой — голою горою, заваленное сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, — Багрово произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство, я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело; вокруг них и на улице снег казался мелок: так все было уезжено и укатано; господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком; около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что к каждому надо было выкопать проезд; господский двор, по своей обширности, еще более смотрел какой-то пустыней; сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным... Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым, приветным лаем; две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью; тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка — еще больше: из мутных, бесцветных и как будто потухших

глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что «не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николавну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить». Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которою не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшая, чтоб каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери, мы нашли целую половину дома холодною. Бог знает из какой экономии, бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего: мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах.

Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни вполне оцененной мною, я беспрестанно разговаривал и о том и о другом с своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять, даже не пускали сбегать к Пантелею Григорьичу и Сергеевне; но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу; но Пантелей Григорьич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мирволить тутошнему помещику и что без правительствующего сената не обойдется; что, когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. «Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степаныч, — сказал в заключение Пантелей Григорьевич. —

Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». — Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальною точностью.

Погода становилась мягче. Пришла масленица. Мы с сестрицей катались в санях, и в первый раз в жизни видели, как крестьянские и дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху; но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся; многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались: громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальной; с нее я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, куда нас не пускали.

Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие: Палагея Ардалионовна Рожнова с сыном Митенькой; она сама была претолстая и не очень старая женщина, сын же ее — урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиною своего посещенья. Палагея Ардалионовна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степановну. Мать моя принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка; но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение: в назначенный день, часов в десять утра, все в доме было готово для приема гостей: комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны; деревенские лакеи, ходившие кое в

чем, приодеты и приглажены, а также и вся девичья; тетушка разряжена в лучшее свое платье; даже бабушку одели в шелковый шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которою она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец, раздался крик: «Едут, едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила, отец, мать и тетка также отправились туда, а мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется с дядькой, нянькой, кормилицей и со всею девичьей, заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтоб видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть! Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась; потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин приданый Николай, а также Мазан и Танайченок. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо: когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опрометью в коридор и буфет, чтоб видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара! Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу: «Ах, это Мавлютка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец; после многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич, сказав: «Эк буря! посытее будет Мавлютки», повел нас в наши комнаты.

Слова: жених, невеста, сватанье и свадьба — были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу: «Как же тетеньке выйти замуж за Рожнова? Жена должна помогать мужу; она такая сухонькая, а он такой толстый; она его не поднимет, если он упадет». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство: я возразил, что «сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать». — Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их (всегда без матери) и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление.

Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха: он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит; в то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха — борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне; она прибавила, с какими-то гримасами на лице, что «Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если бог даст ему судьбу, то не бессчастна будет его половина». Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда; но, видя, что он того и гляди повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего сла-

бого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увальня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты — и дальнейшего формального сватовства не было.

ПЕРВАЯ ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ

В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное, раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и *страстно любившие* природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи... Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом

весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой — часть реки давно растаявшего Бугуруслана с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», — вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, *дичь* — по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковных уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам,

дроздов и пигалиц около родников... Сколько волнений сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд — и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец, Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!» Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволенье у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. — В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. — Река выступила из берегов, поняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волненье. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! — говорил торопливо Евсеич. — Эки стаи! А кряковных-то! батюшки, видимо-невидимо!» — «А слышишь ли, — подхватывал мой отец, — ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот

сивки играют над озимями, точно... туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то — я уже и не видывал таких стай!» — Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!.. и все это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!.. Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряковный селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темнозеленые косички в хвосте.

Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю привык в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затрудненья пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами, в воде по горло, к двум гусям, плававшим на материке пруда,

как прицелился в одного из них, и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся!» Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, язей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье, каждого большого линя, язя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться и как было бы весело вытащить его на берег.

Несмотря, однакоже, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель и, к великому моему горю, должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самою скучною тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках; а как я очень волновался рассказами Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой; к тому же мать почти не отходила от меня. Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее, и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая, хоть на минуту, к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопившей огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает отчего, на меня напала. Это расстроивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Палагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Палагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас, грешных», села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве...» Это вышла сказка под названием

«Аленький цветочек» [1]. Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас; но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Палагею, которая разговаривала со мной об «Аленьком цветочке», и сказыванье сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещенье могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Палагее сказывать иногда мне сказки в продолжение дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровленья, то есть до середины страстной недели, Палагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея-Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали почевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме божием светлое Христово

---

[1] Эту сказку, которую слыхал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Палагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстановляя давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно, переводных выражений, с приемами, образами и народною нашею речью, следы прикосновенья разных сказочников и сказочниц — показались мне стоящими вниманья.

Примеч. молодого Багрова.

Чтоб не прерывать рассказ о детстве, эта сказка помещается в приложении. *С. А.*

воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» — и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале, в се́рпухе и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледнорозового рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишенье; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.

Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом, в золоченой ризе, теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желанье помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевленьем; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но

не скоро утихло детское мое волненье и непостижимое для меня чувство умиленья. Наконец, мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». — Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне, на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до полученья *петой* пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.

Отец с тетушками воротился еще до полдён, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей — только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича,

пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». — Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчики и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, — все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В одну минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека, Василья Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми; дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевезти на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька рыжий (как его обыкновенно звали), распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой — направо, подвигались вперед: голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым

беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие: шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать; а другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь; что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и проч. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направленье и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого вниманья, а может быть и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина: точно все старались вслушаться, что они говорят... Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду; молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый Болтуненок исчез под водою... Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву; все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх, канавка была узенькая и сейчас можно было попасть на берег... но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал, утонул»; женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так

был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать: «Что такое случилось?» Евсеич же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушки знали, что пьяные люди идут вброд по полоям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый Болтуненок «пропал, утонул», то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастия и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушкина Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народа с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через старицу и что теперь хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть, — прибавила Параша, — на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано».

Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома; но смерть мельника Болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда, — произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление, и утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине (о кораблекрушениях я много читал). На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. — Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ: «Не нашли Болтуненка». — Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговенья. Наконец, накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с

детских лет своих знал старого мельника Болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно, и, как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрети и голодные, люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого Болтуненка: «Нашел!» — заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащил его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом: все сбегали посмотреть утопленника и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло, улеглось мое воспаленное воображение — я сладко заснул.

Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемою *земляною водою*, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волненье, в движенье, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сер-

геевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.

Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми, могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плеча, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми *сон*, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветов; когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез; когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат; когда в воде движенье, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал...

А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; как муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыпляток и как коршуны кружились,

плавали над ними... О, много было дела и заботы мне! Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачовую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидя в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки. «Ну, Сережа, — сказал он мне, — теперь все птички начнут петь: варакушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и еще веселее будет в Багрове!»

Наконец, пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи — и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пенье не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было так много и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли

слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.

Наконец, я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся, — сказала она мне, лаская и целуя меня в голову, — а ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести; вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими чувствами и помышлениями, и мной овладело угрызение совести и раскаяния; я жестоко обвинял себя, просил прощенья у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал ей всей цены, что я не достоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время, и так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил

мать; она — что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком... В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел: он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» — спросил он встревоженным голосом. Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстроивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу! Увы! несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлениям природы; но я долго предавался им с некоторым опасением; горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало...

Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба, язи, головли и лини. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб принесть по крайней мере пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог. Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через

две солнышко землю прогреет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки приготовлю.

Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теперь погода, простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однакож, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы; такую я и сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец сбирался удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? — говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. — Кивацкий пруд пронесло, и его нескоро запрудят; рыбы теперь в саду мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями — прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, — что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде все это было

затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы удить — и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины язи и большие лини. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком *азарте!* Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще огромнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою досадой: «Ну, как мне поутру». — «Вот вы и с ружьем не поохотились

ни разу, а ведь в старые годы хаживали». Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.

Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степановне и только что приехавшей тетушке Аксинье Степановне (Александра же Степановна давно уехала в свою Каратаевку). Они неравнодушно приняли наш улов; они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которую очень любили кушать, а Татьяна Степановна — удить; но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью; она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовою тиной, что, может быть, и в самом деле было так.

Оставшись наедине с матерью, я спросил ее: «Отчего отец не ходит удить, хотя очень любит уженье? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он также был охотник, о чем сам рассказывал мне?» Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих охотах, особенно об уженье, называя его забавою людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела, забавою, приличною только детскому возрасту, и мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя выходящим из ребячьего возраста: чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверенность ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие: «Ты уже не маленький, ты все понимаешь; как ты об этом думаешь, друг мой?» — и тому подобные выражения, которыми мать, в порывах нежности, уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя, — эти слова возгордили меня, и я начинал свысока посматривать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охоты к уженью. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикрываясь своим детским возрастом, от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма важную причину не откладывать уженья

на пруду: отец сказал мне, что через два дня его запрудят, или, как выражались тогда, *займут заимку*. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков: они навязали их на поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, и в том числе отец поймал четырех щук, а Евсеич — двух.

Заимка пруда, или, лучше сказать, последствие заимки, потому что на пруд меня мать не пустила, — также представило мне много нового, никогда мною не виданного. Как скоро завалили вешняк и течение воды мало-помалу прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела и, кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки, до самого Кивацкого пруда, также спущенного, везде стоял народ, и старый и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб, мальчишек и девчонок; последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета, даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и язиков из-под коряг и из рачьих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались. Раки пресмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно щипали за голые ноги и руки бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок.

Бугуруслан был хотя не широк, но очень быстр, глубок и омутист; вода еще была *жирна*, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в кауз; на другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять преж-

нею глубокою, многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорченье. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, — и получил в ответ, что «нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою». Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто не бранился, но что веселого крику и шуму было много... Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить.

Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усильной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дрогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье, я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы, или *кулиги*, дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или чилизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху; иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кречеток, стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота, — и он показался мне еще прекраснее. Тут только, на горе, почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху! Там пахло стоячею водой, тяжелою сыростью, а здесь воздух был

сух, ароматен и легок; тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже немолодой, мерно и бодро ходит взад и вперед по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами; запряженные в них лошадки казались мелки и слабы, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля; за ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками; ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, повидимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра. Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня.

Отец пошел на вспаханную, но еще не заборонованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, — я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день, от восхода до заката солнечного, бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, — и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать, чтоб меня заставили бороновать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать.

Она смеялась, а я горячился; наконец, она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бороньба — не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать — я позволяю». Через несколько времени действительно мне позволили попробовать бороновать землю. Оказалось, что я никуда не годен: не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом.

Именно в эту пору житья моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее, но это нисколько не значило, чтоб я стал меньше ее любить. Причиною этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной, и потом — мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили; они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что «братец — все, а она — ничего»; но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры, и никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачали светлую доброту ее прекрасной души.

Мать попрежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка, или, лучше сказать, тетушка; мать заказывала только кушанья для себя и для нас; но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что все делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили (кроме Евсеича и Параши),

хотя мать никому и грубого слова не говаривала. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать.

По просухе перебывали у нас в гостях все соседи, большею частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без старушки Мертваго; разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной, даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове: эта мысль постоянно смущала и огорчала меня.

Петр Иваныч Чичагов, так же как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье и собаку, и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и коростелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту; они принесли полные ягдташи дичи. Петр Иваныч все подсмеивался над моим отцом, говоря, что «Алексей Степаныч большой эконом на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички — так это его дело: тут мясца побольше». Отец мой отшучивался, признаваясь, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять — не привык, и что Петр Иваныч, конечно, убил пары четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дроби, которая на будущий год уродится... Петр Иваныч громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иваныч и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа, — так начинал он свой разговор, — как поживают старикашки Сумароков, Херасков и особенно Ломоносов? Что поделывает Карамзин с братией новых стихотворцев?» Это значило, чтоб

я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иваныч над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним; одного только Дмитриева хвалил, хотя не горячо, но безусловно; к сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтенье, или декламация, как он называл, очень его забавляла. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаич особенно любил передразнивать московских трагических актеров — и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение! Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Иванычем Чичаговым. Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманью тогдашних писателей.

Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым: прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенною живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти, очень больному, прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю кем написанные, едва ли не Шатровым. Первого куплета помню только половину:

. . . .
Перлово-сизых облаков.
Иль дав толчок в Кавказ ногами
И вихро-бурными крылами
Рассекши воздух, прилети;
Хвостом сребро-злато-махровым
Иль радужно-гнедо-багровым
Следы пурпурны замети.

Но вдруг картина пременилась,
Услышал стон я голубка;
У Лизы слезка покатилась
Из левого ее глазка.
Катилась по щеке, катилась,
На щечке в ямке поселилась,
Как будто в лужице вода.
Не так-то были в стары веки
На слезы скупы человеки,
Но люди были ли тогда?
Когда... девушке случалось
В разлуке с милым другом быть,
То должно ей о нем, казалось,
Ручьями слезы горьки лить.
Но нынче слезы дорогие
. . . .
Сравнятся ль древние, простые
С алмазной нынешней слезой?

Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Ну, друг мой, — сказал он мне потом с живым и ясным взглядом, — ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума». Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах.

Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки лошков, пескарей и маленьких плотичек по мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслану, до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора; далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день или поутру, или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в грачовую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле, там было очень хорошо: берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень; липовая аллея пересекала остров посередине; она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада; она

служила денным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых, через несколько лет, я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью, на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение; приносила иногда свой «Песенник», читала сама или заставляла меня читать, и как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братией, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова [1].

Мы так нахвалили матери моей прохладу тенистого острова в полдневный зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но, я не знаю почему, только такое осторожное, искусственное обращение с природой расхолодило меня, и мне совсем не было так весело, как всегда бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду; стук толчеи, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным; сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным и, посидев с час, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни; унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. — Тетушка любила делать

---

[1] Песня III. Она начинается так:

Не пастух в свирель играет,
Сидя при речных струях;
Не пастух овец сгоняет
На прекрасных сих лугах...
и проч.

надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа «Софья Николавна посетила остров».

Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы, видел, как полют яровые хлеба: овсы, полбы и пшеницы; видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда не заметен.— Наконец, пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которой я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому «Потаенному колку», состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип, — колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум: то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновенье перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил: «Что это такое?» — «А вот увидишь!» — отвечал отец улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно; когда же мы обогнули его — чудное зрелище поразило мои глаза. Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке: ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху: расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точенья кос деревянными лопаточками, обмазанными глиною с песком, о чем я узнал после.

Когда мы подъехали близко и отец мой сказал обыкновенное приветствие: «Бог помощь» или «Бог на помощь!» — громкое: «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» — огласило поляну, отозвалось в овраге, — и снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами! В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах! Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили: «Что за трава! медведь медведем!» [1] По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того, я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна; на открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха; многие из них хотя еще не покраснели, но были уже мягки и вкусны.

Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький родничок, неслось воркованье диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги; звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та

[1] Я никогда не умел удовлетворительно объяснить себе этого выражения, употребляемого также, когда говорилось о густом, высоком несжатом хлебе: как тут пришел медведь! Я думаю, что словом «медведь» выражалась *сила*, то есть плотнина, вышина и вообще добротность травы или хлеба.

же миловидная, желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны... Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появленье и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованьем своей добычи, но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попáлась бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» — раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы. — Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу; но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтоб рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке, а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, оно смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься.

Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верной моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюденьях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собиранье червячков, бабочек и разных букашек. Врожденную охоту к этому роду занятий и наблюде-

ний и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки «Детского чтения». Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горихвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах; иногда, по неосторожности, мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо; тогда мы, увидя, что уже несколько дней птички в гнезде нет и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным, тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками... Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. — Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись «Римская история Роллена» и «Домашний лечебник Бухана»; а чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками писчей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском (о фосфорическом блеске я знал также из «Детского чтения»), мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов; то же делали мы со всякими червяками, у которых было шестнадцать ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда, к великой нашей радости, в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком: червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали, себя хвостиком к крышке или стенке

ящика, а червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя — и висела или лежала куколка: висела угловатая, с рожками, узорчатото-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида, а лежала всегда темного цвета, настоящая крошечная, точно спеленанная куколка. Я знал, что из первых, висячих, хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых, лежачих, — ночные; но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтоб узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая, куколка; из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка — но радость была необыкновенная!

Наконец, поспела полевая клубника, и ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчала и бранилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезною для своего здоровья и употребляла как лекарство по нескольку раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей, из клубники приготовляли клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может.

В летние знойные дни протягивали по всему двору, от кладовых амбаров до погреба и от конюшен до столярной, длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рогульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбереженья от моли разные платья мужские и женские, шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и проч. Я очень любил все это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, ко-

торого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотом и серебром вышитыми, качающимися от ветра, висячими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкину амбару, выстроенному почти середи двора, перед ее окнами; ее девушка, толстая, белая и румяная Матрена, посаженная на крылечке для караула, крепко спала, несмотря на то, что солнце пекло ей прямо в лицо; около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мехов, шелковых материй, платьев и т. п. Рассмотрев все внимательно, я заметил, что некоторые полотна были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар. Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков, на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины, фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников, чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками; в одном углу лежал громадный пуховик, или, лучше сказать, мешок с пухом; в другом — стояла большая новая кадушка, покрытая белым холстом; из любопытства я поднял холст и с удивлением увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голоса Параши и сестрицы, которые ходили между развешенными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу и, сбегая с крылечка, разбудил Матрену, которая ужасно испугалась, увидя меня выбегающего из амбара. «Что это, сударь, вы там делали? — сказала она с сердцем. — Там совсем не ваше место. Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар». Я отвечал, что не знал этого и сейчас же скажу тетеньке и попрошу у ней позволение все хорошенько разглядеть. Но Матрена перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтоб я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побежденный ее ласками и просьбами, я обещал молчать; но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку, и лукаво улыбалась. Она слышала все и, когда мы отошли подальше от

амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большою точностью и подробностью. Параша слушала неравнодушно, и когда дело дошло до колотого сахару, то она вспыхнула и заговорила: «Вот не диви, мы, рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток или утащим кусочек сахарку; а вот благородные-то барышни что делают, столбовые-то дворянки? Да ведь все, что вы ни видели в амбаре, все это тетушка натаскала у покойного дедушки, а бабушка-то ей потакала. Вишь, какой себе муравейник в приданое сгоношила! Сахар-то лет двадцать крадет да копит. Поди, чай, у нее и чаю и кофею мешки висят?..» Вдруг Параша опомнилась и точно так же, как недавно Матрена, принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтоб я ничего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках, она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в Старое Багрово, да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николавна узнает об ее глупых речах. «Лукавый меня попутал, — продолжала она, утирая слезы, — за сердце взяло: жалко вас стало! Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели... Ну, пропала я совсем!» — вскрикнула она, вновь заливаясь слезами. Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьке, но Параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова. «Вот моя умница, — сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу, — она уж ничего не скажет на свою няню». Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал «ей-богу» в первый раз в моей жизни, хотя часто слыхал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довесть до божбы, которую мать моя строго осуждала!

Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года и как я потом раскаивался, но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрены и об ее просьбе ничего не сказывать

тетушке. Я скрыл только слова Параши. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне: «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен, и в наказание за свою вину ты должен теперь солгать, то есть утаить от своей тетушки, что был в ее амбаре, а не то она прибьет Матрешу». Слово «прибьет» меня смутило; я не мог себе представить, чтоб тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить Матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснения, если б не был взволнован угрызением совести, что я уже солгал, утаил от матери все, в чем просветила меня Параша. Целый день я чувствовал себя как-то неловко; к тетушке даже и не подходил, да и с матерью оставался мало, а все гулял с сестрицей или читал книжку. К вечеру, однако, я придумал себе вот какое оправдание: если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар, для того, чтоб она не побила Матрешу, то я должен утаить от матери слова Параши, для того, чтоб она не услала ее в Старое Багрово. Я совершенно успокоился и весело лег спать.

Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молнией и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. Я порядочно трусил, хотя много читал, что не должно бояться грома; но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили. После грозы, быстро пролетавшей, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье; все удивлялись и спрашивали меня о причине, — я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог. Вследствие таких частых, хотя непродолжительных, перемок необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в Потаенном колке *мост-мостом*, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно *ломить* грузди.

В тот же день, сейчас после обеда, они решились отправиться в лес, в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин. Мне очень было неприятно, что в продолжение всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, и так, только для пробы, спросил весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли, маменька, и мне поехать за груздями?» К удивлению моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне: «Только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожалуй, как займутся груздями, то тебя потеряют». Обрадованный неожиданным позволением, я отвечал, что ни на одну минуточку не отлучусь от отца. Отец несколько смутился и, как мне показалось, даже покраснел. Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед. Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине; все молчали, но только съехали со двора, как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтовню и хохот; когда же отъехали от дому с версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала. Все были необыкновенно шутливы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слыхал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная Матреша имела чудесный голос и была *запевалой*. После известного приключения в тетушкином амбаре, удостоверившись в моей скромности, она при всяком удобном случае осыпала меня ласками и называла «умницей» и «милым барином». Когда мы подъехали к лесу, я подбежал к Матреше и, похвалив ее прекрасный голос, спросил: «Отчего она никогда не поет в девичьей?» Она наклонилась и шепнула мне на ухо: «Матушка ваша не любит слушать наших деревенских песен». Она поцеловала меня и убежала в лес.

Я очень пожалел о том, потому что песни и голос Матреши заронились мне в душу. Скоро все разбрелись по лесу в разные стороны и скрылись из виду. Лес точно ожил: везде начали раздаваться разные веселые восклицания,ауканье, звонкий смех и одиночные голоса многих песен; песни Матреши были громче и лучше всех, и я долго различал ее удаляющийся голос. Евсеич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пядь, ходили по молодому лесу, неподалеку друг от друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала: «Здесь непременно должны быть грузди, так и пахнет груздями, — и вдруг закричала: — Ах, я наступила на них!» Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она стала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзинку. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей; мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних полусгнивших листьев, проросших всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно любовался молодыми груздями, говоря мне: «Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их, — они хрупки и ломки. Посмотри: точно пухом снизу-то обросли и как пахнут!» В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень миловидны и издавали острый запах. — Наконец, побродив по лесу часа два, мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад, к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать: «Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!» Некоторые голоса ему откликались. Мы не вдруг нашли свои дроги, или роспуски, и еще долее бы их проискали, если б не заслышали издали фырканья и храпенья лошадей. Крепко привязанные к молодым дубкам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух, слепней и строки; последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусанья места на животном, не защищенные волосами. Бедные

лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясенье все свое тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей. Форейтор, ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал преспокойно под тенью дерева. Отец побранил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки, с лукошками, полными груздей, скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дроги. Она поместилась на запятках с своим кузовом, а дорогой спела нам еще несколько песен, которые слушал я с большим удовольствием. — Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья Евсеича и Матрены, полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности; она любила кушать их жаренные в сметане, отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго, с детской радостью, разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус: она охотница была кушать всмятку несвежие яйца, а грибы любила старые и червивые, и, найдя в кузове Матреши пожелтелые трухлявые грузди, она сейчас же послала их изжарить на сковороде.

Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкою какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос Матреши и как всем было весело; но я не сказал ни слова о том, что Матреша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений, точно кто шепнул мне, чтоб я не говорил; но после я задумался и долго думал о своем поступке, сначала с грустью и раскаяньем, а потом успокоился и даже уверил себя, что маменька огорчилась бы словами Матреши и что мне так и должно было поступить. Я очень

хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту я это предчувствовал. Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного, и я, сам не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство. Забывая, или, лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену и, не входя в объяснения, сама была со мною еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее, — я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям. Так шло время до самого нашего отъезда.

Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово к Прасковье Ивановне, которая непременно хотела, чтоб мать увидела в полном блеске великолепный, семидесятинный чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамот. Отцу моему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю как начали жать рожь, а между тем уже подоспел ржаной сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже, и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила: «Проказница, право, Прасковья Ивановна! Приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось! На меня, Алеша, не надейся, — я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану: больно речист». Все это мой отец понимал очень хорошо, но ослушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещания — было невозможно. Отец хотел только оттянуть подалее время отъезда, вместо 1 августа ехать 10-го, основываясь на том, что все лето были дожди и что яблоки поспеют только к успеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Прасковьи Ивановны, который писал, что, по тяжебному делу с Богдановыми, отцу моему надобно приехать немедленно в Симбирск и что

Прасковья Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софью Николавну просит поторопиться. Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно, отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровом и со всеми его удовольствиями, с удочкой, с ястребами, которыми только что начинали травить, а всего более — с мохноногими и двухохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Куроедов, богатый сосед тетушки Аксиньи Степановны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степановна была радехонька такому зятю, но по молодости невесты (ей было ровно пятнадцать лет) отложила совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до голубей и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец и Евсеич, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью; клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал, чтоб посмотреть — довольно ли корму у моих голубей и есть ли вода в корытце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркованье. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне со всем этим расставаться? Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово. Но я видел, что мать сбиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас, пригласили к ней Елизавету Степановну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращенья, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены, и 2 августа, после утреннего чаю, распростившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечение маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же, знакомой читателям, аглицкой мурзахановской карете и, разумеется, на своих лошадях.

ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА В ЧУРАСОВО

Ровно через три года представлялся мне случай снова испытать впечатление дальней летней дороги. Три года для восьмилетнего возраста значат очень много, и можно было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной, живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но вышло не совсем так. Три года тому назад, уезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, я точно вырывался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые, не виданные мною, предметы и явления в природе; самое Багрово, по рассказам отца, представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные «Счастливые острова», которые открывал Васко де Гама в своем мореплавании, о которых читал я в «Детском чтении». В настоящую же минуту я оставлял Багрово, которое уже успел страстно полюбить, оставлял все мои охоты — и ехал в неприятное мне Чурасово, где ожидали меня те же две комнаты в богатом, но чужом доме, которые прежде мы занимали, и те же вечные гости. Сад с яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал; ни уженья, ни ястребов, ни голубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и все говорить, что захочется; вдобавок ко всему, я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною так, как в Багрове, потому что ей будет некогда, потому что она или будет сидеть в гостиной, на балконе, или будет гулять в саду с бабушкой и гостями, или к ней станут приходить гости; слово «гости» начинало делаться мне противным... Такие мысли бродили у меня в голове, и я печально сидел рядом с сестрицей, прижавшись в угол кареты. Отец также был печален; ему так же, как и мне, жалко было покинуть Багрово, и еще более грустно ему было расстаться с матерью, моей бабушкой, которая очень хизнула в последнее время, как все замечали, и которую он очень горячо любил. Но моя мать была довольна, что уехала из Багрова: она не любила его и всегда говорила, что все ее болезни происходят от низкого и сырого местоположения этой деревни. После довольно

долгого молчания мать обратилась ко мне и сказала: «Что ты забился в угол, Сережа? Ничего не говоришь и в окошко не смотришь?» Я отвечал, что мне жалко Багрова, — и высказал все, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрова, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато множество чудесных родников, которые бьют из горы и бегут по камешкам; что в Чурасове такой сад, что его в три дня не исходишь, что в нем несколько тысяч яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками; что какие там оранжереи, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что, наконец, там есть еще много книг, которых я не читал. Все это мать говорила с жаром и с увлечением, и все это в то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против ее похвал ни одного слова; мой ум был совершенно побежден, но сердце не соглашалось, и когда мать спросила меня: «Не правда ли, что в Чурасове будет лучше?» — я ту ж минуту отвечал, что люблю больше Багрово и что там веселее. Мать улыбнулась и сказала: «Ты еще мал и ничего, кроме Багрова, не видывал, а когда поживешь летом в Чурасове, так заговоришь другое». Я отвечал, что всегда буду то же говорить. «Ты еще глуп», — возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало еще грустнее. Под влиянием таких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога.

Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность всего пути была мне совершенно неизвестна. Во-первых, потому, что тогда стояла зима, а зимой под сугробами снега ничего не увидишь и не заметишь; во-вторых, потому, что летняя дорога отчасти шла по другим, более степным местам. В первый же день мы ночевали возле татарской деревни Байтуган, на берегу полноводной и очень рыбной реки Сок. Разумеется, под каретой были подвязаны четыре удочки с удилищами; мы с отцом и Евсеичем успели поудить и выудили много прекрасных окуней, что несколько успокоило наше общее грустное состояние духа.

На другой или на третий день, хорошенько не помню, приехали мы поутру в огромную слободу пахотных солдат, называемую Красным поселением, расположен-

ную на реке Кондурче, которая была немного поменьше Сока, но так же красива, омутиста и рыбна. Съехав с дороги, мы остановились кормить у самого моста. Эта кормежка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и переставали тосковать о Багрове. Мать, которой, без сомнения, наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась еще более развеселить нас; сама предложила нам пойти удить на мельницу, которая находилась в нескольких десятках шагов, так что шум воды, падающей с мельничных колес, и даже гуденье жерновов раздавалось в ушах и заставляло нас говорить громче обыкновенного. Не успели мы выпрячь лошадей, как прибежали крестьянские мальчики из Красного поселения и принесли нам множество крупных раков, которые изобильно водились в небольших озерах по Кондурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную цену: мы запаслись ими для уженья — и не понапрасну. Отец и Евсеич выудили на раковые сырые шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы, особенно окуней и небольших жерихов, которые брали беспрестанно в глубокой яме под вешняком, около свай и кауза. К прискорбию моему, я не мог участвовать в такого рода уженье: оно было мне еще не по летам, и на маленькую свою удочку таскал я маленьких рыбок на мелком, безопасном месте, сидя на плотине. Когда мы весело возвращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу с радостным криком и с полоскательной чашкой спелой ежевики, которую набрала она (то есть Параша) по кустам мелкой уремы, растущей около живописной Кондурчи.

Мать чувствовала себя здоровою и была необыкновенно весела, даже шутлива. В тени кареты накрыли нам стол, составленный из досок, утвержденных на двух отрубках дерева, принесли скамеек с мельницы, и у нас устроился такой обед, которого вкуснее и веселее, как мне казалось тогда, не может быть на свете. Когда моя мать была здорова и весела, то все около нее делались веселы; это я замечал уже и прежде. За этим обедом я совершенно забыл об оставленном Багрове и прими-

рился с ожидающим меня Чурасовым. Я был уверен, что и мой отец чувствовал точно то же, потому что лицо его, как мне казалось, стало гораздо веселее; даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же резвилась и болтала, как иногда без нее.

На следующий день поутру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место. Пересыхающая во многих местах речка Берля, запруженная навозною плотиной, без чего летом не осталось бы и капли воды, загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасива, к тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб; кое-где торчали высокие коромыслы колодцев, но вода и в них была мутна и солодковата. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз, только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копен старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычанье коров и блеянье овец долго раздавалось в вечернем воздухе. Отец мой сказал, что еще бо́льшая половина разного скота ночует в поле. Он с восхищением говорил о хлебородной вишенской земле, состоящей в иных местах из трехаршинного чернозема. Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: «Все у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне». Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Все вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы

за ними, лес-то весь повырубили, родники затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг — ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник — и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе». — Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал, чтобы Медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от нее приказание.

Флигель, в котором мы остановились, был точно так же прибран к приезду управляющего, как и прошлого года. Точно так же рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. На другой картине так же лежали синие виноградные кисти в корзине, разрезанный красный арбуз с черными семечками на блюде и наливные яблоки на тарелке. Но я заметил перемену в себе: картины, которые мне так понравились в первый наш приезд, показались мне не так хороши.

После обеда отец мой ездил осматривать хлебные поля; здесь уже кончилось ржаное жнитво, потому что хлеб в Вишенках поспевает двумя неделями ранее, зато здесь только что начинали сеять господскую рожь, а в Багрове отсевались. Здесь уже с неделю, как принялись жать яровые: пшеницы и полбы. Поля были очень удалены, на каком-то наемном участке в «Орловской степи» [1]. Мать не пустила меня, да и отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь.

На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан, в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязали удочки, достали червей и, по рассказам мальчишек, удивших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, «где рыба так и хватает,

---

[1] Название «Орловской степи» носила соседственная с Вишенками земля, отдаваемая внаймы от казны, но прежде принадлежавшая графу Орлову.

даже берут стерляди», как явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшею просьбою *откушать* у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно; прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Боже мой! Какой это был для меня удар, и вовсе неожиданный! Мелькнула было надежда, что нас с сестрицей не возьмут, но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтоб я не подбежал к берегу и не упал в воду, а как сестрица моя к реке не пойдет, то приказала ей остаться, а мне переодеться в лучшее платье и отправляться в гости. Скоро приехала щегольская коляска, заложенная четверкой, с форейтором и с двумя лакеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись; мать, устроив себе уборную в лубочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такою нарядною, какою я очень давно ее не видел. Как она была хороша, как все ей шло к лицу! Перебирая в памяти всех мне известных молодых женщин, я опять решил, что нет на свете никого лучше моей матери!

Посередине большой площади, с двух боков застроенной порядками крестьянских изб, стояла каменная церковь, по-тогдашнему новейшей архитектуры. Каменный двухэтажный дом, соединяющийся сквозными колоннадами с флигелями, составлял одну сторону четырехугольного двора с круглыми башнями по углам. Все надворные строения служили как бы стенами этому двору; бесконечный старый сад, с прудами и речкою, примыкал к нему с одного бока; главный фасад дома выходил на реку Черемшан. Я ничего подобного не видывал, а потому был очень поражен и сейчас приложил к действительности жившие в моей памяти описания рыцарских замков или загородных дворцов английских лордов, читанные мною в книгах. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного. Мы въехали на широкий четвероугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы: они были окружены широкими красивыми цвет-

никами с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями и еще великолепнейшая лестница, посередине устланная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами, превзошли мои ожидания, и я из дворца английского лорда перелетел в очарованный замок Шехеразады. В зале встретил нас хозяин, самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную.

Обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах — все было так богато, так роскошно, что чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с никольским дворцом. При первых расспросах узнав, что мать оставила мою сестрицу на месте нашей кормежки, гостеприимный хозяин стал упрашивать мою мать послать за ней коляску; мать долго не соглашалась, но принуждена была уступить убедительным и настоятельным его просьбам. Между тем Дурасов предложил нам посмотреть его сад, оранжереи и теплицы. Нетрудно было догадаться, что хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями; он прямо говорил, что у него в Никольском все отличное, а у других дрянь. «Да у меня и свиньи такие есть, каких здесь не видывали; я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю.» — Отец с матерью согласились, и мы пошли. В самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждая величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их и называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны!» — Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям: диковинных цветов, растений, винограду и плодов было великое множество. Хозяин поспешил нам сказать, что это фрукты поздней приста-

новки и что ранней — все давно сошли. Тут Параша привела мою милую сестрицу, которая, издали увидев нас, прибежала к нам бегом, а Параша проворно воротилась. Дурасов рвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Он очень обласкал мою сестрицу, которая была удивительно как смела и мила, называл ее красавицей и своей невестой... Это напомнило мне давнопрошедшие истории с Волковым; и, хотя я с некоторой гордостью думал, что был тогда глупеньким дитятей, и теперь понимал, что семилетняя девочка не может быть невестой сорокалетнего мужчины, но слово «невеста» все-таки неприятно щекотало мое ухо.

Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать: «Кто это?» — и она успела шепнуть мне, что это *главный официант*. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал матери моей, а другою повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно: посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами; граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принесть для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которою заранее хвалился хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей России, как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши! Передо мною открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу лю-

дей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами и откуда вылетали чудные, восхитительные волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары... Хозяин, заметя мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха простынет. Но я и не думал об еде. Матери моей было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, мое изумление, и она шепнула мне, чтоб я перестал смотреть на музыкантов, а ел... Трудно было мне вполне повиноваться! Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня.

Не много съел я диковинной ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел, как вдруг на возвышении показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах; держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели (я отвечал им поклоном) и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло: слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матреша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не привлек на себя внимания хозяина. Прежним порядком воротились мы в гостиную. После кофе Дурасов предложил было нам катанье на лодке с роговой музыкой по Черемшану, приговаривая, что «таких рогов ни у кого нет», но отец с матерью не согласились, извиняясь тем, что им необходимо завтра рано поутру переправиться через Волгу. Дурасов не стал долее удерживать; очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет.

Воротясь, мы поспешили переодеться и пуститься в дальнейший путь. Во всю дорогу, почти до самой ночевки, я не переставал допрашивать отца, и особенно мать, обо всем слышанном и виденном мною в этот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Наконец, я так надоел матери, что она велела мне более не расспрашивать ее об Никольском. Я обратился к отцу и вполголоса продолжал говорить с ним о том же, сообщая при случае и мои собственные замечания и догадки. Вполне не разрешенными вопросами остались: отчего вода из фонтана била вверх? отчего солнечные часы показывают время? как они устроены? и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты? Когда же я спросил, кто такие эти красавицы барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пенью в Москве. Что же они такое пели и на каком языке — этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недальний, необразованный и в то же время самый тщеславный, что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошно и пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить, а как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев и французов, но, увидя, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того чтобы он завел в его Никольском все на барскую ногу; что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи; что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжается к нему вся губерния. Мать пожурила меня, зачем я был так смешон, когда услышал музыку: «Ты точно был крестьянский мальчик, который сроду ничего не видывал, кроме своей избы, и которого привели в господский дом». Я отвечал, что я точно сроду ничего подобного не видывал и потому и был так удивлен. Мать возразила, что не надобно показывать своего удивления, а я спросил, для чего не надобно его показывать. «Для того, что это было смешно, а мне стыдно за тебя», — сказала мать. У меня вертелось на уме и на языке новое возражение в виде вопроса, но я заметил, что мать

сердится, и замолчал; мы же в это самое время приехали на ночевку в деревню Красный Яр, в двенадцати верстах от Симбирска и в десяти от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз на солнечном восходе, чтоб переправиться через реку в тихое время, потому что каждый день, как только солнышко обогреет, разыгрывался сильный ветер.

Проснувшись рано поутру, я увидел, что наша карета отпряжена и стоит на отлогом песчаном берегу. Солнышко только что взошло. Было очень прохладно, и даже в карете пахло какой-то особенной свежей сыростью, которая чувствуется только на песчаных берегах больших рек. Это совсем не то, что сырость от прудов или болот, всегда имеющая неприятный запах. Двухверстная быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись, как узоры, следы сбежавших волн, и можно было видеть, как хлестали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки. Стаи мартышек с криком вились над водой, падая иногда на нее и ныряя, чтоб поймать какую-нибудь рыбку. Симбирск с своими церквами и каменным губернаторским домом, на высокой горе, покрытой сплошными плодовитыми садами, представлял великолепный вид; но я мало обращал на него вниманья. Около меня кипела шумная суматоха. На перевозе ночевало много народу, и уже одна большая завозня, битком набитая лошадьми и телегами с приподнятыми передками и торчащими вверх оглоблями, чернелась на середине Волги, а другая торопливо грузилась, чтобы воспользоваться *благополучным временем*. Перевозчиков из деревни Часовни, лежащей на берегу, набежало множество, предлагая нам свои услуги. У них был какой-то староста, который говорил моему отцу, чтоб он не всем верил, и что многие из них вовсе не перевозчики, и чтобы мы положились во всем на него. Нагрузилась до последней возможности и другая завозня, отвязали причалы, оттолкнулись от пристани и тихо пошли на шестах вверх по реке, держась около берега. Подвели третью завозню,

самую лучшую и прочную, как уверяли, поставили нашу карету, кибитку и всех девять лошадей. Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали; привязать их к карете или перекладинам, которыми с двух сторон загораживали завозню, было невозможно, и каждую пару держали за поводья наши кучера и люди: с нами остались только Евсеич да Параша. Никому из посторонних не позволили грузиться, и вот тронулась и наша завозня, и тихо пошла вверх, также на шестах. «Взводись выше, молодцы! — кричал с берега староста. — Надо убить прямо на перевоз». Неравнодушно смотрел я на эту картину и со страхом замечал, что ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее и что поверхность Волги беспрестанно меняла свой цвет, то темнела, то светлела, — и крупная рябь бесконечными полосами бороздила ее мутную воду. Проворно подали большую косную лодку, шестеро гребцов сели в весла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это легкое судно; мы расселись по лавочкам на самой его середине, оттолкнулись, и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла, сначала также вверх; но, проплыв сажен сто, хозяин громко сказал: «Шапки долой, призывай бога на помочь!» Все и он сам сняли шапки и перекрестились; лодка на минуту приостановилась. «С богом, на перебой, работайте, молодцы», — проговорил кормщик, налегши обеими руками и всем телом на рукоятку тяжелого кормового весла; опустя ее до самого дна кормы и таким образом подняв нижний конец, он перекинул весло на другую сторону и повернул нос лодки поперек Волги. Гребцы дружно легли в весла, и мы быстро понеслись. Страх давно уже овладевал мною, но я боролся с ним и скрывал, сколько мог; когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на *стрежень* реки и страшная громада воды, вертящейся кругами, стремительно текущей с непреодолимою силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку, нашу косную лодочку, — я не мог долее выдерживать, закричал, заплакал и спрятал свое лицо на груди матери. Глядя на меня, заплакала и сестрица. Отец смеялся, называя меня трусишкой, а мать, которая

и в бурю не боялась воды, сердилась и доказывала мне, что нет ни малейшей причины бояться. Пролежав несколько времени с закрытыми глазами и понимая, что это стыдно, я стал понемногу открывать глаза и с радостью заметил, что гора с Симбирском приближалась к нам. Сестрица уже успокоилась и весело болтала. Страх мой начал проходить, подплывая же к берегу, я развеселился, что всегда со мной бывало после какого-нибудь страха. Мы вышли на крутой берег и сели на толстые бревна, каких там много лежало. Завозня с нашей каретой плыла еще посредине Волги; маханье веслами казалось издали ребячьей игрушкой и, повидимому, нисколько завозни к нам не приближало. Ветер усиливался, карета парусила, и все утверждали, что наших порядочно снесет вниз. Около нас, по крутому скату, были построены лубочные лавочки, в которых продавали калачи, пряники, квас и великое множество яблок. Мать, которая очень их любила, пошла сама покупать, но нашла, что яблоки продавались не совсем спелые, и сказала, что это все *падаль;* кое-как, однако, нашла она с десяток спелых и, выбрав одно яблоко, очень сладкое, разрезала его, очистила и дала нам с сестрицей по половинке. Я вообще мало едал сырых плодов, и яблоко показалось мне очень вкусным. В ожидании завозни отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к прорезям и привез целую связку нанизанных на лычко стерлядей, чтоб в Симбирске сварить из них уху. Я и не думал проситься с отцом: меня бы, конечно, не пустили, да я и сам боялся маленькой лодочки, но зато я с большим удовольствием рассмотрел стерлядок; живых мне еще не удавалось видеть, и я выпросил позволение подержать их по крайней мере в руках. В ближайшей церкви раздался благовест, и колокольный звон, которого я давно не слыхал и как-то даже мало замечал в Уфе, поразил мое ухо и очень приятно отозвался у меня в душе. Наконец, и наша завозня с каретой и лошадьми, которую, точно, несколько снесло, причалила к пристани; экипажи выгрузили и стали запрягать лошадей; отец расплатился за перевоз, и мы пошли пешком на гору. Симбирская гора, или, лучше сказать, подъем на Симбирскую гору, высокую,

крутую и косогористую, был тогда таким тяжелым делом, что даже в сухое время считали его более затруднительным, чем самую переправу через Волгу; во время же грязи для тяжелого экипажа это было препятствие, к преодолению которого требовались неимоверные усилия; это был подвиг, даже небезопасный. По счастью, погода стояла сухая. Когда мы взошли на первый взлобок горы, карета догнала нас; чтобы остановиться какнибудь на косогоре и дать вздохнуть лошадям, надобно было подтормозить оба колеса и подложить под них камни или поленья, которыми мы запаслись: без того карета стала бы катиться назад. Потом все взошли, пешком же, на другую крутизну, на которой также коекак остановили карету. Мать устала и не могла более идти и потому со мной и с моей сестрицей села в экипаж, а все прочие пошли пешком. Крепкие и сильные наши лошади были все в мыле и так тяжело дышали, что мне жалко было на них смотреть. Таким образом, останавливаясь несколько раз на каждом удобном месте, поднялись мы благополучно на эту исполинскую гору [1]. У бабушки Прасковьи Ивановны был свой дом в Симбирске, в который она, однако, никогда не въезжала. Мы остановились в нем. Дом был по-тогдашнему прекрасный, хорошо убран и увешан картинами, до которых покойный Михайла Максимыч, как видно, был большой охотник. Если б я не видел Никольского, то и этот дом показался бы мне богатым и роскошным; но после никольского дворца я нашел его не стоящим внимания.

Отец с матерью ни с кем в Симбирске не виделись; выкормили только лошадей да поели стерляжьей ухи, которая показалась мне лучше, чем в Никольском, потому что той я почти не ел, да и вкуса ее не заметил: до того ли мне было!.. Часа в два мы выехали из Симбирска в Чурасово, и на другой день около полден туда приехали.

Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась; особенно она ласкала мою мать

---

[1] Впоследствии этот въезд понемногу срывали, и он год от году становился положе и легче; но только недавно устроили его окончательно, то есть сделали вполне удобным, спокойным и безопасным.

и говорила ей: «Я знаю, Софья Николавна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору; да, чай, и Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают. Как нарочно, урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до яблок?» Мать с искреннею радостью обнимала приветливую хозяйку и говорила, что если б от нее зависело, то она не выехала бы из Чурасова. Александра Ивановна Ковригина также очень обрадовалась нам и сейчас послала сказать Миницким, что мы приехали. Гостей на этот раз никого не было, но скоро ожидали многих.

Прасковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен: яблони в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью; под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными, красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Прасковья Ивановна была неутомимый ходок; она водила нас до самого обеда то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какой-то длинною рогулькою лучшие спелые яблоки и потчевала нас. Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка, наконец, перестала потчевать, говоря: «Ты этак, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Прасковья Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смеялась,

так ласково на нас смотрела, что я полюбил ее гораздо больше прежнего. Она показалась мне совсем другою женщиной, как будто я в первый раз ее увидел. Мы попрежнему заняли кабинет и детскую, то есть бывшую спальню, но уже не были стеснены постоянным сиденьем в своих комнатах и стали иногда ходить и бегать везде; вероятно, отсутствие гостей было этому причиной, но впоследствии и при гостях продолжалось то же. На другой день приехали из своей Подлесной Миницкие, которых никто не считал за гостей. Они встретились с моим отцом и матерью, как искренние друзья. Точно так, как и вчера, мы все вместе с Миницкими до самого обеда осматривали остальную половину сада, осмотрели также оранжереи и грунтовые сараи; но Прасковья Ивановна до них была небольшая охотница. Она любила все растущее привольно, на открытом, свежем воздухе, а все добытое таким трудом, все искусственное ей не нравилось; она только *терпела* оранжереи и теплицы, и то единственно потому, что они были уже заведены прежде. В чурасовском саду всего более нравились мне родники, в которых я находил, между камешками, множество так называемых чертовых пальцев необыкновенной величины; у меня составилось их такое собрание, что не помещалось на одном окошке. Впрочем, это удовольствие скоро мне наскучило, а яблонный сад — еще более, и я стал с грустью вспоминать о Багрове, где в это время отлично клевали окуни и где охотники всякий день травили ястребами множество перепелок. Гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большею свободою, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как то: «Векфильдский священник», «Герберт, или Прощай богатство». Особенно понравилась мне своей таинственностью «Железная маска»: интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие, как уверял сочинитель.

Отец мой, побывав в Старом Багрове, уехал хлопотать по делам в Симбирск и Лукоянов. Он оставался там опять гораздо более назначенного времени, чем мать очень огорчалась.

Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году.

В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе, потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою, а в диванной сидели все неиграющие, по большей части молодые; в ней было всегда шумнее и веселее, даже пели иногда романсы и русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хованского, которую очень любила петь сама Прасковья Ивановна. Вот эти куплеты:

Пастухи бегут ко стаду,
Всяк с подружкою своей;
Мне твердят лишь то в досаду:
Нет, здесь нет твоих друзей.

На поля зефиры мчатся
И опять летят с полей;
Шумом их слова твердятся:
Нет, здесь нет твоих друзей.

Травка, былие, цветочек,
Желты класы, вид полей,
Всякий мне твердит листочек:
Нет, здесь нет твоих друзей.

Так, их нет со мной, конечно,
Нет друзей души моей:
Я мучение сердечно
Без моих терплю друзей.

И эти бедные вирши (напечатанные, кажется, в «Аонидах») не только в пении, где мелодия и голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление. Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением; окружающие хвалили меня. Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая ее песня. Она заставила меня прочесть ее вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться ее особенной благосклонностью.

Чурасовская лакейская и девичья попрежнему, или даже более, возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтоб предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни

с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параше было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнешь и глаз не зажмуришь, и услыхав или увидав кое-что новое и любопытное — захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, чтоб не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параши, а главное, опасаясь, что мать будет бранить меня, я не все рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тетушке Татьяне Степановне о моем посещении ее заповедного амбара. Дети необыкновенно памятливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого ободрительного слова.

Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чем говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках? Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно очень смешные, потому что все смеялись, казались мне незанимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были: Александр Михайлыч Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырем; и в самом деле редко можно было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен; грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится; нрав имел он горячий и веселый; нередко показывал он свою

богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как легкими шариками. Один раз, в припадке веселости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну и начал метать ею, как ружьем, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому; но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Н. Н. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой: он шутил беспрестанно, и я часто слыхал выражение, что он «мертвого рассмешит». Но повторяю, что все это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, А. П., была мне ровесница и так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Ив. М. Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас выходили прежаркие споры. Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтоб отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил кн. Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился [1], особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так:

Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, скуки изнываешь.
Ты беден — следственно, терпи.

Блаженство даром достается
Таким, как ты, — на небеси;
А здесь с поклона все дается,
Ты беден — следственно, терпи! и пр.

[1] Надобно признаться, что и теперь, не между детьми, а между взрослыми, заслуженными литераторами и дилетантами литературы, очень часто происходит точно то же.

Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго: на мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова, под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, а Миницкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет: «Все так, да мне луна милей». Вот как мы это делали:

Я

Луч солнца греет и питает;
Что может быть его светлей?
Он с неба в руды проникает...

Миницкая

Все так, да мне луна милей.

Я

Когда весной оно проглянет
И верх озолотит полей,
Все вдруг цвести, рождаться станет...

Миницкая

Все так, да мне луна милей... и пр. и пр.

Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я — окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова:

Вперед не спорь, да будь умнее
И знай, пустая голова,
Что всякой логики сильнее
Любезной женщины слова.

Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передавая мои литературные убеждения, наконец довел свою противницу до некоторой уступки; она защищала кн. Долгорукова его же стихом и говорила нараспев звучным голоском своим, не заботясь о мере:

Все так, да Долгорукой мне милей!

Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшее мою мать, заставило Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходоком по тяжебным делам: он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставя вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал *по приказанию тетушки*. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней, при мне, мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тетушка, вашу волю; но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это все вздор и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось: недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в сенате (это говорил и наш Пантелей), что тратиться в низших судебных местах — напрасный убыток, потому что, в случае выгодного для нас решения, противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в сенат и что теперь это самое следует сделать нам, — нисколько не успокоивали моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьич в Багрове.

Между тем наступал конец сентября и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба, но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое, — говорила она, — матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас

к вашему празднику, к знаменью». Отец мой докладывал, что до знаменья, то есть до 27 ноября, еще с лишком два месяца и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню».

Как ни хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как ни хотелось ему в Багрово, в свой дом, в свое хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль ослушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчен не меньше отца. С каждым днем более и более надоедала мне эта городская жизнь в деревне; даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошел уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. П. И. Миницкий и А. И. Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить ее, чтоб она нас отпустила или по крайней мере хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй бы, отпустила, да это огорчит Софью Николавну, а я так ее люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу ее огорчить». Делать было нечего. Отложили мысль об отъезде, попринудили себя, и веселая чурасовская жизнь потекла попрежнему. Пришел покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтоб не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень больна». Слезы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидя, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я; но отец рассказал ей, в чем состояло дело, рассказал также и свой сон,

только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не *дурной* и что «праздничный сон — до обеда». Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать: «Как же это маменька всегда говорила, что глупо верить снам и что все толкования их — совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон? Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда». Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние: началась служба, священник и дьякон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе с своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез нарочный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись; он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились; но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем; если вы не пустите Софью Николавну, то я поеду один, на перекладных, в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтоб распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали; тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день и ночь ехать на переменных. Матушка как опомнится на минутку, то все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник

приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала; молчали и все. Потом, сказав: «Боже сохрани и помилуй, если он не застанет матери!» — встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К покрову отец обещал приехать, в покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, — до обеда сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не бог ли посылает их? И я долго верил им, хотя, правду сказать, мои сны никогда не сбывались.

Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать. Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость божию. «Я надеюсь,— между прочим сказала она, — что господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живою и что в день покрова божией матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни». Отец мой как будто несколько ободрился от ее слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу. После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь богу, сказала: «Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степаныча за исполнение моего желанья и за послушание. А тебя, Софья Николавна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне...»

Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний, мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина; никто не говорил ни одного слова.

ОСЕННЯЯ ДОРОГА В БАГРОВО

На другой день, часов в десять утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная: по временам шел мелкий, осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее: гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга... страшно вообразить, что такое была Волга! Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые и бурые около песчаных отмелей и черные посередине реки; она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала; волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли *беляки:* так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути — леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков; сейчас явилось несколько человек

и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем, в ожидании этого благополучного часа, стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли; он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что «оно конечно, доставить можно, да будет маленько страховито; лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются». Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я «дрянь, трусишка!» «Ну, посмотри на сестру, — продолжал он, — ведь тебе стыдно! Она девочка, а не плачет и не просит, чтоб остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили ее: «Ты не боишься? хочешь ехать?» — она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени; наконец, хозяин сказал: «Али до утра, ваше благородие? На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла на перебой, а уж таперь ниже пристани. Версты две снесет. Придется им заночевать у Гусиной Луки [1] и завтра

---

[1] Гусиною Лукою назывался длинный залив позади песчаной косы.

навряд им добиться до пристани прежде вас». Эти слова порешили дело. Но теперь возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть? Платье, подушки, постели, съестные припасы — все было отправлено на ту сторону, а утренней зари надо дожидаться часов двенадцать. Хозяин вывел нас из затруднения: он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением; дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин: под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец; он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен и весьма полезен всем нам; но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене.

Чуть брезжилось, когда нас разбудили; даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из теплого гнездушка идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку!.. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань: красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтоб было тихо: резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив ни мертв. Мы недолго взводились вверх и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием, лодка летела; но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подыматься носом кверху, то опускаться кормою вниз; я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно, берег был уже близок, но в

лодке происходила суматоха, которой я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое гребцов выливали воду, один — каким-то длинным ковшом, а другой — шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол и подмочила нам ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, накинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах ты, разбойник, — говорил мой отец, — как мог ты подать нам худую лодку! Ведь ты нас едва не утопил! Да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему?» Бедный наш кормщик, стоя без шляпы и почтительно кланяясь, говорил: «Помилуйте, ваше благородие, разве я этому делу рад, разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами. Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую; только большим господам ее дают. Всего раз десять была в деле. С успеньева дня ее и не трогали. Воды не было ни капли, как мы поехали. Ума не приложу, отчего такая беда случилась. Я, вестимо, без вины виноват. Помилосердуйте, простите, заставьте за себя век бога молить...» — и он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают его вину и жаловаться не будут.

Завозни нашей с каретой еще у пристани не было: предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, отчего потекла наша лодка; ее вытащили на берег, обернули вверх дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым; дыра была пальца в два шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и, наконец, порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водою, и в тихую погоду можно было плавать на лодке безопасно, но гребни высоких валов попадали в дыру. Если б недоглядели и не принялись вовремя выливать воду, лодка наполнилась бы ею, села

глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь, отвращение от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец, приплыла наша завозня; она точно ночевала у Гусиной Луки, на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули завозню. Нас ожидала новая остановка и потеря времени: надо было заехать в деревню Часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели.

Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропадало даром, и беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокоивать, что всегда, бывало, делывал отец с нею, и я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой и что грешно роптать на них, потому что их посылает бог, что, напротив, мы должны благодарить его за спасение нашей жизни... Но я не умею так рассказать, как она говорила. Наконец, мало-помалу отец мой успокоился, хотя все оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней и в две пряжки, то есть в два переезда, проехали почти девяносто верст и на другой день в обед были уже в Вишенках. Простояв часа четыре, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпенье моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово, к умирающей матери, препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла черноземная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по пятидесяти верст в день; потом вдруг сделалось

холодно, и, поднявшись на заре, чтоб выбраться поранее из грязного «Одного двора», мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмерзло, мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей; но снег продолжал идти час от часу сильнее и к вечеру выпал с лишком в полторы четверти; езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащились шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день и проехали только тридцать верст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, но все лошадям было легче. Тут явилась новая беда: мать захворала, и так сильно, что, отъехав двадцать пять верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице! Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, отец с Парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, а мы, сидя в другом углу, перешептывались вполголоса между собой и молились богу, чтоб он послал маменьке облегчение.

Только на седьмой день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских, всего в двадцати верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, да и теперь бы отец не заехал, но так пришлось, что надобно было выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в сенях и ушла с нею в дом, а отец высадил меня и сестру из кареты и повел за руку. В зале встретил нас И. Н. Кальпинский; отец, здороваясь с ним, поспешно спросил: «А что матушка?» — «Разве вы не знаете?» — возразил хозяин. «Вот другая неделя, как ничего не знаем», — отвечал отец. «Приказала долго жить, — преспокойно сказал Кальпинский, — скончалась в самый покров». Боже мой, что сделалось с моим отцом! Он всплеснул руками, тихо промолвил: «В покров», — побледнел, весь задрожал и конечно бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки; она выбежала к нам

навстречу и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову, отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог судья тетушке! на ее душе этот грех!» Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тетушками, Кальпинской и Лупеневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка; как понапрасну звала к себе своего сына; как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возможности провезти тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для нее вырыта, и как принуждены были похоронить ее в Мордовском Бугуруслане, в семи верстах от Багрова. «Вот бог-то все по-своему делает, — говорила Флена Ивановна Лупеневская, — покойный дядюшка Степан Михайлыч, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтоб его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тетушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтоб положить ее в Неклюдове, рядом с Степаном Михайлычем, а пришлось лечь в Мордовском Бугуруслане, у отца Василья». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла вполголоса, как будто про себя: «Так уже сами не захотели. Все генеральша. И провезти было можно и подождать было можно, снег-то всего лежал одни сутки». Но Флена Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степановну и на всех. Проезду не было ни на санях, ни на колесах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметевки воротились, ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя, да и снег-то, может, и не сошел бы. Нет, сестрица, не греши; уж так было угодно богу; а вот братец-то не застал Арины Васильевны, так это жалко». Такими-то утешительными разговорами успокоивали хозяйки огорченного сына! Наконец, сестры

заспорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного. Даже нас выслала и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго еще плакал и, наконец, заснул у нее на груди. — У Катерины Ивановны Кальпинской было три дочери и один сын, еще маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам предобрыми; они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я еще более плакал о моем отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас потчевали чаем и завтраком; хотели было потчевать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь, мать махнула мне рукой, и я упросил, чтоб к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала: «Слава богу, теперь Алексей Степаныч спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли еще часа два и даже пообедали; отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нем выражалась глубокая, неутешная скорбь, и я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца; хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на ее вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу: «Ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном, никогда не огорчал ее и всегда свято исполнял все ее желания. Она прожила для женщины долгий век (ей было семьдесят четыре года); она после смерти Степана Михайлыча ни в чем не находила утешения и сама желала скорее умереть». Отец мой отвечал, проливая уже тихие слезы, что это все правда и что он бы не сокрушался так, если б только получил от нее последнее благословение, если б она при нем закрыла свои глаза. «Тетушка всему причиной, — с горячностью сказал мой отец. — Зачем она меня не пустила? Из каприза...» Мать прервала его и начала просить, чтоб он не сердился и не винил Прасковью Ивановну, которая и сама ужасно огорчена, хотя

и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастия. «Правда, правда, — сказал мой отец со вздохом, — видно, уж так угодно богу», — снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во все время плакали потихоньку, и даже Параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом взъехала на мост через Бугуруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтоб посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой! Как показался он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так что напомнили мне Волгу; мутное небо отражалось в них; камыши высохли, пожелтели, волны и ветер трепали их во все стороны, и они глухо и грустно шумели. Зеленые берега, зеленые деревья — все пропало. Деревья, берега, мельница и крестьянские избы — все было мокро, черно и грязно. На дворе радостным лаем встретили нас Сурка и Трезор (легавая собака, которую я тоже очень любил); я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ерлыкин и Каратаев, и все четыре тетушки: они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету увидели издали, когда она начала спускаться с горы, а потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца.

ЖИЗНЬ В БАГРОВЕ ПОСЛЕ КОНЧИНЫ БАБУШКИ

Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обниманья и целованья! Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил; он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец, собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос,

очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши, Ерлыкины, также были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже еще здоровая, постоянно об этом говорила; когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алеши!» Впрочем, причина болезни была случайная и, кажется, от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручила тетушке Аксинье Степановне, как старшей, просить моего отца и мать, чтоб они не оставили Танюшу, и, сверх того, приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощенья. Все это Аксинья Степановна высказала при всех, к изумлению и неудовольствию своих сестер. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы и даже угрозы, чтоб заставить Аксинью Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унизительных слов, но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка (царство ей небесное!) была против меня в чем-нибудь несправедлива. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь, что не могла испросить у ней прощенья. Но надеюсь, что она, по доброте своей, простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к покрову просила нас приехать и в покров скончалась, что отец мой именно в покров видел страшный и дурной сон и в покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырывавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определенное понятие: в чем могла быть виновата бабушка перед моею матерью и в чем была виновата мать перед нею? Верование же мое в предчувствие и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление.

На другой день, рано поутру, отец мой вместе с тетушкой Татьяной Степановной уехали в Мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, девятый после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтоб слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился еще задолго до обеда, бледный и расстроенный, и тетушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступленный, обнял руками сырую землю, «да так и замер». «Напугал меня братец, — продолжала она, — я подумала, что он умер, и начала кричать; прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое насилу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу; насилу-то он пришел в себя и начал плакать; потом, слава богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол». — Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца.

В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу: он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо; но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках — и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано: в нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время все было рассказано с такою нежною пощадой и мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки *до нашего приезда* должно было сильно поразить.

В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром, все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестер, отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинская с Лупеневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня,

но я был нездоров, да и погода стояла сырая и холодная; я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашел ее точно такою же, пустою и печальною, какою я видел ее после кончины дедушки. Тот же Мысеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел и страницы, — каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей, накрыли большой стол в зале, уставили его множеством кушаний; потом подали разных блинов и так же аппетитно все кушали (разумеется, кроме отца и матери), крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал; помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что «покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, — она будет всегда хозяйкой у меня в доме». Помню также, что оба мои дяди, и даже Кальпинская с Лупеневской, много пили пива и наливок и к концу обеда были очень навеселе. — Встав из-за стола, я прилег на канапе, заснул — и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытьи трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня бледная, желтая и худая, но какое счастие выразилось на ее лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел! Какие радостные слезы потекли по ее щекам! Как она на меня смотрела, как целовала мои руки!.. Но я с удивлением принимал ее ласки; я еще более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил приподняться... Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толчеными можжевеловыми ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икрам горчичники... Может быть, все это было ненужно, а может быть, именно

дружное действие всех этих лекарств перервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливанья после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришел отец, сестрица с братцем, все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит? Сердце сказало мне причину... Но мать уже перестала молиться и обратила все свое внимание, всю себя на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтоб разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил, и через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тетушки Аксинья и Татьяна Степановны, очень обрадованные, что мне лучше, а потом пришел Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались; одна только добрейшая моя крестная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтоб при случае в чем-нибудь помочь им, тогда как ее собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила ее добрую и любящую душу и благодарила ее как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степановну уехать немедленно домой.

Выздоровление мое тянулось с неделю; но мне довольно было этих дней, чтоб понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать; я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти; я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминание и рассказы не то, что настоящее, действительно сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в

глубине души, беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду увидела мать своего первенца, любимца души своей... Понятен испытанный ею мучительный страх — понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор, во все остальное время пребывания нашего в Багрове, я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух; иногда мать читала мне сама, и читала так хорошо, что я слушал за новое — известное мне давно, слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал.

Между тем еще прежде моего совершенного выздоровления воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привез от нее хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю длинное относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от ее имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила, или, лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощенья и просила его не сокрушаться, а покориться воле божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот, — писала она, — сама бы приехала к вам по первому снегу, чтоб разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная; посторонних ни души, не с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово. Подумайте-ка об этом. И я бы

об вас не стала беспокоиться и скучать бы не стала без Софьи Николавны», — и проч. и проч. — Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так, за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал: «Вот еще что придумала тетушка! Целый век жить в дороге да в гостях; да эдак и от дому отстанешь». Тетушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей, деревенщине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же можно зимою тащиться нам с тремя маленькими детьми». Согласно таким отзывам было написано письмо к Прасковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение ее было предано забвению.

Отец мой целые дни проводил сначала в разговорах с слепым поверенным Пантелеем, потом принялся писать, потом слушать, что сочинил Пантелей Григорьич (читал ученик его, Хорев), и, наконец, в свою очередь читать Пантелею Григорьичу свое, написанное им самим. Дело состояло в том, что они сочиняли вместе просьбу в сенат по богдановскому делу. Я слыхал нередко споры между ними, и довольно горячие, в которых слепой поверенный всегда оставался победителем, самым почтительным и скромным. Говорили, что он все законы знает наизусть, и я этому верил, потому что сам слыхал, как он, бывало, начнет приводить указы, их годы, числа, пункты, параграфы, самые выражения — и так бойко, как будто разогнутая книга лежала перед его не слепыми, а зрячими глазами. Собственная речь Пантелея была совершенно книжная, и он выражался самыми отборными словами, говоря о самых обыкновенных предметах. К отцу моему, например, он всегда обращался так: «Соблаговолите, государь мой Алексей Степанович...» и т. д. Диктовал он очень скоро и горячо, причем делал движения головой и руками. Я прокрадывался иногда в его горницу так тихо, что он не слыхал, и подолгу стоял там, прислонясь к печке: Пантелей Григорьич сидел с ногами на высокой лежанке, куря коротенькую трубку, которую беспрестанно сам вычищал, набивал, вырубал огня

на трут и закуривал. Он говорил громко, с одушевлением, и проворный писец Иван Хорев (Большак по прозванью), давно находившийся постоянно при нем, едва поспевал писать и повторять вслух несколько последних слов, им написанных. Я с благоговением смотрел на этого слепца, дивясь его великому уму и памяти, заменявшим ему глаза.

Проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я и писал и читал в ее отдельной горнице, где обыкновенно и спал, — там стояла моя кроватка и там был мой дом, — я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней. Я уже сказал, что мать не была к ней так ласкова и нежна, как ко мне, а потому естественно, что и сестрица не была и не могла быть с ней нежна и ласкова, даже несколько робела и смущалась в ее присутствии. Мать не высылала ее из своей спальни, но сестрице было там как-то несвободно, неловко, — и она неприметно уходила при первом удобном случае; а мать говорила: «Эта девочка совсем не имеет ко мне привязанности. Так и смотрит, как бы уйти от меня к своей няне». — Мне самому так казалось тогда, и я грустно молчал, не умея оправдать сестрицу, и сам думал, что она мало любит маменьку. В самом же деле, как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я.

Поведение тетушки Татьяны Степановны, или, лучше сказать, держанье себя с другими, вдруг переменилось, по крайней мере она казалась уже совершенно не такою, какою была прежде. Из девушки довольно веселой и живой, державшей себя в доме весьма свободно и самостоятельно, как следует барышне-хозяйке, она вдруг сделалась печальна, тиха, робка и до того услужлива, особенно перед матерью, что матери это было неприятно. Мать сказала один раз моему отцу: «Алексей Степаныч, посоветуй, пожалуйста, своей сестрице, чтоб она не кидалась мне так услуживать, как горничная девка. Мне совестно принимать от нее такие услуги, и вообще это мне противно». Но отец мой совсем иначе смотрел на это дело. «Помилуй, матушка, — возразил он, — я ничего противного в этом не вижу. Сестра привыкла уважать и услуживать старшему в доме. Так услуживала она по-

койнику батюшке, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, потому что ты хозяйка и госпожа в Багрове». Мать не стала спорить, но через несколько дней, при мне, когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень твердо: «Прошу вас, сестрица, никогда этого не делать, если не хотите рассердить меня. Кстати, я давно собираюсь поговорить с вами откровенно об теперешнем нашем положении; сядьте, пожалуйста, ко мне на постель и выслушайте меня внимательно. Многое вам будет неприятно, но я стану говорить не для ссоры, а для того, чтоб у нас на будущее время не было причин к неудовольствиям. Я хочу, чтоб вы не ошибались на мой счет, не думали, что я ничего не знаю и не понимаю. Нет, я очень хорошо знаю, что сестры ваши, кроме Аксиньи Степановны, меня не любили, клеветали на меня покойнику батюшке и желали сделать мне всякое зло. Покойница матушка верила им во всем, на все смотрела их глазами и по слабости своей даже не смела им противиться; вы — также; но вам простительно: если родная мать была на стороне старших сестер, то где же вам, меньшой дочери, пойти против них? вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не хочу притворяться, я не люблю ваших сестер и помню их обиды; но мстить им никогда не буду. Вам же я давно все простила и все неприятное забыла. Вас уверяли, что я злодейка ваша, и вы иногда верили, хоть сердце у вас доброе; я, напротив, желаю вам добра и докажу это на деле. Вы знаете характер вашего брата; по своей мешкотности и привычке все откладывать до завтра, он долго не собрался бы устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевесть их на вашу землю, которая также хотя сторгована, но еще не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает, пожалуй, до тех самых пор, покуда вы не выйдете замуж; а как неустройство вашего состояния может помешать вашему замужству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжение нынешнего же года все будет сделано. Я не отстану от Алексея Степаныча, покуда он не выполнит воли своих родителей и не сдержит своего обещания. Тогда, имея свой собственный угол, если вы

захотите жить со мной, то сделаете это уже добровольно, по вашему желанию. Я же, с моей стороны, очень буду рада, если вы останетесь у нас. Я не люблю домашнего хозяйства и буду благодарна вам, если вы будете им заниматься попрежнему. Но я требую, чтоб вы не вскакивали передо мной, не услуживали мне, чтоб вы держали себя со мной, как равная мне, одним словом, как вы держали себя при жизни Арины Васильевны. Согласны ли вы?» — Татьяна Степановна давно разливалась в слезах и несколько раз хотела было броситься обнимать «матушку сестрицу», а может быть, и поклониться в ноги, но мать всякий раз останавливала ее рукой. Разумеется, Татьяна Степановна охотно на все согласилась и не находила слов благодарить мою мать за ее «великие милости и благодеяния». Она прибавила, что «все добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет представлено сестрице». Мать с горячностью возразила: «И вы думаете, что я захочу воспользоваться какими-нибудь вещами или платьями после покойницы свекрови, когда у ней осталась незамужняя родная дочь?.. Вот как вы меня мало знаете. Мне ничего не надобно; я и видеть этого не хочу; это все ваше». Засим последовала новая и очень горячая благодарность от Татьяны Степановны. — Тогда только вполне объяснилось для меня положение матери, в котором жила она в семействе моего отца. Припомнив все, слышанное мною в разное время от Параши, и вырывавшиеся иногда слова у матери во время горячих разговоров с отцом, я составил себе довольно ясное понятие о свойствах людей, с которыми она жила. Можно себе представить, каким высшим существом являлась мне моя мать! Я начинал смотреть на нее с благоговением, гордился ею и любил с каждым днем более.

Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почты письмо от бабушки Прасковьи Ивановны, и, к общему удивлению, вдвое длиннее первого! Прасковья Ивановна подробно высчитывала причины, по которым нам не следует оставаться эту зиму в Багрове, и уже требовала настоятельно, чтоб мы после шести недель переехали к ней в Чурасово, а великим постом воротились бы домой. Письмо состояло из таких нежных просьб и в то же

время из таких положительных приказаний, что все хотя ни слова не сказали, но почувствовали невозможность им противиться. К Татьяне Степановне было приложено особое письмецо, самое ласковое и убедительное. Прасковья Ивановна писала, что приготовит ей прекрасную, совершенно отдельную комнату, в которой жила Дарья Васильевна, теперь переведенная уже во флигель; что Татьяна Степановна будет жить спокойно, что никто к ней ходить не будет и что она может приходить к хозяйке и к нам только тогда, когда сама захочет. По прочтении обоих писем несколько времени все молчали и, казалось, все были недовольны. Наконец, отец мой прервал молчание и первый заговорил: «Как же тут быть, Софья Николавна? Как же нам не исполнить желания тетушки? Ведь настоящих причин к отказу нет? Ведь тетушка прогневается». — Мать отвечала, что она сама не знает, как тут быть, и что ее затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. «А что ты скажешь, Танюша?» — спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумавшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она в Чурасове с тоски умрет и что «не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки». — «Где же ты будешь жить? — продолжал мой отец. — Неужели останешься одна в Багрове?» Тетушка задумалась и потом отвечала, что она переедет к сестрице Александре Степановне и что каждый месяц вместе с ней будет приезжать молиться и служить панихиды на могиле матери. — Поговоря таким образом и ничего не решив положительно, все разошлись.

Я догадался, однако, что мы непременно поедем, и был огорчен больше всех. Как нарочно, за несколько дней до получения письма я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось: Евсеич выучил меня крыть лучком птичек, в нашем саду и огороде было их очень много. Маленький снежок покрывал уже землю; Евсеич расчистил точок и положил на него приваду из хлебной мякины и ухвостного конопляного семени. Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в три привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади точка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему

веревочку и протянул ее сквозь смородинный куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветки которого было видно все, что делается на точке. «Наклонись, соколик, и нишкни, — шепотом говорил Евсеич, присев на корточки. — Вот как налетят птички получше, — а теперь сидят всё бески да чечотки, — тогда ты возьми за веревочку да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком, а мы с тобой хорошеньких-то выберем да в клеточки и посадим». Я готов был все исполнять; через несколько времени Евсеич сказал мне: «Ну, бери веревочку, дергай!» Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку. Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем и покрыл только половину точка; но все-таки несколько птичек билось под сеткой, и мы, взяв пару щеглят, чижика и беленького бесочка, побежали домой с своей добычей. Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Ефрем Евсеич: он во всякой охоте горячился не меньше меня!.. Я скоро выучился крыть хорошо; а как мне жалко было выпускать пойманных птичек, то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткою, находившийся в нескольких саженях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам, в подпечках. У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески или синицы, щеглята, чижы, овсянки и чечотки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу; поставил две небольшие березки, на которых птички сидели и ночевали, и навалил на пол всякого корма. Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собой — было для меня истинным наслаждением. Иногда, не довольно тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетке, если б мать не присылала за мною или Евсеич не уводил насильно в горницу.

На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтоб все было готово и чтоб сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, о чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Татьяна Степановна осталась твердою в своем намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степановны. Мать не уговаривала тетушку ехать с нами и при мне сказала отцу, что сестрице будет там несвободно и скучно. В тот же день написали Александре Степановне об этом решении. Татьяну Степановну смущало только одно: как ей расстаться с своим амбаром, то есть со всем тем, чем он был нагружен. Она высказала свои опасения отцу, говоря, что боится, как бы без господ в ночное время не подломали амбара и не украли бы все ее добро, которое она «сгоношила сначала по милости покойного батюшки и матушки, а потом по милости братца и сестрицы». Она просила у моего отца лошадей, чтоб хоть кое-что получше заблаговременно перевезти в Каратаевку. Отец считал это ненужным, но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешептывались Евсеич с Парашей и смеялись потихоньку над страхом моей тетки.

Снег выпадал постепенно почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил обходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними; но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. Зато, чтоб утешить меня, он приказал Танайченку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтоб при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вон где лежит русак, Сережа!» — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, проросшую кустами и примыкавшую к крутцу. «Русак побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну смотри же, что будут

делать». Народу было с нами человек двадцать; одни зашли сзади, а другие с боков и, таким образом подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холудинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себе с сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетке. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу, я также кричал во всю мочь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот старый матерой русак! Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги, и пестрый в завитках ремень по спине... я задыхался от восторга, сам не понимая его причины!..

И от всего этого надобно было уехать, чтоб жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, где не нравились мне многие из постоянных гостей, где должно избегать встречи с тамошней противной прислугой и где все-таки надо будет сидеть по большей части в известных наших, уже опостылевших мне, комнатах; да и с матерью придется гораздо реже быть вместе. Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово, хотя собственно для нее тамошнее житье представляло уже ту выгоду, что мы с нею бывали там почти неразлучны, а она так нежно любила меня, что в моем присутствии всегда была совершенно довольна и очень весела.

Прошло сорок дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе «сорочинами». Несмотря на то, что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившейся в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9 ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в Мордовский Бугуруслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом был обед, за которым происходило все точно то же, что я уже рассказывал не один раз: гости пили, ели, плакали, поминали и — разъехались.

Вот уже выпал довольно глубокий снег и пошли сильные морозы, которые начали постукивать в стены нашего дома, и уже Александра Степановна приехала за Татьяной Степановной. Наконец, получили известие,

что Волга стала и что чрез нее потянулись обозы. Назначили день отъезда; подвезли к крыльцу возок, в котором должны были поместиться: я, сестрица с Парашей и братец с своей бывшей кормилицей Матреной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли и кибитку для отца и матери; настряпали в дорогу разного кушанья, уложились, и 21 ноября заскрипели, завизжали полозья, и мы тронулись в путь. Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа. Я плакал, сидя в возке. Тетушка Татьяна Степановна должна была в тот же день уехать с Александрой Степановной в Каратаевку.

Переезд из Багрова в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд, — бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. В Вишенках мы только покормили лошадей. Отец, разумеется, повидался со старостой, обо всем расспросил и все записал, чтоб доложить Прасковье Ивановне. Зимний вид никольского замка, или дворца, напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, и хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение... Помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими; но в этот раз попался нам хозяин — необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе-то у нас было, — говорил хозяин, — чушка-то что ни лучшая сдохла. Барин

у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милосливый, до всякого скота жалосливый, так печаловался, что уехал из Никольского; уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так: нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин; уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник! У нас на выезде из села было два колодца, вода преотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые; одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто ни едет, и конный и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали: говорят, что непригоже». Словоохотливый хозяин долго и много говорил в этом роде; многого я не понимал, но мать говорила, что все было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня; я вывел заключение и сделал новое открытие: крестьянин насмехался над барином, а я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ с благоговением и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особенное внимание на все разговоры Евсеича с Парашей и замечать, не смеются ли и они над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя наши ручки?.. Я сообщил мое намерение матери. Она улыбнулась и сказала: «Зачем тебе это знать? Параша, особенно Евсеич служат нам очень усердно, а что они про нас думают — я и знать не хочу». Но мне было любопытно узнать, и я не оставил своего намерения.

На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало, льду страшную для меня Волгу. Она даже и в этом виде меня пугала. В этот год Волга стала очень чисто, *наголо*, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке льдин и так называемого *сала*, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней бе-

лые пузыри[1]. Признаюсь, я не мог смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась. Я пришел в изумление и упросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала: «Это полынья. Тут вода не мерзнет. Это Волга дышит, оттого и пар валит; а чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан». Как ни любопытна была для меня эта новость, но я думал только об одном: что мы того и гляди провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги.

В Симбирске получили мы известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет не дождется нас. На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень, засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколен.

Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в лакейскую. Я никогда не видывал у ней такого веселого лица! Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать; даже нас всех перецеловала, чего никогда не делывала, а всегда только давала целовать нам руку. «А, и чернушка здесь! — говорила она смеясь. — Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос? Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи, мордва и чуваши? Милости прошу, друзья мои! А Татьяны нет? Одичала и уперлась. Верно, уехала в Каратаевку? Ну, вот как каратаевский барин под пьяную руку ее поколотит, так она и пожалеет, что не приехала в Чурасово. Ну, слава богу, насилу вас дождалась. Пойдемте

---

[1] Редко бывает, чтоб большая река становилась без снега. Я один раз только видел Волгу в таком виде, в каком описывает ее молодой Багров.

прямо в гостиную». В зале и гостиной встретили нас неизменные гости.

Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнею жизнью. Только Прасковья Ивановна стала несравненно ласковее и добрее, как мне казалось. Для всех было очевидно, что она горячо привязалась к моей матери и ко всем нам. Она не знала, как угостить нас и чем употчевать. Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригина не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге еще было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил мое замечание матери, но она отвечала мне, что это совершенный вздор и что мне даже не следует этого замечать. Я, однако, не удовольствовался таким объяснением и повторил мое замечание Евсеичу в присутствии Параши, и он сказал мне: «Да, видно надоели. Больно часто стали ездить». Параша прибавила: «Других гостей здесь не боятся, а вас опасаются, чтобы вы Прасковье Ивановне чего-нибудь не пересказали». Я внутренне убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды.

Миницкие не замедлили приехать и привезти с собою двух старших дочерей. Мы с сестрицей любили их, очень им обрадовались, и у нас опять составились и прежние игры и прежние чтения. С утра до вечера мы были неразлучны с сестрой, потому все комнатные наши занятия и забавы были у нас общие.

Что касается до вредного влияния чурасовской лакейской и девичьей, то мать могла быть на этот счет совершенно спокойна: все как будто сговорились избегать нас и ничего при нас не говорить. Даже Иванушка буфетчик перестал при нас подходить к Евсеичу и болтать с ним, как бывало прежде, и Евсеич, добродушно смеясь, однажды сказал мне: «Вот так-то лучше! Стали нас побаиваться!»

Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовой праздник в ее новой, самой ею выстроенной церкви, и она праздновала этот день со всевозможною деревенскою пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться;

некоторые мелкопоместные и бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжелом для нас Чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь и наступил новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на две недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну, так сбирайся». Я обещал собраться в полчаса, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горесть сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего две недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе: мать брала с собой Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручала за нею ходить своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной и заботливой.

Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам; что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться; что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих

слов. Когда стало приближаться крещенье, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на шестое число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово. «Я терпеть не могу дня своего рождения, — прибавила мать, — а у вас будет куча гостей; принимать от них поздравления и желания всякого благополучия и всех благ земных — это для меня наказанье божие». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к матери моей и сказала: «Послушай, Софья Николавна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам, ты не любишь дня своего рождения (я и сама не люблю моего) — чего же лучше? поезжай в Казань с Алексеем Степанычем. Вы больше двух недель не проездите: до Казани всего два девяноста». Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января, в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышался, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне, и я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и, против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди.

А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни...

Здесь прекращается повествование Багрова-внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству.

С. А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Сказка ключницы Пелагеи

В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатества, дорогих товаров заморскиих, жемчугу, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатества, жемчугов, драгоценыих камениев, золотой и серебряной казны — по той причине, что он был вдовец, и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговыим делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезныим дочерям: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецкиим делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу — не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами похочете, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется». Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю,

и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая: «Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветныих, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как середи дня белого». Честной купец призадумался и сказал потом: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такова человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморския, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет». Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит: «Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне тувалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася». Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высокиим, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь, с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железныих носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такова человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной: да для моей казны супротивного нет». Поклонилась в ноги отцу меньшая

дочь и говорит таково слово: «Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирскиих, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне *аленький цветочек*, которого бы не было краше на бело́м свете». Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова: «Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на бело́м свету? Буду стараться, а на гостинце не взыщи». И отпустил он дочерей своих, хорошиих, пригожиих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморскиим, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева; он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота: золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на бело́м свету. Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он путем-дорогою, со своими слугами верными, по пескам сыпучиим, по лесам дремучиим, и откуда ни возьмись налетели на него

разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, нехристи поганые, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темны леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену во неволе». Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад — руки не просунуть, смотрит направо — пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево — а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам все идет да идет: у него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь: кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он почитай до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминучую?» Поворотил он назад — нельзя идти, направо, налево — нельзя идти; сунулся вперед — дорога торная. «Дай постою на одном месте, может зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем». Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкия стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветныих, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнушко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широ-

кие, растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; вошел в горницу — нет никого; в другую, в третью — нет никого, в пятую, десятую — нет никого, а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не токмо хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаючи; и подумал он в те поры про себя: «Все хорошо, да есть нечего», и вырос перед ним стол, убранный, разубранный: в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления: напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые: кушанье такое, что и сказать нельзя — того и гляди что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб, за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любуется, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть», — и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальныих, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному; ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать», — и заснул тое ж минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезныих, хорошиих и пригожиих, и видел он дочерей своих старшиих: старшую и середнюю, что они веселым-веселехоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что

у старшей и середней дочери есть женихи богатые и что сбираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радошно и не радошно; встал он со кровати высокия, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется; чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоватися при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогулятися.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется; на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на их вышину — голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальныим. Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежалися, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так, много ли, мало ли времени — неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он на пригорочке зеленыим цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается, подходит он ко тому цветку, запах от цветка по всему саду, ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радошным: «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая». И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В

тоё ж минуту, безо всяких туч, блеснула молонья и ударил гром, инда земля зашаталася под ногами, — и вырос, как будто из земли, перед купцом: зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом дикиим: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хоронил его пуще зеницы ока моего и всякой день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною...» И несчетное число голосов дикиих со всех сторон завопило: «Умереть тебе смертью безвременною!» У честного купца от страха зуб на зуб не приходил; он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед наибольшиим хозяином, чудищем мохнатыим, и возговорил голосом жалобныим: «Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское, как взвеличать тебя — не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианския за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть; старшей дочери — самоцветный венец, средней дочери — тувалет хрустальный, а меньшой дочери — аленький цветочек, какого бы не было краше на бело́м свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог; увидал я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, какого краше нет на бело́м свете, и подумал я, что такому хозяину богатому, богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимыим и подари мне цветочек аленький, для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что

потребуешь». Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: «Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлешь заместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих, я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища». Так и пал купец на сыру землю, горючьми слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит источным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным: «Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не похочут ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю». Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: «Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи». — Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не похочут, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыс-

лях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелковые, почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то не радошен и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать: не потерял ли он своего богатества великого, меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю: «Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное». И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимыим, хорошиим и пригожиим: «Не потерял я своего богатества великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселитися». Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достает гостинец середней дочери, тувалет хрусталю восточного; достает гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? краше его нет на бело́м свете». Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за

столы дубовые, за скатерти бранные, за яства сахарные, за пития медвяные; стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми речами утешатися. Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовалися: и посуды золотой-серебряной, и кушаньев диковинных, каких никогда в дому не видывали. Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютыя и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалася и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютыя и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Средняя дочь наотрез отказалася и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до́ слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала: «Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя». Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую и говорит ей таковые слова: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая. Да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютыя и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великиим; да где тот дворец — никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как

мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи; расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню». И возговорит отцу дочь меньшая, любимая: «Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый; житье мое будет богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского, я не испугаюся, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе». Плачет, рыдает честной купец, таковыми речьми не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь больно им жалко меньшой сестры, любимыя; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собой цветочек аленький во кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует ее, горючьми слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери — и не стало ее в тое ж минуточку, со всеми ее пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высокиих, каменных, на кровати из резного золота, со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой; ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой сродясь она не слыхивала. Встала она со постели пуховыя и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленыих малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновыя и мамонтовыя, самоцветными яхонтами вся разубранная,

и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальная». Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый; взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зелены сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками, и ровно перед ней преклонилися; выше забили фонтаны воды и громчей зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на бело́м свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук ее, и прирос к стеблю прежнему, и расцвел краше прежнего. Подивилася она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», — как на белой мраморной стене появилися словеса огненные: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою». Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумати, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернилицей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезныим: «Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной, словесами огненными, и знает он все, что у меня на мысли, и тое ж минутою все исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей». Не успела она письмо написать и печатью при-

печатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушамшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие и видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморну, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные: «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощеньем и прислугою?» И возговорила голосом радошным молодая дочь купецкая, красавица писаная: «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высокиих и твоих зеленых садов не найти на белом свете: то и как же мне довольною не быть? Я сродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюся я почивать одна; во всех твоих палатах высокиих нет ни души человеческой». Появилися на стене словеса огненные: «Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пылинке сесть». И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она

чуть от страха жива, и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также радошна, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью, опосля того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилося; так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить и поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые богатые и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать; всякий день угощенья и веселья новые, отменные; катанье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжи, по темным лесам, а те леса перед ней расступалися и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую; и стала она рукодельями заниматися, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом, стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому, а и стала она день óто дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная, ничему она уже не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют; и возлюбляла она своего господина милостивого день óто дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной

словесами огненными: «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: «Говори со мной, мой верный раб». И мало спустя времечка побежала молода дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчовую, и говорит она задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова: «Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: опосля всех твоих милостей не убоюся я и рева звериного; говори со мной, не опасаючись». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикой и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса; вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испужалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радошно.

С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры почитай целый день, во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высокиих. Только спросит молода дочь купецкая, красавица писаная: «Здесь ли ты, мой добрый любимый господин?» Отвечает лесной зверь, чудо морское: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг». И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, — захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить; долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не токмо люди, звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь

лесной, чудо морское, таковые слова: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с тобой в дружбе, согласии, друг со другом почитай не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Не слушала таких речей молода купецка дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, божиться и ротитися, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова: «Если ты стар человек — будь мне дедушка, если середович — будь мне дядюшка, если же молод ты — будь мне названный брат, и поколь я жива — будь мне сердечный друг». Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово: «Не могу я тебе супротивным быть, по той причине, что люблю тебя пуще самого себя, исполню я твое желание, хоша знаю, что погублю мое счастие и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад, в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» — и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечныя: ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне николи не услышишь». Не убоялась, не устрашилася, крепко на себя понадеялась молода дочь купецкая, красавица писаная. Втапоры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного, и когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» — и показался ей издали зверь лесной, чудо морское; он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах, и невзвидела света молода дочь купецкая, красавица

писаная, всплеснула руками белыми, закричала источным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Полежамши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молода дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючьми слезами обливается и говорит голосом жалостным: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною». И стало ей жалко и совестно, и совладала она с своим страхом великиим и с своим сердцем робкиим девичьим, и заговорила она голосом твердыим: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своем виде давишнем; я только впервые испугалася». Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшныим, противныим, безобразныим, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи темныя и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хоша сначала, разглядя его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской почитай не разлучалися, за обедом и ужином яствами сахарными насыщалися, питьями медвяными прохлаждалися, гуляли по зеленым садам, без коней каталися по темным лесам.

И прошло тому немало времени; скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однова и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее

тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и вельми закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недоброй сон и стала просить у него позволения: повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезныих; и возговорит к ней зверь лесной, чудо морское: «И зачем тебе мое позволенье? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на бело́м свете, и умру я тою́ же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу». Стала она заверять словами заветными, и божбами, и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. — Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидамши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому, а батюшка нездоров лежал, нездоров и не радошен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись; и не вспомнился он от радости, увидамши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшиим, любезныим про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до́ сло́ва, никакой крохи не скрываючи, и возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на свово хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой-дрожал. Сестрам же старшиим, слушая про богатства несметные меньшой сестры и про власть ее царскую над своим гос-

подином, словно над рабом своим, инда завистно стало. День проходит как единый час, другой день проходит как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему...» И прогневалась на сестер старшиих дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белóм свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание». И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая, а сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе: взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, — а все рано ей пускаться в дальний путь; а сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, позадерживают; однако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью дворовою и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высокиих зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не

играла музыка во палатах высокиих. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нешто недоброе, обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго — нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания; побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И помстилось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная: он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую, и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит... Помутилися ее очи ясные, подкосилися ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила источным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного...» — и только таковы словеса она вымолвила, как заблестели молоньи со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовà стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молода дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти — не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле со каменьями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове со короною царскою, в одежде златокованной, перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных; и возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове со короною царскою: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, еще малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страш-

ное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища, и пожелает быть моей женой законною, и тогда колдовство все покончится, и стану я опять попрежнему человеком молодым и пригожиим; и жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красныих, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучием».

Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу-королевичу. И проздравили жениха с невестою сестры старшие завистные и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нимало не медля, принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пива-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание включены наиболее значительные художественные, мемуарные произведения, а также критические статьи Сергея Тимофеевича Аксакова. Некоторые из них до сих пор не входили в собрания его сочинений.

В своей совокупности основные сочинения С. Т. Аксакова составляют как бы историю его жизни. Тем самым определяется порядок, в котором они должны следовать одно за другим. Вопреки общепринятому правилу произведения С. Т. Аксакова располагаются не в соответствии с хронологией их написания, а в той последовательности, в какой они раскрывают жизнь писателя.

Все тексты сверены с прижизненными авторизованными изданиями, замеченные погрешности исправлены по сохранившимся рукописям.

Тексты воспроизводятся по современным нормам орфографии и пунктуации с сохранением индивидуальных особенностей стиля писателя. Сохраняется характерное для Аксакова неустойчивое написание имен-отчеств (например, Елизавета Степановна — Лизавета Степановна, Алексей Степанович — Алексей Степаныч, и т. д.).

Все подстрочные примечания в тексте произведений, кроме переводов иноязычных слов, принадлежат автору.

В примечаниях, помимо историко-литературных справок и кратких фактических сведений, необходимых для уяснения творческой истории произведения, приводятся в некоторых случаях наиболее существенные варианты и разночтения между окончательной редакцией текста и первоначальными публикациями.

Во вступительной статье и в примечаниях приняты следующие условные сокращения:

Абрамцево — Рукописный фонд музея Академии наук СССР «Абрамцево». Московская область.

ГПБ — Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

ИРЛИ — Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Ленинград.

Л. Б. — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Москва.

МОГИА — Московский областной государственный исторический архив. Москва.

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов. Москва.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив. Москва.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив. Ленинград.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

С. Т. Аксаков работал над «Семейной хроникой» с большими перерывами в течение пятнадцати лет. Часть первого отрывка «Семейной хроники», написанная в 1840 г., была опубликована лишь шесть лет спустя, в «Московском литературном и ученом сборнике», М. 1846 (стр. 403—423), за подписью «...ова». В это время Аксаков был увлечен работой над «Записками об уженье», закончив которые он приступил к «Запискам ружейного охотника». 12 января 1852 г. он писал Тургеневу: «Расставшись с моими «Записками», я грущу о прекращении дела, которое приятно занимало меня три года... Попробую продолжать «Семейную хронику» («Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 463). Отрывки этой книги появлялись в различных периодических изданиях. Весь первый отрывок, включая и ту часть, которая была ранее опубликована в «Московском литературном и ученом сборнике», увидел свет в «Москвитянине» (1854, т. II, № 5, кн. I, стр. 17—48), четвертый — в «Русской беседе» (1856, т. II, стр. 1—51), пятый — в «Русском вестнике» (1856, т. IV, кн. I, стр. 421—468).

В начале 1856 г. первые три отрывка: «Степан Михайлович Багров», «Михайла Максимович Куролесов» и «Женитьба молодого Багрова» — вместе с «Воспоминаниями» вышли отдельным изданием. Необычайный успех книги побудил Аксакова выпустить ее летом того же года вторым изданием «с прибавлением двух отрывков», появившихся в «Русской беседе» и «Русском вестнике» уже после выхода в свет первого издания. Таким образом, лишь во втором издании «Семейная хроника» вышла в полном составе.

Еще задолго до окончания «Семейной хроники» Аксаков предвидел цензурные препятствия, с которыми столкнется его книга. Он уже имел горький опыт, связанный с изданием, казалось бы, совершенно невинных, с точки зрения цензурных условий, «Записок ружейного охотника». 29 ноября 1853 г. Аксаков продиктовал письмо Погодину, в котором заметил, что готов дать в «Москвитянин» отрывки из «Семейной хроники», и при этом добавил: «...но цензура будет их обрезывать, а я на это не согласен. Я также затеял составить из них целый том: первая половина — Хроники, а вторая — Воспоминания». И затем Аксаков дописывает собственной рукой: «Том «Хроники» и «Воспоминаний» может быть вполне напечатан только после моей смерти и при более благосклонной цензуре» (Л. Б., ф. Погодина, II 1/58).

Чем ближе к концу подходила работа над книгой, тем чаще Аксаков высказывал опасения относительно неизбежных столкновений с цензурой. Летом 1854 г. Аксаков сообщал своему старому товарищу по Казанской гимназии А. И. Панаеву, что написал «много отрывков из «Семейной хроники», которые, однако, выйдут в свет лишь будучи «изуродованные цензурою» (ИРЛИ, Р—I, оп. I, д. № 10, л. 3а). В ноябре того же 1854 г. он писал А. О. Смирновой: «По несчастному положению нашей цензуры и половины нельзя будет напечатать того, что мной написано; это меня огорчает, потому что я получил вкус к похвалам и сочувствию, с которым было встречено все напечатанное мною» («Русский архив», 1896, кн. I, стр. 157).

Опасения Аксакова, как мы увидим, не были напрасными.

Посылая в декабре 1853 г. Погодину отрывок из «Семейной хроники» для опубликования его в «Москвитянине», Аксаков писал: «Очень бы я желал, чтобы цензура его не изуродовала; я и так уже много интересного выкинул и поставил точки. Если цензор будет много исключать — лучше не печатать» (Л. Б., ф. Погодина, II 1/59). Повидимому, здесь речь шла об отрывке «Степан Михайлович Багров». Еще бо́льшие затруднения доставил Аксакову отрывок «Хроники», посвященный Куролесову, также предназначавшийся для «Москвитянина». Московская цензура в начале 1855 г. категорически запретила его печатать. Издатель «Москвитянина» Погодин решил обжаловать постановление Московского цензурного комитета в Петербурге, перед Главным управлением цензуры и обратился с письмом к товарищу министра просвещения Норову.

В архиве Главного управления цензуры хранится «Дело о запрещении московской цензурой в «Москвитянине» отрывка из «Се-

мейной хроники» С. Аксакова», проливающее свет на один из любопытных эпизодов в истории николаевской цензуры.

Норов поручил расследование вопроса чиновнику особых поручений при министре просвещения Н. Родзянко. Результаты этого «расследования» были изложены в пространном донесении от 8 февраля 1855 г. Родзянко пришел к выводу, что ряд мест отрывка Аксакова не может быть разрешен к печати. «Тут описывается, — отмечал он, — как Мих. Макс. Куролесов управлял по доверенности жены своей ее имением, производил истязания над крестьянами и нередко засекал многих из них до смерти; сверх того, грабил и сек соседей-помещиков, производя все эти поступки безнаказанно и застращав даже земский суд, который боялся предпринять что-либо к его укрощению». Особенно недопустимым, по мнению Родзянко, является история таинственной смерти Куролесова. «Хотя в статье не объясняются причины его смерти, — продолжает он, — но из весьма ясных намеков и поставленных в пропущенных строках точек читателю легко догадаться, что Куролесов был убит за жестокое обращение своими крестьянами по распоряжению конторского писца...» И, наконец, заключение «расследования» гласило: «Таким образом, в настоящей статье, начиная со стр. 128 до конца, преимущественно, описывается противозаконное и бесчеловечное обращение помещика с крепостными его людьми и помещиками-соседями, при бездействии и устрашении им местной полицейской власти... Очевидно, что все эти обстоятельства, хотя они совершались за 80 лет пред сим, не могут быть допущены к печати. Конечно, автор изображает их собственно в смысле историческом и отнюдь не с неблагонамеренною целию, но и сама история этих событий, достоверность которых автор весьма часто здесь утверждает, например, на стр. 134, по мнению моему, может производить тем более невыгодное впечатление на читателей, выражая правдивый факт злоупотребления помещичьей власти и самозащищения противу оной крепостных людей» (ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 6, д. № 150820, лл. 6—6 об.).

Судьба аксаковской рукописи была предрешена. Шевыреву, хлопотавшему по этому делу в Петербурге по поручению Погодина, сообщили от имени Норова, что из отрывка «Семейной хроники» «может быть дозволено только начало; остальная же часть основательно воспрещена цензурою» (там же, л. 7 об.). Это решение вывело из себя даже верноподданного Погодина, извещавшего Аксакова: «Статья ваша изуродована, и потому я решился сохранить ее чистоту и красоту в рукописи. У подлецов нет никакого

человеческого чувства» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XIV, СПБ. 1900, стр. 250). Письмо Погодина не было неожиданностью для Аксакова. Еще 29 января 1855 г. он писал А. И. Панаеву: «Весь второй отрывок моей «Семейной хроники» запрещен. В нем описана жизнь одного буйного и жестокого помещика, существовавшего за 85 лет до настоящего года. Погодин послал мою статью к министру. Хорошего ничего не жду. Судя по началу, должно предположить, что вместо большого тома выдет небольшой, да и статьи выдут изуродованные» (ИРЛИ, Р-I, оп. I, д. № 10, л. 18 об.).

Готовя свою книгу к изданию, Аксаков столкнулся не только с цензурными барьерами, но с еще одним препятствием, которое чинила его собственная семья. 17 января 1855 г. он писал Погодину: «Теперь я кончил огромный том, который мне хочется выдать через год, если буду жив. Полгода я посвящу на исправление, дополнение и исключение всего того, чего не нужно знать публике, и того, чего не пропустит цензура по своей глупости. Остальные полгода — на мытарства и печатание». И дальше Аксаков замечает в том же письме: «Мне надобно преодолеть сильную оппозицию моей семьи и родных, бо́льшая часть которых не желает, чтоб я печатал самые лучшие пиесы» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XIV, стр. 248). Члены семьи Аксакова возражали против публикации наиболее острых, обличительных мест «Семейной хроники», которые, по их мнению, могли бросить тень на весь род. Характерные отзвуки подобных настроений можно найти в письме близкого к семье Аксакова М. А. Дмитриева, откровенно сообщавшего Погодину свое мнение о «Семейной хронике»: «Вы меня спрашиваете о книге Аксакова. Он сам требовал от меня, чтобы я сказал голую истину; я и сказал, но он не вполне согласен с нею. Написано — что и говорить — прекрасно; но вся первая половина книги, по моему мнению, есть дурной поступок!.. Что же это за семья, в которой, кроме одной женщины, все тираны и мерзавцы!» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XIV, стр. 354).

«Оппозиция» членов семьи причиняла Аксакову серьезные огорчения и порой ставила его как художника в невыносимое положение. Сообщая в январе 1855 г. своей племяннице М. Г. Карташевской о приближении к концу работы над «Семейной хроникой», Аксаков замечает далее: «Все это я должен прочесть вам предварительно и очень опасаюсь, что встречу в твоей маменьке сильную оппозицию. «Хронику» об дедушке и бабушке — она вытерпела, но когда дело дойдет до отца и матери, до мужа и до

нее самой, то я не знаю, что будет делать братец Сереженька с сестрицей Наденькой?» (ИРЛИ, 10. 685/XVI с. 42, лл. 43—43 об.).

Аксакову в конце концов удалось преодолеть препятствия, возникавшие на пути «Семейной хроники». Не исключено, что писатель в процессе окончательной подготовки рукописи вносил в нее исправления. Интересуясь исходом хлопот в Петербурге относительно отрывка о Куролесове, Аксаков просил Погодина поскорее известить его о результатах этого дела: «Мне это необходимо знать для соображения и поправки других статей» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XIV, стр. 249). Повидимому, Аксаков подвергал свои произведения «внутренней цензуре» и во многом себя ограничивал. На это нередко указывал он сам в своих письмах. Сообщая в одном из них о том, что занимается сейчас «вместе с Констою» — так в семье называли его сына Константина — «исправлением» и «отделыванием» пятого отрывка «Хроники», Аксаков затем добавляет, что этот отрывок «гораздо труднее, потому что надобно многое скрывать» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 16, д. № 29, л. 26). А однажды откровенное замечание даже проскользнуло неожиданно в самом тексте «Семейной хроники»: «Я рассказал десятую долю того, что знаю, но, кажется, и этого довольно» (см. наст. том, стр. 124).

Уведомляя Погодина, что подготовка «Семейной хроники» близится к концу, писатель тут же подчеркивает, что он приходит «в отчаяние от цензуры», и высказывает намерение обратиться «частным образом» к попечителю московского учебного округа Назимову, в ведении которого находилась цензура (Л. Б., ф. Погодина, II 1/61). Об этом же писал С. Т. Аксаков и сыну Ивану, добавляя к тому, что, если и Назимов не поможет, придется тогда «ехать самому в Петербург хлопотать по этому делу» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, л. 85. См. также письмо к Н. Т. Карташевской, ИРЛИ, 10. 685/XVI с., лл. 47—47 об.). 21 сентября 1855 г. рукопись «Семейной хроники» и «Воспоминаний» поступила в Московский цензурный комитет (МОГИА, ф. 31, оп. 5, д. № 364, л. 98), а уже 30 октября того же года Аксаков сообщил Тургеневу, что рукопись «пропущена и печатается» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 29). Столь неожиданно быстрое и благоприятное решение вопроса в московской цензуре состоялось благодаря содействию министра просвещения, о чем С. Т. Аксаков писал 17 октября 1855 г. сыну Ивану: «...моя рукопись пропущена вся с разрешения министра, который был проездом в Москве» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 106—106 об.).

В тексте обоих изданий «Семейной хроники», вышедших при жизни Аксакова, имелся существенный дефект: в них отсутствовала превосходно написанная сцена отравления Куролесова его крепостными. Судя по упомянутому выше докладу Н. Родзянко, ее уже не было в том тексте, который предназначался для «Москвитянина». Купюру сделал сам автор, очевидно во избежание неприятностей. Сохранилось две рукописных редакции второго отрывка «Семейной хроники» (Л. Б., ф. Аксакова 1/2а и 1/2б). В первой из них (неполной, без начала) описана вся сцена убийства Куролесова. Во второй редакции (беловой) эта сцена уже зачеркнута по цензурным соображениям. Она была восстановлена лишь в четвертом издании «Хроники» (М. 1870). Абзац, в котором описывалось убийство, начинался в первой редакции рукописи так: «Нетрудно догадаться, отчего произошла скоропостижная кончина Куролесова». После изъятия сцены убийства эта фраза была особенно важна, ибо содержала прозрачный намек на истинные обстоятельства смерти Куролесова, о которых нельзя было сказать прямо. Но, повидимому, возникла необходимость устранить даже этот намек. На полях рукописи имеется замечание автора: «Если цензор затруднится этими словами, то можно сказать: «Неизвестно от чего». Так *«неизвестно от чего»* и умирал Куролесов в первых изданиях «Семейной хроники».

К отдельному изданию «Семейной хроники» Аксаков тщательно просмотрел ранее напечатанные отрывки и внес в них довольно большое количество мелких исправлений стилистического характера — всего около трехсот. Существенных смысловых разночтений в них почти нет.

Выход в свет «Семейной хроники» стал событием в русской литературе. Успех этой книги был необычайным и намного превзошел успех двух предшествующих произведений Аксакова — «Записок об уженье» и «Записок ружейного охотника». «Книга моя вышла и по мере поступления в лавку раскупается нарасхват», — сообщал С. Т. Аксаков сыну Ивану. «Как бы ни были велики мои надежды на успех моей книги — действительность превзошла всякие самолюбивые ожидания. Я начинаю бояться, что сам увлекусь этим потоком искренних восторгов», — замечал он в другом письме («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. III, М. 1892, стр. 223, 237).

Современная Аксакову критика единодушно отмечала выдающиеся художественные достоинства «Семейной хроники», а также ее значение как достоверного «исторического документа» эпохи.

«Хроника» Аксакова, писал Герцен, помогает «нам сколько-нибудь узнать наше неизвестное прошедшее» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XVII, П. 1922, стр. 88). Большую познавательную ценность «Семейной хроники» отмечал и Щедрин. «Достаточно указать на литературные попытки гг. Тургенева <Писемского> и Островского и в особенности на «Семейную хронику» г. Аксакова, — писал он в черновом варианте статьи «Сказание о странствии... инока Парфения», — чтобы убедиться, что последние годы должны занять весьма почетное место в истории русской литературы. Разработка разнообразных сторон русского быта началась еще очень недавно, и между тем успехи ее не подлежат сомнению» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. V, М. 1937, стр. 432).

Замечательными были отзывы Добролюбова и Чернышевского. Не игнорируя слабых сторон «Семейной хроники», оба критика считали, что это произведение дает большой материал для обличения крепостничества в России. Одну из важных причин успеха этой книги Чернышевский видел в том, что она «удовлетворяла слишком явной потребности нашей в мемуарах» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 699). Историко-мемуарный характер «Семейной хроники» подчеркивал и Тургенев. Познакомившись с одним из новых отрывков «Былого и дум», Тургенев писал в декабре 1856 г. Герцену: «Это в своем роде стоит Аксакова. Я уже, кажется, сказал, что в моих глазах вы представляете два электрических полюса одной и той же жизни — и из вашего соединения происходит для читателя гальваническая цепь удовольствия и поучения» (И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 11, М. 1949, стр. 155).

Отмечая восторженный прием, оказанный «Семейной хронике», Аксаков писал М. А. Максимовичу: «Успех моей книги удивил меня. Вы знаете, что мое самолюбие незаносчиво, и оно остается таким, несмотря на все печатные, письменные и словесные похвалы, которые иногда доходят до нелепостей... Я прожил жизнь, сохранил теплоту и живость воображения, и вот отчего обыкновенный талант производит необыкновенное действие» («Киевская старина», 1883, апрель, стр. 838—839).

В рукописных фондах С. Т. Аксакова сохранились неизвестные до сих пор замечания Л. Н. Толстого о «Семейной хронике». С. Т. Аксаков познакомился с Толстым в январе 1856 г. Толстой нередко бывал в доме Аксаковых. В одно из посещений он

прослушал в чтении автора несколько отрывков из «Семейной хроники». Вероятно, после чтения состоялась беседа, во время которой Толстой высказал некоторые критические замечания о книге Аксакова, записавшего их, очевидно для памяти, на последнем листе рукописи «Семейной хроники». Запись эта гласит следующее: «Замечания графа Толстого. 1) Старик Зубин может втайне думать так дурно о Калмыке, но не выскажет своей дочери. 2) Рассказ о похищении Сальме можно выкинуть: он рассказан без любви и задерживает ход. 3) После эпилога остальное излишность. 4) В эпилоге сказать как-нибудь иначе о том, что предки вызваны из мрака забвения и пр. пр., о могуществе письма и печати и о сочувствии» (Л. Б., ф. Аксакова, 1/5, л. 60 об.).

Эти критические замечания Толстого относятся к пятому отрывку «Семейной хроники», законченному Аксаковым в июне 1856 г. Повидимому, в этом же месяце Толстой навестил Аксакова. Некоторые из соображений Толстого были автором учтены, например замечание, обозначенное в пункте 3. В рукописи пятого отрывка после нынешнего эпилога имелся еще один абзац, который действительно не был органичен для эпилога и мог восприниматься как «излишность». Вот он: «Для особенно любопытных читателей и читательниц я скажу, что Степан Михайлович прожил еще пять или шесть лет после рождения внука, что он имел удовольствие его видеть и даже благословить за день до своей кончины... Месяцев за семь перед смертью, а именно в июне 1796 года, он был утешен рожденьем второго внука, Николая, что обеспечивало продолжение рода Багровых; имя внука Николая он также собственноручно вписал в свою дворянскую родословную. Степан Михайлович скончался в генваре или феврале 1797 года. Арина Васильевна пережила его несколькими годами; она постоянно грустила о своем супруге, грустила, что ей уж некого бояться» (Л. Б., ф. Аксакова, 1/5, лл. 58 об. — 59).

В печатный текст «Семейной хроники» Аксаков не ввел это место. Очевидно, оно было вычеркнуто после беседы с Толстым.

Среди критических откликов были и такие, которые вызвали резкое неудовольствие Аксакова. Так как в момент издания «Семейной хроники» еще жили люди, в той или иной степени близкие к персонажам книги, автор пытался замаскировать фактическую достоверность своего повествования и с этой целью заменил действительные имена главных персонажей, а также географические названия — вымышленными. Первому изданию «Семейной хро-

ники» и «Воспоминаний» было предпослано следующее обращение «К читателям»: «Считаю за нужное предуведомить благосклонных моих читателей, что отрывки из «Семейной хроники» написаны мною по рассказам семейства Багровых, близких моих соседей, и что эти отрывки не имеют ничего общего с собственными моими «Воспоминаниями», кроме сходства в названии местностей и в некоторых именах, данных мною произвольно. Печатая эту книгу, я очень жалею, что не мог представить ее публике в полном составе. Половина «Семейной хроники» не могла быть напечатана, да и «Воспоминания» много сокращены самим мною».

Предостережение Аксакова не возымело успеха. Едва только книга вышла в свет, современная критика тотчас же установила полную тождественность Багровых и Аксаковых. Объясняя А. О. Смирновой обстоятельства, препятствовавшие продолжению работы над «Семейной хроникой», Аксаков писал в мае 1856 г.: «Далее продолжать я не мог. Причины вам понятны. Я и так сделал слишком смелый поступок. Я наперед знал, что найдутся подлецы, которые печатно будут говорить, что Багровы — мои отец и мать. Но бог с ними!» («Русский архив», 1896, кн. I, стр. 160.)

Второе издание «Семейной хроники» Аксаков снабдил новым обращением «К читателям»: «Печатая книгу мою вторым изданием, с прибавлением двух новых отрывков «Семейной хроники», я также считаю за нужное предуведомить благосклонных моих читателей, что отрывки из «Семейной хроники» написаны мною по рассказам семейства гг. Багровых, близких моих соседей, и что эти отрывки не имеют ничего общего с собственными моими «Воспоминаниями», кроме сходства в названии местностей и в некоторых именах, данных мною произвольно.

Некоторым из гг. моих рецензентов, преимущественно пишущим в газетах, не угодно было уважить моего предупреждения, ясно изложенного в предыдущих строках. Я был неприятно изумлен таким нарушением везде принятого приличия, оскорбительным и для общества и для сочинителя: ласкаю себя надеждою, что оно не повторится».

Выпуская в свет четвертое издание «Семейной хроники», в 1870 г., И. С. Аксаков написал к нему «Предуведомление», в котором подчеркнул связь между «Семейной хроникой», «Детскими годами Багрова-внука» и «Воспоминаниями» и объяснил истинный смысл тех «предупреждений», с которыми его отец обращался к читателям. «Подобные предупреждения,— писал И. С. Аксаков,—

были в то время нужны не потому, чтобы автор полагал возможным уверить читателей в отсутствии тождества обоих названий Багровых и Аксаковых, Куролесовых и Куроедовых и проч., — а потому, что таким способом автор надеялся прекратить толки и пересуды, неприятные для родственного чувства многих тогда еще живых членов этих семейств; надеялся удержать журнальную критику в пределах чисто литературной оценки выставленных им характеров и типов, без всякого нескромного разоблачения тех обстоятельств, которые могли, конечно, подразумеваться, но которым еще не пришло время выступать гласно наружу.

Но теперь, когда уже протекло десять лет со дня кончины автора, когда и других многих близких родственников уже нет и описываемые им события еще глубже ушли в историческую даль, — теперь нет никакой надобности скрывать то, что и прежде подразумевалось и что, будучи обнаруженным и признанным, способно придать всей книге, сверх ее художественного достоинства, еще новое, положительное достоинство живой, несомненной правды, значение важного материала для истории русского общества. Одни и те же лица выступают и в «Отрывках из «Семейной хроники» и в «Воспоминаниях», и читатель может, не смущаясь прежним «Предуведомлением», следить за развитием характеров и составить себе цельную картину семейного быта по обеим частям книги почти за три четверти века тому назад».

В настоящем издании текст «Семейной хроники» воспроизводится по второму, прижизненному изданию (М. 1856). Места, изъятые цензурой, восстанавливаются по рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. В обоих прижизненных изданиях ряд персонажей был обозначен сокращенно или инициалами. Почти все эти сокращения и инициалы давно расшифрованы, и мы даем полное написание имен и фамилий.

Стр. 73. *Уфимское наместничество* — образовано в 1781 г. из двух областей: Оренбургской и Уфимской. В 1796 г. наместничество было переименовано в Оренбургскую губернию.

Стр. 77. В тексте «Московского ученого и литературного сборника» после слов «не за что рассердиться» было следующее: «Одни дворовые и впоследствии собственное его семейство испытывали иногда всю ярость этой бури. Достаточно было маленькой неправды, небольшого лукавства или обмана, малейшего непослушания, чтобы воспалить его гнев, доходивший до бешенства. Но со всем тем не только крестьяне, но и дворовые, около него служив-

шие люди, не говорю уже о семействе, любили его без ума. Впоследствии времени некоторые из молодых слуг его доживали свой век при мне; уже стариками часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, но справедливом и добром своем старом барине и никогда без слез о нем не вспоминали» (стр. 411). Но уже в тексте «Москвитянина» и во всех последующих изданиях «Семейной хроники» это рассуждение было автором снято и в переработанном виде использовано в главе «Новые места».

Стр. 78. *Акаевский бунт* — крупнейшее восстание башкирских крестьян, возглавленное Акаем. Оно вспыхнуло в 1735 г. и было направлено против колониальной политики русского царизма.

Стр. 83. Цитируемые Аксаковым стихи принадлежат, конечно, ему самому.

Стр. 136. В рукописи вслед за словами: «Этот молодой человек, необыкновенно умный и ловкий, уладил все дело» — есть любопытное продолжение этой фразы, зачеркнутое чьей-то рукой: «не поскупившись барскими деньгами» (Л. Б., ф. Аксакова, 1/2а, л. 12). Здесь содержался прозрачный намек на те методы, с помощью которых «молодой человек» улаживал дело — т. е. намек на всемогущую взятку.

О *Михайлушке* — Михаиле Максимовиче, управителе имениями Прасковьи Ивановны — см. подробно в «Детских годах Багрова-внука». Он был дедом известного поэта-шестидесятника М. Л. Михайлова. В «Воспоминаниях» Н. В. Шелгунова содержатся некоторые интересные сведения о последующей судьбе Михайлушки, дополняющие рассказ Аксакова: «Замечательно умный и деловой человек, известный всем и каждому в двух губерниях, был дед Михаила Ларионовича Михайлова; но он умер не потому, что спился на воле, а вот почему. После смерти Прасковьи Ивановны Михайлушка был отпущен на волю, но вольная была сделана не по форме. Этим воспользовались наследники, и всех уволенных Прасковьей Ивановной, в том числе и Михайлушку, опять закрепостили. Дед Михаила Михайлова протестовал, за что его заключили в острог, судили и высекли как бунтовщика. Вот отчего он умер; очень может быть, что он и запил, но уж, конечно, не оттого, как объясняет Аксаков (крестьяне были Аксаковых), что Михайлушка «держался скромного образа жизни», пока был крепостным, и разбаловался на свободе. «Вышел в чиновники, а потом и в дворяне» отец М. Л. Михайлова, бывший потом управляющим Илецкой Соляной Защитой» (Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М. — П. 1923, стр. 94).

В этом рассказе Шелгунова необходимо уточнить одно обстоятельство. Родовое материнское имение Прасковьи Ивановны Чурасово (Чуфарово) досталось в наследство не Аксаковым, а ее родственникам по материнской линии. Таким образом, крестьяне, о которых пишет Шелгунов, были не Аксаковых и история со вторичным закрепощением Михайлушки отношения к Аксаковым не имеет. В годы крестьянской реформы одной из владелиц Чуфарова была некая Т. Д. Слепцова (см. кн. «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», т. VI, СПБ. 1901, стр. 400).

Стр. 144. *Домашний лечебник Бухана.* — Речь идет о популярной в свое время книге английского врача Вильяма Бухана (1729—1805), выдержавшей в Англии более двадцати изданий, «Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как для предохранения здоровия надежнейшими средствами, так и для пользования болезней всякого рода, с показанием причин, признаков а наипаче распознавательных...» Книга эта выходила на русском языке в переводе с французского двумя изданиями (М. 1792 и М. 1811).

Стр. 165. *...двух-трех глупейших романов, вроде Любовного Вертограда или Аристея и Телазии...* — «Любовный Вертоград, или Непреоборимое постоянство Камбера и Арисены», перев. с португальского Ф. Эмин (СПБ. 1763); «Похождения Аристея и Телазии», перев. с французского (СПБ. 1764).

Стр. 218. *...и сыновья ее стали называться Мертваго.* — Эта сноска в обоих прижизненных изданиях «Семейной хроники» отсутствует. Она имелась в рукописи и зачеркнута С. Т. Аксаковым, ввиду того, что он отказался от первоначального намерения воспроизводить полностью фамилию Марьи Михайловны Мертвой. Когда в четвертом издании «Семейной хроники» (М. 1870) были впервые расшифрованы фамилии пересонажей, ранее обозначенных инициалами, оказалось целесообразным восстановить и сноску Аксакова.

Стр. 261. *Барановский* Егор Иванович — оренбургский губернатор, хороший знакомый Аксаковых.

...я не мог бы верно описать ее без пособия сведений, доставленных мне обязательными людьми. — Воскрешая в памяти былое, С. Т. Аксаков испытывал порой необходимость подкреплять свои воспоминания показаниями старых друзей, земляков-оренбуржцев. Он обращался к ним с различными просьбами уточнить те или иные интересующие его сведения. В аксаковском фонде ИРЛИ хранится любопытное свидетельство одного из земляков

Аксакова, имеющее прямое отношение к данному месту «Семейной хроники»: «...Сергей Тимофеевич по ходу рассказа приведен был к описанию одной татарской деревни невдалеке от Уфы, в которой был в детстве; ему хотелось проверить художественное представление свое об этой местности с действительностью, и он написал мне, прося сообщить описание местоположения деревни. Я послал Сергею Тимофеевичу самое верное и простое описание местности; этого-то ему и хотелось; и как благодарил он меня за исполнение просьбы, как рад был великий художник, что воссозданная им местность верна была истине» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 14, д. № 4, л. 14 об.).

ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА

Мысль написать книгу для детей впервые возникла у С. Т. Аксакова в 1854 г., но осуществление этого замысла пришлось отложить на несколько лет. Закончив работу над «Семейной хроникой» и ободренный успехом этой книги, писатель начал другую. 11 декабря 1856 г. он сообщал художнику К. А. Трутовскому: «Я пишу историю моего детства с 3-хлетнего возраста до 9-го года, пишу *для детского чтения*. Что из этого выйдет — не знаю. Есть места, которыми я сам очень доволен, но многое кажется мне написано для больших, а многое написано слабо — потому, что у меня были в виду дети» («Русский художественный архив», 1892, вып. III—IV, стр. 133). Месяц спустя в письме к тому же корреспонденту Аксаков снова возвращается к занимающей его теме: «Мне также иногда хочется писать «Дедушкины рассказы», которые есть не что иное, как воспроизведение в искусстве действительной истории моего детства (по крайней мере так бы следовало исполнить); только что картина прошедшего встает перед моим внутренним взором со всеми своими подробностями и живостию красок, как начинают приезжать гости и нередко фраза прерывается на полуслове. В иной день напишешь несколько строк, а в иной — и есть время, да не пишется. К тому же картина, вызванная из глубины душевных воспоминаний и не облеченная в слово, решительно теряет единство, цельность и оригинальность представления; другие, может быть, этого и не заметят, да я-то знаю очень хорошо. Без сомнения, художник должен следовать своему влечению...» (там же, стр. 134).

Новая книга Аксакова являлась второй частью его автобиографической трилогии и служила прямым продолжением «Семейной

хроники»; третьей частью были «Воспоминания», написанные и опубликованные ранее. В предисловии ко второму изданию этой книги (М. 1874) И. Аксаков писал: «Пусть читатель знает, что одни и те же лица выступают и в «Отрывках из хроники семейства Багровых», из которых в последнем, именно пятом, отрывке рассказывается рождение Багрова-внука, и в «Детских годах», непосредственно следующих за пятым отрывком, и, наконец, в приложениях к «Хронике» и изданных одновременно с нею «Воспоминаниях», непосредственно связывающихся с «Детскими годами» рассказом о вступлении Багрова-внука, или С. Т. Аксакова, в Казанскую гимназию — рассказом, который ведется С. Т. Аксаковым уже не под вымышленным именем, а прямо от своего лица. Точно так же и мать автора, Марья Николаевна Аксакова, называемая настоящим своим именем в «Воспоминаниях», — то же самое лицо, которое в «Хронике» и «Детских годах» является под именем Софьи Николавны Багровой, а часто упоминаемая в «Детских годах» Прасковья Ивановна Куролесова — есть героиня рассказа «Хроники» о Куролесове, т. е. Куроедове, — Надежда Ивановна Куроедова, освобожденная с бою Степаном Михайловичем Багровым (т. е. Аксаковым) из-под железных затворов своего злодея-мужа».

«Детские годы» были задуманы как книга о детстве и вместе с тем — как книга для детей. Но именно вторая половина задачи создавала для Аксакова наибольшие затруднения. Первые отрывки книги строились в форме воспоминаний писателя о своем детстве и, повидимому, еще недостаточно глубоко раскрывали душевный, психологический мир юного героя. Кроме того, и это самое главное, в первых набросках книги, очевидно, еще не выкристаллизовался художественный образ повествователя. Об этом свидетельствует дневниковая запись Погодина от 9 ноября 1856 г.: «Обедал у Аксаковых с Томашевским. Слушал книгу для детей. Нет, это не книга для детей. Это продолжение «Воспоминаний» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XV, СПБ. 1901, стр. 286—287).

Непривычность и сложность художественной задачи, стоявшей перед Аксаковым, заставляла его обращаться ко многим знакомым литераторам за советами и помощью. Одним из первых в их числе был Тургенев, с которым у Аксакова давно установились короткие, дружеские отношения. «Я занят теперь таким делом, — писал он Тургеневу, — о котором хотел бы знать ваше мнение. Я боюсь, попал ли я на настоящий тон и не нужно ли изменить самые приемы: я пишу книгу для детей, разумеется, не маленьких,

а таких, которым около 12-ти лет. Я ничего не придумал лучшего, как написать историю ребенка, начав ее со времени баснословного, доисторического, и проведя его сквозь все впечатления жизни и природы, жизни преимущественно деревенской... Разумеется, здесь нет никакой подделки под детский возраст и никаких нравоучений» («Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 590—591). Тургенев горячо поддержал замысел Аксакова: «Ваша мысль написать историю ребенка для детей — прекрасна, и я уверен, что вы исполните ее как нельзя лучше, с тою эпической ясностью и простотой, которая составляет вашу особенность между пишущей братьей» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 498—499).

Аксаков придавал особое значение своей новой книге и считал ее самой важной из всех написанных им ранее «в педагогическом отношении». Вот почему он был очень требователен к себе, тщательно проверял каждый новый отрывок с точки зрения того, как он воспринимается посторонними людьми, и часто устраивал с этой целью чтения. «Я делал и частные чтения и публичные, — писал он А. И. Панаеву, — то есть приглашал по 50 человек слушателей. Люди, которым не могу не верить, говорят, что эта книга выше всего, написанного мною. Я не верю сам потому, что они слышали только отрывки. Нетерпеливо хочу узнать твое впечатление» (Абрамцево, рук. 69).

«Детские годы Багрова-внука» — наиболее крупное по объему произведение Аксакова. Хотя писатель испытывал значительные трудности в процессе работы, он писал эту книгу с необычайным увлечением и душевным подъемом. Работу над ней он начал в октябре 1856 и закончил в июне 1857 г. «Я кончил свою книгу 19 июня, — сообщил он Погодину. — Целые сутки грустил, как дитя. Не знаю, хорош ли мой труд, но души своей я много туда положил, потому что чувствую какую-то пустоту» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XV, стр. 287). Ту же мысль он развивал в письме к сыну Ивану от 11 июля 1857 г.: «Детские годы» кончил, работал ровно 8 месяцев... Я сам знаю, что много в нем есть такого, что выше всего написанного мною. Вообрази, что я грустил, как дитя, кончив свою работу. Я много положил в нее души, не знаю, почувствуют ли это читатели?» («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. III, М. 1892, стр. 341).

Отношение самого С. Т. Аксакова к своей книге было сложным и противоречивым. В уже цитированном выше письме к сыну Ивану от 11 июля 1857 г. он заметил: «Теперь труд мой требует цельного обзора, а я запутался в нем, потому что в продолжение

работы цель моя изменилась». Писатель высказывал сомнения в справедливости уверений друзей относительно того, что «Детские годы» — лучшее его произведение. «Я сам так думаю о *некоторых* местах, — писал он М. А. Максимовичу, — но совсем не уверен еще в достоинстве целого сочинения и совершенно уверен, оно не может возбудить такого общего сочувствия, какое возбудила «Хроника и Воспоминания». Жизнь человека в дитяти не всем будет понятна, а подробности рассказа многим покажутся мелкими и ничтожными» («Киевская старина», 1883, апрель, стр. 840). Аксаков высказывал сожаление по поводу того, что книга его выйдет не во-время и что она не будет иметь того успеха, какой она, может быть, имела бы в иное время. Перед лицом бурно развертывавшихся в стране политических событий конца 50-х годов интересы чисто литературные отодвигались в сознании Аксакова на второй план. Об этом он сам писал Тургеневу в 1857 г.: «Чисто литературные интересы побледнели для меня, и моя книга, которую я так горячо желал видеть напечатанною, теперь уже мало меня занимает, а я положил в нее всю мою душу, все мое дарование и все уменье, приобретенное долговременною опытностью. Не во-время она появится и не может быть вполне оценена. Важность интереса, если я и сумел представить его в простоте художественной формы, неминуемо должна ускользнуть от развлеченного внимания даже таких читателей, которые в другое, более спокойное время поняли бы его вполне» («Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 595).

Отклики современной Аксакову критики на «Детские годы Багрова-внука» были гораздо менее единодушны, чем в отношении «Семейной хроники». В некоторых статьях отмечались существенные недочеты, свойственные новой книге Аксакова, например перегруженность повествования ненужными подробностями, чрезмерная растянутость, излишние повторения; указывалось и на то, что автор не всюду выдерживает единство тона, что он порой заставляет своего малолетнего героя оценивать события так, как это мог бы сделать лишь взрослый, умудренный жизненным опытом человек. Впрочем, иные из современников расценивали «Детские годы» даже выше «Семейной хроники». К ним, например, принадлежал Л. Н. Толстой. Познакомившись с отрывками новой книги Аксакова, он записал в своем дневнике 20—25 января 1857 г.: «Чтение у С. Т. Аксакова. Детство, прелестно!» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 112). А четыре дня спустя Толстой писал В. П. Боткину: «Слышал я две замечательные лите-

ратурные вещи: «Воспоминания детства» С. Т. Аксакова и «Доходное место» Островского. Первая вещь мне показалась лучше лучших мест «Семейной хроники». Нету в ней сосредоточивающей, молодой силы поэзии, но равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно успокоительно и поразительно ясностью, верностью и пропорциональностью отражения» (там же, т. 60, М. 1949, стр. 56).

Славянофильская критика (Хомяков, К. Аксаков и др.), положительно оценивая «Детские годы Багрова-внука», пыталась использовать творчество Аксакова как некий противовес обличительному, гоголевскому направлению в русской литературе. Содержательным и глубоким критическим выступлением о «Детских годах Багрова-внука» и о творчестве Аксакова в целом явилась статья Добролюбова «Деревенская жизнь помещика в старые годы» («Современник», 1858, № 3). Великий критик широко использовал творчество Аксакова в интересах борьбы против антинародного, крепостнического строя (см. вступительную статью к настоящему тому). Из более поздних откликов на книгу Аксакова отметим известные строки из «Пошехонской старины» Щедрина. В главе «Воспитание нравственное» содержится интересный рассказ Никанора Затрапезного (рассказ, в котором, несомненно, ощущается автобиографическое воспоминание самого автора) о том, как он, имея уже за тридцать лет, впервые «почти с завистью» познакомился с «Детскими годами Багрова-внука» и какое сильное впечатление произвела на него эта книга (см. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVII, стр. 63—64).

До выхода в свет новой книги Аксакова отдельным изданием отрывок из нее был напечатан в «Русской беседе» (1857, т. IV, № 8, стр. 1—33) под названием «Детские годы молодого Багрова (отрывок)». Сюда вошли три главы: «Возвращение в Уфу к городской жизни», «Зимняя дорога в Багрово» и «Багрово зимой». Отрывку автор предпослал следующее предисловие, датированное июлем 1857 г.:

«Предлагаемый отрывок составляет небольшую часть подобных рассказов молодого Багрова о своем детстве — Багрова уже внука известного читателям Степана Михайловича. Рассказы записаны мною с совершенною точностью: они служат продолжением «Семейной хроники». Желая передать по возможности живость изустного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика.

Считаю за нужное предупредить моих благосклонных читателей, что Багров-внук был мальчик необыкновенно рано и даже болезненно развитой страстно любившею его матерью. Знающим Софью Николаевну из «Семейной хроники» нетрудно этому поверить. Я оговариваюсь, потому что настоящий отрывок, выхваченный из средины полных и подробных рассказов, может показаться несколько неестественным и преувеличенным. В нем недостает той постепенности развития, той случайной обстановки, которая устраняет неестественность и уничтожает сомнение, чтобы шестилетнее дитя могло так много понимать и так сильно чувствовать». Имея в виду эти строки, С. Т. Аксаков писал сыну Ивану: «Я помещаю небольшое вступление, в котором стараюсь поставить читателя на нужную мне точку зрения» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 147—148).

Разночтения между первопечатным отрывком и окончательным текстом незначительны. Девяносто с лишним исправлений, сделанных автором, носили чисто стилистический характер.

8 ноября 1857 г. московская цензура подписала разрешение на издание «Детских годов», и в начале следующего, 1858 года книга увидела свет. В настоящем собрании сочинений С. Т. Аксакова воспроизводится текст этого, единственного вышедшего при жизни автора, издания с исправлением вкравшихся сюда нескольких явных опечаток.

Стр. 283. *Ольга Григорьевна Аксакова* (род. в 1848 г.) — дочь Григория Сергеевича Аксакова, любимая внучка писателя. Посвящение ей «Детских годов Багрова-внука» вызвано следующими обстоятельствами. В декабре 1854 г. С. Т. Аксаков написал шуточное стихотворное послание своей «Шестилетней Оле», в котором, поздравляя внучку с днем рождения, обещал, что

Ровно через год
Оле, внучке милой,
Дедушка пришлет
Книжку небольшую...

Книга была написана, во-первых, не через год, а спустя три года, во-вторых, она оказалась довольно большой по объему. Впрочем, неизвестно — действительно ли связаны «Детские годы Багрова-внука» с тем замыслом, который обещал осуществить писатель в своем стихотворном послании, или же они были напи-

саны *взамен* той книги, которую некогда Аксаков собирался написать.

Стр. 297. *«Зеркало добродетели».* — Речь идет о книге «Зеркало добродетели и благонравия для детей», соч. Кейля, перев. с немецкого, М. 1794.

«Признательный лев» и *«Сам себя одевающий мальчик»* — неточно названные рассказы из «Зеркала добродетели». Имеются в виду рассказы «Награжденное сострадание» (стр. 118—121) и «Сам себе служащий мальчик» (стр. 55—58).

Стр. 298. *...известную Комиссию...* — Речь идет о так называемой «Комиссии для составления нового уложения», собранной в 1767 г. Екатериной II для пересмотра русского законодательства. В комиссию вошли депутаты от государственных учреждений, от дворян, купечества, духовенства. Никаких результатов деятельность Комиссии не дала, в следующем году она была распущена.

«Детское чтение для сердца и разума» — первый детский журнал в России, выходил в 1785—1789 гг. в качестве еженедельного приложения к «Московским ведомостям», издававшимся Н. И. Новиковым. Журнал пользовался в свое время большой популярностью. Во время работы над «Детскими годами Багрова-внука» Аксаков взял у Погодина комплект «Детского чтения» и писал ему: «Очень благодарю вас за «Детское чтение». Ровно через шестьдесят лет взял я в руки эти драгоценные тогда для меня книжки — и поражен был изумлением. Я нигде не видывал такого отсутствия понимания предмета, как тут, а между тем книжки производили сильное и благотворное впечатление. Это сбивает меня с толку относительно моих настоящих понятий и труда, начало которого вы слышали» (Л. Б., ф. Погодина, II 1/62; у Н. Барсукова, впервые опубликовавшего это письмо, а также во всех последующих источниках оно цитировано неточно. Ср. «Жизнь и труды М. Погодина», т. XV, стр. 286).

Стр. 348 *«Сонник».* — Имеется в виду книга «Сонник, или Истолкование снов, приключающихся спящим людям...», СПБ. 1784; второе изд. — СПБ. 1791.

«Драматическая пустельга» — комическая пьеса Н. П. Николева (1758—1815) «Приказчик. Драматическая пустельга с голосами в одном действии» (М. 1781), впервые поставлена в Москве в 1778 г. Цитаты из пьесы приведены Аксаковым по памяти и неточны.

Стр. 357. Из семьи Мертваго особенно близок С. Т. Акса-

кову был Дмитрий Борисович Мертваго (1760—1824), его крестный отец; видный сановник, он занимал пост таврического губернатора и генерал-провиантмейстера; автор известных «Записок» (М. 1867). В 1857 г. С. Т. Аксаков написал о нем «Воспоминание».

Стр. 357. *Княжевич* Максим Дмитриевич (1758—1813) — губернский прокурор в Уфе, позднее служил в казенной палате в Казани, выходец из Сербии. С. Т. Аксаков с детских лет был дружен с сыновьями М. Д. Княжевича — Дмитрием (1788—1844), впоследствии литератором, членом Российской академии, попечителем Одесского учебного округа, и Александром (1792—1872), впоследствии министром финансов (см. о них в «Воспоминаниях» С. Т. Аксакова во втором томе наст. изд.).

Мансуров Борис Александрович (ум. в 1814) — казанский губернатор.

Ланжерон Александр Федорович (1763—1831) — генерал, французский эмигрант; бежал из Франции после революции 1789 г. и поступил на русскую службу.

Энгельгардт Лев Николаевич (1766—1836) — полковник, автор «Записок» (М. 1867).

Стр. 360. «*Детская библиотека*» — издавалась на немецком языке педагогом и писателем Иоахимом Генрихом Кампе (1746—1818). В переводе А. С. Шишкова вышли две части (СПБ. 1788), выдержавшие несколько изданий.

Стр. 362. *Фалатта! Фалатта!* — Море! Море! (*греч.*)

Стр. 363. *...любовь Шишкова к простолюдину!* — Аксаков здесь, несомненно, идеализирует реакционера А. С. Шишкова.

Стр. 399. К слову «*Сурку*» в тексте «Русской беседы» дано следующее примечание С. Т. Аксакова: «Собачка, спасенная и выкормленная молодым Багровым».

К фамилии *С. И. Аничкова* в тексте «Русской беседы» дано примечание автора: «Старик сосед, подаривший прежде книги молодому Багрову».

«Древняя Вивлиофика» — речь идет о ежемесячном издании Н. И. Новикова «Древняя Российская Вивлиофика, или Собрание разных древних сочинений, як-то Российские посольства в другие государства редкие грамоты, описание свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей и многие сочинения древних российских стихотворцев» (СПБ. 1773—1775).

Стр. 402. *Все были в негодовании на В.*** — По вероятному предположению П. Е. Щеголева, здесь имеется в виду Сергей Козьмич Вязмитинов (1749—1819), уфимский наместник, позднее военный генерал-губернатор С.-Петербурга.

Стр. 403. К словам *«горбатая княжна калмычка»* в тексте «Русской беседы» имеется примечание автора: «Княжна — прозвище, данное в насмешку бывшей крепостной калмычке, отпущенной на волю».

Теперь-то гатчинские пойдут в гору — т. е. сторонники Павла Петровича, жившего при Екатерине II в опале в Гатчине.

Стр. 438. Речь идет о романе французского писателя аббата Прево д'Экзиля (1697—1763) «Философ английский, или Житие Клевеланда, побочного сына Кромвелева, самим им писанное и с английского на французский, а с французского на российский язык переведенное» (СПБ. 1760—1771), в 9 частях, а не в 15 томах, как ошибочно указывает Аксаков.

Стр. 483. *«Арфаксад, халдейская повесть»* — «Халдейская вымышленная повесть, содержащая в себе образ жизни и нравов древних восточных народов... сочинения Козловского однодворца Петра Захарьина» (М. 1793—1796).

«Алкивиад» — роман немецкого писателя Августа Готлиба Мейснера (1753—1807), перев. с нем. Николая Осипова (СПБ. 1794—1802).

«Граф Вальмонт, или Заблуждения рассудка. Письма, собранные и обнародованные господином М... Поднесенные королеве французской в 1755 году г. Жерардом, каноником С. Людовика Луврского», перев. с франц. (Тамбов, 1794—1796).

«Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов» — роман английского писателя-сентименталиста Самуеля Ричардсона (1689—1761); первое издание этого романа вышло в России в 1791 г. в переводе с французского.

Стр. 515. *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — известный поэт-баснописец.

Шатров Николай Михайлович (1763—1841) — поэт-архаист, сторонник А. С. Шишкова.

Стр. 521. *«Римская история Роллена»* — «История римская, от создания Рима до битвы Актийския, то есть по окончании республики», соч. французского историка Шарля Роллена (1664—1741), перев. В. К. Тредьяковского в 16 частях (СПБ. 1761—1767).

Стр. 546. «*Векфильдский священник*» — роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728—1774), на русском языке впервые вышел в переводе с французского (М. 1786).

«*Герберт, или Прощай богатство*» — английский нравоучительный роман, написанный в форме писем, перев. с франц. (М. 1791).

«*Железная маска*, или Удивительные приключения отца и сына», в трех частях, перев. с франц. (СПБ. 1766—1767); второе изд. — в 1800 г.

Стр. 547. *Хованский* Григорий Александрович (1767—1796) — второстепенный поэт.

Стр. 549. *Долгоруков* Иван Михайлович (1764—1823) — владимирский губернатор, мелкий стихотворец, автор не лишенных интереса воспоминаний «Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни» (М. 1874).

Стр. 582. *...впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни.* — Имеется в виду поступление в казанскую гимназию, про которое рассказано Аксаковым в его «Воспоминаниях».

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Эту сказку ключницы Палагеи С. Т. Аксаков, по собственному признанию, слышал в детстве «не один десяток раз». Затем текст ее был забыт, и уж много лет спустя в сознании писателя начался процесс творческого воссоздания этой сказки.

Обо всем этом автор рассказал в письме к сыну Ивану от 23 ноября 1856 г.: «Я теперь занят эпизодом в мою книгу: я пишу сказку, которую в детстве я знал наизусть и рассказывал на потеху всем со всеми прибаутками сказочницы Палагеи. Разумеется, я совсем забыл о ней; но теперь, роясь в кладовой детских воспоминаний, я нашел во множестве разного хлама кучку обломков этой сказки, а как она войдет в состав «Дедушкиных рассказов», то я принялся реставрировать эту сказку. Я написал уже 7 листов, и, кажется, еще будет столько же» (Л. Б., ГАИС III, III/22д). Иван Аксаков отвечал отцу: «Как я рад, что вы пишете дедушкины рассказы и сказку Пелагеи. Я уверен, что это будет превосходная вещь, которой сужден огромный успех» («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. III, М. 1892, стр. 307).

Работа над «Аленьким цветочком» и «Детскими годами Багрова-внука» велась одновременно. Сам Аксаков поместил эту сказку в приложении, «чтобы не прерывать рассказа о детстве» (см. примеч. на стр. 496).

Содержание этой народной сказки известно во многих вариантах в России и на Западе, см., например, в собрании «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева «Пёрушко Финиста, ясна сокола», «Заклятой царевич» (т. II, Гослитиздат, 1938, стр. 311—316 и 443—445). О некоторых других вариантах сказки рассказывает Аксаков в «Воспоминаниях» (см. второй том наст. издания).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА[1] УПОМИНАЕМЫХ ЛИЦ И НАЗВАНИЯ МЕСТНОСТЕЙ

Багров Сережа — Аксаков Сергей Тимофеевич.

Багров Степан Михайлович — Аксаков Степан Михайлович, дед писателя.

Багрова Арина Васильевна — Аксакова Ирина Васильевна, бабушка писателя.

Багров Алексей Степанович — Аксаков Тимофей Степанович, отец писателя.

Багрова (урожд. Зубина) Софья Николаевна — Аксакова (урожд. Зубова) Марья Николаевна, мать писателя.

Зубин Николай Федорович — Зубов Николай Федорович, дед писателя.

Куролесова Прасковья Ивановна — Куроедова (урожд. Аксакова) Надежда Ивановна, двоюродная тетка отца писателя.

Сестрица — Аксакова Надежда Тимофеевна, сестра писателя.

*

Багрово Новое — Ново-Аксаково, или Знаменское, ныне Ново-Аксаково Аксаковского сельсовета Мордовско-Боклинского района Чкаловской области.

Багрово Старое — Старо-Аксаково, или село Троицкое, ныне село Аксаково Аксаковского сельсовета Майнского района Ульяновской области.

---

[1] Речь идет лишь о наиболее значительных персонажах «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука».

Парашино — Надеждино, известное также ранее под именем Куроедово,— ныне Надеждинского сельсовета Белебеевского района Башкирской АССР. Имение это перешло по наследству к отцу С. Т. Аксакова, а затем — и к самому С. Т. Аксакову.

Чурасово — Чуфарово, ныне Старо-Маклаушинского сельсовета Тагайского района Ульяновской области.

СЛОВАРЬ
ТРУДНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОВ

Бáгренье — зимняя ловля красной рыбы багром.

Барашек дикий — здесь: бекас.

Бастыльник — сорная крупная трава, бурьян.

Бáчка — сокращенное: батюшка, отец.

Беляк — белая волна, пена, барашки.

Били (перепелá) — кричали.

Бить (расшитый битью) — сплющенная тонкая проволочка для золототканной работы.

Бить в дудки (термин в охоте на перепелов) — подражать крику перепелов.

Бланжевый — телесного цвета.

Бобовник — дикий персик.

Борть — дупло, в котором водятся пчелы.

Браная ткань — ткань, вытканная узором.

Бурак — берестовый стоячок с крышкой.

Варакушка — птица из разряда певчих.

Вешняк — ворота с подъемным засовом в плотинах для спуска вешней воды.

Взлобок — невысокое, крутоватое возвышение местности; высшая точка негористой местности.

Волосник — женская шапочка, надеваемая под платком.

Враг — здесь: овраг.

Врюхаться — влюбиться.

Выбойка — самый грубый ситец, холщовая ткань с узором одного цвета.

Вытянуть гору — подняться на вершину пологой горы и спуститься с вершины к подошве.

Вятель — плетенка из прутьев у рыбаков.

Гнет — жердь, рычаг на возу для прижимания сена.

Гоношить — копить, собирать.

Грива — холм, поросший лесом.

Дикуша — гречиха.

Емены — хлеб для собственного употребления.

Ергак — халат или тулуп из короткошерстных шкур, шерстью наружу.

Желна — большой черный дятел.

Жирная вода — разлив, половодье.

Завозня — род небольшого речного судна, плоскодонная лодка.

Загон—пахотный участок земли.

Закрайка — осенний лед, намерзающий около берегов.

Залог — непаханая земля.

Застреха — нижний нависший край крыши с внутренней стороны.

Засыпка — помощник мельника.

Зверовой (о собаке) — охотничья собака.

Изволок — отлогая гора; некрутой длинный подъем.

Кармазин — тонкое яркокрасное сукно.

Козелец — сорное растение.

Ко́лок — отдельная рощица, лесок.

Копр — укроп.

Корчажное пиво — пиво домашнего приготовления.

Косна́я лодка — легкая лодка для переездов.

Куделя — вычесанный и перевязанный пучок льна, приготовленный для пряжи.

Кулига — ровное место, чистое и безлесное, поляна.

Лагун — бочонок.

Лутошка — липка, с которой снята кора; она сохнет и чернеет.

Мартышка (стаи мартышек)— птица из породы чаек.

Материк (реки) — русло реки.

Меже́нь — средний уровень воды в реке.

Мешаться (о хлебах) — начать желтеть, зреть.

Младенская, родимец — судороги у детей.

Морда — плетенка из ивовых прутьев для ловли рыбы.

Мочка — прядь, волокно.

Мурья — тесное и темное жилье, лачуга, конура.

Муфтий — местный глава мусульманской церкви.

Намнясь — на этих днях.

Наструг — инструмент для строганья.

Недотка —самая грубая и редкая ткань (не-до-ткать), которая идет на частые бредни.

Обечайка — согнутый в круг лубок.

Осот — сорные растения разных видов.

Остаметь — остолбенеть.

Отправить сорочины — поминанье на 40-й день.

Палочник — кустистый или молодой лесок, годный на палки.

Переломать—вспахать вторично.

Перемоки — частые дожди.

Плавиться (о рыбе) — рыба играет на воде.

Плесо — часть реки от одного изгиба до другого.

Поветь — крытое место.

Погоныш — малая болотная курочка.

Подбор (о неводе) — две продольные веревки, на которые посажен невод.

Подволока — чердак.

Подовые пироги — из кислого теста, испеченные на поду.

Полба — разновидность пшеницы.

Полосущатый — из полосухи, полосатой цветной ткани.

Понять (что-либо) — заливать.

Поставец — посудный шкаф.

Приданые — так назывались дворовые, отдаваемые за дочерью в числе приданого.

Пристановка (растений) — перемещение из оранжерей на воздух.

Пришипиться — присмиреть.

Происшедший — выслужившийся из «простолюдинов».

Прорезь — живорыбный садок; ящик с прорезами для протока воды.

Пряжка — упряжка, переезд на одних лошадях между кормежками, перегон.

Пустоплесье — незаселенный берег реки.

Расцыганить — осудить.

Ребятница — женщина с грудным ребенком.

Ремень (на животном) — темная полоса по хребту.

Рогатые орехи — рогульник, плод водяного растения.

Ротиться — клясться.

Сабан — род примитивного двухколесного плуга.

Сандал — название красителя.

Семьянный — имеющий семью.

Серпуха — желтая краска.

Сидка — высиживать.

Соковые краски — краски из соков растений.

Старина — здесь: родина.

Старица — старое, высохшее русло реки.

Стрежень — глубокое место в речном русле, годное для судоходства, фарватер.

Строка — вид овода.

Сырт — возвышенность, являющаяся водоразделом.

Сычуг — один из отделов желудка у жвачных животных; кушанье в виде фаршированного мясом желудка.

Сурчина — нора сурка.

Толока — потрава скотом трав, хлеба.

Труба (речная) — русло.

Тук — чернозем.

Тягло — семья крестьянина, платящего подати.

Уносные лошади — пара лошадей, обычно первая, в запряжках четверней и более.

Ухичивать — сделать годным для жилья, утеплить.

Хизнуть — хилеть, дряхлеть.

Холудина — жердь, длинная хворостина.

Цевка — зубец зубчатого колеса.

Чернотал — вид ивы.

Чилизник — вид акации.

Чихирь — род виноградного вина.

Шадрик — грязный, непереваренный поташ.

Шиш — острая вершина, насыпь.

Штадт-физик — городовой врач.

Шушун — название верхней женской одежды, кофта или шубейка.

СОДЕРЖАНИЕ

АКСАКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Собрание сочинений, т. 1

Редактор А. Ванслова
Оформление художника А. Ахметьева
Художеств. редактор К. Буров
Технический редактор В. Гриненко
Корректор Р. Гольденберг

*

Сдано в набор 4/V 1955 г.
Подписано в печать 26/IX 1955 г. А05163.
Бумага $84\times108^{1}/_{32}$ — 40 печ. л. = 32,8 усл.-печ. л. 32,82 уч.-изд. + 1 вкл. = 32,87 л.
Тираж 150 000. Цена 11 р. 50. Зак. 365.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново Басманная, 19

*

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической промышленности
4-я тип. им. Евг. Соколовой
Ленинград, Измайловский пр., 29